Александр Леонидович Пастернак

Alexander Leonidovič Pasternak

Воспоминания

Memoirs



Wilhelm Fink Verlag

Verlag Ferdinand Schöningh

Александр Леонидович Пастернак, брат знаменитого писателя и лауреата Нобелевской премии Бориса Л. Пастернака, рисует в своих воспоминаниях выразительную картину жизни в Москве на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий. С точностью архитектора он описывает здания, улицы и районы города, в которых семья автора во время его детства и молодости проживала. Автор представляет жизнь своей семьи, отношение к брату, их детские игры, которые были отражением окружающей их среды. Много интересных людей встречалось в ту пору в квартире его родителей — художники и музыканты. Отец А.Л. Пастернака был преподавателем в московском Училище Живописи, Ваяния и Зодчества, а мать его была известной пианисткой. Лето проводила семья Пастернак или на море, или на даче под Москвой. Летом 1903 года случаются два важных события для будущности Бориса: первое — семья знакомится с известным композитором Скрябиным, а второе — Борис падает с лошади и ломает себе ногу. В 1906 году, во время пребывания семьи Пастернак в Берлине, Борис становится "старшим" братом в семье, он занимается усиленно музыкой. По окончании гимназии он совсем оставляет музыку и посвящает себя литературе. После возвращения

Wilhelm Fink Verlag
Verlag Ferdinand Schöningh

из Берлина Александр снова поступает в гимназию, посещая один и тот же класс с Владимиром Маяковским. Период учения стоит под влиянием революции и войны с Японией. Даже ученики восхищены идеями революции, которые поддерживаются особенно интеллигенцией. Вскоре после окончательной победы революции родители покидают Россию и переселяются в Германию, где Александр Пастернак в 1925 году последний раз с ними встречается. Хотя автор в своем предисловии пишет, что он не смеет утверждать, что все документально точно и верно, и что повествование не последовательно текущее, но все-таки автобиография его юных лет дает нам очень внушительное представление о жизни в семье Пастернак, а также о жизни в Москве непосредственно перед революцией 1917 года.

Jacket: sketch of Alexander Pasternak made by his father, Leonid Pasternak (1908)

Wilhelm Fink Verlag
Verlag Ferdinand Schöningh

Александр Леонидович Пастернак Воспоминания

Alexander Leonidovič Pasternak Memoirs

Александр Леонидович Пастернак

Воспоминания

Alexander Leonidovič Pasternak

Memoirs

1983

WILHELM FINK VERLAG
VERLAG FERDINAND SCHÖNINGH
München · Paderborn · Wien · Zürich

Gesamtherstellung: Ferdinand Schöningh, Paderborn

ISBN 3-506-77920-6

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА

Уступая просьбам моих друзей и знакомых – рассказать о нашем детстве и прошлом нашей семьи – я, не без опаски, берусь за дело, для меня незнакомое и мне несвойственное.

Ныряя в глубины этого прошлого, я не хочу насильно искать или восстанавливать забытое. Лишь то немногое, что само приплывает мне навстречу из тумана голубых далей, я, выйдя на берег сегодняшнего дня, передам, как небольшой улов тому, кто любит отзвуки былого.

Поэтому вполне естественно, что тут не окажется повествования последовательно текущего; скорее всего это будут отдельные рассказы об эпизодах более или менее интересных, вроде своеобразных нынешних "стоп-кадров".

Будет ли тут все документально точным и верным – утверждать не смею. Но уверен, что здесь не будет ничего специально придуманного, для полноты или для украшения картины. Доля фантазии и фантастичности может появиться, но единственно в том смысле, что услышанное в раннем детстве от взрослых было воображением ребенка переработано в некие причудливые образы. В моей памяти они закрепились как полная реалистичность; такими они существуют для меня и поныне. Это напоминает мне абракадабрскую фразу, которой наша старая няня Акулина, баюкавшая моих сестер, их усыпляла: "и мархоца и марьяла"... Сия странная формула магического заклинания средних веков – в оригинале, по-русски, звучала гораздо проще и безобидней: "чтоб видеть ход церемониала..." и т. д. Это были первые слова шансонетки, в те годы напевавшейся и бывшей тогда в большой моде.

То, что я стану описывать, происходило, собственно говоря, не так уж давно. Но десятилетиями все изменялось настолько быстро и решительно, и все ускоряясь, что многое уже и сейчас представляется до невозможности архаичным – хотя бы, к примеру, эти крохотные коробочки-вагончики конной тяги, которые курсировали по рельсам, уложенным в толщу булыжной мостовой многих улиц и площадей старой Москвы. "Конка" была одним, но не единственным, чрезвычайно колоритным и характерным, незабываемым явлением московской жизни нашего детства.

Дерзновеннейшая, немыслимая мечта Жюля Верна, нас в детстве волновавшая, как совершенная, абсолютно невозможная выдумка, уже осуществлена человеком, ступившим по "земле" Луны. Вот критерий неимоверной давности недавнего времени. Не будет ли картина девятисотых годов жизни Москвы и москвичей воспринята нашими правнуками, как плохая выдумка весьма слабой фантазии?

* * *

ГЛАВА ПЕРВАЯ

РАННЕЕ ДЕТСТВО

Мои сознательные, по крайней мере объяснимые, воспоминания о нашей семье и нашем детстве начались довольно поздно. К этому времени мы жили уже два или три года в небольшой, о четырех комнатах, квартире в дворовом флигеле Училища Живописи, Ваяния и Зодчества. В 1894 году отец был приглашен преподавать в Училище рисунок. Ему, как преподавателю, была отведена казенная, то есть бесплатная, квартира.

Все, что в семье происходило до этого, я, конечно, узнавал от взрослых.

Говорят, что ребенок с момента рождения подобен губке: но губка впитывает, не разбираясь, любую влагу – и хорошую и дурную, добро и зло, воду животворную и мертвенную горечь уксуса. Ведь губка есть губка! Поглощаемая же ею влага своей собственной формы не имеет; она принимает форму сосуда, куда ее сливают.

Возможно, что с момента рождения дети не лучше и не больше понимают, чем слепые еще котята или щенята; подобно им, узнают окружающий скудный мир и они, через запахи, через звуки, может быть и через вкус. Возможно, привыкая к этим звукам и к этим запахам, они постепенно начинают выделять из огромности еще неопознанного – свое малое окружение и свое ограниченное бытие в нем. Так произошло и с нами – с моим старшим братом и со мною, а затем, много позже, и с сестрами, когда они в семье появились. Со звуков и запахов я и принялся проходить курс узнавания жизни.

Начальные воспоминания вызывались и окрашивались какими-то приятными, почти вкусными, устойчивыми звуками, то ублажающими, то веселящими, то своей громкостью и грозностью даже пугающими до слез и криков; но, даже и в этих случаях, звуки эти не отвращали нас и от нас не отвращались. Только гораздо уже позже, когда мы сжились со звуками и с запахами так, что без них становилось пустовато, они стали определяться и именоваться – запахи, скажем, "скипидаром" или "олифой" или "масляными красками", а звуки – "музыкой" или "маминой игрой"; но мы тогда уже понимали разительное отличие "маминой" игры от "наших" игр.

Эти именно запахи и эти звуки вошли в мой детский обиход настолько, что я не мог принять их иначе, чем как естественные всегда присутствующие, то есть попросту, как *самые обыденные* явления *нашей* жизни.

И более того: как должные!

* * *

Я не собираюсь составлять чьих-либо биографий – ни отцовой, ни материнской, ни моего брата. Но, поскольку тут оказалась затронутой особливость *деятельности* отца и матери, надо, хотя бы двумя-тремя словами обрисовать, кем они были в своем детстве и кем вступали они в свою семейную жизнь.

На основе документов, тщательно собранных, цитируя газетные и журнальные рецензии, отчеты и заметки тех времен, некто Бахман написал и издал в 1885 году биографию моей матери в ее девичестве. Вот, что я извлекаю из этой книжечки.

Еще девочкой, Роза Кауфман чуть ли не пяти лет, проявляла редкостную и феноменальную приверженность музыке. Музыка была ее детством и заменяла ей обычные игры и помыслы детей.

Еще девочкой – отставив всю детскость и детские забавы, она, целиком отдаваясь музыке, готовила себя к более ответственной и трудной жизни. И все тогда этому благоприятствовало – и радость бытия, и темперамент, и радость музыкальной деятельности почти профессионала, и ярко выраженный талант, и, конечно, молодость.

Еще девочкой – она уже концертировала, с заслуженным и большим успехом; так повествует, подкрепляя сказанное обилием рецензий и отзывов, ее биограф. Описанный им период был для девочки, а затем и девушки важным этапом становления профессиональной исполнительницы-артистки. Он длился, не прерываясь, вплоть до времени ее замужества – и закончился он вовсе не потому, что замужество вообще, меняя жизнь и психику любой девушки, закрывает последнюю страницу ее детства.

Нет, тут все шло по-иному. Своего детства она не имела вовсе. Детскую пору свою она заменила работой взрослого – работой над собою, работой музыканта, работой исполнителя. Это время было самым плодотворным. Этот период, который можно назвать периодом "трех имен", сыграл в ее музыкальном развитии фундаментальную роль. Из податливой глины три имени вылепили нужный им образ музыканта, влияя наставнически и образовательно. Три имени, три музыканта большой значимости и вдохновенности – сначала Игнатий Тедеско, когда она была еще ребенком, затем Антон Рубинштейн, проявивший большой интерес и заботу, когда она была уже признанной исполнительницей-подростком, и – Игнаций Лешетицкий в Вене; им, в его классе, и закончилось создание музыканта-исполнителя.

Не опасаясь упрека в сыновнем преувеличении, я скажу, что эти трое, каждый по-своему, порознь, – и все подряд – действуя, к счастью, в едином направлении, вырастили человека, достойного таких учителей. И когда сейчас задумываюсь я над судьбой этой юной концертантки, в моей памяти самопроизвольно оживает картина, как будто ничего общего с рассказанным не имеющая, как будто совсем иного порядка.

Несколько лет подряд, с 1907 года, наша семья проводила летние каникулярные месяцы в подмосковном имении "Райки" (по Северной железной дороге). Хозяином имения был большой лошадник и спортсмен, понимав-

ший толк в конном рысистом спорте; его лошади участвовали в бегах и брали призы.

И вот я внезапно переношусь в полутемную обстановку каретного сарая. Широкие ворота его пока еще закрыты. Последние минуты сборов. Молодая гнедая беговая кобылка уже запряжена в качалку и готова к выезду. В нетерпении перебирает она и перестукивает по деревянному настилу своими легкими и нервными ногами. Она неистово скашивает, до кровяных прожилков, свой крупный, блестящий, радостный глаз, следя за белой толстой замшевой рукавицей конюха, мягко оглаживающего ее атласную, глянцевитую шею. Я чувствую, ощущаю почти что, как она хочет ему крикнуть – ну, скорее же, скорей! Что так тянешь!

В нервном ожидании раздувает она ноздри, за запахом сарая чуя другой запах, знакомый, дразнящий – сырости песка беговой дорожки, других качалок и лошадей, дальнего ветерка... В этом смутном ожидании – внезапно распахиваются ворота: она, еще в полумраке сарая, своим внутренним глазом как будто видит яркий свет солнца, радостный миг предстоящего волнения и азарта бега; ощущение обгона, чернеющей толпы, уплывающей все дальше, затихшей и напряженной... но впереди – только парк и пыльная дорожка аллеи...

Кто знает – может быть и та девочка, так же волнуясь и спеша, ждала и предвкушала радость своей игры, своего темперамента, своего дара? Может быть и там, у выхода из артистической на залитую освещением эстраду, и ей не терпелось сесть за рояль... скорее же, ну скорее, чего медлить!.. Кто это знает?

Из той же изданной биографии мы узнаем, что Лешетицкий, считая ее уже вполне сформированным исполнителем, составил ей маршрут и программу большой концертной поездки по Германии, Франции и Бельгии. На ее запрос Рубинштейну, пианистка получила и от него полное согласие.

В античной греческой трагедии категорически ясно раскрывается роль *предначертания,* мойры, в жизни и действиях человека. Никакая сила характера, никакая воля к свершению желаемого не в состоянии противостоять или перечить решениям мойры.

Ряд последовательных ударов в жизни, при все возраставшем успехе музыканта-исполнителя, моя мать приняла очевидно за предупреждение: надо бросить и забыть помыслы о концертной своей судьбе раз и навсегда. Она приняла эти удары, как преследование рока. Она была на краю смерти. Она выжила, доктора поставили ее на ноги.

Необъяснимо и беспощадно, как миг катастрофы, происходит смена жизни молодой пианистки. Силы рока оказались более властными, чем все предшествование, которое определяло, казалось, путь ясный и открытый артистке. Предшествование вдруг отступилось, перестало существовать и направлять...

В 1889 году после свадьбы ее, после ее переезда в Москву – родился как бы новый человек с другими взглядами на свою новую жизнь, на понимание самой себя, на свое новое *предназначение.*

Так случилось, что семья, долг перед семьей и дело мужа-художника – полностью перекрыли все прошлое. Жизнь артистки была направлена теперь по совсем другому, новому руслу. С тем же прежним рвением, темпераментом и артистической широтой, с какими девочка, а затем и молодая пианистка всю себя отдавала *делу музыки,* так, в замужестве, она поставила новой целью жизни, деятельности и обязанности – *дело своей семьи.*

Такой вошла она в новый свой дом.

* * *

Другой артист, ее муж, художник, прошел путь детства и юности – до женитьбы – куда тернистей и обидней!

Его родители, люди совсем простые (мать – даже и неграмотная) любили его, как меньшого среди своих шестерых детей, возможно более горячо и нежно. И он отвечал им столь же пылко и преданно.

Его родители, как и все, их окружавшие, совершенно не знали, что существуют какие-то там искусства. Они знали, что бывают "живописцы вывесок", представлявшие высший ранг маляров. Мастерство "живописцев вывесок" определялось тогда степенью умения выполнить вывеску для "ренсковых погребков". Люди моего поколения помнят, верно, и это название (с подтекстом "распивочно и на вынос") и эти желто-зеленые вывески. Их характерный фон переходил спектрально и равномерно от чисто-желтого к чисто-зеленому цвету; что такая символическая гамма обозначала, я право не знаю, равно как и то, откуда она пошла; но – она существовала! Отменность плавности и неощутимой *постепенности* перехода была оселком мастерства. Неудачник же оставался в малярах, то есть продолжал красить крышу, заборы и т. п.

И вот – их малыш, их любимец – станет таким маляром?

Нет, их мечтой – осуществляемой, по мере сил, относительно старших детей – было дать и ему образование, вывести и его "в люди". В их мечтах мальчик становился или аптекарем, или лекарем, или, на худой конец, "ходатаем по делам"...

А пока что бедный мальчонка не мог взять в толк, за какую же провинность ему так здорово влетает, как только он начинал выводить на чистом, матерью до-бела оттертом, досчатом полу, или табуретке, угольком, вытащенным из холодной печки, разные штучки. Под внезапные материнские жуткие крики сыпались на него шлепки, подзатыльники, а орудие пачкотни – чудесный уголек, так красиво рисующий, выхваченный из его ручонки – описав красивую и широкую черную дугу – вылетал в открытое окно и исчезал в траве двора. Так прерывалась его художническая деятельность до следующего раза... Сколько шлепков и пóрок претерпел ребенок? Ведь бумаги для рисунка – он не имел!

Время шло. Ребенок с неистребимой страстью пачкать пол и все, что попадало под руку, вырастал в подростка, становился школьником, гимназис-

том, студентом. Всю зависимую от родителей жизнь он жил двойным существованием: внешне, в угоду родителям, послушно проходил лестницу образования, общую сверстникам; внутренне же, втайне, скрываясь от всех, продолжал рисовать, то самоучкой, то устроившись негласно учеником одесской рисовальной школы. Этот тяжелый участок юности он провел в постоянной тревоге и борьбе за свое любимое искусство. Он мог надеяться только на свои силы – никто не приходил ему на подмогу. Но вот – все закончено; он отбыл даже свой год военной службы, как вольноопределяющийся. Он стал самостоятельным; он целиком ушел в свое искусство, стал им впервые серьезно заниматься. Решает ехать в Москву – поступать в знаменитую Московскую Школу Живописи; его почему-то не тянуло в С.-Петербургскую Академию Художеств. Неудача! На двух конкурентов только одно вакантное место! Конкурентом была графиня Т.Л.Толстая. В результате экзамена – попасть в Школу не удалось. Он едет тогда, по советам, искать счастья и успеха в Мюнхенскую Академию Художеств. Там, по конкурсу, первым номером, попадает он в Академию. Мюнхенская школа дала ему много в отношении рисунка, но живопись там не удовлетворяла его; учиться надо ехать в Париж! Париж – вот источник подлинной живописи! Однако, вместо Парижа, он должен на время оканчанья университета возвращаться в Одессу, на родину. Оттуда (все "временно": впереди "Париж") в Москву, уже женихом. В Москве, еще женихом, пишет он свою первую серьезную картину – "Вести с родины", которую хочет выставить на Передвижной Выставке. Еще незаконченную, ее осматривает "сам" П.М.Третьяков! Картина ему нравится; еще не оконченную, закупает он ее для своей галлереи, куда картина поступает после выставки. Картина и на выставке имеет успех, художник завоевывает свое место.

Это совпадает с датой свадьбы. Невеста, пианистка Роза Кауфман, приезжает в Москву. После свадьбы поселяются они в первой их московской квартире.

С этого момента начинается совсем новая, для каждого из них, жизнь; не столько в том смысле, что они объединены теперь *общностью* семьи, сколько в деятельности каждого из них – в их обособленности, отмеченной теперь на все их будущее: он – художник и глава семьи, она – становится двигателем и душой семьи.

Свадьба родителей, двух артистов, состоялась в Москве в 1889 году. Первым пристанищем их в Москве была небольшая квартира в доме Лыжина, что в Оружейном переулке, неподалеку от Духовной Семинарии, в районе Триумфальной Садовой (няня наша называла ее Трухмальной). Здесь в 1890 году родился их первый ребенок, мой брат Борис. Тремя годами позже явился на сей свет и я. Мое рождение произошло уже на другой, более просторной, о четырех комнатах, квартире, в том же Оружейном переулке, но в доме Свечина. Сейчас я держу в своей руке конверты, адресованные отцу, с указанием и переулка и имен этих домохозяев; в те времена было более надежным сообщать фамилии домовладельца, нежели номера зданий. На синих, иногородних марках штемпеля С.-Петербургской почты удостоверяют даты

проживания в этих домах адресата. Отправителем, на этих конвертах, значится журнал "Север", с которым у отца были деловые связи; он тогда иллюстрировал "Войну и Мир" Л.Н.Толстого. Все это относится к 1891, 92 и 93 годам.

В доме Свечина семья прожила недолго. В 1894 году она перебирается, теперь уже на более продолжительное время, на Мясницкую улицу, о чем разговор пойдет много дальше.

* * *

Как я уже отметил, нашим вторым воздухом, которым мы дышали, в котором воспитывались наши чувства – были звуки и запахи.

Звуки возникали всякий раз, как только мать садилась на особый, "ее" стульчик, обитый темнокрасным бархатом, перед подобием шкапа, черной, блестящей, как зеркало, поверхности; открыв, то есть откинув дверцу, она начинала, то сгибаясь вперед, то откидываясь назад, мотая туда-сюда головой, что-то делать руками – либо разводя их в стороны, либо быстро-быстро собирая их снова вместе. Другими словами, звуки рождались, когда приходила в движение прочно сидящая на стуле фигура мамы.

Никаких звуков никогда не издавал этот шкап, если кто-либо другой, например папа или няня моя, садились даже на тот же красный стул, перед той же блестящей черной доской, со мною на коленях. Нет, тогда он молчал! Я мог дотянуться до свечи, торчащей в какой-то золотой ножке, мог схватить и ножку, даже сдвинуть ее либо слева направо или наоборот – но и тогда он презрительно и упрямо молчал.

Когда я, ползая на четвереньках, подлезал к этому шкапу и хватался за другие, тоже золотые, торчащие штуки, на которые, как на скамеечки, ставила мама свои ноги, одна из этих скамеечек оседала под моим телом, и вот тут уж кто-то в шкапу просыпался, вздыхал очень недовольно и тяжко, даже стонал и , верно ворочаясь, задевал за колокольчики, вдруг прозрачно и тонко звенящие – я же, оторопев и изрядно напуганный – спешно отползал подальше от загадочного узника. Тогда он успокаивался и все затихало. Мама же его видно не боялась – скорее он сам боялся мамы.

* * *

Когда я в самом начале моих рассказов помянул, как неизбежность, долю фантастичности в изложении моих воспоминаний, я, в расшифровке, имел в предмете следующее: несомненно, некоторые эпизоды моей совсем ранней жизни не проходили мимо меня впустую. Всего вероятнее я кое-что запоминал, сам не понимая, что к чему. Возможно, впоследствии, взрослые что-то добавляя к этому, разъясняли, повторяли свои рассказы, и тогда мои неосознанные в свое время грузы памяти обретали некую облегченность, эластичность, даже просветление.

Не напоминает ли сказанное восторгающие детей "сводные картинки"? Вначале они покрыты сизым, нивеллирующим налетом, за которым не всегда правильно угадываются истинные краски; но стоит смочить их и, растирая пальцем, равномерно сводить слой белой бумаги, слезающей в стороны серыми катышками, как – смотри! – вдруг обнажается и появляется нежнейшая пленка изумляющей расцветки, картинки невиданной красоты, блистающие и свежестью своего рождения и незабываемой яркостью чистых еще красок! Так однажды, уже большим мальчиком стоял я совсем зачарованный, впервые увидев, как из старого, иссохшего и пыльного футляра на полный яркий свет солнца стала выдираться какая-то бабочка. Я не знал – то ли ей помочь – но как? – то ли, раскрыв рот, стоять и смотреть, что будет дальше. Когда после долгого стояния и ожидания, наблюдая всю мучительность операции, я дождался финала – я был полностью вознагражден сказочностью красок и нежностью отлакированных крылышек, которые она расправила для просушки, обессиленная и отдыхающая после своего неимоверного труда.

Как под красным фонарем желтая сплошная эмульсия фотографической пластинки начинает, кое-где, местами темнеть, и намеки заснятых эпизодов наконец начинают выявлять себя еще бесформенно, но на нужных местах, так и мои подспудно лежавшие неподвижными глыбами запоминания от рассказов взрослых, от их добавок и пояснений, начинают высветляться, достигать легкости видений, расцвеченных просыпающимися эмоциями, приперчиваются фантазией, и тогда все легко переходит в разряд уже будто осязательности факта. Кто скажет, что в действительности все шло иначе? А, свершившись, однажды, такое признание факта становится и не последним.

Оказывается – ты бродишь по замечательному саду легенд; некогда пережитые и оставившие свой слабый след эпизоды, теперь выражаемые словами, обретают смысл и форму.

* * *

К таким совершенно легендарным видениям надо отнести, скажем, воспоминания о домашних вечерах и концертах, бывавших у родителей в пору моего самого раннего детства. Их я, конечно, запомнить не мог. Но они могли совмещаться с эпизодами моей жизни, побочными, мало интересными, случайными, которые однако имели для меня большое значение, и потому запоминались.

При таком совмещении эти события легко превращались в будто бы мною самим в детстве пережитое, в запомнившиеся факты моей личной детской жизни. Поясню. Вдруг кто-то на цыпочках входит в темную детскую, где спят – или должны спать – два мальчика, два брата. Входит, хотя и тихо, но с зажженной свечой (электричества не существовало). Подвижной свет разбудил меня – как раз в тот момент, как я ясно увидел какое-то страшно-чудовищное *нечто,* с невероятной, мгновенной быстротой пересекавшее из

угла в угол всю комнату – по стене, потолку и противоположной стене, скрывшись в дальнем углу на полу: в этот самый миг рядом, в другой комнате раздались какие-нибудь такты музыки концерта. Всем этим испуганный до потери дыхания я не сразу закричал и заплакал. Напрасно меня уверяли, что все мне померещилось, и дугой пролетела только тень от руки, закрывавшей свет свечи, напрасно пытались, довольно идентично, воспроизвести эффект: в памяти – и навсегда – осталось *видение* мохнатого, непонятно-страшного, сопровождаемого громкой музыкой. Память говорит о единении зверя с музыкой; а истину – о концерте или "вечере" – узнаешь только через много-много лет! Подобного рода "видения" устанавливают общий и существенный ход жизни семьи: первые годы небольшая семья, сам-четверт, проводила в шумной, хорошей и веселой, может быть даже богемистой сутолоке частых и многолюдных сборищ. Вероятно, именно от этих сборищ и оставались еще долгие годы в чулане большие бутыли белого или зеленоватого стекла, с этикетками, на которых печатными буквами – по слогам я уже мог прочитать слова, не понимая смысла – стояло: "Столовое (белое или красное) вино Удельного Ведомства", с присовокуплением совсем уже странных букв: "Двора Е.И.В.", с очень рельефным, почти натурально изображенным оттиском сургучной печати, даже с отдельной каплей расплавленного и глянцевито-застывшего сургуча. Такие красные сургучные печати я в натуре видел на письмах к отцу и мог оценить точность изображения на этикетках. Может быть я и забыл бы вовсе и об этикетке, и о бутылке, и о "Е.И.В." – если бы не обманная хитрость взрослых, желавших меня одурачить! Они называли эти бутылки, для меня – громадины, – *четвертями*! Не ведая, конечно, математических измерений веса и емкостей, я, однако, по личному опыту знал, *чтó* на самом деле значит четверть! Ведь не раз, когда я не доедал положенной мне тарелки супа или бросал есть котлету, меня всякий раз уговаривали на один лад: "Ну съешь еще чуточку, ну хоть *четверть* ложки или *четверть* кусочка котлетки", вкладывая в это надоевшее слово "четверть" одну и ту же мысль, что эта "четверть" – явление весьма малое, против даже такой невеликой вещи, как мамины котлеты! И вот глупость какая! Меня хотят уверить, что эти громадины, которые чуть ли не с меня ростом, всего-навсего "четверть", то есть нечто весьма малое. Из-за такой подтасовки бутыли-то мне и запомнились, как большой важности факт жизни. Такие вот "факты" и сопутствовали и завладели мной и сливались с общими, непонятными картинами той жизни, среди упомянутых запахов и звуков. Да и сама музыка завладевала мною без объяснения, откуда она, кто такая, зачем она и т. д. и т. д. Она запросто, не постучавшись, входила в меня беспрерывно и беспрестанно. Для музыки я был как бы пустым сосудом, в него сливали без начал и без концов музыкальные обрывки, фразы, мелодии, как своего рода звуковые краски.

Мама играла в соседней комнате. Когда она, устав, прекращала на время игру, музыка в воображении продолжалась; как будто стены, мебель, даже игрушки – все отдавало теперь вобранные в себя мелодии. Совсем как тот

знаменитый почтарский рожок (в трепотне барона Мюнхгаузена), который вмораживал в себя на трескучем русском морозе веселые мелодии почтальона, а затем, в харчевне, у камина отогревался; тогда вся музыка, вмерзшая в него на морозе, а сейчас в тепле освобожденная, вылетала и оглашала собой удивленных постояльцев.

В те далекие ребячьи мои годы музыка владела мною, как своей собственностью. Конечно, я в ней ровно ничего не понимал. Я впитывал в себя "нечто", какие-то, вероятно, картины-видения, то радующие и приятные, то, как неизбежность, мучающие. Одни мелодии что-то нашептывали, другие что-то требовали, грозные и властные. Были и как грозовые, в черных тучах, в вихрях бури, среди молний и грома, что, как и гроза в природе, хотя и пугала, но не отпугивала, а хотелось громко и радостно вопить. Разная звучала музыка; бывала и легкая, быстрая, как катящийся мяч, бывала и такая, которой казалось и конца не будет и она, то закручивалась, то раскручивалась все более и более, ну совсем как когда льешь медленно из чайной ложки густой сироп или янтарный мед – тонкая струя вьется непрерывной нитью, вырисовывая на блюдце восьмерки, иные разные сложные фигуры почти что орнаменты, что мне по ходу музыки хотелось (и удавалось!) нарисовать – к недовольству и попрекам няни, что, мол, нельзя баловаться с едой.

Бывала и такая, которая уподоблялась грохоту катившихся весной, по оголившейся булыжной мостовой, пролеток извозчиков.

Мой брат, на три года обогнавший меня в жизни, объяснил мне однажды, что мама играет, как будто она едет с больным сыном (опять ерунда – никакого сына еще, да к тому же больного, у мамы, кроме нас, не было!), и он на коленях у нее, не доехав до дома – помирает. В этот момент музыка двумя громкими, как крик, ударами, обрывалась.

* * *

Я не могу сказать, с чем связать появление фигуры человека, потом у нас запросто бывавшего, очень ладившего с музыкой. Запомнил я его по разным странностям, возникавшим в момент его прихода. Все – начиная с его нерусской фамилии – было странным; его фамилия для меня разделялась на две части; так часто говорили взрослые: одна часть – это имя, другая – что-то дополнительное к имени, а тут обе звучали очень чудно – "гржи" и "мали". Странен был и вид этой фигуры, делящейся, как и фамилия, на две почти равные части – верх был всегда однотонно черен, низ же в перемежающуюся полоску – то светлосерую, то темносерую – штанов. Кроме того у него сзади болтался птичий, двойной, черный же хвост с очень странным и грозным названием "фал-ды". В те времена взять в толк я никак не мог, возникало ли это чудно́е видение с хвостом – как следствие или, наоборот, как причина не маминых, то есть не рояльных звучаний, а каких-то совсем иных. Звуки – и те и другие – то сплетались воедино, как будто мама с ним гуляла

за руку, как с нами, то вдруг расходились; тогда мама переставала играть и как будто ждала, пока он там один искал к ней дорогу.

Со временем же не птичьим хвостом, а именно этими своими замечательными звуками и игрой становился он мне приятен и очень мил. Оказался же он известным в Москве скрипачом высокого класса, чехом Иваном Войцеховичем Гржимали.

Подобно другому музыканту, у нас нередко игравшему, виолончелисту А.А.Брандукову, Гржимали, зародившись еще среди легенд, перебрался потом в мир, мне постепенно открывавшийся. А ведь тогда, кроме них двух, у нас бывали и многие другие, то игравшие, то певшие настоящими человечьими голосами, и очень красиво, то только говорившие – или спорящие – курившие и не курящие, словом, кто как; все они, вместе взятые, создавали тот особый, взрослый мир, другой, не наш; они-то и рождали, вместе с мамой, ту музыкальную ауру, которая нас, тогда еще только двух мальчиков, как бы окутывала и куда-то завлекала.

Переход мой из слепого котячьего мира в прозреваемый – совершался не сразу. Мы все еще жили во флигеле, сад все еще существовал, мы с мамой все еще гуляли в нем; но в воздухе уже начинало пахнуть новым, не всегда лучшим, веянием. Когда мне пошел четвертый или пятый год жизни, рамки всего так раздались, что очень многое, даже в пределах нашей детской комнаты, приходилось осваивать, как переезд в совсем новый город. Звуки оставались, оставались и запахи отцовой работы, но теперь уж "рояль" и "мольберт" – а с ними и множество иных реальностей – находили свои определенные места в моей новой жизни. Даже костюмы наши становились иными, с нами взрослея. В особо торжественных случаях я начал ходить в длинных брюках и в матроске, с настоящим, то есть напечатанным синим воротником.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЖИЗНЬ ВО ФЛИГЕЛЕ

Конечно, не в длинных брюках или в курточке гимназического покроя (позже, правда) было тут дело.

Дело, скорее всего, было в том, что многое, ранее не имевшее еще своего имени, то есть лица, стало постепенно получать точное определение и собственное именование. Аморфное, туманное и расплывчатое – стало уплотняться, обретать конкретность и материализованную форму понятий и предметов. Было, собственно, так, как если бы я стал вновь встречаться с людьми, давно уже известными мне по наслышке, но только сейчас определившимися по имени и с лица; скажем – этот становился Петром Петровичем таким-то, а тот, другой – Иваном Ивановичем, с горбатым носом – и тут уже нельзя было путать одного с другим и каждый никем другим стать более уже не мог. Услыша, что пришел Петр Петрович и еще его не видя, я не сомневался, кого мне предстоит увидеть.

Касалась же такая персонификация не только людей, но положительно всего, что меня окружало. Бывало, что на пол-деле или пол-мысли меня внезапно останавливала какая-либо случайно (но – случайно ли?) зазвучавшая мелодия, не раз слышанная мною, с ранних дней моей жизни. Но только в этот миг она тем озаряла себя, что заставляла меня чуть ли не вскрикнуть – батюшки мои! Да ведь это из..., или как-нибудь иначе, как восклицают – А, Петр Петрович! Да вы ли это? – и мелодия обретала сразу свое имя–отчество, скажем, из "Демона" или из "Пиковой Дамы", или из любого другого имярек. Как будто бы все, ну положительно все, теперь начало себя представлять – "здравствуйте! я – такой-то!"

Такое невольное узнавание, как очень давнего, но множество лет не встречавшегося знакомого, проходило через всю мою жизнь. Совсем недавно, например, слушая музыку никогда казалось бы ранее не слышанного Монтеверди, я внезапно вздрогнул, услышав нечто, некогда слышанное, а потом начисто забытое, из репертуара певицы, часто бывавшей у нас во флигеле у матери и под ее аккомпанемент певшей приятным голосом. Очевидно Монтеверди включался в ее программу. Но с тех пор я его более не слыхал; да его и не исполняли вовсе; забытая музыка!

* * *

Как и прежде, дом был полон звуков, полон и запахов. Но теперь я знал и мог уже различить, кто и на чем играет, кто и как исполняет. Знал почти

полный набор вещей и композиторов, которых исполняла либо сама мать, либо разные музыканты, приходящие к ней. Теперь-то я уж не заблуждался насчет того, кто же поздней ночью скакал по лесу с умирающим сыном... Да и запахи красок и скипидара стали теперь менее интересными, чем, например, мольберты, подрамники и холсты, со своими особыми запахами. Теперь я уже все это знал и понимал, что к чему.

Когда семья переехала во флигель Училища – мне было, вероятно, года полтора-два. Вряд ли что в обиходе и жизни семьи могло бы измениться, по сравнению с жизнью "у Лыжина" или "у Свечина".

По зрелому размышлению нечему было и меняться: все шло как и там, своим естественным ходом и чередом – у отца по линии закрепления и развития заслуженного признания и к наращиванию мастерства в своем деле. Тут никаких подводных камней и рифов не было; а все эти "муки творчества" (так отцом была названа одна из наиболее ранних картин его), о которых я много споров и разговоров слышал еще в детстве – были, в конце концов, обычным и неизбежным сопутствованием деятельности истинных творческих людей и никакой их немощи не обозначали.

Точно также и у матери все было устремлено к наилучшему выполнению принятых однажды и более не ревизовавшихся обязательств перед семьей и по домоводству. Как и в тех, предшествовавших двух домах, так и в этом, новом, в деловую жизнь неотъемлемой частью ее входила и музыка, всегда у нас звучавшая.

В такой двойственной роли – "дела" и музыки как "без дела" – мы наблюдали нашу мать и теперь, но с бóльшим пониманием смысла происходящего. И, если бы тут оказались свои рифы и подводные камни, то мы могли бы ощутить их незримое присутствие, хотя бы в том, что музыка звучала бы тоской по заброшенному – ею самой – судоходному фарватеру пианистки. Но нет, мы всегда видели ее в ровном, деловом, спокойном – и скорее даже в *хорошем* настроении и состоянии духа! Мой старший брат, которому в ту пору могло бы открываться гораздо большее, чем мне, даже он не замечал подавляемого матерью желания вдруг повернуть вспять, к полю творческой деятельности музыканта-исполнителя, некогда ею покинутому и постепенно зараставшему бурьяном.

Но прав ли я сейчас? Не было ли, все же, на деле того, что теперь меня часто смущает? Что запрещение исполнительства, добровольно на себя наложенное, не вызывало ли в матери частых, но скрытых оплакиваний и терзаний, постоянного подавления в себе врожденной тяги, постоянного насилия над своим "я"? Тщательнейшим образом скрываемых от всех, даже от самой себя, слез и волнений? Кто скажет?

Неопровергаемо ясным было для нас, что отец был – художником; что он учил этому делу в Училище; что это его дело – было *для всех,* а не ограничено для самого себя одного. У старших такая определившаяся деятельность имела свое обозначение – "профессия". Все, что делал отец – составляло его профессию. Не прибегая к такому мудреному слову, мы именно в таком плане и понимали сущность отца и так ее оценивали.

Впрочем – оговорюсь: я вовсе не хочу сейчас определять удельный вес отца-художника или находить и ему место в энтомологической коллекции, под стеклом, куда искусствоведы так быстро и умно насаживают на булавку, ловко попадая в самую точку, своего подопечного.

Нет, этого я не хочу!

Но мне хочется указать на то, что я уже и тогда стал понимать: деятельность отца была существенна не тем, что она давала семье материальные блага и возможности, а тем, что волновало отца, да и мать также, после закрытия выставок, после прочтения рецензий, после обсуждений с приходящими; то есть тем, что являлось результатом отцовой деятельности. Именно это – деятельность и результат ее – давало отцу лицо и смысл его жизни.

Ну, а у матери? Что давало ей лицо – и что было ее сутью? Ведь и она имела определившееся, бесспорное и всеми почитаемое положение – и смысл – как в жизни семьи, так и в деятельности мужа.

Как это понимать?

Человек добрейшей души, все свои силы и весь свой темперамент отдала она тому, чтобы сложный и противоречивый механизм семьи и профессии художника шел полным ходом, без толчков и ухабов, нигде ни разу не сходя с рельсов; она создавала отцу возможность никогда самому не участвовать в движении этого механизма; ему только оставалось рисовать нас или портретировать других, то есть, когда те без дела сидят, самому в поте лица своего делать свое дело и притом быстро и неутомимо.

Все время он то отбегал от мольберта и издали зорко наблюдал натуру, то быстро подбегал, что-то запомнив, к холсту и мазнув кистью раз, другой – снова отбегал, также быстро, иной раз даже не повернувшись, пятясь, в глубь комнаты.

В такой отбежке–подбежке видно все его дело и состояло, и в сверке – издали – насколько истинно он, своим трудом, переносил душу натуры на холст изображения. Такое таинство переселения души позирующего на полотно, что и есть портретирование, часто сопровождалось, для поддержания жизни натуры, либо игрой моей матери на рояли, либо ее же разговорами, развлекающими позирующего. Почти как личная секретарша, она, участвуя в отцовских делах, переписке и переговорах, снимала с него все, что могло бы его волновать; она оставляла на его долю лишь одно волнение, ему нужное – волнение творчества.

И – когда все было ею уже сделано, когда всему было дано направление и механизму дан надлежащий ход, когда мог быть разрешен ей отдых – тогда она внезапно превращалась из машиниста в совсем иную маму, маму звуков, в чудесную пианистку. Тогда ей становилось нипочем сбросить весь механизм с рельсов, отдаваясь миру чувств, миру романтики, эрлькенигов, ундин, эльфов или ноктюрнов и баллад Шопена...

Вот тогда я начинал понимать, для чего, собственно, человек живет. Вот так, в указанной двойственности ее сути – мы понимали смысл ее жизни. Двойственность, естественно повторяемая, приобретала в наших умах такую

же действенность, как и деятельность отца. Другими словами, двойная игра мамы – машиниста и музыканта – стала закономерностью ее бытия. Установив такой путь своей жизни, она отдалась ему всей своей артистической душой. И с инстинктом лучшего выполнения, с каким пчела, нигде не изучив законов геометрии, лепит идеально-геометрическую форму ячеек сотов, лепила и мать нужную форму семьи и своего дома – и своей музыки. А мы, не зная фактически ничего о музыке, свыкались в эти годы с сутью музыки. Теперь могли мы точно определять географию, в какую сворачивала вот сейчас наша мама из только что отзвучавшей страны. Постепенно над всем глобусом музыки стала преобладать география музыки Шопена.

* * *

Двор Училища, вернее три двора, составлявших единое владение, было угодьем крупного размера, даже для тех далеких лет. Из трех дворов основным, и как бы парадным, был самый большой, с садом в его середине. Сад был разбит, очевидно, давно, судя по тополям, росшим по его обводу. Сад был огорожен высоким штакетником из хорошо оструганных кольев, окрашенных в приятный краснокоричневый цвет. В зелени газонов были распланированы дорожки и небольшие площадки, посыпанные красным песком. На этих площадках были врыты в землю скамьи. За садом был хороший уход. Помнится, что кроме газонной зелени, там ни клумб, ни цветов не было.

В саду, подчиняясь строгости и добропорядочности его стиля, всегда царила чинная тишина; о шумном весельи не думалось. Сад занимал почти всю площадь двора; вокруг сада оставались лишь неширокие проезды к зданиям, обращенным к нему лицом.

К центральному двору примыкал, а вернее сказать от него отмыкался – и именно нашим флигелем – другой двор, длинный и узкий, именовавшийся либо "черным", либо, что было яснее, "задним" двором. Примечательностью – для нас, мальчиков, – были сараи, стоявшие вдоль двора и означавшие границу с соседским участком. В наиболее от нас отдаленном – помещался коровий хлев, а в нем стояла директорская корова. Изредка до нас доносилось ее грустное мычание. Самой коровы мы никогда не видали. Но, кроме мычания, ее присутствие обнаруживалось в том, что время от времени из коровника, прямо на чистый снег, выбрасывалась почерневшая, подопрелая подстилка, смешавшаяся с навозом. От этой кучи некоторое время шел белый плотный пар, дымившийся на морозе клубами. В среднем сарае интереса никакого не было – там хранились дрова и разный хлам.

Почти насупротив окон нашей детской стоял третий, вместительный, кирпичный сарай, не оштукатуренный, с огромными воротами. В этом, наиболее для нас интересном сарае зимами гостили громадные, плоские ящики, хорошо пригнанного, чисто оструганного свежего дерева, с четко выведенными черной краской надписями, с изображениями громадных бокалов на тонких ножках и восклицательных знаков. В течение зимних месяцев ящики эти привозились откуда-то на розвальнях, стоймя. Четверо, а иной раз и шестеро

училищных сторожей натужно на руках поднимали ящики и, бережно переступая, исчезали с ними в недрах сарая. Затем ворота закрывались, их замыкали большими висячими замками, до следующего приезда таких гостей. В этом скрывалась какая-то тайна; хотя процедура, свершавшаяся каждый год, давно уже перестала быть тайной для нас, все же, что-то еще неизвестное скрывалось за запертыми воротами. Интерес к этому был не столь велик, когда ящики исчезали за дверьми. Он достигал вершины, когда веснами, эти же зимние гости, снова и все подряд, оказывались на ярком солнечном свету, перед настежь распахнутыми воротами сарая. Их с осторожностью приставляли, все еще стоймя, к стене, либо к специальным пудовым козлам; затем вывинчивали винты, которыми крышки накрепко были прихвачены к боковинам. В ящиках оказывались громадные, темные картины в яркоблещущих на солнце золотых рамах, очень массивных, с разными завитушками, гирляндами, крупными яблоками и грушами, от которых начинали скакать по стенам "зайчики". Рамы внушали почтение и даже зависть, потому что такой пышности и дородности в отцовском рамном обиходе никогда не бывало. Случалось, что в одном ящике оказывались две такие картины – одна была привинчена к крышке и так ловко, что обе друг дружке не мешали и каждая жила сама по себе. А все это великолепие – золота, блистающего на солнце, темных, глубоких и величественных полотен живописи – составляло содержание очередной весенней выставки Товарищества Передвижных выставок; она устраивалась в классах Училища, на время каникул. Мы вправе были гордиться тем, что первыми, задолго до открытия выставки и прежде всех посетителей знакомились с ней непосредственно по оригиналам, когда в медленном темпе почти похоронного шествия проплывали перед нашими глазами эти картины, легко колыхаясь на руках двух или трех пар служителей.

Странной примечательностью был отличен и последний, третий, двор. Тремя своими сторонами, застроенными единым жилым корпусом, изогнутым в виде буквы "п" с очень короткими ногами и очень вытянутой перекладиной, двор граничил с садами соседских владений. Открытой стороной двор этот был обращен к нашим двум, выше обрисованным. Не "нашим" он был потому, что принадлежал, как мы полагали, тамошним жильцам.

Странным отличием его была большая и довольно высокая прямоугольная платформа, нечто вроде срезанного плашмя кургана, или плато, со скошенными боковинами. Назначение этой насыпи было неизвестно. Откосы и почти вся поверхность платформы были покрыты густой, зеленой, яркой травой. На платформе росли старые деревья; запомнилась береза, под которой стоял длинный стол и скамьи, все накрепко врытые в землю. Летом вид холма напоминал более деревенскую околицу, нежели "двор" городского владения. Платформа вписывалась в площадь двора так, что вокруг нее оставались только узкие подъезды ко входам в дом.

Двор имел свое ходовое имя – "Швейцарский"; но не по сходству – из-за плато – с Швейцарией, а по причине своего населения, состоящего в ос-

новном из семей училищных швейцаров; здесь же обитали и семьи дворников, истопников и сторожей. Мы водились и играли с детьми этих семей, нашими однолетками, и часто сходились тут для игр. Особенно весело и шумно бывало здесь зимами, когда откосы превращались в ледяные горки. Умельцам съезжать на салазках удавалось докатываться чуть ли не до нашего парадного. Тогдашние салазки не были похожи на нынешние санки, шведского прообраза. Салазки в уменьшенной копии повторяли конструкцию и характер настоящих русских розвальней. Ни одного гвоздя, ни единой металлической части – даже и железных полозьев. Одно только дерево и лыко, стягивающее, как тетивой, все детали, соединяемые врезкой и распором. Чрезвычайно умная и надежная конструкция!

Для малышей к таким салазкам прикреплялась специальной формы удобная плетеная из ивняка корзинка. В ней было уютно сидеть и так тепло дремать, когда тебя везла няня.

Такими салазками торговали обычно на площадях Москвы, например на нашей Тургеневской, около магазина Эрманса, где для нужд хозяйства покупались всякие аптекарские товары, парфюмерия и свечи. За такими салазками мы приходили сюда с няней, возвращались же домой в ином виде: няня – в виде лошадки, запряженной в новые санки, я же в виде седока; так мы проезжали по площади, сворачивали на Мясницкую улицу, чаще всего пустую, и Юшковым переулком въезжали к нам во двор.

* * *

Художники-преподаватели Училища живописи пользовались мастерскими, размещенными в училищном здании, в его крыле по Юшкову переулку. Там же была и отцовская мастерская. Впервые туда попасть я мог не раньше, чем когда меня стали водить, а не на руках выносить в сад, и притом, когда не няня, а уж сама мама выходила гулять со мной. Однажды она пошла со мной гулять, но мы направились почему-то не в сад, а к выходу со двора в переулок. Не доходя до ворот, мы вошли в дверь, в торце высокого пятиэтажного кирпичного, неоштукатуренного дома. По светлой и просторной лестнице со многими поворотами мы поднимались все выше, наконец около какой-то белой двери мать остановилась (сколько раз приходилось мне позже ходить в эту белую дверь – к отцу, а потом и к себе самому, когда я кончал это училище!) и, держа меня за руку, толкнула дверь ногой. Отчаянно завизжав и сердито заскрипев от такой обиды, дверь пропустила нас в коридор, широкий и светлый, с некрашенным дощатым полом, не очень чистым; панели были выкрашены в тот цвет, который взрослыми назывался "казенным". Пройдя несколько одинаково обитых коричневой клеенкой дверей, у одной такой же мать остановилась и дернула за ручку, подобную висевшей и у нашей входной двери во флигеле.

В ответ раздался мелодичный перезвон колокольчика; дверь открыл отец; мы вошли в очень небольшое и узкое междудверное пространство –

”тамбур”. Из этого междудверия мы попали в громадную, очень высокую комнатищу; кроме нас троих там никого не было.

Многое в этой комнате было необычным и настораживало непривычностью; все было для меня новым, кроме запаха, здесь царящего над всем остальным; запаха очень знакомого – масляных красок, скипидара и в дополнение – ужасающей пыли! Пыль лежала на всем толстым ватным слоем, не убиравшимся, вероятно, годами.

Первое, что приковывало к себе внимание – что оказалось самым для меня новым и невиданным доселе – было громадное, во всю почти стену, окно, если почти стеклянную стену можно было назвать ”окном”. Все оно составлено было из большого числа простых, как у нас дома, окон. Эта стена из окон выходила в Юшков переулок. С окна глаз перебегал на серый, некрашенный дощатый пол, как и в коридоре, очень пыльный, впрочем как и все остальное: масса странной дребедени, не похожей на мебель, заполняла комнату. Забавлял вид какого-то второго пола, также дощатого, темнокоричневого, на невысоких толстых ножках; на нем боком стояло кресло, возле стола на одной ножке. И кресло, и стол, и все, что еще стояло на этом втором полу, было прямо на его досках оконтурено мелом. Не дай бог сдвинуть что-либо с места на этом полу!

Затем внимание устремлялось на коричнево-вишневую, темную байковую штору, с более светлой, очевидно выгоревшей, изнанкой. Штора состояла из нескольких раздельных кусков, которые ходили на кольцах – какие вверх и вниз, а какие – в стороны.

Но, кроме своего первичного назначения – затемнять комнату от слишком большого света – штора имела и вторичное: об изнанку шторы вытирали кисти и те светлые и гибкие ножи, которыми мама очень часто при мне счищала тонкими лепестками с папиной палитры старую присохшую краску; руки также вытирали о нее. Об этом говорили следы и свежие и давно уже тут оставленные. Загроможденность громадной комнаты особенно поражала. Трудно было повернуться, не зацепив чего-либо. Тут запрещалось до чего-либо дотрагиваться, потому комната теряла для меня всякий интерес.

Но некоторый, накопленный еще по квартирным похождениям опыт у меня был. Я знал, например, что в этих плоских деревянных ящичках – а их тут было великое множество, разбросанных повсюду, раскрытых и закрытых на замочки – на вначале чистой, белоснежной вате, сейчас уже очень многоцветно-грязной, лежат стройными рядами, одинаковые по толщине, но разные по цветам, палочки, которыми можно было – в случаях разрешения! – легко проводить цветные, яркие линии.

В этой большущей комнате царила, подобно неизменному, ее отличающему запаху, столь же присущая ей полная тишина. Вероятно – от пыли. После нашей небольшой, но чрезвычайно чисто прибранной, опрятной и уютной квартирки, звучащей радостью, эта тишина, эта пыль и эта однообразность большого, но заставленного всякой всячиной помещения – меня сковывали и лишали естественного интереса к пребыванию там. Куда приятнее и лучше

было упросить поставить меня на широкий, как стол, подоконник: прижавшись носом к стеклу, я глядел на противолежащий двор, с садом при церкви, где тамошняя детвора превесело чем-то занималась; можно было наблюдать за стайками голубей на крышах домов; голуби слетались туда и глупо-деловито-быстро бегали, точно на колесиках, все время кому-то кланяясь; кошки извиваясь, подкрадывались к ним, но почти всегда безрезультатно – голуби с треском взрывались и куда-то смывались. Конечно, такая жизнь куда интересней, чем отцовская мастерская!

Впоследствии, через много десятков лет, в архиве отца найден был забытый всеми пастельный рисунок, относящийся к описываемым годам, сделанный из этого же окна: пейзаж церковного двора. Глубокая золотая осень, красные крыши зданий, проглядывающие через кроны деревьев и горящие на закатном солнце розовеющие облака – замечательная гамма красок! Судя по наклейке на оборотной стороне, этот эскиз был выставлен в 1904 году на очередной выставке Союза Русских Художников.

Сейчас он находится в квартире моего покойного брата, в Лаврушинском переулке.

* * *

Выше я упомянул о наших играх во флигеле. Я не коснулся бы такого малоинтересного вопроса, если бы, на примере игр моего сына и его сверстников подобного возраста или моей внучки и ее поколения, я обнаружил бы что-либо отдаленно хотя бы похожее на те – наши – игры. Однако, не только подобного, но даже намека на желание так вот играть – я не наблюдал.

Разбираясь же как-то в родительских архивах, я набрел на "вещественное доказательство", сразу оживившее мои и без того прочные воспоминания об этих играх; по своеобразному характеру они были интересны не только мне. Я не убежден, но вполне допускаю, что игры детей чаще всего инспирируются духом окружения.

Если историки культуры, историки этнографии и этнологии находят – и справедливо! – в масках, в обрядах, в пещерных и наскальных рисунках прямое отражение охотничьей, военной, ритуальной или семейной жизни аборигенов, стоящих на примитивном уровне развития, – то почему не допустить того же и в играх детей, то есть подобного "отражения" окружающей их среды? Вероятно, и наши тогдашние игры, в таком понимании, что-то несомненно "отражали".

Наиболее частой и любимой игрой нашей, неизвестно как и кем придуманной, скорее всего старшим братом (но не взрослыми! за это я ручаюсь!) было устроение "выставок картин". Коноводом и "теоретиком", конечно, был Борис. Но понимание и гутирование смысла игры у нас обоих было одинаковым.

Мы оба, каждый на свой риск и страх, рисовали предварительно разные картинки карандашом или цветными карандашами (даже акварелью). Не

сговариваясь заранее ни о сюжетах, ни о манере исполнения, мы добивались наибольшего разнообразия. Мы крайне серьезно относились ко всей процедуре. Темы и мотивы были навязаны репертуаром передвижничества – совсем не из юмористических соображений, хотя в воздухе нашей квартиры и пахло достаточно явно идеями новаторства, но просто по той причине, что мы такие мотивы и темы видели и знали по выставкам. Вот на один из таких наших рисунков я и наткнулся среди бумаг отца, относящихся к 96–98 годам прошлого века. На вырванной из тетради страничке, цветными карандашами, я изобразил тарелку с арбузными корками; "картина" была подписана "Мясоедов" (почему именно он? Не знаю!), а названа – "как вкусны были арбузы". На обороте был проставлен номер. Все – как полагается, и именно так, как мы часто видели. На обороте, кроме того, уже рукой отца записано: "рисунок Шуры, 1897".

Нарисовав достаточное количество "картин", мы составляли каталог и развешивали картины по стенам нашей детской. Затем на "вернисcаж" (это было тогда ходовым словом, более естественным, чем теперешнее "открытие") приглашались все обитатели квартиры и гости, случайно присутствовавшие в данный момент.

Такую игру мы очень любили, к ней часто возвращались, каждый раз рисуя другие, новые картины.

Родители к игре не прикасались. Их даже изгоняли из детской, чтобы они "не мешали".

Мне думается, что в идее такой игры сказалось не только возможное обезьянничание. Скорее нечто новое, ведь вот не подражали же мы в играх музыке, звучавшей почти постоянно в квартире, – а ведь в эти годы брата уже водили на "утренники"-концерты. Нет, мы не подражали в нашей игре, а выполняли то, что накладывало свой отпечаток, почти деспотический, на всю нашу семью, на ее частную жизнь. Над всем доминировала живопись, до такой степени, что из трех определений Училища (живопись, скульптура и архитектура) в обиходном словаре всего населения здания звучало лишь первое: Училище Живописи – Ваяния и Зодчества же опускалось, как излишнее. Все было подчинено Живописи – участок, здание, квартира и мы сами! Мы питались аурой этого определения. Вполне естественно, что деятельность отца, проводника этой самой ауры – Живописи – и его авторитет в этом стояли настолько выше всего прочего, что о прочем – в том числе и о музыке – не было и речи. Все происходящее осенял, как громадными крылами, мир живописи. А музыка, которая так решительно действовала на наше развитие и с нами срасталась, без которой я вдвойне стал сиротой, признавалась всем ходом нашей жизни и этими могучими крылами лишь как дополнение. Всеми придатками этих крыл – вроде периодического появления у нас когонибудь из библиотечных служителей или швейцаров, нагруженных кипой фолиантов по искусству, или вроде пополнявшихся рядов каталогов парижских салонов, отягощавших отцовские полки, или прибывавших из разных магазинов и даже из-за границы ящичков с пастелью, красками и кистями –

всем этим музыка, к ее стыду, объявлялась занятием "в свободное время", когда более важные дела и более важные заботы были удовлетворены полностью. Нет, тут было не подражание! Тут было нечто, куда более возвышенное!

Другая, также частая игра наша, совсем иного рода, была игра в "аптеку". Игра в "выставки" объяснима всем окружением и всей жизнью в семье, подчинившей себя настоящим "выставкам". Игра же в "аптечное дело" – была результатом довольно частых заболеваний простудами брата и меня. Не будучи детьми хилыми или изнеженными, мы все же часто схватывали то, что сейчас именуется гриппом, а в те годы – инфлуэнцой.

Тогда появлялся старый знакомый доктор с небольшим чемоданчиком, всегда один и тот же, веселый и нас смешивший. Он задавал одни и те же вопросы, в одной и той же последовательной трафаретности; мы прекрасно это знали, и потому отвечать было легко и просто. За опросом следовали дела – выстукивание пальцем или молоточком, выслушивание через костяную трубку, и – что было наихудшим – засовывание в рот серебряной ложки, с просьбой сказать продолжительное – "А-а-а".

Игра же состояла в точнейшем исполнении ритуалов – одновременно – больного, доктора и провизора аптеки. Как в игре в "выставки" все было проводимо на полном серьезе, так и тут все дело было в том, чтобы в точности была проведена передача действий. Неважно, что деревянные детали строительного ящика – балясины, колонны, брусочки разного сечения – должны были изображать аптечные пузырьки и бутылочки. Важно, что изображались они и обыгрывались, как настоящие. В этом и было дело. Поэтому, когда мы сами изготовляли из бумаги "сигнатурки" и Борис на них выписывал рецепт – то он это проделывал так, что и сигнатурка, и рецепты, и общий вид – для нас обоих становились непререкаемо аптечными.

Сигнатурки эти для разных видов медикаментов надо было по-разному резать и писать. Все это было вполне известно. Поэтому, когда я в последовательности игры вступал в роль провизора, я тер или толок воображаемые порошки в воображаемых ступках совершенно так, как это проделывал настоящий провизор в настоящей аптеке, что мы могли видеть, когда с няней или мамой ходили в магазин Эрманса. В абракадабре латыни, которую Борис выписывал, высунув язык от напряжения, я ничего не понимал, хотя всякие там ациди и пульвери звучали не хуже русских простых слов. В сущности мы фиксировали наш личный опыт вплоть до дозировки лекарств на граны, и слово "гран", как бы таинственно оно ни было, в созвучии – "по три грана на прием" – было нам вполне понятно.

Что же привлекало нас в такой странной "игре"? Вероятно, сам процесс работы. Наше переселение во взрослых – врачей, сиделок, провизоров – перерастало значение игры. Борису было тогда лет восемь, от силы девять. На сигнатурках тщательно все выписано и для тех времен – верно. Одна такая сигнатурка обнаружилась вместе с моей "картиной". Обе реликвии брат, вместе с другими бумагами из архива, когда произошло нечто вроде раздела имущества, взял на свою новую квартиру.

Среди семейных наших фотографий, я очень хорошо помню (и хотел бы, чтобы она сохранилась и по-сейчас!) открытку, простую почтовую открытку, на которой был наклеен черный силуэт профиля молодой женщины в шляпе со страусовым пером. Это – наша хорошая знакомая; открытка была адресована мне, а писана братом, который временно, из-за карантина, был выдворен из нашей квартиры и жил на даче у этих знакомых. В открытке Боря извещал меня тоном взрослого заказчика, что "его рассказ" близится к концу, и напоминал мне, чтобы я не задержал выполнение "двух иллюстраций", как было обусловлено.

Это – опять отражение жизни, так как в этот год отец выполнял иллюстрации к "Воскресенью" и заказчик, издатель и владелец "Нивы" Ф.Маркс, посылал отцу подобные письма. Брат "выпускал" свой журнал, в котором, как это по обложке (простая ученическая тетрадка) значилось, были разделы прозы, разной хроники (!!!), ребусов и занимательных игр. Я обычно получал "заказы" на иллюстрирование текстов, не потому, что брат не мог сам этого выполнять, а потому только, что писать или "сочинять" я был еще не способен. В упоминаемой открытке речь шла о рассказе крайней чувствительности, о жизни бездомных собак, которых ловят на улицах городов, ежели они без ошейников и номерков. Их увозят в закрытых фургонах и держат взаперти, пока за ними не явятся хозяева. Вот партию таких собак, тоскующих в клетке, и должен был я изобразить – и иллюстрация стоит перед глазами, может быть не в абсолютной точности и полноти – но одну, главную, собаку – героя рассказа я помню отлично.

Другая иллюстрация должна была изобразить момент, когда добрый и хороший мальчик выпустил на волю всю ораву собак, в радости выскакивающих на волю.

Кроме того, в письме говорилось, что автор подготавливает новую повесть из жизни краснокожих ирокезов. Этой повести я не помню. Журнала родители не сохранили. Рассказ о собаках и иллюстрации к нему я помню очень свежо, равно как и другую повесть брата, на тему жизни какого-то японца-рыбака и ловли трепангов. С тех пор я и узнал о голотуриях и трепангах. О японцах брат вероятно вычитал из детской книжки, которая у нас долго жила, но исчезла, когда подросли сестры. Книжка называлась "Япония и японцы" (автора не помню) и была интересна, как обилием картинок, так и кое-какими живо написанными особенностями этого народа.

Конечно, не только в таких играх проходило наше детство во флигеле. Были и самые обычные, общеизвестные тогда "чижики", "казаки-разбойники" и прочие, которыми оглашались все дворы и сады города того времени. Другие, комнатные, так называемые "настольные игры", то есть "познавательные", не миновали, конечно, и нас. Из неимоверного количества их мне хорошо запомнилась одна. Не качеством и не темой, а чем-то иным, что брало за душу. Она была из обычной серии игр "вверх и вниз", где азарт брал верх над разумом. Но в этой не было азарта; было только желание доброго конца. Игра называлась "К Северному полюсу". Четверо отважных – Нансен, Пири,

Андрэ и Скотт – с трудом преодолевали препятствия. Четыре небольших оловянных фигурки: "Фрам", два воздушных шара с гондолами – в цветах национальных флагов – Пири и Андрэ, а вот четвертую я как-то не помню – то ли собаки, то ли нарты Скотта. Историю каждого мы уже хорошо знали и, каждому сочувствуя, играли серьезно и не гогоча. К "Фраму" я испытывал почему-то наибольшее чувство, а то, что он был "затерт льдами" – звучало в моих ушах особо погребально...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

САДУ КОНЕЦ, КОНЕЦ И ФЛИГЕЛЮ

Ирине

"Заведение Ечкиных"! Кто сейчас знает – или может припомнить символ фантастики старой, барской еще, Москвы – такое "заведение"?

В сущности, память – самый совершенный вид цепной реакции: один взрыв воспоминанья вызывает тотчас другой, последующий и так далее, уводя такой "цепочкой взрывов" нашу память куда-то в дебри, пока вдруг не встрепенешься: – батюшки мои, куда же забрел я? Вот и сейчас так. О заведении Ечкина я вовсе и не думал рассказывать, о нем позабыв. Но, вспоминая детство, мою мать, ее заботы о нас, чистоту нашей квартиры, генеральные ее уборки, я вдруг услыхал как бы частое поминание ею каких-то конюшен... и вот тут-то и всплыла в памяти эта непростая фамилия Ечкина! Но, для начала – вернусь к генеральным уборкам.

Живя еще во флигеле, когда я достаточно уже подрос и смог помогать во многих маминых предприятиях – главным образом хотя бы тем, что не мешал ей и не встревал, где не надо, я незаметно как-то начал ей ассистировать при разборке отцовых завалов – в ящиках письменного стола его, в выдвижных ящиках тумбочек и даже просто так, навалом на рабочем громадном столе лежащей груды конвертов, бумажек, вырезок из газет и прочего – на мой взгляд – простого хлама. Мама же старательно и честно все рассматривала, читала, сортировала и надписывала, какие красным, какие синим или зеленым толщенным карандашом, заворачивая все это пачками, более или менее ровными. Я же должен был, по указке мамы, относить готовые пачки в то или иное место. Нередко бывало, что подавленная большими трудностями разборки, она отсаживалась, вздыхая и поминая какие-то Авдеевы конюшни. Имя Авдея мне было хорошо знакомо, равно как и слово "конюшня". Удивленьем были не эти отдельные слова, а их совместное упоминание и особенно то, что в этой совместности мама для чего-то меняла в имени Авдей ударение: в ее восклицании получалось так: "А́вдеевы конюшни". Но я прекрасно знал, что у нашего Авдея никаких конюшен не было и откуда бы им у него взяться?

Авдей, несмотря на свою страшную, иссиня черную бороду, росшую почти от самых глаз, и на общий вид разбойника "с большой дороги" – почему именно "с большой дороги" мне не было ясно, – был добрейшим, честным человеком, который смешил нас – меня и брата – разными фокусами, шутками-прибаутками и забавными проделками.

Он появлялся у нас на кухне в определенные дни. Он приносил маме в громадной открытой плетеной ивовой корзине с двумя ручками наше чисто-начисто отстиранное и отглаженное белье: корзину он носил весьма ловко и устойчиво на голове, придерживая ее одной рукой. Под нее он подкладывал черную мягкую тряпичную баранку, по размеру своей головы.

Входя в дверь, прежде всего он как-то значительно, важно откашливался, довольно громко и хрипло, точно исполнял некий обряд прихода. Затем он снимал с головы корзину и картуз, ставя корзину на табуретку. Только после этого он низким поклоном здоровался со всеми, с большим чувством достоинства. Когда мама изготовлялась принимать белье, он опять же торжественно и чинно становился перед корзиной на колени и, так стоя, вынимал аккуратно, стопку за стопкой, великолепно отглаженное и уложенное белье; мама столь же отменно ловко принимала, пересчитывала и откладывала в сторону.

Каждому взрослому человеку ясно, что ежели кто-то, в здравом уме, таскает на собственной голове этакую корзину, доверху наполненную такой тяжестью, да еще издалека – и при этом задыхается и кашляет, то значит у него нет и не может быть никаких лошадей – ходил бы он тогда пешком, да еще столь нагруженный? А потому никаких и конюшен – раз нет лошадей – ему не надо было иметь, да он их и не имел, конечно. Следовательно, надо было понимать, что мама моя просто потешалась надо мной; но слова, что это ”хуже Авдеевых конюшен”, я слышал не раз и очень отчетливо.

Тут-то и возникает в памяти образ других конюшен, не мнимых, на потеху помянутых, и не Авгиевых, а настоящих, в городе существовавших и представлявших для всех своеобразный интерес. Хозяином этих конюшен и был упомянутый Ечкин и его дети. Для меня же не конюшни, как таковые, и не сам господин Ечкин были предметом моего интереса, а нечто, более своеобразное. В самом начале Каретного Ряда, почти вслед за садом, превращенным впоследствии в летний театр ”Эрмитаж”, стоял одноэтажный, довольно длинный, простой архитектуры дом ампирного времени. Ко времени моего знакомства с этим домом, он претерпел некие изменения: простые, небольшие, но красивые ампирные окна были заменены громадными ”витринами”, тогда еще новшеством для Москвы; таких ”окон-витрин” в этом доме было, помнится, два. Между ними соорудили не просто входную дверь, а что-то уподобившееся громадным воротам и калитке при них – но все это из стекла. Над всем этим и по всей длине дома, под самой крышей, висела черная с золотыми выпуклыми буквами вывеска, оповещавшая, что это ”каретное заведение Ечкина С-ья”, то есть Ечкина со своими сыновьями; а под этими словами, второй строчкой, но помельче – ”поставщик Двора Е.И.В.”.

Однако, повторяю, не сам Ечкин, как человек, и не его С-ья, с коими он выступал как единое целое, и даже не то, что он ”поставщик Двора” и т. д., делали фамилию Ечкиных московской достопримечательностью, а *деятельность* ”Заведения”, славившегося по Москве.

Здание же ”заведения” привлекало внимание проходящих колоссальны-

ми "витринами" цельного зеркального стекла такой немыслимой прозрачности и чистоты, что стекло утрачивало значение ограждающей поверхности — оно зрительно переставало существовать. Такие громадные цельные стекла были тогда для Москвы редкостным чудом из чудес! Но, сказать правду, даже и не это стекольное самоотрицание действовало электронным тормозом на быстром ходу прохожих, а то, что на широченных подоконниках, почти на высоте тротуара, стояли, по одной в каждом окне, не поддельные, а самые раз-настоящие, точно только что прибывшие, красивейшие, блиставшие на солнце чернотой лака, серебром ручек, дивной, толщенной, почти что вкусной кожей ремней и подхватов — две кареты.

В одном окне стояла карета "свадебного поезда". Она была вся белая внутри; обивка белым атласом и чем-то блестящим создавала, по контрасту с яркой чернотой оболочки, ощущение особой свежести и прохлады; занавески на окнах с белой шелковистой бахромой, белые же простеганные подушки и валики, даже лямки для опускания стекол белой, глянцевой кожи — все было свежо, легко и празднично, как только что сбитые, в пузырьках еще, сливки.

В другом окне стояла элегантная, черная, обычная карета. Своей еще нетронутой девственностью, блеском поверхностей, не обшарпанных еще, какими были кареты уже ходовые, наемные, выставленная карета, подобно "свадебной", была божественно нарядна и чудесно-молода. Но это еще не все, чем задерживало нас "заведение", когда нам случалось с няней или матерью проходить вдоль таких прелестей. За остекленными воротами, отделенное от уличных зрителей только неощутимой преградой зеркального стекла, стояло, обращенное лицом к зрителям, чудовищно громадное, даже на масштаб взрослых людей, чучело бурого медведя, гиганта, к тому же еще вздыбившегося и поднявшего одну из лап, точно вот сию секунду он обрушит всю мощь своего гнева на непрошенного и подозрительного посетителя. Медведь, с оскаленной мордой, красными деснами и могучим языком, стоял с поднятой лапой, как живой, символом охраны всех карет и каретного снаряжения, здесь выставленных.

Вот эти две кареты звали меня, истинно и не шутя, к себе. Более всего на свете блаженным и желанным было бы вскарабкаться на кучерские козлы, и на этом широком, мягком и удобном сидении чувствовать себя как бы властелином и кареты, и седоков, и, в особенности, взмыленной пары коней, несущихся во весь опор и вскачь по необъятным, неотмеренным просторам неведомых пространств. Вообразить такое — было подлинным счастьем, подлинной радостью жизни и неоспоримостью, стоящей перед глазами. Не будь этих гладких прозрачных стекол, можно было бы погладить рукой и ощутить под пальцами гладкую материальность этих карет. Вот это — было истиной, неоспоримой действительностью, а не плохо выдуманные "Авдиевы конюшни", поминаемые моей матушкой.

* * *

Моя мать, отправляясь в гости, брала нередко меня с собой; я очень любил и ценил такие случайные эскапады, выпадавшие на мою долю. Любил их, главным образом, за отклонение от привычного мне образа жизни.

Новый и всегда прекрасный мир неустановленных ощущений, в моем воображении, конечно, перерастал меру вещей, имевшую место в реальности. И это было, вероятно, тем главным, что особенно радовало меня в этих поездках.

Однажды мать отправлялась в гости к своей давнишней близкой знакомой, с которой у матери, не глядя на различие возраста, сложились почти дружеские отношения.

Вначале она бывала у нас довольно часто; потом, вероятно, раскинутые по разным концам города – они встречались все реже.

В конце концов свелось все это к односторонним визитам моей матери к ней; очень постарев, она почти не выезжала. Сердечность отношений у них не иссякла.

Ранее я знал ее как Софью Григорьевну, мамину частную гостью. Тогда я вовсе еще не знал, что "Софья Григорьевна" было не только обозначеньем имени. Со временем я узнал, что такое обозначенье – еще не самое значительное, а что гораздо более важным было то, что она сестра Антона Григорьевича, у нас же обычнее и проще – Антона Рубинштейна. Это имя всегда было каким-то противостоянием другому – Николаю Рубинштейну.

Теперь же, когда мать сказала мне, чтобы я как следует вычистил ногти, что мы поедем к Софье Григорьевне, я вполне отдавал себе отчет, к кому мы едем и кого представляет собою эта живая старушка. Поэтому, в некотором особом, но естественном, волнении я быстро справился с неприятностями процедур этикета и опрятности и раньше матери был готов к отъезду.

От Мясницкой до Собачьей Площадки, по тем временам, путь был долог. Потому мы покатили на санках извозчика, что само по себе было всегда приятным и праздничным событием. Хотя словосочетание "собачья площадка", как ему подобные: "собачья жизнь" или "собачья старость" и т. п., и должно было бы вызывать представление о чем-то неизменно плохом, жестоком и несчастном, однако на деле это была тихая, спокойная, замкнутая и очень уютная площадь, незначительных размеров и неправильной формы. Последнее, при всех других качествах, давало площади ее интимный, как бы домашний, не официально-городской и помпезный характер. Ныне более не существующая, уступившая свое место парадному, представительному проспекту, эта площадь в свое время, казалось, утверждала незыблемость старого, но еще крепкого московского быта. Таких небольших площадей в Москве было немало; все они постепенно поисчезали, как и вообще облик старой, "уходящей Москвы". На такой площади все создавалось с учетом *человека,* а не *толпы людей,* как на оживленных, центральных площадях где не отдыхают, а – снуют. Небольшой скверик, две-три скамейки, небольшой фонтанчик со струей воды, не извергающейся ввысь, а тихо, с мелодичным звоном стекающей в чашу, – или небольшой памятник... И – покоряющая тишина деревни.

Да и обстроена была эта площадь в большей части одноэтажными особняками, старыми, возможно даже деревянными, но штукатуренными "под каменные", подобно всем тем, не всегда первоклассным особнячкам, которых множество сохранялось еще недавно по московским переулкам.

Там, где площадь сходилась почти в вершину треугольника, стоял особняк в два этажа, красно-кирпичный, иной физиономии. В то время в нем обитала семья Гнесиных. Там зачинала свою жизнь их "музыкальная школа", в те времена – даже еще не школа, а простое "обучение игре" на рояли нескольких девочек и мальчиков из знакомых семейств.

Неподалеку от них, в доме вовсе иного характера, квартировала Софья Григорьевна. Кажется, трех- или четырехэтажный кирпичный, неоштукатуренный дом этот был одним из первых представителей тех совершенно безликих домов, стиль которых был в совершеннейшем равнодушии к маломальской красоте архитектуры, но совершеннейшем неравнодушии к доходности и выгоде многоквартирных объектов "сдачи в наем". Такими в высшей мере рентабельными "доходными домами" Москва стала все более засоряться с конца XIX в., теряя свое былое лицо. Не припоминаю точно, на третьем или четвертом этаже находилась небольшая квартирка Софьи Григорьевны, вероятно из дешевых, о две комнаты. Весь дом был предназначен для малоимущих семей.

С бóльшим правом и основанием, чем тихая, уютная и приветливая площадь именовалась "Собачьей Площадкой", могла быть названа "Кошкиной Лестницей" та, по которой мы, в полумраке верхнего светового фонаря, поднимались на нужный этаж. Она одуряюще пропахла котами и кошками, которые прыскали при нашем приближении, либо мимо нас вниз, либо на следующую площадку, откуда выжидательно глядели на нас и пулей сигали выше.

Странное впечатление, охватившее меня на этой сумрачной и крутоватой лестнице с простыми железными перилами, скорее похожей на нашу "черную" из кухни, чем "парадную", оставалось и дальше, при входе в небольшую, тесную прихожую. Хотя кошками тут уже не пахло, но какая-то явная бедность ощерилась неприкрыто. Пройдя переднюю, где нас встретила сама хозяйка, мы оказались в небольшой комнате неожиданно поразительной уютности и свежести; сравнительно с нашим "флигелем" размеры комнаты, низкий потолок и одно всего окно – определили собою в достаточной мере ранг квартиры. Эта небольшая комната, как я запомнил, была заставлена красивой мебелью красного дерева старого времени, явно уже излишней по числу; но ее сохранность, как и общая чистота и опрятность хорошо натертого пола, красивого тона обоев и белых шторок на окне – все указывало на характер хозяйки. Стены – что меня особенно поразило – были почти сплошь увешаны фотографиями – портретами с надписями. Все вместе взятое создавало замечательную атмосферу покоя, тишины, а также достоинства и большого благородства хозяйки. Пожалуй, я впервые столкнулся тут с изумляю-

щей связью очевидной необеспеченности с красотой старости, но не падения, вызывающей почти восторженное восхищение.

Хозяйка, угощая нас кофеем, оживленно разговаривала с мамой о музыке и музыкантах, и имена, мне знакомые, в этой беседе играли не малую роль. Думая, что я скучаю, старушка подсунула мне какую-то книжку, в которую я, для приличия, глядел скучным глазом, но поверх нее я с увлечением всматривался в антураж и в облик Софьи Григорьевны. Она мне тут особенно нравилась и своей какой-то строгостью к себе, и свежестью голоса, правда с хрипловатостью, и достойными, не быстрыми движениями. И хозяйка и мать сидели за столом так, что я мог смотреть на них сбоку, себя не выдавая. Они были своим разговором, темой и воспоминаниями очень оживлены. Конечно, я не все понимал, но многое мне было знакомо по нашему дому. Не всегда вслушиваясь, я осматривал комнату и массу фотографий, висевших по стенам. Со всех сторон глядело на меня множество Антонов, разных возрастов и одежд, не меньше и Николаев; я знал их по некоторым фотографиям у нас и мог определить, где кто сидел, стоял или облокачивался о рояль или пюпитр. Кроме них великое множество других кудлатых, усатых, бородатых, в сюртуках или во фраке, с надписями чуть ли не через лицо с большими росчерками и застывшими брызгами чернил вместо точек. Были и нарядные, улыбающиеся, молодые – и даже пожилые – дамы, в шляпках и без них, с такими же наискось бегущими, но уж не через плечо даже, строками, очевидно, берегущими красивые лица. Все это был мир музыки, театра, искусства. Все было строго, хотя с фотографий все любезно улыбались; я с большим интересом и любопытством разглядывал эту выставку знаменитостей конца века.

Когда мама поднялась, чтобы уходить, она на просьбы хозяйки посидеть еще, звучавшие искренним желанием и дружелюбием, отвечала, что право уж пора: она-де и так уж чуть ли не час отняла у хозяйки. Это меня поразило! Неужели мы пробыли действительно так долго – я не заметил времени, поглощенный интересом визита.

И вот, если я сосредоточиваю свою память и внимание сейчас, я почти в деталях снова вижу и эту необычайную комнату, и вид хозяйки, эту замечательную голову, с гладко зачесанными седыми волосами и прямую и высокую фигуру, легко движущуюся по лабиринту комнаты, заставленной мебелью.

Вот эта фигура среди засилья мебели и фотографий, нуждавшаяся, по существу, в гораздо большем просторе и внимании к себе, мне и запомнилась, как факт, понятый только значительно позже, когда уже ни хозяйки, ни этой комнаты не существовало более. Хозяйка старины была подавлена – это чувствовалось – скорее недостатком пространства и *воздуха,* чем недостатком средств на то и на другое; столь же очевидным и существенным было то, что во всем поведении, в движениях, в осанке и ощущении самой себя, было выражено несломленное невзгодами жизни достоинство человека. Борясь с бытовыми недостатками, эта старушка сумела сохранить и пронести в фотогра-

фиях, в надписях, в мебели – временем почти нетронутым – дух целого мира, связанного с именами ее двух братьев; мира культуры и искусства, артистического мира, составившего часть летописи московского общества конца века. Конечно, не мальчику было все это осознавать. Но видно все настолько не схоже было с тем, что ему приходилось до этого видеть вокруг себя, и настолько убедительно, что даже не поняв тогда смысла виденного, он был им так увлечен, что унес в своей памяти видение, более не повторявшееся уже никогда – за уходом и этого, последнего, звена Рубинштейнов.

* * *

Сад Училища Живописи, мною уже упоминавшийся, при мне просуществовал из своих более чем ста лет всего каких-нибудь два или три года. Когда он кончил свою долгую и, несомненно, благородную жизнь, мне было, вероятно, около трех лет. Потому, если я что и помню о нем, без внушений няни или родителей, то это касалось, скорее всего, его недолгой агонии и смерти.

Остальное же, что припоминалось, связывалось с какими-нибудь побочными явлениями. Для сада такими явлениями его сути могли быть – ощущение сырого, утяжелевшего песка после дождя или поливки; замечательные, красно-зеленые, мягкие и толстые черви, внезапно и недвижно усеивающие дорожки и траву сада, – это упавшие тополиные сережки; или такой тонкий, но несомненный запах клейких листочков, только что сбросивших с себя пересохшие, темные с голубой пылью, красно-коричневые капюшоны почек. Странно, но многого из жизни сада, или из нашей жизни в саду – я просто не помню, как ни силюсь припомнить – например как, через какую калитку мы проходили во внутрь изгороди или как мы добирались до площадки, где нас пасли няня и мама. Так же не могу припомнить, каким мы наблюдали сад и жизнь в нем, глядя из окон нашей столовой, хотя нет сомнений, что многократно на день я засматривался на то, что происходило "там".

В некий, совершенно нами нежданный день, знакомые нам признаки прихода весны – длинные хлысты срезанных тополевых ветвей, клейких и вкусно пахучих соком молодости, оказались однако для сада знаком беды, почти что погребальным звоном его последнего часа.

Появление таких хлыстов на этот раз положило начало исчезновению – и навсегда уже – чинного древнего и доброго сада, до нас дожившего. Его свели тогда для того, чтобы как можно лучше, то есть рентабельней – слово-то какое! – использовать часть земельного угодья, зазря, без видимой пользы, пропадающую под садом, вряд ли кому нужным. И вот, взамен полного еще сил призрака былого парка или былого сада бывшей старой усадьбы вырыли подземелье для будущей мастерской отливок из гипса, нужных рисовальным классам училища.

Мой брат, рассказав в своем "Опыте автобиографии" (ранее он назвал этот отрывок "Люди и положения") об этом времени, говорит об утопших в котлованах, залитых дождевыми водами, крысах и сигавших туда лягуш-

ках, находя во всем отсветы природы – даже в природе города и в природе натиска города на наш милый сад.

Говоря же честно – ни павших безвременно крыс, ни веселых лягушек – я не припоминаю. Удручающее же и гораздо более глубоко врезавшееся в память и сознание *зрелище гибели* – производил на меня общий вид исчезающего сада; началось все с навзничь поваленных беспомощных гигантов-тополей, с отрубленными по самое туловище руками и ногами ветвей и корней, отчетливо запомнился так же зло нарушенный, казавшийся извечно-вечным порядок чистоты и чинной опрятности, когда мы в тиши и прохладе гуляли по саду.

Мелкие, худосочные, лохмато-мохнатые лошаденки, запряженные в куцые тележки-грабарки, с немощным и слабосильным ржаньем свободно, без запрета, въезжали в проломы штакетника, как к себе во двор, оставляя повсюду, на дорожках, на истоптанных газонах свои жалкие следы, полосуя своими колеями сад, теперь уж никем и ни от кого не охраняемый и не защищаемый от потравы и полной гибели. Где уж тут замечать или видеть лягушек и крыс!

А детвора двора, когда последняя грабарка покидала поле битвы и расправы, по-своему хозяйничала в ничейной теперь, былой запретности. Вероятно, именно тогда уже, с тех пор и навсегда, натиск и наступление цивилизации и самодовольного урбанизма на уют и тихую прелесть старой Москвы, доживающей свой век, вселили в меня неисчезаемую грусть; так бывает на вокзале, при проводах друга, навсегда уезжающего. Чем старше становишься, тем все больше покидают Москву такие друзья – особняки и небольшие московские дома, все чаще отбывают они в свою вечность. Столь милые, но безнадежно ненужные "Поленовские дворики" – становятся в какой-то день пустырем; он застраивается иной, сверхстоличной, безархитектурной многоэтажностью или – что безусловно еще хуже – отгораживается от улицы и от жизни города громадными щитами с объявлениями. Такие щиты часто видишь на оживленных улицах города.

* * *

Подземелье, которое собою заменило наш сад, вскоре превращено было в гипсоотливочную мастерскую. Вполне возможно, что такое использование было задумано и осуществлено как временное, имея в виду в будущем иное назначение выведенных загодя фундаментов. Этого я, конечно, не знаю.

"Подземельная" мастерская освещалась дневным светом через четыре пары иллюминаторов, вмонтированных в толщу перекрытия. Эти иллюминаторы, прямоугольной формы, были выложены из толщенного стеклянного кирпича, входившего тогда в моду, достаточно прозрачного. Верхняя их поверхность приходилась за-подлицо с асфальтом перекрытия, чтобы легко было сметать с них и с крыши зимой снег, летом же мусор и пыль, застилавшие иллюминаторы. Кроме дневного освещения, внутри было проведено электри-

чество, не так давно заменившее прежние пожароопасные керосино-калильные фонари. В сумерки, зимой наступавшие довольно рано, или в морозные туманы, по вечерам, происходило нечто обратное: из иллюминаторов били вверх фонтаны желтоватого цвета электричества, зажженного в мастерской. Эти, вверх ногами в небо обращенные пирамиды света, были для нас как бы воплощениями, как бы ожившими иллюстрациями к Жюль-Верновскому роману о подводной лодке "Наутилус". В книжке была иллюстрация, достаточно примитивная, но тогда очень "впечатляющая" — так теперь говорят. Вся сила и острота ее заключалась в точно таком вот светлом конусе-луче, прорезавшем по диагонали, из угла в угол, черную страницу фона. Вот так же в туман, в мелкий дождь или не густо выпадающий снег возникали восемь конусов света, где-то заканчиваясь какими-то неясными светлыми пятнами отсвета иллюминаторов.

Необычность подземельной иллюминации, особенно в легкий снегопад, когда снежинки попадали в световой луч и, ярко освещенные в нем, протанцовывали свои замысловатые ходы, состояла, главным образом, в том, что обычное явление, наблюдаемое в туман или дождь от освещенных окон зданий или железнодорожных вагонов, тут непривычно било — снизу вверх! Асфальтовое перекрытие подземелья несколько возвышалось над уровнем двора. Прямая, в один марш, довольно крутая внутренняя лестница вела в небольшое, отделенное от мастерской помещение, нечто вроде обширных сеней, где формовщики переодевались и умывались; тут можно было и отдохнуть и покурить. В самой мастерской, хотя вентиляция работала исправно, стоял постоянно сырой и тяжелый запах мокрого гипса. Я, либо с братом или с другими мальчиками, частенько заходил туда глазеть, как работает форматор, большой мастер и знаток гипсовых отливок и оригиналов, старик Михаил Агафьин. Конечно, его надо было бы величать и по батюшке, но, увы, тогда это как-то не приходило в голову, и все его звали просто "Михайла", так что отчества его я просто и не знаю. Когда он был не слишком занят и отвлечен процессом отливки, он охотно показывал нам различные образцы скульптурных оригиналов разных эпох и о них рассказывал. За программой отливок смотрел и отвечал за работу профессор Училища, скульптор — С.М.Волнухин, милейший и типичнейший старый русский человек, с большой окладистой седой бородой, которую он, рассказывая нам о древних скульптурах, то теребил, то покусывал, то разглаживал, почти не оставляя ее в равнодушном покое.

Но, как бы ни было нам интересно слушать и смотреть, спертый и очень неприятный запах мокрого гипса, удушая, выталкивал нас, и мы пулей вылетали из подземелья на чистый, светлый и вкусный — воздух двора.

Посещения мастерской Агафьина запрещались, когда там работал по отливке в гипсе своих произведений скульптор князь Паоло Трубецкой. Павел Трубецкой приехал только недавно из Италии, где чуть ли не с детства жил и там сделался знаменитым скульптором. Со слов Агафьина, будто бы услышанных им от самого Трубецкого, скульптор еще в Италии приучил себя от-

ливать в гипсе, тотчас же, любой вариант своих эскизов в глине, так как чрезмерная сухость воздуха и жара в Италии раньше нужного высушивала глину, появлялись трещины и деформация. Будто бы никакие мокрые тряпки не спасали дела. И еще – будто бы в его тамошней мастерской скульптор устроил какое-то особое "дождевание", сохранявшее нужную для работы пластичность материала. По рассказам Агафьина, в его мастерской чуть ли не все время шел дождь и стояла вечная сырость.

В процессе отливок Трубецкому помогал постоянный его помощник, приехавший с ним из Италии, молодой, веселый и энергичный малый, по фамилии Робекки.

Скульптора Трубецкого, русского князя, постоянно проживавшего в Италии и обитальянившегося, который свое русское имя Павел переделал на итальянское "Паоло", в кулуарах и в дружественных разговорах обычно с усмешкой именовали "Князь Паоло" или "Князь Трубецкой". Нашего же директора Училища, князя А.Е.Львова, всеми уважаемого и со всеми очень просто себя держащего, всегда с почтением и без подобострастия называли дружественно сокращенно и просто – "князь", понимая прекрасно, о ком идет речь. И если спрашивали – "не видели ли князя?" – тотчас же, без недоумения отвечали: "Князь пошел в библиотеку" – или еще куда-нибудь, или же – "простите, я князя еще не видел...".

Крыша подземной мастерской была нам интересна не только описанной иллюминацией. Она была ареной и других замечательных явлений, из которых коснусь одного только. Часто мы, приклеиваясь носами к окнам столовой и перекликаясь так, как будто надо было другому разъяснять им увиденное, по утрам в хорошую погоду, даже и зимой, глядели, как упомянутый Робекки тренировался на асфальте этой платформы в мастерстве велосипедной езды. Это была даже уж и не езда, а высший "пилотаж"! Чего только не умел делать этот итальянец! Он ездил не только "без рук", как это определялось нами, то есть не держа руля руками, но ездил и на одном заднем колесе, вздыбив переднее; он умел ездить и задом наперед. В непостижимой скорости катаясь, он мог каким-то чудом стать вверх ногами и так секунды – нам они казались часами – катить по гладкому асфальту. Смотреть на разные его трюки было наслажденьем, так ловко он все проделывал, как будто бы и без труда. Некоторые трюки, отрабатывая их чистоту, он проделывал по многу раз.

В эти свои тренировочные занятия он изгонял с платформы всех; тогда она оказывалась в ожерельи уставившихся на Робекки мальчишек, а бывало и кем-нибудь из случайно проходящих взрослых; все вместе горячо обсуждали происходящее, изредка перекидываясь замечаниями то с самим Робекки, то с таким же рядом стоящим юным "болельщиком".

Мастерская князя Трубецкого, где Робекки ассистировал и помогал скульптору и которая была пристроена к нашему флигелю, была небольшой и временной. Настоящую мастерскую, высокую, большую и светлую, Трубецкой построил себе значительно позже, уже в конце века, а может быть даже

и в первые годы нового, двадцатого. Она стояла сразу же во въезде в наш двор с Юшкова переулка, насупротив крыла здания Училища, где тогда размещались личные мастерские художников – преподавателей Училища.

В мастерской князя Трубецкого, вернее к ней, пристроены были отдельные стойла, имеющие входы не только со двора в них, но и непосредственно общающие их с самой мастерской скульптора. Там квартировали разные звери, которых лепил или зарисовывал Трубецкой. Хорошо помню, как я любил приходить сюда с мамой, поглазеть на "зверинец" Трубецкого. Особо запомнился громадный, по моим тогдашним представлениям, с раскидистыми рогами, северный олень; его налитой кровью – от необыкновенной ярости – глаз, пугал меня; мне чудилось, что он хочет меня им испепелить! Был однажды там одногорбый верблюд, поражающей красоты и выраженной "тоски пустыни": двугорбые – совсем другие. Чаще бывали собаки – крупные, борзые или жутко-лохматые, злые. Как-то был там и волк, даже и лиса.

Возвращаясь домой через Юшков переулок, я непременно заглядывал в окна этих помещений, очень светлых, чистых, ухоженных. Конечно было очень интересно поглядеть, кого же приютил сейчас, рисует или лепит этот большой художник, великолепный скульптор, такой русский и не русский по виду, князь Трубецкой.

* * *

В связи с принятыми решениями о сооружении подземелья для отливочной мастерской, определилась также и судьба флигеля, где мы квартировали. Когда закончилась перестройка классных помещений в жилое помещение, которое предоставили нам взамен квартиры во флигеле, и мы смогли перекочевать в новое наше жилище, сразу же и спешно начали ломать и разрушать флигель.

Взамен эпитафии нашему флигелю, я скажу о последних его часах и о тогдашних настроениях моих – да только ли моих? – всей нашей семьи!

Как лицезрение бедствий сада – исполосованного, затоптанного, изрытого котлованами – так точно удручающий вид разрушительного безумия и слепой ярости уничтожения дома – вызывал нашу печаль и боль. Но такова, очевидно, природа человека: он рачителен, он превосходный, преуспевающий и заботливый хозяин, когда дело касается его личного добра. В эту же природу, легко совмещаясь со сказанным, входит и упомянутая своеобразная страсть к уничтожению.

Первым делом раскрыли железную кровлю. Ее ровные, гладкие листы – "картины" – со скрежетом и дребезжаньем, прогибаясь и скручиваясь в полете сверху, исковерканными и смятыми падали со звоном на землю. Исчезали переплеты и колоды окон, дверные полотна; стекла чаще всего сами собой лопались, а разбитое стекло выбрасывалось в общую мусорную груду, равно как и все деревянные элементы, уже никакой реальной ценности не имевшие.

Так постепенно уменьшался остов здания и увеличивалась гора лома, мусора и отбросов. И вот наступил обычный день недели, необычный, однако, для останков дома: в этот день на стенах сквозного трехэтажного колодца, во что превратился наш флигель, появились каменщики с кувалдами и ломами в руках; каменщики эти, вырисовываясь на обрезе стен силуэтами, уподоблялись скульптурам, украшавшим архитектуру классических монументальных зданий. Но украшающие стену фигуры начали рушить перемычки над окнами и дверьми. Так, ото дня ко дню, стены колодца стали превращаться в одиноко возвышающиеся столбы простенков. Уродливость столбов заключалась в чередовании гладких боковых поверхностей проемов окон – и совершенно случайных по ширине частей, оставшихся после обрушения перемычек. Тут столбы оказывались то толще простенков, то, наоборот, как бы отощавшими и худосочными. Свеже-разбитый, розово-красный кирпич, со светлыми прослойками извести, также отличался цветом своим от темного старого кирпича простенков, усиливая тем самым уродство многослойных столбов. Но и столбы недолго простояли; в один погожий день площадка, где некогда стоял флигель, была обнесена ограждающим канатом. Много разнорабочих, в лаптях, грязных рубахах и онучах, болталось в ограде, ничего еще не делая и чего-то ожидая. Затем, когда пора безделья завершилась, вся гурьба была поделена на группы в несколько человек. Каждую группу вооружили толстым канатом, который был наброшен на верхнюю часть столба и там петлей затянут. Когда все столбы, как воздетые к небу костлявые, подагрически-искривленные руки, оказались к тому же еще и в веревочных ошейниках, как бы на поводках, на привязи – тогда настал последний акт драмы.

Крича, ухая, охая в такт, взявшись за канат, каждая группа стала как бы играть "кто кого перетянет". Канат то струной натягивался, под аккомпанимент криков, то плавно размахивался, обвисая от собственной тяжести. Постепенно, как бы подчиняясь крикам и "дубинушке", столб начинал мерно раскачиваться, все же гордо еще сопротивляясь силе разрушения. Когда сильно раскачиваемый, он, казалось, был уже на пределе сопротивления, ватага мужиков сама выдыхалась; канат снова обвисал, а столб, явно надтреснутый и почти покоренный грубой силой, в последней своей гордости высился еще над людьми. Но вот, под какой-то такт последнего "ух, взялись!" столб, как-то жалостливо крякнув, выходил за пределы устойчивости и – как будто на мгновение задумавшись о тщете сопротивления и жизни – задрожав по всей своей высоте – наклонялся, еще, еще, как бы всем в последний раз кланяясь, – и медленно описывая какую-то кривую, разом и убыстряясь, шел ко дну, обдав всех не только гулом падения и столбом пыли и мелкого щебня, но и последующей минутой внезапного молчания. Так – пал один; потом это стало повторяться.

К вечеру, когда я проходил этой стороной двора к выходу в Юшков переулок, лишь большой курган битого кирпича, разного мусора и глыб еще недоразбитых столбов безмолвно напоминал о стоящем здесь только что

жилом и живом доме. Я смотрел и удивлялся, как все стало непохожим на то, что некогда составляло жизнь этого двора и его времени.

И, хотя ничто мне об этом прямо и не говорило, но я ясно ощутил, что период, очень определенный, моего детства закончился: что с уходом из бытия – сада, дома, квартиры – начинается новая судьба и Училища и нас, вместе с ним.

Исчезновение же этих собственно несущественных элементов – сада, двора, флигеля – оказалось для меня, для моего догимназического времени, несомненно большой утратой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НОВАЯ КВАРТИРА

Е. Е. и Е. Б. Тагер

Мясницкая, дом № 21 – адрес краток, история же места и дома – по крайности двухвековая, много претерпевшая. Начать хотя бы с того, что в Петровские времена эта часть Мясницкой улицы – "конец", как тогда говорили, –именовалась "Фроловкой", по церкви святых Фрола и Лавра, патронов и блюстителей лошадей; церковь находилась в безымянном тогда еще тупичке, отходившем от улицы. Громадный участок, с парком и садами, ограниченный с одной стороны этим тупиком, с другой – улицей, принадлежал будто бы Демидову, князю Сан-Донато, по другой же версии – Мамоновым. Более достоверно, что во второй половине XVIII в. это угодье было расчленено; угловая часть его перешла во владение большого барина и хлебосола, генерал-от-инфантерии и фузильного дела начальника И.И.Юшкова. С тех пор безымянный тупик стал уже "Юшковым" переулком, каким мы его и застали, водворясь тут на новое наше жительство.

Для этого-то вельможи и был не то выстроен, не то перестроен – большой, каменный, двухъярусный дворец, чуть ли не самим Баженовым. До нас в нетронутом виде дошла только угловая ротонда; перестройками же и надстройками здание было сильно испорчено. Об этом дворце говорили, еще и при нас, и весьма убежденно и убедительно, что в свое время здесь происходили собрания масонских лож. К середине XIX в. этот дом и часть прилегающего к нему сада и парка были переданы в аренду организованному тогда Московскому Художественному Обществу и Художественной Школе при нем.

С этого времени здание стало приспосабливаться к нуждам школы, вскоре получившей наименование Училища Живописи, Ваяния и Зодчества.

Я не интересовался специально историей самого дворца и его перипетией, как и не анализировал его архитектурного замысла и воплощения. Поэтому я говорю о нем несколько условно, более по личным предположениям, потому не обязательно. Думается, однако, что если я и ошибся, то смысл и вес ошибки не столь велики.

Главным нервом здания, его душой и смыслом была безусловно угловая его ротонда, с чудесным двухсветным, круглым залом – самой парадной частью, среди анфилады остальных громадных помещений. Угловая ротонда – довольно типичный баженовский прием, часто повторявший себя во многих московских особняках, в работах учеников Баженова и подражателей ему.

Однако центром архитектурного решения был все же не этот угол, а входная часть фасада по Мясницкой. Здесь главную архитектурную ось выражали и широкая наружная парадная лестница с улицы*, и несколько выступающая из общей плоскости фасада центральная часть с более богато отделанными окнами, и интерьерное решение представительного вестибюля, а далее и второго "антре", как тогда говорили, с его хорошо продуманной и выполненной мраморной лестницей – на второй, главный этаж здания.

В какой-то степени следы парадности сохранялись еще и при нас.

В парк здание обращено было фасадом с особо подчеркнутой симметрией частей и целого и явной осью всей композиции – здания и парка. Тут отчетливо чувствовалась подчиняющая сила такой композиционной оси – единой и властной. Все как бы от нее шло – и к ней же возвращалось: и широкая и украшенная скульптурами парадная лестница выхода из дворца в парк, и два совершенно одинаковых, боковых крыла, завершавших композицию двора, и закругленные одинаковыми радиусами углы перехода к ним от центра дворца, и, наконец, совсем по-своему решенные центральные окна над входными дверями. Сущность и смысл этой осевой симметрии были вполне ясны даже и после исчезновения многого, после всех изменений и перестроек, из-за которых здание к нашему времени стало ничем уж не примечательным и как бы даже второсортным.

К славе автора этого дворца, кто бы он ни был, надо сказать, что сила *первоначального* замысла всем позднейшим ухудшением не была стерта, а наоборот, как бы еще возвысилась – своей *ясностью и необратимостью.*

Я задержался на описании осевой симметрии здания с его характерными закругленными переходами к боковым крыльям для того, чтобы легче было представить себе и понять все диковинные особенности, которыми отличалась квартира на четвертом этаже здания, для нас устроенная, где ранее расположились учебные классы архитектурного отделения Училища. В ней мы прожили с 1901 по 1911 год. Квартира наша оказалась втиснутой в хвост классных помещений, которые были переоборудованы, как смогли это сделать, с наибольшей выгодой для учебной части и с наименьшей заботой о будущей нашей жизни в столь случайной квартире. Конечно, дело было не в "хвосте" здания, а именно в том, что квартира оказалась в изогнутой части хвоста.

Классическое и очень импозантное архитектурное решение симметрии здания обернулось против нас, что поделать! Закон диалектики в действии! Все великолепие *общего* оказалось причиной крайнего неудобства кривизны однобокого *частного* – нашей стены, обращенной в сторону двора и ставшей бедствием нашей квартиры. Из-за кривой дворовой стены все перегородки между помещениями, обращенными в сторону двора, либо примыкали к наружной оконной стене под острым, а не как обычно, прямым углом, либо

---

* Эта лестница сохранялась долгое время и при нас. Ее разобрали и переделали вход – уже после нашего переезда на Волхонку.

они расходились веером вглубь комнаты. Кроме того, "сердцевина", оставшаяся после выделения приличных жилых комнат, по своей площади гораздо большая, чем нужно было бы даже для двух квартир – оказалась и вовсе чудовищной формы! Ванная комната, например, была в виде удлиненного треугольника; кухня довольно больших размеров, оказалась вовсе неопределенной формы; в уборной пол был приподнят на два приступа, очевидно для получения достаточного уклона канализационных труб.

* * *

Для большей ясности в описании этой странной квартиры, я начну с изображения входной лестницы: ее нельзя назвать ни черной, ни парадной, ибо она исполняла роль и той и другой одновременно; в то же время она не была похожа ни на одну из всех, когда-либо существовавших черных или парадных лестниц любых квартир любого времени.

Лестница эта – возможно была сооружена давно; вряд ли такой сделали бы ее теперь. Она занимала весь торцевой квадрат бокового крыла здания; таким образом ее площадь была колоссальных, совершенно не нужных размеров. Поэтому марши лестницы, сами по себе широкие, по сравнению со всей лестничной клеткой, казались узкими и крайне ненадежно прилепленными к стенам. Перила на маршах были простыми, железными, хилыми и также производили впечатление ажурной непрочности, как сами марши. Нам, детям, было довольно страшно глядеть с верхних площадок вниз, в этот громадный и пустой, зияющий квадрат провала колодца. При очень внушительной высоте этажей вельможного дворца наш четвертый этаж равнялся нынешнему по меньшей мере седьмому или даже восьмому.

Кроме двери в нашу квартиру (на четвертом этаже), на лестницу выходила где-то внизу, на втором, кажется, этаже, другая дверь – черного хода из директорской квартиры. Поэтому лестницей пользовались считанные люди; днем и вечером она была по большей части и вовсе не обжита. Зато великолепно и вольготно чувствовали себя тут стаи голубей, свободно и запросто влетавшие в разбитые стекла верхнего, совершенно недоступного человеку, окна. На моей памяти оно так десятилетием и оставалось не застекленным.

Голубей там было множество, и когда они внезапно, всей стаей, взлетали с карнизов, подымая тучи вековой пыли и хлопая с сухим треском крыльями, непривычный человек мог серьезно перепугаться – особенно вечером, когда на лестнице становилось темновато. Она освещалась весьма скудно, двумя только лампионами у обеих входных дверей – остальные марши тонули в полумраке, еле-еле освещаемые окнами.

Да, странная и жуткая была эта парадная лестница!

А вот и другая странность этой квартиры. В продольной внутренней стене, необычной толщины, в ее отрезке, входящем в габарит квартиры и составляющем сторону коридора между столовой и спальными помещениями, находились две глубокие ниши; в них вмурованы были странные, большого

диаметра, вертикальные чугунные цилиндры, как стоймя поставленные пушки, с тяжелыми откидными крышками, герметически закрывающими их жерла. Назначение их было нам неизвестно. В детском нашем возрасте нас настораживали, а иной раз и пугали, в зимние вьюги и метели, какие-то будто всхлипывания, вскрики и стоны, которые несомненно доносились откуда-то из недр этих адовых труб. Вероятно, зверский мерзавец Легри так же пугался и приходил в бешеный ужас от выдумок несчастной Касси и ее подобной инженерии, о чем нам читали по толстой книжище Бичер Стоу.

Так как ни единой голландской печи во всем здании не было, надо думать, что дом, до устройства парового отопления, какое мы застали в действии, отапливался калориферной системой. Она-то и требовала, для выкладки своих ходов, большой толщи стен; а чугунные пушки, вмурованные в стену — также были возможным наследием такой системы.

Но я пользовался этими трубами, чтобы уничтожать уличающие листовки, брошюры, сжигая их — в 1905 году — в этих пушках. И я дивился и любовался, с какой превеликой скоростью и басовым гуденьем уносилась тягой воздуха и где-то в темноте недр исчезала пылающая бумага.

Не менее интересной была и передняя, или как тогда говорили — "прихожая": из входной двери с лестницы попадали — уже в габарите квартиры — сначала в небольшой коридор, с торца освещенный окном; сама же передняя, где раздевались гости и мы сами, была полутемной, т. к. освещалась "вторым светом" через кухню, окном под самым потолком.

Впоследствии именно в этой передней появился деревянный красиво отполированный ящик настенного телефона; чтобы вызвать станцию, надо было быстро и долго крутить ручку, сбоку от ящика, пока откуда-то, чуть ли не с того света, доносился мелодичный женский голос — "я вас слушаю". Телефон тогда был еще новинкой. Звонковые чашки блестели на задней стенке ящика, сделанного в виде наклонной конторки, для удобства записей. Слуховая трубка, отдельная от рупора, висела с другого бока на небольшом крючке. Сам рупор, в который надо было кричать, укреплен был на подвижном кронштейне. Наш первый номер телефона — "15–76" — я до сих пор хорошо еще помню.

Каждая из комнат имела свою какую-нибудь особенность. Особенностью, например, столовой было колоссальное, почти квадратное окно во всю стену комнаты. Поразительным было и то, что при выгнутой по радиусу наружной стене и при большой длине окна оно все же вписывалось в амбразуру — показатель того, насколько велика была толщина стены — не меньше, вероятно, трех с половиной, а может быть и всех четырех кирпичей. Огромность окна объяснялась тем, что ранее здесь был большой класс для рисования; из его площади выкроили и нашу столовую и кухню, где было другое большое окно, но при перестройке часть его заложили.

К особенностям можно отнести и проходящую в гостиной под самым потолком водопроводную трубу, которая питала водой не только нашу квартиру, но, через нее, и соседние классы, нуждавшиеся в воде. Эта труба обыч-

но покрывалась конденсатом и с нее постоянно падала капель – то на рояль, то на мебель, а иной раз и на кого-нибудь из гостей; потом ее изолировали войлоком и деревянным коробом.

* * *

Из окон разных комнат можно было наблюдать север, восток, юг и запад; как ни парадоксально, но именно на эти стороны выходили окнами наши комнаты.

Из столовой открывался широкий и свободный вид на запад, на московские дали, поверх крыш обеих Лубянок, Кузнецкого моста и дальше, до горизонта. Большой вертикалью поднимался над крышами польский, суровый костел. Особенно красив он был по вечерам, когда закатное небо полыхало красками пожара, а солнце садилось за его громадный купол. Тогда костел вставал мощным и нерасчлененным силуэтом темнеющего массива; освещенный контражуром, он вдруг, как бы изнутри, чем-то иллюминировался; его контур вторично обрисовывался ореолом, похожим на нимб, как будто невидимое уже солнце обрызгивало его нежной позолотой, струящейся по коньку темной кровли среднего корабля и по ребрам красивого, внушительно стрельчатого яйца купола. Красив он был и в полнолуние, зимой, когда уже совсем фантастично вздымался он над голубоватым снегом и становился светлым на глубоко бездонно-темном фоне неба.

Но столовая, откуда он был виден, для нас, детей, не была местом *нашей жизни*. Сюда мы приходили только в установленные часы, для завтрака, обеда и ужина. Столовая – для нас – была интересной, но как бы промежуточной, на короткое время, *станцией пребывания*; мы прибывали сюда и уходили, совсем как поезд дальнего следования приходит на считанные минуты на свою станцию и пассажиры выскакивают из вагонов, бегут, кто за кипятком, кто за разной снедью, и что-то прожевывая на бегу, перекидываются с кем-нибудь словом, другим, а при тройном ударе колокола у дверей станционного зала врассыпную кидаются кто-куда, снова по своим вагонам.

Мягко оседая на рессорах на стыках рельсов, с нежным поскрипыванием, изредка легко перестукиваясь столкнувшимися тарелками буферов, еще медленно проплывают вагоны мимо здания; на песке открытого перрона, как бы мигая, наискось ложатся то яркие просветы солнца, то длинные тени спешащих убежать вагонов... Подобные картины были нам прекрасно знакомы и очень близки, романтикой особой прелести дальних поездок.

Я хочу тут отметить именно то, что мы, в разные времена дней и годов *видели* изменчивость костела, но не *наблюдали* за ним постоянно. Он не входил в нашу детскую жизнь, как непременный, всегда присутствующий. Он был неотъемлемой *частью окна* столовой, но не *частью нашей жизни* в ней. Как он ни был красив в разные моменты дня, вечера, ночи, он все же для нас не составлял части нас самих; уходя из столовой, мы там его покидали, о нем и не думая.

* * *

Еще меньший интерес для нас сулили окна нашей гостиной. Они выходили на замкнутый двор дома, ныне известного по магазину в первом этаже "Чаеуправления" и по странной и довольно безвкусной архитектуре фасада "под Китай". Тогда же и дом и магазин принадлежали известной чаеторговой фирме "С.В.Перлова С-я", т. е. "с сыновьями". В этом дворе, скрытом от глаз, даже если встать на подоконник, зимой и летом кипела работа. В теплые весенние дни, когда настежь раскрывались окна, в комнату врывались нежные, но сильные ароматы чая и кофе; это там, внизу, во дворе, разгружались и распаковывались громадные тюки зашитых в прекрасные мягкие и плотные циновки грузов кофе и чая, только что полученных из заморских стран.

Это был двор почти диккенсовского романа, двор заманчивых и загадочных тайн Китая, Индии, Цейлона. В течение уже многих десятилетий шла здесь однообразная работа, и этот очаровательный аромат Востока, казалось, прочно въелся в стены, окружающие двор, в людей, снующих там, в лошадей обозов, в голубей и даже в изредка прошмыгивающих меж лошадиных ног и стрелой проскакивающих через двор кошек. Казалось, что если даже и перестанут ввозить сюда новые партии товара, дом и все перечисленное долгие годы будет еще отдавать свой сильный и тончайший аромат. Зимой мы были этого запаха лишены. Мы ничего и не видели из происходящего там, внизу; да и смотреть-то было не на что, однообразность работ была нам хорошо известна, зрительного интереса эти окна для нас не представляли.

* * *

Но вот третья сторона окон! Та, которая глядела на Мясницкую, на двор и здание старого Почтамта и на дивную скульптурную – иначе не скажешь – стрелу Меншиковой Башни! Эта сторона играла в нашей жизни большую – и даже бóльшую из больших – роль, и вероятно поэтому, когда я называю эту Башню, я до сих пор испытываю порыв восторга и самых горячих чувств, как когда я говорю о матери и отце, или о нашей милой старой няне, ставшей как бы членом нашей семьи.

До сих пор я говорил о прошлом от имени всех нас, четверых детей. Пришло, однако, время говорить только от моего, собственного имени, передавая мои личные мысли и чувства.

В описании отношений к Меншиковой Башне – к ее роли, и о вхождении ее в обиход нашей жизни – я могу говорить только лишь о моем, *лично моем* чувстве к Башне, как к какому-то живому и любимому существу.

* * *

Не составляет большого труда найти в любом путеводителе по Москве или в книге по истории русской архитектуры изображение и полное описа-

ние, а может быть даже и анализ архитектурных приемов и деталей этой замечательной церкви.

Но ни в каких описаниях и анализах не говорится и не запечатлено то, как изменчиво и каждый раз по-новому, но всегда одинаково потрясающе красиво, выглядит эта своеобразная архитектура то ранним утром, особенно зимой, в мороз, в молочно-розовом перламутровом переливе тумана, то в густых закатных багрово-темных лучах солнца, то, в особенности, в полнолуние, когда все позолоченные детали отливают зеленовато-синими яркими блестками золота, обильно политого лунным излиянием – и иначе не скажешь! Тут приходится тщательно подбирать слова, выражающие всю истину ощущений, какие мы испытывали в те годы и которые отложились в памяти, как нечто, почти что материализовавшееся, как, например, медные пятаки с их орлами или печные изразцы с выпуклыми цветами и завитушками, расписанные веселыми и яркими красками.

Будучи уже гимназистом первого класса, я болел дифтеритом. В те времена дифтерит был еще не окончательно покорен, и зловещее слово "дифтерит" звучало страшновато, как встреча с диким буйволом или разъяренным носорогом. Брат мой Борис был профилактически выдворен и жил у знакомых. Я чувствовал себя в нашей комнате одиноким, потерянным, хотя дверь в комнату родителей была постоянно открыта, а первые тревожные ночи кто-либо из родителей дежурил даже в кресле, придвинутом к моей кровати. Говорили потом, что у меня был сильный жар и плохое горло. Большей частью я впадал в беспамятство и бредил.

Что мне тогда мерещилось, я конечно не запомнил: но что я отлично и сейчас помню – это видение Меншиковой Башни, которая приходилась как раз насупротив меня, почти в центре нашего окна; именно видение, потому что тогда, ночами, она фантастично вдруг вырастала, вся в сиянии таинственного молчания ночи и мертвенной луны, когда ни один посторонний и нескромный звук не оскорбляет тишины таинства.

Безмолвие и резкое отграничение света и тьмы, без всяких переходов, чего днем не бывает, лунной ночью – явление вовсе не новое, оно всем известно.

Контраст бездонной черноты теней на башне и белизны ее стен, как бы самоизлучающих свет, неясным конфликтом донимал меня, когда я, из потусторонних блужданий, на мгновения выплывал в действительность, которая, однако, сама еще была продолжением этих моих блужданий... Мне явственно виделось, что кто-то, громадных очертаний, маяча за окном, фантастически двигался по комнате; страшно и жутко, в упор пристально глядя на меня, кто-то, приставив палец к губам – так мог бы нарисовать Гойя – двигаясь по светлым квадратам на полу, безмолвно требовал и от меня, как от всего мира, вот сейчас, вот сию минуту же, полнейшего молчания, полной отдачи и растворения себя в безумной, бесшумной, безжизненной и все объемлющей фантастической отрешенности.

Меншикова Башня была со мной рядом и говорила со мной беззвучно и властно.

Даже действительные, реальные звуки, меня успокаивающие – ровное дыхание спящего в кресле или за дверью, в комнате родителей; легкое потрескивание полок в шкапу; еще более нежный и воздушный перезвон вздрогнувших рюмок на столе, или тихий, сухой погрыз мыши где-то под полом – были не отвлеченьем, а утвержденьем безмолвия, прекращения бытия.

И как особый магический знак, как колдующий шифр, стоял в этот миг моего прозрения там, за окном, недвижный столб освещенности, эта облитая голубоватым холодным и нежизненным истечением лунного света, самая неподвижная и самая тихая во всей вселенной – Меншикова Башня.

Было ли это только бредом больного мальчика? Только галлюцинацией воображенья? В освещении, уничтожающем представление об объемности, о трехмерности, в этом упрощенно-лаконическом, без полутеней, мерцании голубовато-зеленого света и глубокой тьмы теней, Башня утверждала себя владычицей ночи и моей жизни в ней. Она царствовала и царила, сияющая, красивая, но и безжизненно холодная, как кристалл льда, таинственная, как выдуманная мечта. Все застыло. Время остановилось, тени не укорачивались и не удлинялись, не меняли мест, все было феерично и призывающе. Я отворачивался, закрывал глаза, прятался под одеяло, но магнит луны звал к себе – и я безвольно открывал глаза, вылезал из-под одеяла, почти садясь в постели; очарованный глядел я, и томящее наслажденье заливало меня до краев. Казалось – более возвышенного и великолепного – нет, и быть ничего не может. Как дирижер оратории, Башня была реальностью царения. Она была неизъяснима красотой, которой меня озаряла, как своего избранника...

Можно ли позабыть такое?

* * *

Когда зимней полнолунной ночью я просыпался от плача и воплей метели, меня обступали разные звуки. При особо сильном порыве вихря вдруг звенели ужасом окна, уныивно что-то начинало стонать и жалобно гудеть где-то; в окна приступом кидались комья снега, будто брошенные чьей-то озорной рукой. Тогда по исчерна темному небу летели и рвались облака, обгоняя, казалось, друг друга, освещенье мешалось с метелью, а башня плыла им навстречу, подобная ледоколу, врезающемуся то и дело в плотно сбитые ледяные поля несущихся облаков. После недолгой схватки, она снова гордо выплывала победителем, в чистую воду открытого черного неба. Другие облака обступали и наседали на нее, но она, не отступая, все шла и шла вперед, шла на них, грудью своей рассекая их. Вою и плачу и всем стенаниям наперекор, золотые цепи креста, как натянутые ванты фрегата, казалось, гудят и ревут из последних сил, но крепко еще держат вздувшиеся паруса. Все также бесстрастно принимает она на себя яростные наскоки льдов-облаков, раскалыва-

емых ее бегом. И снова внезапный и дикий порыв ветра и снова комья снега кидаются в стекла окон и снова кто-то кряхтит и ворочается и стонет и жалуется, а я готов кричать от радости и восторга и какого-то прилива сил и подъема. И снова Башня в окне управляет и царствует над всей кутерьмой незабываемой ночи.

* * *

Но как непохожа бывала на такие видения та же Башня морозными утрами, вся розовеющая в тумане восхода, молодая и радостная, ликующая, как олицетворение еще нетронутой девственности. Витое верхотурье, как замысловатый какой-то плод, играющее на солнце золотыми своими косами, и легкий и ажурный крест, к которому снизу, теперь с купола возносятся кверху цепи, с их перехватами и шарами – все дрожит и искрится бликами, зайчиками и смеющимися вспышками солнца.

Действительно, в лучах возникающего багрового в морозе диска, эта башня становилась вовсе иной. Вместе с возрожденным объемом, рельефами и очевидной трехмерностью, она обретала и радость жизни. Каждый ее завиток, каждая гирлянда и ваза были обыграны одновременно и светом и облетом голубя или стайки воробьев. Все тогда начинало двигаться, улыбаться переливами розовеющего света, нежными его рефлексами и легко-зеленоватыми тенями, почти бесплотными; если все не пело физически, то пело в душе моей легкостью дыхания и освобождением от лунного наваждения.

Прозрачные, воздушные тени легко скользят и соскальзывают с упругих венков и гирлянд и, как воздушные акробаты, перелетают то с вазы на стену, то с завитка на завиток, утверждая нежность и невесомую стройность пламенеющего тела.

В очень сильные морозы молочно-багровый туман с отсветом восходящего солнца тает и расходится не быстро; легкой вуалью он вьется вокруг башни: то вдруг сгущается, то, растягиваясь и редея, пропускает сквозь себя видимую лепку форм архитектуры.

Чистота красок неба и прозрачно-яркого тона облучения стен, украшений, зелени крыш и золоченых деталей – возможна только лишь в эти ранние часы ясного утра. Как очаровательна Башня и как нежна в такие вот утра, вся в цельности своей, теперь реальная, нежно-стройная и как бы краснеющая от стыда, что натворила нынче ночью! Как завидуешь тогда отцу, который своими пастельными палочками-карандашами быстро и легко переносит на голубоватую, чуть шершавую бумагу "энгр" – всю непостижимость этой красоты и нежности. Мелодия эскиза долго еще звучит, прикнопленная к стене, когда за окном давно уже отыгран спектакль очарованья и осталась лишь серая, почти что и некрасивая, местами облупленная, местами отбитая, скучная и вдруг даже отяжелевшая основа декорации. Днем башня ничем не захватывает нас; она не интересна, пока заходящее за нашим домом солнце не сжалится над нею и не взбрызнет на нее, как из отцовского пульверизато-

ра, свою лучистую энергию – и все снова меняется – в который же раз? – и красота, теперь совсем иная, чем утром, снова наведена на серую основу. В такие вечера башня, как екатерининская Кавалерственная Дама, сильно напудренная, задумчиво глядит по сторонам, ничего, как бы, не узнавая. Напрасно силится последний луч солнца растормошить эту круто завитую, багреющую, как отгорающие угли, золотую диадему; напрасно перелетает запоздалый голубь с вазы на карниз, думая обмануть время; напрасны усилия последних еле намеченных, прозрачных и уходящих теней – еще задержаться! Еще выпуклые на угасающем солнце вазоны и тугие волны барочного изобилия – доживают свои последние, уже считанные минуты царственного бытия. В грусти своей Дама еще величественна; но уже тускнеет, лишается все сил бодрости; формы теряют упругость; без теней – все уплощается, ссыхается, становится почти что картонным.

Отходя ко сну, с легким, как бы, позевыванием и подрагиванием оголенных плеч, Дама укрывает себя темным, все обобщающим покрывалом плаща сумерек.

Конец наступает быстро. Как только зажигаются уличные фонари, как только в окнах здания Почтамта то тут, то там возникают желтоватые пятна горящих ламп, Дама уходит в свои покои, и – действительно, вдруг в какой-то миг, сливаясь в общее серое ничто, башня мгновенно исчезает, пока не утемнеет небо: тогда штукатурка снова выступает легкой белеющей туманностью, шепчущей нам о неисчезнувшем бытии Башни.

В этот час однако и мы, также ложась спать, перестаем думать о свершающемся за окном; мы сонно перебираем в памяти пережитое за длинный день, и вот уже ничто более нас не трогает – еще миг – и мы спим, как только в раннем детстве спят.

ГЛАВА ПЯТАЯ

МОСКВА ТЕХ ДНЕЙ

Вселившись в 1901 году в главный корпус Училища, мы нежданно очутились в атмосфере замечательного куска старой Москвы. Красота его вошла, как в окна нашей квартиры, — в нашу детскую жизнь. Ежедневно — утром, днем, вечером — десять лет подряд, перед нашими глазами стояла удивительная архитектурная панорама. Зависимо от времени — дня ли, года ли, она по освещению меняла свое выражение. Так десять лет нашего детства нас питала — и воспитывала — красота этого комплекса, ныне исчезнувшего — и навсегда.

Все, что последует дальше в моем рассказе о почтамте, следует понимать, как запоздалый надгробный плач по близкому другу, нас покинувшему. Так я хотел бы быть понятым и принятым, в моем повествовании.

В детстве каждая новизна, не правда ли, интересна и радостна своей интригующей неизвестностью. Но, в данном случае, появление нового, еще необычного, стало быть интересного, заменившего собою старое, ставшее привычным, обыкновенно-обыденным, — не вызвало в нас, детях, никаких добрых чувств! Мне, по свежей памяти, легко сравнивать ценность старого, привычного и обыденного, с тем новым, что только что возникало в те годы.

Живого сравнения лишены все, ранее не знавшие исчезнувшего *тогда* комплекса, столкнувшиеся с ныне существующим — *теперь*. Вот эти-то "тогда" и "теперь" — оказываются решающими условиями разговора.

Выше я пытался передать ощущенья подростка и воздействие красоты Меншиковой Башни на его впечатлительность и фантазию. Сейчас, оглядываясь глазами уже архитектора на виденное и запомнившееся с тех дней, я хотел бы разобрать, что же, в действительности, было существенным в этом комплексе, в этой панораме, которая так завоевала наши сердца; что подлинно ценного, в отношении улицы и города, исчезло с уничтожением панорамы, в чем собственно стала более бедной улица и даже не только в этом, ограниченном, ее отрезке. По прекрасно запомнившемуся, и проверенному материалами, я могу рассказать об этой панораме со всей убежденностью. Этот комплекс интересен также и своей давней историей и последовательностью развития.

Земельный участок, в свое время ставший владением московской почты, в XVII веке входил в большую, даже для тех времен, усадьбу; она тянулась вдоль стен Белого города, от Мясницких, почти что, до Покровских ворот. Более точно известно, что описываемый участок усадьбы откупил без-

родный баловень и "полудержавный властелин". В самые первые годы нового века он поручил зодчему Ив. Зарудному возвести для себя "палаты", то есть дворец (palazzo), а при дворце – церковь, "что под колоколы", Гавриила Архангела. Церковь, более известная под прозванием "Меншиковой Башни", освящена была уже в 1707 году. К тому же времени был, вероятно, построен и дворец. Точная история этого места начинается с начала XVIII века. Поставив дворец и церковь, эти "вещественные доказательства", в глубине владения, Зарудный закрепил возможность, в далеком будущем, осуществления глубинно-пространственной архитектурной композиции, какая всегда имеет большие преимущества перед архитектурой плоскостных фасадов. Тут, сильно забегая вперед, отметить надо, что перебравшись на новую квартиру в учебном корпусе, в 1901 году мы застали именно эту пространственную композицию "старой почты". Эта композиция просуществовала до 1908 года, когда начали ломать здание старого почтамта.

Вельможный временщик не долго пользовался своей частью всей усадьбы. После его падения и высылки из Москвы, она переходила из рук в руки, видимо, без всяких строительных изменений. В середине XVIII века она была, в конце концов, продана только что учрежденному тогда Московскому, так называемому, "пост-амту". Тогдашний московский "пост-директор" Ив. Пестель откупил ее у купца Н.Лазарева, последнего ее владельца.

Новый "постамт" и нашел себе пристанище во дворце фаворита. Но вскоре, уже в конце XVIII века, оказалось необходимым провести первое расширение здания. Надо особо указать, как архитектор, мне неизвестный, удачно провел это расширение; учтя наличие в панораме такой доминирующей ноты, как Меншикова Башня, он не решился надстраивать здание дворца, что было бы наиболее простым и экономичным, а предпочел пристроить к существующему зданию два боковых крыла, перпендикулярных дворцу, но – одноэтажных.

Таким приемом он сохранил высотное соотношение Башни и дворца; разобрав надстройки, которые возникли еще при Меншикове, – он наиболее открыто показал Башню – зрителям с улицы. Этим же приемом он привел ранее аморфный сад в геометрически правильную архитектурную фигуру "почетного двора" (cour d'honneur), открытого улице. "Почетный двор" определил собою композицию в целом, придав ей вполне законченный и торжественный характер.

С уверенностью можно сказать, что с этого времени, с первых дней XIX века, композиция данного комплекса стала незыблемой основой всех работ при дальнейшем расширении Почтамта. Действительно, за все 19-ое столетие архитекторы, расширявшие, достраивавшие, перестраивавшие и возводившие новые корпуса почтамта, соблюдали весьма ревностно, как порученную им эстафету, эту архитектурную основу, легко читаемую в натуре, и кстати сказать, нигде не записанную; но за все столетие ни одна рука не посягнула на сущность такой основы – то есть на ее глубинно-пространственную, панорамную структуру. Для всей улицы – не только для ограниченного отрезка

этого участка – такая композиция стала на столетие значительным архитектурным явлением исключительной силы – создав улице своеобразный облик парадности, при большой скромности отдельных зданий.

В 1910 году началась сама постройка здания нового почтамта. Панорама приказала долго жить: теперь ее заменил плоский – во всех значениях слова – и скучный фасад, заслонивший собою и стрелу Меншиковой Башни, и пространственную, глубинную композицию почтамта.

В рядовой застройке улицы, несмотря на всегда желаемую оригинальность, новое здание не привнесло ничего особо выдающегося. Не такому, конечно, фасаду – под силу было достичь хоть малой доли красоты и значимости, какой отличался замечательный комплекс – даже при той простой архитектуре, почти бедной украшениями, которая – я имею в виду фасад старого почтамта – стала переходным звеном к скульптурности и прозрачной легкости архитектуры Башни.

Новый век легко расправился с панорамой и навсегда уничтожил то, что следовало бы сохранить – для потомства.

* * *

Архитектурная идея композиции любого "двора почета" (cour d'honneur), ее смысл и игра – заключены в том, чтобы исполнять две роли одновременно и при этом роли совершенно противоположных действий. "Двор почета" *отделяет* архитектурное сооружение от улицы, как бы отъединяет его. Но он и *связывает* поставленное так здание – и куда сильнее, нежели связан с улицей дом, поставленный по красной линии, то есть по кромке тротуара. Мимо такого здания мы обычно проходим, не думая и не замечая его присутствия. Мимо здания, поставленного в глубине двора, мы не пройдем, не взглянув на него – хотя бы и машинально: он заставляет нас обратить на себя внимание, даже если наши мысли заняты чем-то иным. Здание, поставленное по красной линии, является, в своей сущности, вертикальным ограничением ширины улицы; вертикально ограничивающие плоскости зданий превращают улицу в коридор. Двор почета, прерывая собою рядовую застройку улицы, расширяет ее, освобождая от коридорного ограничения.

Далее: хотя такой двор всегда отъединен от улицы оградой, однако прозрачность ажурной решетки нарушает унылую скуку коридора: глаз, дотоле скользящий мимо домов – обретает зрительную паузу, следуя архитектуре зданий, уводящих его от улицы вглубь двора. Противоречия, состоящие в борьбе разъединения и присоединения, удаления и вовлечения – вот основа архитектурного замысла двора почета, вот практическое существо его идеи.

И наконец: двор почета и архитектурное сооружение, вызвавшее его к жизни, – обратимы. Следствием глубины композиции становится ее многоплановость: план ограды, план двора (или сада), план задника, возможное появление планов промежуточных кулисс. Подобная сложность планов создает непременное архитектурное богатство комплекса. Здание, стоящее по

красной линии, одной своей плоскостью не сулит богатства даже своими различными приемами усложнения стены – портиками, ризалитами, раскреповками. Глубинная, панорамная композиция всегда будет – при любой скромности архитектурных решений – богаче самой богато решенной плоскостной стены здания.

Здание почтамта, каким мы застали его, было и примером и подтверждением сказанного. Здесь были четко различимы все отдельные планы композиции, составляющие вкупе единое целое.

* * *

На самом переднем плане, по красной линии улицы, тянулась великолепная, высокая – выше первого этажа – ажурная, красивого рисунка, черного кованого железа решетка ограды. Подобно тетиве лука, она стягивала собою свободные концы боковых крыльев здания, доведенных до тротуара улицы. У боковых крыльев ограды решетка была прорезана двумя проездами, с воротами того же рисунка, что и сама решетка, распахнутыми почти всегда настежь. От ворот въезда плавная дуга аллеи, усыпанной свежим яркожелтым песком, подводила к главному входу в здание почты и далее – к выездным воротам. Между воротами, вдоль ограды сохранялся остаток прежнего, громадного, хорошо ухоженного сада, со старыми липами и густыми кустами сирени; невысокий штакетник со стороны двора повторял кривую дуги аллеи.

Таким образом, сам двор почета расчленялся на промежуточные планы, со своими повторениями.

Здание, несложной архитектуры, охватившее объятиями двор и сад, было лаконичным по декоративности и скромным по украшениям; по всем статьям решенья оно было – для своего времени – обычным среди казенных "присутственных мест", подобного, среднего, калибра. Почти все такого рода здания были двухъярусными: первый этаж вмещал служебные, именно "присутственные" помещения, не ахти парадные, скорее даже замызганные залы, более низкие; соответственно этому и наружная архитектура должна была отличаться большей суровостью против второго яруса – этажа парадных помещений.

В здании почтамта такое разделение было четко проведено: первый этаж – рустованный, тяжелый, с очень простой, разделяющей этажи тягой – был решен явно как подножье, постамент, для второго этажа, более высокого и более нарядного. Гладкая, легкая стена нуждалась в более тонкой профилировке деталей. Окна второго этажа, хотя и не арочные, как для того времени было бы более обычным, были изысканных и торжественных соотношений. Обрамлены они были наличниками скромными, но нарядными, с прямыми карнизами, не сильного выноса. В средней части здания над окнами были прорезаны небольшие оконца, меньше квадрата, "второго света", подчеркивающие высоту парадных залов. Во втором этаже размещались раз-

ные приемные аппартаменты, гостиные и кабинеты высших чинов почтамта, то есть помещения, полные свежего воздуха, обилия света, льющегося через чисто отмытые стекла окон на чудесно натертый и пахнущий воском паркет, на мебель, покрытую серыми чехлами; но, как и снаружи, так и внутри все сдерживалось духом легкой суровости, приличествующей казенной важности "присутственного места" и вицмундира.

Теперешней архитектурой всегда искомый и подчеркнуто выделяемый "центр" или "ось композиции" здесь себя ничем не выявлял, хотя и существовал. Входы в помещение почты размещены были в центре здания. Они и образовывали ось композиции. Ни портика, ни усложняющей деталировки или декорации окон и дверей средней части фасада архитектор не применил. Над входными дверьми вначале был, вероятно, навешен длинный "козырек" – скорее утилитарно нужный, нежели декоративно обогащающий – на обычных, для тех времен часто встречающихся консолях-кронштейнах. При нас, тогда, навес простого кровельного железа, выкрашенного в обычный зеленый цвет, опирался на четыре литых чугунных спаренных колонки. Навес кровельного железа – был максимальным обогащением, допущенным архитектором! Однако, вспоминая красивый, легкий рисунок решетки ограды, вспоминая общий характер архитектуры, пропорциональность частей, а, главное – отношение всей композиции к башне Зарудного – начинаешь проникаться большим уважением к автору. Ведь, по сути дела, в новом "ансамбле", как положено теперь говорить, ему предстояло объединить давно уже существующую архитектуру очень сильно выраженного стиля, с еще не существовавшим зданием, какое должно было родиться в результате перестройки и расширения здания совсем нового назначения.

Суть сложности, слаженности и слитности новой композиции, выполненной архитектором, нам, ребятам, сидящим на подоконнике, в голову не приходила. Не понимая еще таких значений, как, например, – "единство целого" или подобных этому, мы были просто подчинены, силой воздействия, вслепую, по чувствам, композиции настолько, что нам никем тогда не объясненный смысл явления запечатлевался, как на фотопластинке, накрепко в памяти.

* * *

Описанный архитектурный основной комплекс постепенно обрастал новыми корпусами; к нашим дням они расположились по красным линиям участка, создавая нужные для внутренней работы служебные дворы, не видные с улицы. На пересечении Мясницкой и Чистопрудного бульвара, на углу участка, вырос большой корпус Телеграфа; угол дома был сильно срезан, и на этой плоскости поместили большой циферблат часов и под ним входные двери в помещения для публики. Эти помещения – большие, анфиладой по Мясницкой, тянущиеся три зала, находились на втором этаже. Широкая наружная каменная лестница, выложенная по красивой кривой из белокаменных плит и ступеней, вела непосредственно ко входным дверям. Верхняя

площадка была достаточно просторной; она была выстлана большими квадратами того же белого камня, что и ступени. На площадке постоянно толкалось множество народа, не всегда имевшего прямой нужды в телеграфе. О них будет отдельный рассказ ниже. Ныне ни лестницы, ни входов давно уже и в помине нет. В тридцатых годах разобрали лестницу и замуровали двери.

Чиновники, служившие на телеграфе, обязаны были знать французский язык (немецкий и английский не были обязательными). Нам это было известно от молодого человека, служившего в швейцарах у директора Училища, князя Львова. С этим человеком мы часто сталкивались на нашей общей лестнице. Он рассказывал, что сам князь и его старшая княжна ему здорово помогали в занятиях по французскому, когда он готовился к экзамену. Его он успешно потом и сдал. Впоследствии мы нередко встречали его, в новой его ипостаси, в форменном вицмундире чиновника-почтовика.

Застройку вдоль Чистопрудного бульвара прорезал широкий проезд с колоколом – впоследствии ручной колокол был заменен электрическим, а потом и автоматически зажигавшимся сигналом выезда.

В первые годы нашего переезда на Мясницкую, мы, гуляя по бульвару или вдоль зданий почтамта, часто наблюдали въезд и выезд разных служебных карет, саней и других экипажей почтового ведомства. Все они отличались от карет, экипажей и саней "вообще" – своим темно-синим ведомственным цветом с обязательным, как некий герб, белым, перекрещенным по диагонали, прямоугольником, символом конверта. К ним присоединился вскоре новый вид транспорта – во двор провели рельсовую колею, ветку от бульварного кольца городской "конки". Вагончик был синего цвета, с тем же неизменным гербом, без окон, с открытыми площадками, в парной упряжке. Рядом с кучером, на откидной скамеечке сидел почтовый служащий, по задней же площадке разгуливал чин почтовой вооруженной охраны. Все были в черных шинелях с синими кантом и петлицами, и с синим шнуром револьвера в черной кобуре.

Через этот же проезд во двор или из него – на вокзалы к поездам, спешили особые кареты, такие же темно-синие, с белым конвертом, но совершенно глухие, без всяких окон. В таких каретах – все это знали – перевозили только ценности или мешки с деньгами. Тогда рядом с кучером и сзади, "на запятках", сидели "военные нижние чины" жандармерии, в полном своем вооружении. Лошадей гнали "как на пожар", то есть во весь опор. У кучера сбоку, как и на коночных вагонах, висел колокольчик, в него непрерывно звонили.

* * *

Наблюдать за жизнью вокруг – как это всегда интересно! Сидя на наших широких подоконниках, мы часами могли смотреть и наслаждаться наблюдениями за жизнью почтамта. На почту постоянно ходило множество людей. То

одиночками, то, сгущаясь, скоплениями, то растянутой цепочкой, то вразброд, как муравьи – туда или оттуда – шли и шли люди, разные – по всем статьям. Одни шли быстро и решительно; другие – как бы перебирая еще в мыслях, что им предстоит справить за конторкой. Одни не вызывали в нас никаких эмоций – тогда было скучно; другие – смешили разнообразием походки; третьи размахивали руками так, точно спорили или сами себя в чем-то убеждали. Удивляло, что все шли, как по тропинке, протоптанной как по бездорожью, хотя пешеходный путь был широк и везде проходим – вначале еще грунтовой, посыпанный ярким песком, впоследствии – асфальтовый. Все шли чинно, один за другим; если же кто обгонял других – это казалось неприличным нарушением системы. Люди, обходя весь двор вдоль стен по тротуару, скрывались в дверях под навесом. С годами, мы сами, частью идущих людей, входили в эти двери; нас посылали покупать марки и открытки, либо отправлять заказные письма или посылки. Все экспедиции (в те времена разделы служб именовались, по еще очень старой памяти – "экспедициями") почтовых операций размещались в первом этаже, не далеко от общего вестибюля; он был не большой высоты, не больно светел и, во всяком случае, не слишком проветриваем. Тут постоянно стоял – возможно и столетний – запах расплавленного сургуча, столярного клея, свежей рогожи и серпянки, в которую зашивали мелкие посылки. Этот запах объединялся духом постоянного скопления людей.

Почтовые операции проводили чиновники, одетые в форменные тужурки или сюртуки черного сукна с синими кантами и наплечниками; свое дело они проводили быстро и молчаливо, аккуратно и серьезно, с выработанной сноровкой. Это все и запахи, помянутые мною, создавали общую атмосферу серьезности и важности происходящего.

Отсюда во второй этаж входа не было. Никому из сюда приходящих, конечно, дела не было до парадных приемных и кабинетов начальства. Туда приходила публика другими подъездами, кстати сказать, менее видными, чем общие входы на почту. В боковом крыле, левом от нас, размещались квартиры почтдиректора и товарища почтдиректора. Оба по гражданской иерархии соответствовали, по чинам, генералам; к ним обращались не иначе, как "Вашество", имея в виду – "Ваше превосходительство". Впрочем, их квартиры, да и они сами, к объектам наших наблюдений не сопричислялись и мы к ним никаких интересов не проявляли. Интересным же для нас было наблюдать – зимами – черные потоки пешеходов по белому снегу, столь же графически контрастные, как у Валлотона. В убитом множеством ног снеге то тут, то там, появлялись черные лунки прекрасного, гладкого и удивительно скользкого льда. От нас, сверху, они казались открытыми, бездонными полыньями, порой до боли в глазах сверкавшие солнечными вспышками. А нас забавляло – ах, негодные мальчишки! – глядеть, как люди, спешащие на почту, ни о чем таком не думая, внезапно и гротескно превращались в виртуозных акробатов – свершая сложнейшие пируэты, кончавшиеся, однако, после особых сальто-мортале и неожиданных подскоков – падением

плашмя. Всего чаще бывало, что на "эфтом самом месте" падали подряд многие. Было, как если бы в пешеходах имелся какой-то механизм, который как раз над такой лункой приводил автоматически руки и ноги несчастного в неестественно-судорожное движение, а затем безвольное уже тело — к предопределенному падению. Повторность факта в быстрой последовательности его, была пожалуй самым смешным в калейдоскопе. Не зная еще сути тотализатора, мы загадывали "на пари" — кто, как и — главное — на каком из мест падения, окажется под действием валящего механизма; большим же огорчением было, ежели объект оказывался более сопротивляющимся и устойчивым, чем мы ему назначали.

* * *

Не припоминаю сейчас, в какие дни бывал престольный праздник почтамта, и какую икону привозили в этот день сюда, в домовую почтамтскую церковь. Возможно, что была это и Иверская. Во всяком случае зимний этот день для почтамта был большим праздником и важным событием. И почему-то именно в этот день стоял трескучий мороз. С утра в этот день на воротах появлялось объявление, что с такого-то по такой-то час почта работу прекращает.

Двор пустел. Чистый свежий песок ярко желтел на ставших бездейственными тротуарах. Дворники, в начисто отстиранных и выглаженных ярко-белых фартуках истово и чинно подметали по опустевшему двору снег, приводя его к белизне еще не запятнанной скатерти, только что постланной.

Приезд иконы — и мороз — совпадали каждую зиму и стали неотъемлемыми частями картины, нами ежегодно наблюдаемой.

В точно назначенный час дворники, убрав свой инструментарий, выстраивались около въездных ворот. В скорости, действительно, во двор въезжала карета, допотопная колымага, запряженная четверней, по две лошади, цугом; на первой паре лошадей, столь же старых, что и карета, сидел верховой мальчишка, форрейтор[1]. Кучер кареты сидел на козлах, поднятых высоко над лошадьми. Рядом с ним сидел кто-нибудь из свиты иконы, так как внутри места на всех не хватало. Карета останавливалась не у подъезда в церковь, а у главных входов под зеленым навесом.

Все, кто приезжал с иконой в карете, равно как и кучер со служкой и мальчишка-форрейтор, были с обнаженными головами. Но, по причине лютого холода, все были повязаны, по-бабьи, теплыми платками, или в башлыках,

[1] Такая же форма дополнительной упряжки — парой, форрейтором, также мальчишкой — пристегивалась к дышлу вагончика конки перед крутым или длительным подъемом пути, столь частыми в Москве.

надетых прямо на обнаженную голову. Теперь таких башлыков и в помине нет; тогда же они были обычной принадлежностью форменной зимней одежды. Каждому роду формы присваивался ''свой'' прием одевания башлыка: ''как офицеры'', ''как кадеты'', даже ''как гимназисты''.

Торжественно, под поклоны крестившихся дворников, неторопливо выплывала из распахнутой дверцы кареты тяжелая и громадная икона. На полотенцах, лямках и на руках помогавших дворников, ее осторожно и почтительно высаживали и подхватывали, пока вся она не оказывалась на твердой земле. Тут уж только свита ее поднимала и вносила в настежь распахнутые двери входа на почту, где она, медленно уплывая, скрывалась за дверьми. Тогда, с облегчением, дворники, надевая свои картузы или малахаи, все еще крестясь, и почему-то сплевывая, расходились кто куда. Для нас же наступал довольно длительный перерыв в интересе. Потому, конечно, что то, что зримо продолжалось во дворе, не имело для нас особого интереса.

Мы знали, неизвестно от кого, что внутренними переходами из зала в зал икона путешествовала, все на руках, по дороге в домовую церковь. Церемония перехода, а затем и торжество службы в церкви – длилось довольно долго.

За это время карета, стоявшая перед навесом, вовсе пустела: вся прислуга перебиралась в тепло помещений и там отогревалась. Лошадям, на побелевшую от инея шерсть, накидывали черные попоны, старые, рваные, вряд ли очень уж теплые; для радости им подвязывали торбы с овсом.

Лошади уныло и понуро стояли, изредка в раздумьи перебирая ногами. В торбах оказывалась неизбежная, как у всех, вероятно, торб страны, проеденная дырка, и когда лошадь, стремясь побольше захватить корму, вскидывала торбу головой или трясла ее, через дырку начинал вытекать овес, тонкой струйкой струясь на снег.

Тут начинался пир горой воробьям двора и откуда-то прилетавшим голубям и галкам. Все это копошилось и волновалось, хлопало крыльями, взлетало и снова садилось у ног лошадей, которые неподвижно погружались в птичье месиво. Бочком, бочком, вприпрыжку, не сразу, подскакивала откуда-то взявшаяся ворона; скосив голову, она как бы оценивала ситуацию, глядя на хлопотливое беспокойство птиц; решив, что такой прокорм для нее неподходящ, она столь же деловито, серьезно и не без грации, также бочком, не теряя своего достоинства – отскакивала в сторону. Затем, тяжело и редко машучи крылами, низко отлетала, с недовольным кряхтеньем, и поднималась на какую-нибудь низкую ветку дерева.

* * *

Меня не должны обвинять в особом пристрастии к панораме почтамтского комплекса. Конечно, он был куда интереснее всего другого, что мы видели из окон остальных наших комнат. Когда его стали застраивать, а нас ли-

шать этого зрелища, я был уже не ребенком; мне было уже за пятнадцать лет и я, конечно, имел возможность оценивать — исчезающее.

Конечно, теперь уже не падающие прохожие, не гравюры Валлотона или Серовские вороны приковывали мое внимание к почтамту. В эти годы я мог уже говорить об иных достоинствах этой панорамы, свободно в них разбираясь.

Если в какие-то моменты польский костел говорил мне также многое интересное — в закатные часы или в полночное полнолуние — то все же Меншикова Башня имела куда больше шансов покорять воображение и мальчика и юноши в пятнадцать лет!

Почтамта того времени давным давно уже нет. Мало кто, вероятно, помнит его; большинство же его и вовсе не видало. Пусть же эти мои словесные зарисовки будут ему эпитафией, им заслуженной.

* * *

Кто же толкался и толпился на широкой площадке открытой лестницы, поднявшейся ко входам в телеграф? Это были люди организации "посыльных", "артельщиков" или "красных шапок". Сейчас таковых давно уж нет.

На первый взгляд — кучка довольно разно одетых бездельников толчется и в вёдро и в дождь, пританцовывая и притопывая, когда наступали холода, оставляя свободным проход только посетителям телеграфа. И однако бездельниками они были — только на первый взгляд. Их объединяло — кроме какого-то ощутимого товарищеского чувства — еще и зримое общее начало: ярко-красные фуражки с черным околышем. Отсутствие на них кокард — превращало их в партикулярный вид "головного убора", как тогда именовали всякого рода форменные фуражки, папахи, бескозырки и тому подобное. На "головных уборах" этих людей были, как и у дворников и почтальонов, медные бляхи, с выбитым номером и словом "посыльный". По "головным уборам", с днищем ярко-красного цвета, обладателей их величали "красными шапками".

"Красные шапки" являлись членами солидной и очень разветвленной "артели", корпорации на кооперативных основах. Деятельностью "артельщиков", членов корпорации (артели) было обслуживать, за малую оплату, нуждавшихся в помощи. С "красной шапкой" договаривались — отнести срочную записку, или письмо, или доставить корзину цветов из магазина, или, по указанным адресам, — взять и отнести какую-нибудь кладь или посылку, купить билет в театр или на поезд. Им поручали — но тогда уже через артель — несложные денежные, банковские и почтовые, ценные операции, даже с выездами в иные города. Поручающий был всегда спокоен за свои ценности, так как за такие операции отвечала за "посыльного" вся артель своей кассой.

Поэтому-то каждый артельщик имел свой личный номер, указанный на

околыше; этот номер для артельщика был своего рода паспортом, если не более важным документом.

По яркому цвету картуза — "посыльного" легко узнавали издали даже затертым в толпе на улице, и, ежели посыльный был еще не занят, его тут же подряжали. Работали они "по таксе", всегда можно было по их книжкам проверить и убедиться, что они не запрашивали лишнего; заламывать цены было не в их интересах.

"Артельщик" — было понятие как бы родовое. Видами артельщика были и посыльные (красные шапки), и специалисты по упаковке и перевозкам разных грузов и мебели, и, наконец, носильщики на вокзалах и пристанях, обслуживающие пассажиров с их поклажей.

Артельщики-носильщики имели свой отличительный признак, почти что свою форменную часть одежды: белый фартук с белой грудью, на которой болталась на кожаной петельке ярко начищенная медная овальная бляха с выбитым номером. Поверх фартука — черный ремень с медной же пряжкой и с тем же номером.

Все носильщики были атлетического сложения, ведь им надо было таскать иной раз большой груз поклажи; тогда легких тележек еще не было, а платформы обслуживали только "багаж", то есть то, что шло не в пассажирских вагонах, а в товарных и специальных — багажных.

Когда носильщику надо было нести много тяжелых чемоданов, корзин или тюков, он снимал свой ремень, нанизывал на него всю поклажу и перекидывал через плечо на спину и на грудь, чтобы было соблюдено равновесие. Тогда в свободные руки он брал еще оставшиеся тючки и кошолки и, так нагруженный, плелся он вслед за пассажиром. Несмотря на тяжелую и довольно грязную работу, носильщики, стоя на улице в ожидании пассажиров, приезжающих к вокзалу, всегда были в чистых фартуках и сохраняли свою постоянную молодцеватость и, хотя бы внешне выраженное, добродушие.

Кроме работы собственно грузчиков, носильщики подряжались на более легкую и "чистую" работу: брать билеты на проезд, или сдавать в багаж грузы, не идущие в пассажирских вагонах; это было также большим облегчением для пассажиров, обремененных всегда количеством клади и — почти всегда — количеством едущих с ними детей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПАМЯТИ МАРШАКА

Ф.А.Пастернаку

Упомянув выше, как о некоторой примечательности города, об артельщиках, здесь я продолжу рассказ о другой, может быть, еще более колоритной особенности не только старой Москвы, но любого простого губернского, а может быть, и гораздо меньшего уездного города страны. Речь пойдет о почти военизированной службе, хотя и гражданской. Впрочем, тут дело не в том, была ли она гражданская или военная, – а просто скажем – колоритная.

В какой-то день нашего возвращения, после летнего отъезда на дачу, мы, из шепота сказанного нашей Дуняшей или Грушей, – не имя важно – узнаем, что кто-то пришел – не то поздравить с благополучным переездом, не то по какому-то делу; по тону, как это докладывалось нашей матери, легко было догадаться, что нас ожидает что-то весьма интересное. И точно, через какой-то миг в комнату чинно, один за другим, входили два, прямо надо сказать, античных героя, каких я достаточно насмотрелся и в отцовых книгах, которые ему приносили из училищной библиотеки, и в некоторых отливках в "Агафьинском" подземельи; разница была, по-моему, только в том, что эти – тут – были живые и двигающиеся люди, а там, в гипсе – ну те, конечно, были менее интересны! Так вот – два черных Патрокла входили в комнату, с их замечательными шлемами – по-моему – из чистого золота, но без конского волоса, а с гребнем; входя, они держали свои шлемы – под мышками!

Войдя в комнату и отвесив поклоны, Патроклы принимаются за дело. Это – пожарные; они пришли прожигать дымоходы наших голландок.

Интересно отметить, что и в 1911 г., на Волхонской квартире, где все еще сохранялось голландское отопление, они точно так же входили, так же кланялись и выполняли ту же самую процедуру, совершенно так же и в тех же темпах, что и на Мясницкой. Так вот, в комнату входят одетые в черные куртки, с ярко натертыми кирпичом медными пуговицами, бляхами на черных ременных поясах и блещущими чистой медью касками, пожарные; они – сурово бородатые, в неимоверно пахнущих дегтем и ваксой сапогах. Вместо коротких мечей или круглых щитов приносят они большие пуки длинной золотистой чистой соломы. Они лихо проделывают свою несложную процедуру и, к нашему великому удовольствию, прожигают сажу. Взяв такой пук и поджегши его с одного конца, другим они живо суют его в печь и – гляди! – ярко пылающий факел, влекомый тягой воздуха, как бы ввинчивается в недра печи и с густым гуденьем и резвой быстротой сразу исчезает из поля

нашего зрения. В это время другие пожарные, находящиеся на крыше, – об этом нам сообщают наши, тут – наблюдают там и по быстроте фейерверка они определяют, нужно ли звать трубочиста, или будет достаточным прожечь соломой трубы и удалить этим налет сажи в дымоходах. По существу пустяковая и недолгая работа, но она обставляется, однако, торжественно, почти таинственно-магически. За столь краткое их посещение комнаты успевают пропахнуть приятным запахом легкого дымка и не столь приятным – дегтя и ваксы. Запах дегтя и ваксы. Запах дегтя – тоже не плох, но он очень устойчив, и долгое время, после отбытия его носителей, он чувствуется где-то в глубине наших носоглоток.

Получив за свою работу "на чай" (у нас никогда не говорилось – на водку; слова "на чай" произносились, а нами, детьми, понимались как одно слово – начай), они, кланяясь и благодаря, надевают свои ярко горящие на солнце и мелодично отзванивающие шлемы, и снова становятся античными героями или легионерами. Такую же картину мы не раз видели, когда пожарные приходили "проздравить" господ – то есть нас именно – с приездом.

Удивительно, как переход от телеги и лошади к автомобилю, от керосина лампы к электричеству и появление телефона – не повлияли на хотя бы внешность пожарных к этому времени: они приходили на Волхонку, как некогда на Мясницкую, или как много раньше – на Оружейный и так далее, с теми же ваксой пахнущими сапогами и медными своими касками.

Только мы перестали теперь видеть в них Патроклов или цезарских легионеров...

* * *

Поражающе живо, необычайно красиво и верно передают наши впечатления детских лет чудеснейшие стихи С.Я.Маршака "Пожар". Первое издание, с превосходными и талантливыми иллюстрациями В.Конашевича, произвело на всех, и больше даже на взрослых, чем на детвору, удивительное впечатление. До сих пор я все еще припоминаю некоторые густо взятые акварели Конашевича и жалею, что, хотя мы и тщательно берегли эти первые книжки нашего сына, все же не уберегли первое издание, исчезнувшее. По правде говоря, совершенно непонятно, зачем и по чьей инициативе при переиздании понадобилось изменить редакцию текста и соответственно иллюстраций. До грусти жалко и обидно думать, что автор сам испортил свою удачу, пожелав приблизить свой новый текст к современной пожарной технике, заставив и иллюстратора обратиться к механизированной жизни.

Лишив читателя романтики допотопности, новые стихи, поясненные довольно скучными черными иллюстрациями современного пожаротушения, не вызывают более ничьих особо жарких, как пожар первого издания, эмоций.

Бесспорно нужны – в жизни – отвратительно воющие, скрежещущие и бьющие по голове сирены (бедные Сирены!) – современных пожарных авто-

машин, как несомненно нужна и безумная быстрота всей жизни современного города; все так, но... "на площади базарной...", а ведь это и была, в сущности, старая Москва.

Вот с этой-то строки все и начинается: в памяти возникает далекий образ каланчи, выкрашенной в темный серый цвет, с балконом на подкосах, с вышкой и мачтой с какими-то рогами наверху; по балкону всегда маячит, ходящий по кругу, вахтенный пожарный, медленно, как заведенная машина... такая картина была тогда нам всем, и москвичам и жителям населенных пунктов, прекрасно знакома...

Тогда вся Москва разделена была на двенадцать околотков, а по пожарной терминологии – на двенадцать "пожарных частей", и каждая часть (иначе: "депо", "пожарная станция") отличалась от других, ей подобных, мастью конного парка, выездкой лошадей и вымпелом части. Масть парка соблюдалась точно и строго, как униформа, как флаг.

Пожарные части именовались по принадлежности к городскому околотку, например – Тверская часть, или Сретенская, или Пречистенская и т. д. Все они приведены были по-солдатски, к однотипности и однообразию. Их обмундирование, обозы и построение их, численность команды части, казармы – все это подчинялось единому уставу.

Дозорная каланча была главным элементом пожарной части. До появления телефонов, каланча и вечный дозорный на ней были единственными оповестителями о начавшемся где-нибудь пожаре. Дозорные были так натренированы, что прекрасно умели отличать дымок возникшего пожара от множества безобидных дымков, столбами восходящих к небесам из печных труб района – особенно зимами – при топке голландок; центральное отопление было тогда еще редким явлением. В те времена большинство домов города не поднималось выше четырех этажей, да и четыре этажа были сравнительной редкостью, поэтому с дозорной вышки район хорошо просматривался – он был как на ладони.

При замеченном пожаре в своем районе, по канату мачты поднимался один черный шар, четко отовсюду видный при любой погоде. Если пожар был такой силы, что нужна была подмога, то под первым вывешивался второй шар или даже третий – по числу шаров "прочитывалось" дозорными других частей, какой части надлежит спешить на помощь. При особо сложных или угрожающих пожарах поднимался по другому канату черный куб, он означал "сбор всех частей". На очень серьезный пожар прибывал верхом, со своим личным вестовым сам брандмейстер города. Тогда на всех каланчах Москвы висели – зловещий черный куб и черный шар.

Визуальный метод информации был с древности еще известен и испытан. Обязанность дозорного, темным силуэтом проходящего по балкону вокруг вышки, напоминала мне такую же "визуальную" службу "впередсмотрящих" вахтенных на кораблях...

И все это происходило не где-то, в глухомани необъятной Руси, не на забытой окраине города, а даже в центре Москвы. Такая казарма, со своей ка-

ланчой, точь в точь такой, как ее изобразил Конашевич, была на улице Тверской, как раз напротив дома "генерал-губернатора"[2]. Это было ампирной архитектуры здание, с дорической колоннадой во весь фасад; здесь размещалась канцелярия и административная часть пожарной станции. Во дворе, за этим зданием располагались каменные казармы, конюшни и сараи и, конечно, дозорная каланча.

* * *

Гордостью каждой станции и пожарной команды была не столь масть, тщательно подобранная, лошадей, сколько быстрота снаряжения выезда, натренированность кучеров, бешеная езда по городу, общая лихость всего выезда. Действительно, когда такой поезд мчался галопом во весь опор по середине затихшей и сразу опустевшей улицы – все извозчики и ломовые в испуге спешили поджаться к тротуару и там замереть – зрелище было потрясающим не только для нас, детей, но и для взрослых. В самом деле, такого галопа, когда мостовая изрыгала из-под копыт чудищ фонтаны искр, когда грохот, казалось, качает сотрясающиеся дома и когда сам воздух начинает пахнуть Вагнером – Москва, конечно, не потерпела бы ни от кого. Такая непререкаемая привилегия была единственно за поездами обозов пожарных команд.

Холеные, дородные, сильные кони-звери, запряженные четверкой о двух коренниках с двумя пристяжными, с их лебедино-выгнутыми шеями, ритм скока и совершеннейшая неподвижность кучера в каске, с белыми перчатками, само по себе составляло картину исключительной, незабываемой мощи и слаженности. Здесь всякая мелочь играла свою большую и важную роль: абсолютная одинаковость масти и поразительно выдержанная одинаковость веера – в развороте голов и даже корпусов скачущей четверки; четкость и совершеннейшая размеренность галопа, без всякого сбоя ритма, как хорошо отработанный солдатский шаг на марше; кажущаяся бездеятельность кучера, стоящего в струнку, не хуже "дельфийского возничего" на его колеснице – все требовало, естественно, большого уменья, выдержки и постоянной тренировки. А казалось, что все делается просто, легко и само собою.

Вслед за верховым горнистом, возглавляющим поезд на первой линейке, рядом с кучером, сидел на своей скамейке пожарный-звонарь. Не переставая он звонил в подвешенный серебряный колокол, замечательного и чистого звона. Все время звучащий колокол прибавлял в Вагнеровскую ноту театральности немало романтики. Далеко разносившийся в общей внезапной тишине улицы почти что набатный звон, одновременно и жуткий и бодрящий, служил к немедленному и полному очищению улицы, и верно! – ничто уж не осмеливалось медлить и быть помехой для богатырской скачки обоза.

---

[2] Ныне – здание Моссовета на ул. Горького.

Вслед за первой и второй линейками, с сидящими спиной к спине пожарными, уже одетыми в свои асбестовые штаны и куртки, с медными горящими на солнце касками на головах, мчался насос. Раньше насос был ручной, похожий на большой красный прямоугольный бак, с ручками на четырех человек, качавших воду. Я его еще видел и помню. Его сменил новый, с большим вертикальным никеллированным котлом, с топкой и дымовой трубой, изрыгавшей черный клубящийся дым, шлейфом на ветру тянувшийся вслед упряжке. Тучи искр неслись также вслед за насосом, и, если случалось поезду ехать вечером или ночью, зрелище напоминало полет светляков, летающих осенними темными ночами такими же, как бы раскаленными, линиями или нитями. Сбоку от топки сидел пожарный-истопник, время от времени подбрасывающий в топку чурки, заготовленные и сложенные тут же, штабелем, за котлом. Машина напоминала своим видом обычную тогдашнюю печку с котлом, которая стояла в любой – и нашей – ванной комнате и странно называлась "колонкой".

В головах поезда скакал горнист, он же и дирижер галопа всей кавалькады. За его спиной медная труба на многоцветном шнуре перевязи так плотно прилегала, что при скачке она не болталась и не била его по спине. Если поезд летел на пожар, когда на улице уже темнело, вестовой держал в левой руке факел. Пламя и дым факела метались от ветра, извиваясь длинным хвостом. Было похоже, что какой-то китайский, огнедышащий черный дракон, то сворачиваясь, то растягиваясь, то закручиваясь в кольца и кидая, словно пригоршнями, яркие искры, только и ждет испепелить все встречное ему.

Так все и неслось, как в вальпургиеву ночь, со звоном колокола, с громовым цоканьем враз – копыт табуна коней, с грохотом множества колес о булыжную мостовую. Еще только издали услышав приближение пожарной команды – улица вымирала, как перед грозой. Она еще где-то далеко, приближается медленно, как будто не сразу, но гораздо быстрее, чем ее ожидаешь, и вот она уже над головой, гремит, освещает молнией, окунает в полную черноту; чередование света и тьмы фантастически меняет обстановку.

На серьезные, крупные и грозные пожары брандмейстер города появлялся внезапно, на взмыленном черном коне, в полной пожарной генеральской форме, в мундире, в медной же каске, с маленьким тесаком на кушаке, скорее символом власти, чем орудием профессии. На такой же черной лошади вместе с ним прибывал его личный вестовой. Его серебряная труба, на перевязи с кистями, сразу, как только они оба спешивались, оказывалась у горниста в руках; он ни на шаг не отделялся от начальства, соблюдая однако должную дистанцию. Их коней, всегда готовых к дальнейшей скачке, не расседлывая, проваживал взад и вперед кто-нибудь из нестроевых обозных.

Уже гимназистом я бывал на некоторых крупных пожарах Москвы, например – когда горел Малый театр, или театр Незлобина. Путь из гимназии домой на Мясницкую лежал через Театральный плац, и потому, когда горели – в разные годы – эти театры, я задерживался в толпе, наблюдая такое редкостное – хотя и ужасное зрелище.

Что особенно запомнилось мне, как нечто солирующее в оркестре таких пожаров?

Среди непрерывающегося общего, то больше развивающегося шума пожара, то как будто куда-то отодвигающегося, чем-то заглушаемого, взрывались изредка то тут, то там, резкие и звучно-красивые вскрики серебряной трубы брандмейстерского горниста. Эти резкие крики приказов перекрывали собою весь нестройный рев тяги и треска всего уничтожаемого пожаром и пожарными. В ответ на чистое, серебристое пение команды, слышимое ясно и далеко, с разных мест раздавались звучные, но более грубые рожки пожарных команд. Гул пожара мощными волнами катился по площади, заглушая все вокруг, кроме этих сильных вскриков горнистов, кратко и настойчиво разрывающих оркестровое гудение фона. Здание же превращалось в какое-то ажурное ограждение гигантского костра, который могли разложить разве только титаны, которым противостали люди со своей техникой и водой. Громадные бревна балок, как огнем охваченные спички, вылетали из костра и, крутясь в воздухе, снова падали на костер. Страшное зрелище разошедшейся и разбушевавшейся стихии, вышедшей из повиновения!

Невозможно описать словами, ложащимися тихо и плавно на бумагу, вой, скрежет, треск ломающихся бревен, лопающегося стекла, лязга металлических балок, друг о друга цепляющихся или летящих вниз, в глубь колодца, каких-то то тут, то там взрывов, и, главное, это все перекрывающее, непрекращающееся, почти ровное, гудение дьявольской тяги – точно донельзя раздуваемые горны самой преисподней – или как запущенный в огромный рупор удесятеренный бас консерваторского органа, во всю мощь его нечеловеческих легких...

Длинные, в несколько этажей, извивающиеся в вихрях тяги, языки пламени; черно-багровый дым, взлетающий высоко над остовом горящего костра плотными облаками; все порою принимает вид какой-то живой силы, вступившей в борьбу с человеком; там, где открытая грубая мощь не берет верха, вступает в борьбу обман и хитрость: сбитое с ног, съежившееся и только жутко сипящее под бьющей водой пламя, как щенок припадает и ползает у ног, жалобно скуля; под таким прикрытием оно, перекинутое в другой угол, радостно оживая, танцуя, чуть ли не со смехом и издевательским свистом взлетает бушующим огнем на других пожарных. Похоже, новая музыкальная редакция Тиль Эйленшпигеля исполняется десятком объединенных оркестров.

Так запомнился мне знаменитый пожар театра Незлобина. Говорят, пожар Метрополя был похлеще и пострашнее. Он был в декабре, при жестоких морозах. Против человека выступили сразу две стихии – огня и воды. Спасительная для пожарных вода, превращаясь в лед, становилась западней. Много смельчаков пострадало и даже погибло именно на такой подлой измене, – больше, чем от ожогов и ударов.

* * *

Сказкой-правдой была удача Маршака и Конашевича. Они сохранили жуткую прелесть геройства и смелости и рассказали ее детворе в полной красочности прошлого. Все – и звери-кони, и скачущий в галоп верховой с извивающимся драконом за факелом, и весь поезд "в касках медных лучезарных", испуганные ломовики и извозчики – да и вся булыга мостовых – все это без возврата исчезло; никто больше этого не видит и не увидит. И было прекрасно, что в дивной сказке прошлое было вспомянуто большими художниками – мастером слова и кисти. Тем обиднее, что и это, равно как и сам оригинал – исчезло, а появилась новая авторская версия, с автомобилями, новой техникой, даже с новыми пожарными, в зеленых военных касках-горшках! А ведь обе версии "Пожара" могли бы сосуществовать рядом: переиздаются же разные вариации на одну и ту же тему, правда – в музыке. Почему бы и не сделать того же, хотя бы в виде исключения – и для двух разных версий Маршака на тему одной и той же стихии? Может быть, бытуя рядом, но не конкурируя, они, дополняя друг друга, усиливали бы впечатление каждой?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЕЩЕ МОСКВА ТЕХ ДНЕЙ

И. В. Кудряшевой

I. Преображения

Нельзя забыть изумительных картин подлинных превращений города в переходные дни – от лета и осени к зиме, или – еще более чудесных – от долгой зимы к долгожданной весне.

Тогда зима сохраняла еще в городах, даже в столичных, свой строгий облик и особые свойства, характерные для деревни и для всей страны, погруженной в сон глубоких, непроходимых и непроезжих снегов. Любая езда зимой, все зимние перевозки совершались лишь гужом на санях. В те времена городские улицы, как часть общих внегородских проезжих дорог, должны были обеспечивать санному ходу обычные, если не лучшие, условия зимнего пути. Тут уж не город диктовал деревне, а сама матушка-деревня, заносимая с древности снегами, утопающая в сугробах и завалах, требовала от города одинаковых с ней качеств санной дороги. Для езды зимой самым ценным дорожным материалом был снег; потому во время нашего детства и юности снег зимой охраняли, как, вероятно, еще в каком-нибудь пятнадцатом веке, и всячески его, как благодать, берегли. Автомобиль, вытеснив собою честную лошаденку, изменил и зимний пейзаж города; но в те времена машина еще только зарождалась, подражая видом своим экипажам и коляскам, хотя и безлошадным. Тогда автомобиль был еще редким зверем: ему еще не хватало сил на борьбу со снегом и санями, и снег тогда безраздельно властвовал над городом, над санями и над слабым соперником – автомобилем.

И пока были лошади и были сани – снег не счищали с мостовых даже самых людных улиц, не сгребали, как сейчас, в кучи, чтобы тотчас вывозить его за город. Когда, после обильных снегопадов, со всех крыш сбрасывали на землю чудесный, белый, еще не тронутый снег, его тут же раскидывали по мостовой, где он был более всего необходим. И с тротуаров дворники отгребали все излишки на ту же мостовую, всегда покрытую хорошим, толстым снеговым ковром. После таких снегопадов санки легко неслись, лошадям было сподручно и вольготно бежать, "бразды пушистые взрывая", раскидывая снежные комья и снежную пыль целыми водометами – по сторонам. А какая была радость нам, детям, ездить по вечерам в такие снежные заносы куда-нибудь "в гости" или "на елку"! Как непохоже было это на наши обычные будни! Сам город будто становился новым и незнакомым: тихий-претихий, как будто еще не обжитой. Редкие пешеходы: никакой ни в чем сумато-

хи и спешки. Керосиновые лампы в фонарях, на невысоких деревянных, красного цвета, столбах; перекладина под фонарем, на нее упирал свою лесенку фонарщик, спичкой зажигавший лампу. Как все знакомо и как все далеко ушло уже! Фонарщик для начала снимал ламповое стекло и дул в него, чтобы согреть – не ровен час – еще лопнет! Вот лампа зажжена, фитиль отпущен и мягкий, теплый, не очень яркий желтоватый свет ложится вокруг фонарного столба световым кольцом. Когда на морозном, до черноты глубоко-синем небе царствовала полная луна, улица освещалась, между фонарями, более сильным лунным облучением; снег становился уже не белым, а голубовато-зеленым и усыпанным как бы мелким битым стеклом. Искорки его были, пожалуй, самым красивым из всей красоты чистого, девственно-свежего, еще пухлого, только что выпавшего снега. Днем они, как яркие зайчики и мгновенные вспышки солнечного блеска перебегали, как живые, с места на место; вечером и ночью, в сказочности самой луны, искорки становились мерцанием небесных светил, внезапно упавших на голубые россыпи алмазов.

Вот в такие-то вечера, бывало, мы и ездили "на елку", крепко уцепившись за мамину ротонду, на извощичьих санях, убаюканные однообразной нежностью мягкого, по свеже-выпавшему снегу, скольжения, в полудреме, в сладостном блуждании между сказкой и правдой, скорее ощущая, чем что-либо видя...

Эти поездки запомнились неизбежно повторяющимся – и все же всегда по-новому интересным – чередованием желтых кругов на снегу под каждым фонарем, на перегоне же – от фонаря к фонарю – сказочной лунной голубизны снега; а на этом фоне, уже и вовсе из сказки, и даже пугающим чем-то – бег наших теней и их обгон нас самих.

Каждое приближение к нам очередного фонаря рождало позади нас – обернись и увидишь – появление теней на снегу! У проплывающего же мимо нас фонаря они какими-то гигантскими и округлыми взмахами, как рук при объятии или крыл, – перекидывались через нас и падали лошади под ноги, а затем, вырываясь, уже бежали вперед, все дальше и дальше, пока где-то в сумраке не исчезали вовсе, чтобы вновь ожить – и опять за нами – у следующего фонаря.

В каждую вечернюю поездку так повторялось – каждый раз! Все повторялось, но все было всегда заново интересным. Все сверкало и блистало на снегу веселыми и глаз веселящими блестками, совсем как и осыпанная бертолетовой солью вата на лапах елки, под золотом и серебром украшений, или как блестки нафталина, еще не смахнутого с шубы, только что извлеченной из громадного сундука! Все закреплялось в памяти, все, не выражаемое словом! И все, как и само детство, исчезло безвозвратно, без следа; без фантазии и без сказок.

Этот снег! Эти искры-звезды на снегу!

Как менялся, с приходом снега, не только вид, облик Москвы, но – действительно! – все менялось! И город, и люди, и сама их жизнь – на улице, во дворе, в доме и даже в комнатах их квартир!

Звуки, запахи, обиход – разве таким было все еще вчера, еще только что? Стоит только одеть шубу, башлык и валенки – и ты уже иной; не шумливый, а размеренный, степенно-медлительный. С утра, как всегда, уходишь гулять во двор, а возвратясь к обеду, – гляди-ка! – все уж в большой тишине: повсюду развешаны тяжелые, темные шторы; сняты летние серые чехлы с мягкой мебели; толстые ковры, крадущие ботиночный перестук, легли посреди комнаты. А в воздухе стоит новый, тонкий, хотя и слабый, но ясный аромат нафталина и сухих веточек пачули, которыми были пересыпаны "от моли" зимние вещи, только что томившиеся в сундуках, а сейчас уже развешанные в передней...

А то еще и иные дивные знаки зимы – легкий, горьковатый, так знакомый запах дымка от затопленных в первый раз голландок; их ярко-начищенные медные дверцы весело дребезжат от хорошей тяги, а от лежащих сыроватых березовых поленьев тянет воспоминанием о даче, сырости и грибах!

Как знакомы такие знаки прихода зимы! Вот между рам уже положены теплые валики ваты, с утопленными в них стаканчиками темно-желтой, маслянистой кислоты; вата, пока свежая, белая, чистая; высохшие мухи – откуда они? – появятся гораздо позже! Рамы наглухо, на всю долгую зиму закрыты, и замазка, пока еще мягкая, податливая, красивыми ровными, выпуклыми лентами закрывает все пазы и щели; белая масляная краска по ней еще блестит, как потная, и пахнет свежей олифой.

Тишина создается так: наглухо закрытые рамы, вата и замазка глушат шум города, беспрепятственно вчера гулявший по комнатам, как у себя дома, проникавший во все возможные щели. Ковры, шторы и мягкая мебель – скрадывают остатки шума города и свои, комнатные, жизни квартиры. Становилось так тихо, будто сам город стал ходить на цыпочках или в дедовых мягких, бесшумных "козловых" сапожках. Все погружено в бархатную тишь, все звучит, как оркестр, заглушенный сурдинкой.

Так, из года в год, с самого детства нашего проходило великое преображение города в свою зимнюю ипостась. Стойким был образ, стойким и ощущение его. Сказочная романтика, незлобливая тишина снега, размеренный ход жизни и ватный дедовский покой запоминались с детства неисчезающим признаком зимней поры. Как много интересного сулили нам, детям, такие вот зимние, солнечные дни, нешумные вечера и немыслимо-фееричные лунные ночи!

О, эти зимы, эти дни и ночи!

* * *

Но – уже поэтом сказано – надо знать и честь! Нельзя же, действительно, век целый кататься нам в санях! И вот солнце, поднимаясь над городом все выше, начинает – к счастью – пригревать все больше и больше. Долой валенки и башлыки! Но – не сразу солнце прибирает к рукам царство зимы и сказки, не сразу город преображает себя вновь и в неизбежности своего второго

превращения; но пройдут положенные дни – и город вступит в яркий блеск молодой весны.

Флаг зимы – это снег. Снег – это четкость раздела белого и не белого, это резкая ясность контуров, это мягкая приглушенность звука. Это – важная, степенная размеренность. Это и веселое потрескивание и полыханье дров в голландках, и запахи, запахи! Запахи одних только зимних дней!

Весна имеет совсем другой, свой вымпел: воду! Не как обозначение мокрой субстанции, не как ее химическая формулировка. Но – как феномен, а вернее, как само действие! Вода меняет характер, облик, да и жизнь – пока еще спящего в сказках, в снегах, города. И вот – он оживает. Он уже живет!

Вода смывает пыль и паутину, она убирает эту, более уже не нужную, заглушку шума. Она сама – его рождает! Вода снимает всякую медленность – это ей просто чуждо – она сама вызывает во всем молодую, радостную стремительность. Все теперь бежит, журчит, скачет по камням, поет как горные речки. Все в движении, радостном и веселом.

Как понимать это?

Да очень просто! В дни нашего раннего еще детства и город и улицы были совсем иными, чем сейчас. В те дни он не знал еще вовсе механизированной телеги, машина появилась гораздо позже. Живая лошадь, полозья зимой, летом колеса – издревле требовали, что в городе, что в деревне, одних и тех же дорог, им наиболее спорых и нужных.

Булыжную мостовую и извощичью пролетку на железном ходу, как и телегу без рессор, мы успели еще застать, мы же их и хоронили! Древняя эта пролетка, сродни тарантасу, служила, вероятно, еще людям Гоголя. Железные ободья стягивали грубые, тяжелые колеса, с массивной деревянной ступицей, толстыми, деревянными же, спицами. Не все из них ставились на рессоры. Грохот от проезжающих таких пролеток был, естественно, ужасающе велик.

Булыжная мостовая! Из всех городов страны только один СПБ, как тогда писали, то есть Санкт-Петербург, не знал ее, имея улучшенную мостовую, мягкую и нешумливую. Обычная же мостовая мостилась мерным некрупным булыжником, из разных по окраске гранитов – светло-желтых, розоватых, голубо-серых, зеленоватых – мозаичным, конечно, случайно, ковром, довольно разноцветным.

После дождя, смывающего с мостовой всю ее грязь и пыль и вызывающего из глубины камня сущность его игристой цветности на поверхность, такая мозаика, будто отполированная, была, конечно, куда краше, веселее и богаче однообразия бесцветности асфальта.

Тем же булыжником и столь же бугристо были выложены и уличные кюветы вдоль тротуаров; булыжником же обкладывались и высокие откосы, почти обязательные, пешеходных панелей ("выходили на панели") с их каменными тумбами. Откосы и тумбы были необходимы зимой, когда сани раскатывались и легко могли заехать на панель и подшибить прохожих. Вес-

ной и летом такой опасности не было, телегу или пролетку не заносило. Но высоко поднятый над мостовой тротуар имел свои преимущества.

* * *

Очередную весеннюю метаморфозу Москва, еще занесенная глубоким снегом, начинает с приходом первых теплых дней. Борьба двух стихий – льда и воды – развивается быстро; но, поначалу, все, что воде удается отторгнуть днем, во всеоружии солнца, то ночью, в холодок, снег возвращает себе, усыпляя воду под тонкой корочкой ледяного оцепенения. Утром пешеходы, не понимая обмана, спокойно, как еще вчера, ставят ноги на привычно-твердый ледок, но... нога с колокольчатым хрустом прободает тонкую пластинку и оказывается в прозрачной, чистой и холодной подснеговой лужице. Веселыми на солнце взбрызгами вода вызывает добродушную, пока еще, и легкую улыбку. Но близится день, когда неудачнику будет совсем не до улыбок! Вода, более уже не скрываясь, проступает сквозь снег наружу, и, поначалу еще ласковыми, тишайшими, тонкими струйками прокладывает лазейки к другим, таким же. Пока еще еле видимые и не слышные, эти струйки, сливаясь вместе, набирают силу, становятся уже ручейками, – а там – глядишь – и даже уж шумными потоками. С крутогорных улиц – а их в Москве великое множество – они несутся вниз, под гору, уже бойко тараторя, спеша, уподобляясь горным ручейкам. Они бегут вдоль тротуаров по оголенным кое-где от снега кюветам, образуя у снежных заторов озерца холодной, прозрачной воды. Так, постепенно, превращаются ручейки в полноводные, быстрые потоки. В миниатюре появляются свои рифы и отмели, свои омуты и пороги. В быстром движении все журчит, поет, звенит, скачет по камням, кружится воронками, сбивается клоками пены у заторов, мелькает, слепит острыми уколами осколков солнц, мириадами упавших в воду и танцующих в каскадах и стремнинах.

Старожилы, в те времена бывшие еще в мальчишках, конечно помнят незабываемые картины такой Москвы. Может быть даже кто-нибудь из них мальчиком, с пустым коробком от спичек в руках, с горящими от предвкушений глазами, чувствуя себя не то ирокезом в пироге, не то капитаном Дрейком или самим Черным Принцем с его непобедимым галиотом, оказывается на гребне улицы, ну, скажем, на том месте Пречистенки, где еще недавно красовался чудесный павильон, неповторимый шедевр московского ампира; тогда в нем жил и работал – фамилию я запамятовал – зонтичных дел мастер, как гласили его вывески по фасаду; этот павильон уникального достоинства, работы архитектора Бове, украшенный авторской лепниной самого Витали, вдруг был снесен с лица улицы, как "помеха" ей! Видно, своей безусловной красотой он кому-то сильно помешал! С тех пор его место отмечено, для украшения улицы, четырьмя громадными щитами, оповещающими – **до сего дня!** – о фильмах, отживших свой век, канувших в лету и всеми напрочь забытых. Но щиты с рекламой старья, не в пример тому павильону,

никому не мешают и глаз не мозолят и – вот уже более двадцати лет – они неизменно заменяют собою памятник высокой марки, исчезнувший раньше времени...

Однако, пора вспомнить и о забытом мальчишке и вернуться к нему, как раз в тот момент, когда он, волнуясь, собрался уже спустить свой кораблик в полные воды Амазонки – или какой-то там Потомаки. И вот корабль уже на волне! Быстрым течением он тотчас подхвачен и унесен; стремглав, с подскоками над буграми булыжин, проносится он дальше, вертясь волчком в воронках водоворотов, падая с потоками водопадов на порогах и проскакивая большой ряд препятствий; он гордо несся все дальше, вперед... Как и другие капитаны, пускавшие свои кораблики, так и этот мальчишка бежал вниз вдоль канавки в напряжении загадывая – проскочит или застрянет корабль в очередной Сцилле и Харибде, или, выброшенный на мель, перевернется размокшим килем к небу...

Боже, как нам, детям, были памятны, занятны и милы такие вот дивные дни! Как много разнообразия впечатлений приносили нам, детям, дни превращений города! Взрослым, пожалуй, доставляли они чаще лишь неприятности и мороку. Город взрослых переживал тогда, в такие дни, и смерть и воскресение, через путь тяжелых испытаний. Ведь та чистая вода, по которой плыл коробок, – это уже было в период, пожалуй, после городского воскресения. А до этого...

Белый снег, не успев превратиться, как природой ему положено, в прозрачную воду, становился надолго еще сухим, серо-коричневым, рассыпчатым, как какой-то сорт сухой халвы. Слой такого – смешно называть его "снегом" – покрытия улиц был значительным. Полозья саней глубоко врезались в него, ноги пешеходов также увязали в этой сухой россыпи.

Непонятно, откуда бралось так много песка и даже глины в этой "халве".

Вот таким, наполовину не снегом даже, таял покров улицы, и халва (так это и называлось тогда – по внешнему сходству) превращалась в своеобразное месиво, в какую-то темно-бурую, разной гущины, жижу. Как же не вспомнить тут, и в подробностях, в полной ясности картины, главную центральную площадь города, Театральную, в те дни, когда Москва была погружена уже почти везде в упомянутую жидкую грязь. В те годы площадь была еще единой, не разделенной, как ныне, прямым проездом на две самостоятельные, не ясные по смыслу, части целого. Тогда всю большую площадь занимал единый плац-парад, незамощенный, песчаный, почти всегда полупустой. Вокруг поля оставался нужный объезд. Поле было огорожено толщенным, чуть ли не в руку толщиной, канатом, протянутым сквозь просверленные дыры в деревянных, полосато-выкрашенных тумбах. Все движение шло в объезд поля, только пешеходы могли пересекать его, идя в Охотный ряд с театрального проезда (и обратно). На плацу изредка проходили военные занятия кадетов разных возрастов, да еще летом бывали продажи с торгов лошадей. Весной, летом и осенью, в сухую погоду, ветер поднимал там тучи пыли, смерчевой воронкой бегавшей из края в край, к лютому озлоблению

редких прохожих. В начальное же время весенней метаморфозы – эта площадь становилась грозным бичом московского транспорта. Она занимала тогда среднее место между знаменитой Миргородской площадью Гоголевских времен и не менее известной проезжей трассой под названием "Козюльки", прелесть и подлость которой испытал на себе и записал в дорожных заметках А.П.Чехов, когда проезжал Сибирью на Сахалин.

Московская "Козюлька", Театральная, в такие дни была для прохожих просто опасна; не многие отваживались ее пересекать, рискуя оставить в жидком месиве галоши, даже и ботики. В таком же виде, но может быть менее опасными, были и другие улицы тогдашней Москвы.

Кто же действительно и неимоверно страдал в такие ранне-весенние дни городской метаморфозы – во всех смыслах физического страдания – так это несчастные клячи грузового движения.

Как часто, в разные возрастные годы гимназичества, приходилось нам встревать и уходить, бесславно пораженными, в столкновениях со зверским, безжалостным и совершенно безнаказанным избиением ни в чем не повинных бедных кляч! Сани, нагруженные горами ящиков, тюков и прочих грузов, въедаясь в уже неплотный покров снега, грязи и воды, вдруг, с режущим уши взвизгом железа о кремень, застопоривались наглухо, как корабль на мели. Так заякоренные, тяжело перегруженные сани сдвинуть с места не всегда удавалось. Одни возчики, неистово ругаясь такой отборной руганью, что верно и чертей вгоняло в краску, хватаясь за оглобли и дружно ухая, раскачивали сани; другие, усиляя ту же ругань, нещадно избивали, всеми возможными видами битья, несчастную, меньше всех виноватую лошаденку. Но и такими обоюдными средствами и взрывной силой ругани, сдвинуть сани с места было не легко и не просто.

Лошадь, до предела возможного, напрягает задние ноги, так что кожа начинает дрожать мелкой дрожью, дрожат и передние ноги, которыми она ищет твердой опоры, но ноги скользят; живот от напряжения и боли от ударов втянут; только что слезы не текут из ее глаз! А разъяренное животное, бывшее человеком, в исступленной ярости, уже ничего не видя и не понимая, палками, ногами, чем попало бьет несчастную клячу, прикованную вдвойне к месту, бьет в живот, в морду, по спине, куда попадает рука или нога.

Тут подходит городовой и требует скорейшего отъезда – как будто не того же жаждут возчики!

Освященный важностью своего положения, блюститель порядка нарочито медленно помогает возчикам и словом и делом: так же бьет лошадь ножнами шашки, так же берется за оглоблю; наконец, приказывает, раз сила не помогает, сложить часть груза на панель. Вырастают штабели с разных злополучных саней, севших прочно на мель. Сильно облегченные, при благосклонном содействии городового, с резким взвизгом и фонтаном искр – сани сдираются, наконец, с чертова камня. В последний ли раз? Что могли сделать сердобольные гимназистики, имея против себя ораву озверелых ломовиков, почти что уж роботов или горилл? Под их улюлюканье, смачную брань, смех

и вой собравшегося сброда, мы покидали поле брани, ничего не добившись.

В такие дни лошади отличались еще одной особенностью времени: их всегда черные от дегтя и ваксы копыта становились цвета старой слоновой кости, бывало еще с розоватым оттенком: это песок, глина и жидкая грязь, как наждаком, счищали с копыт косметику и возвращали им первородную, натуральную их расцветку. Такие копыта почему-то казались мало эстетичными, даже не совсем приличными и противными.

Так постепенно город прощался с зимой, вступая в новый свой календарный период. Так из старого, сухого и сморщенного кокона медленно, с трудом выползает, наконец, красивая бабочка, блестящая свежей раскраской, вконец обессиленная. Это – свершение метаморфозы.

Городская метаморфоза также близится к концу. Уже все подсыхает, саней уже больше не видно. Все перешло уже на колесный ход. Конец преображенья уже близок: в комнатах на окнах отбивают стамеской замазку, превратившуюся в камень. Она отлетает большими кусками, мелочью и пылью. Тогда открывают внутреннюю раму. С подоконника все сметают крылом петуха или курицы в ведерко. Туда же следуют и иссохшие трупы мух, а бывает – и жучков, непонятно когда и как очутившихся в герметически закупоренном пространстве. Пропылившаяся вата убирается, как и почерневшие стаканчики с жидкой вначале кислотой, сейчас загустевшей до степени мази. И вот – наступает самый торжественный миг: мокрой тряпкой проходят по межрамному пространству, шпингалеты повернуты – и открываются наружные рамы. Вместе с прохладой свежего воздуха комната наполняется теперь свободным, раскрепощенным городским шумом – полифонической суммой и "клика колес" и разных других звуков, а могло быть и колокольного перезвона – весенний воздух не только "дик и глух", – бывает он и звонким и светлым – и все это сливается в сплошной, непрекращающийся бархатный и приятный, поначалу, гул, обозначающий пульс жизни города. Метаморфоза завершена и город оживает в своей новой ипостаси.

2. Ледоход

Когда мне приходилось рассказывать внучке моей о старой Москве, ей более всего нравились – естественно – картины полного неправдоподобия. Как сказочное начало, оно никак не вязалось с привычным представлением о городе, в котором она родилась и успела прожить свои первые восемь лет. Привлекающим в этих неправдоподобностях было то, чего теперь уж в городе не увидеть – своими глазами – никому и никогда! Взять, к примеру, ледоход на Москва-реке. Теперь его перехватывают, вот уж сколько лет, где-то далеко выше города; воинские части взрывают большой лед и высокая вода приходит к городу уже свободной от него, но от баламутья буро-коричневой. А ведь не так давно еще – лет сорок назад – ледоход представлял, даже и в городе, картину незабываемой мощи и величия стихии.

Впервые я увидел московский ледоход далеко не трехлетним, как мой сын. В его возрасте я жил в большом отдалении от реки, и потому она в программу наших детских прогулок не входила. Только гимназистом, средних уж классов, и то случайно как-то попал я на набережную; ее вид так покорил меня, что я стал уже нарочно, идучи из гимназии домой, делать большой крюк, заходя на Москва-реку. Гимназия располагалась в самом начале Поварской, почти на выходе ее на Арбатскую площадь; возвращаясь домой, я проходил с Воздвиженки либо Кремлем, либо через Александровский сад к набережной. Более привлекательной река была, конечно, во время ледохода и половодья. Летом она мелела и текла небольшими протоками по почти высохшему ложу; в ледоход река становилась страшной и угрожающей, о ледоходе говорил весь город, и много зевак толкалось тогда по набережным и на мостах, хотя из-за дряхлости их полиция не давала народу скапливаться: как только у перил собирались кучки, разгоняла их довольно решительно.

В те годы река, в отрезке между Храмом Спасителя и Устьинским мостом, текла в каменных стенах. Вдоль этих возвышающихся стен, по большей части их, образовались новые откосы земляных берегов, и такое сочетание стен и зеленого природного подножия, как перехода к воде, придавало налет естественного, все же, обрамления реки. До Каменного моста от Воробьевых гор, равно как и дальше, от Краснохолмского моста, река шла в естественных, нетронутых человеком, берегах; по верху откосов, как обычно в деревнях, шла – и то не везде – деревянная крашенная простая ограда.

Во время ледохода, подходя к каменному мосту, я обычно старался, незаметно для городовых, проскользнуть и притулиться на балконе над кирпичным быком, там был каменный парапет, а не чугунная решетка. Тут я был менее заметен, а обзор реки был великолепен. Отсюда раскрывался вид на разветвление реки и водоотводного канала ("канавы", как называли его москвичи); до Бабьегородской плотины река шла в полную свою ширину, среди пустырей пригорода. Она подходила к самому городу "рекой в природе"; даль рисовалась отсюда внегородским свободным пейзажем; это и было основным достоинством картины ледохода, в этом его отрезке. Сейчас, когда высокие дома повыросли до Окружной дороги, трудно представить себе картину такого открытого обзора.

Итак, я на мосту. Ледоход – в разгаре. Воды почти что и не видно, все заполнено, забито, запружено плывущим льдом; по судорожному напряжению, с каким вся эта плотная масса льдин движется к нам, спеша, точно опаздывая к чему-то, обгоняя, где можно, друг друга, или с каким отделившиеся льдины, выпираемые другими, вдруг выходят из плоскости, наскакивая одна на другую, то подминая ее под себя, то с грохотом ломая впереди плывущую, – ощущается громадная, но скрытая сила напора. Моментами представляется даже, будто не ледяное поле плывет, пассивно, как пласт, поверх воды, следуя быстроте ее течения, а будто бы сама вода выталкивает, выжимает и хочет освободить себя от самодеятельно бегущего по ней грузного, грязного и грохочущего льда.

Откосы берегов, уже бесснежные, но не ушедшие еще под прибылую воду, чернеют мокрой землей; там, где откосы покрыты прошлогодней травой, они подобны буро-оливковой губке, влажной и бугристой. Временами откосы сплошь покрываются огромными льдинами, выдавленными из общей, движущейся рядом массы втиснутыми сюда и подпираемыми следующими. Словно огромные бесформенные и тяжелые на земле туши каких-то гигантских морских животных, отдыхающих и спящих после трудного и долгого плавания, лежат по откосам чудовищные – величиной и толщей – льдины, тяжелые пласты льда, внушительные речные айсберги. Сбиваясь в тесные кучи, они, кажется, рады временному успокоению и отдыху.

Внезапно и непонятно из-за чего, может, из-за дурного сна – на лежбище покой нарушается; среди зверья начинается какое-то неизъяснимое внутреннее волнение, все пробуждается, приходит в движенье, и вдруг – все стадо разом кидается с суши в родную стихию воды: тут из неповоротливой тяжести туш рождаются великолепные, маневренные пловцы. Именно так воспринимались льдины по откосам берегов: внезапно среди них, только что спокойно лежащих на земле, начинается напряженная какая-то возня, льдины медленно сползают в воду, она как будто слизывает их с откоса, и на время чистая черная вода полощется у кромки земли. Но проходит мгновенье, и снова земли не видно, а льдины, как тела измученных зверей, взбираются на твердую сушу, их уже подпирают ползущие сзади. И снова весь берег застлан льдом разных величин и форм пластов, разной окраски.

Совершенно непонятно, откуда берется такая масса льда! До отказа река забита полями льда, нескончаемо несущимися на нас, на мост, проносящимися под нами и скрывающимися позади за мостом.

Эти необъятные поля далеко вдали представляются цельно-сплошным покровом реки. При их приближении к нам, в их цельности проступают прожилки какой-то сетки; это трещины между льдинами, и чем ближе все подступает к мосту, тем явственней становится мозаичность составного поля, слитого из разнопородного льда, от чистого, голубовато-зеленого, до темных, желто-бурых, грязных и смешанных тонов. Бывает, что на какой-нибудь льдине сохраняется еще остаток проезжей дороги с следами полозьев и лошадей, с обычным цветом наезженного грязного снега. По проходящим мимо льдинам можно узнать, какие из них были у берегов деревень: как реликвии, путешествуют тогда на льдине какие-то забытые предметы – детские салазки, старые ведра, поленья, оброненные с воза. Однажды я видел тяжело нагруженные сани, очевидно брошенные в последнюю минуту, чтобы спасти себя и лошадь; как-то на такой льдине видел я черную собаку, уже при последнем издыхании, проползавшую и еще взвизгивающую, обреченную на гибель.

Все льдины, независимо от величины и формы, со страшной силой вжимались, притирались, обдирали и шлифовали свои бока. Некоторые, поменьше, попав в водоворот, с бешеной скоростью вращались волчком в полынье. От непрекращающейся подвижки льдин в общем поступательном ходе их, при быстроте движения под громадным давлением, над рекой стоял ровный,

густой, громкий шорох, моментами достигавший плотностью и силой почти что рева, какого-то трубного гласа.

Скорости бега льда – в общей панораме движения из далеких горизонтов ровным ходом – как-то не чувствовалось. Казалось даже, что движение это чрезвычайно медленно, почти и незаметно. Но, проходя какую-то невидимую черту, поле обретало нарастающую скорость; по отдельным, теперь уже видным вехам, истинная и колоссальная скорость хода течения – и не только быстрота, но и волновая живость поверхности, ясно обнаруживает себя: бегущая белая масса тяжело, глубоко и часто, как натруженная, дышит.

При сближении с мостом льдины, убыстряя свой бег, как разъяренное стадо, кидаются со всего маху на каменный волнорез моста. Подо мною, вокруг мостового быка, черная вода кипит и пенится желтоватой пеной. Стихия воды, ранее скрытая толщей льда, и стихия движения, ранее скрытая его однообразием, здесь – у быка – обнаруживают всепобеждающую мощь свою и неисчерпаемую силу. В черной воде то тут, то там вдруг закручиваются тугие и большие воронки, уходящие своими гладкими, словно из темного стекла, стенками в глубину – не воды уже, а какой-то темной и густой массы. Сверху, с моста, глядеть под ноги, вниз, просто страшно: проносящаяся масса воды и льда как будто влечет за собою и втягивает, вот такой винтящей воронкой, на самое дно реки. Сопротивляешься, но не можешь отвести глаз от голову кружащей картины и перевести их на более спокойный вид дали: неведомая сила заставляет глядеть в страшное, вниз, под ноги, под мост. И вдруг, внезапно, нежданно и совершенно непонятно – замечаешь, как у самого предмостья образовалась несуществующая черта, какой-то обрыв, как бывает на порогах или водопадах, когда горизонтальная поверхность несущейся реки вдруг падает отвесной стеной, с безумной скоростью исчезая в клубах пены и пара клокочущей внизу воды. Совершенно ясно видишь, как и здесь, под мостом, под тобою, бешено летящие вода и лед вдруг срываются гладью стены вниз и, выгнув спину горбом, рушатся в преисподнюю. Доля секунды – и картина меняется снова, и с такой резкой силой, что невольно теряешь равновесие и, чтобы не упасть, судорожно хватаешься за парапет. Как будто невидимый рычаг движения перевели на обратный ход – сразу и до отказа, и все внезапно пошло с той же скоростью и силой, но – глядите! – движенье и неподвижность явственно поменялись местами: тут Правда заменена Чувством, а все предшествовавшее перестало существовать, стало зачеркнутым. Реальностью же нового оказалась сама ирреальность: она-то теперь и стала видимостью на яву.

Движенье воды и ход льда, а с ними остатки дорог, заборов, забытых ведер, навозных куч и рассыпанных поленьев – только что несшихся быстро и решительно нам навстречу – вдруг все разом и внезапно застопорилось на долю секунды – а мост, балкончик над быком и я сам, на нем стоящий, – все это само пустилось вперед, на терпеливо стоящий перед нами плотно сбитый лед. Как многосильный таранящий ледокол, пущенный полным ходом вперед – устремляемся мы на ледовое поле. Под острым носом корабля лед

раскалывается, расседается глубокой, расходящейся трещиной, и ледокол, не останавливаясь, вгрызается, врезается и вспарывает, все дальше и дальше, толстые пласты льда. Все это видишь неоспоримо ясно. Сомнению нет места — а видимое вызывает даже ощущение внутреннего дрожания от работающей турбины, от силы котлов и встречного сопротивления льда.

Волнорез мостового быка реально и ощутимо бросается вперед на лед, стоящий перед ним. Бык налетает со всего хода, с размаху, на неимоверную толщину, ему противостоящую, и с грохотом взрыва разносит ее в стороны. Тут-то только и можно оценить быстроту и мощь ледохода, когда летящий вперед ледорез моста, ни на секунду не останавливая бег свой, сходу поддевает новую льдину, так — одну за другой. Глухой, тяжелый удар, как пушечный выстрел, и льдина расселась, обнажая черноту воды, в открывшейся полынье разводья. Но вот — льдина чудовищной толщины; мощи тарана, чтобы ее расколоть, явно не хватает; происходит нечто новое, неожиданное — и мы, нагнувшись над парапетом нашего балкона, наблюдаем сверху борьбу сил. Ледорез, приостановив как бы на мгновенье свой бег, набирая силу и напрягаясь еще и еще, забирается все дальше подо льдину и, как атлет, поднимает всю тяжесть пласта на себя. Медленно и тяжело всползает льдина на кирпичный горб волнореза, показывая нам свою истинную, обнажившую себя толщину, скрытую ранее под водой. Медленно, но неукоснительно ползет пласт по хребту все выше и выше, с таким скрежетом трения, что перекрывается шум ледохода; он все больше выставляет наружу свое брюхо. Все медленнее и тяжелее взбирается льдина, все выше, более и более отрываясь от воды, от своей стихии. Все медленнее, все тяжелее. Громадный толстый пласт задран странно и страшно и крыльями своими грузно свисает по сторонам волнореза.

Зад пласта уже давно ушел под воду; вода, накатываясь на его спину, смывает с него грязь. Голубоватый, чистейший испод пласта исполосован трением о кирпич. Вдруг раздается жуткий удар, грохот и треск бомбового взрыва — и надвое расседается льдина, более не выдержав ни своей собственной тяжести, ни своего необычного, противоестественного положения в воздухе, ни оторванности от своей стихии. Распластанная по хребту волнореза, как птица с распростертыми на отмашь крыльями, она, не выдержав испытания, рушится по обе стороны быка. С громовым всплеском нырнув под воду, оба новых айсберга выплывают на поверхность уже по ту сторону моста. Мы же переводим дыхание, точно только что сами боролись с чудищем и победили его.

Повторность таких картин нисколько не прискучивала и не умаляла их мощи и красоты. Глядеть на гладиаторство льда и камня было азартно, увлекательно и всегда ново.

Когда, наконец, до сознания доходит, что наступили сумерки и кое-где уже зажелтели фонарные звездочки, я крайне удивлен быстротой утечки времени. С сожалением — но что делать! — я окидываю, в последний раз, всю даль еще белеющей реки: она уже покрывается туманом, сливающим во-

единно картину дали, неба и сумерек, спустившихся на город. Странно и обидно думать, покидая наблюдательный пост свой, что и после ухода всех зрителей – феерия спектакля будет безостановочно длиться, но уже без зрителей, впустую. Уходить однако же надо. Вот и блюститель порядка, городовой, в который раз подходит и хриплым, застуженным басом, с важностью в голосе и походке, убеждающе просит очистить, наконец, мост; я оглядываюсь еще раз и оставляю на произвол судьбы и мост, и реку, и бедных, обреченных чудищ, в наступивших сумерках пятнами белеющих на черноте берегов.

Всему этому уже свыше полувека, а вид быка, с поднятой в воздух льдиной, миг ее обрушения и – главное – ощущение движения моста навстречу льдам, неподвижно застывшим между берегов, – все это зрительно так ясно, так живо и отчетливо, как если бы я видел все вчера или третьего дня.

Так в пределах города проходил когда-то ледоход. Сейчас ничего подобного уже не может повториться. Полая вода, мутная, бурая, холодная, почти что вровень с краями каменных стен быстро текущая, – вот что осталось нам от исчезнувшего в городе ледохода.

Новые чудесные мосты через реку высоко вздымаются над урезом воды; глядя с них вниз, страшно становится не от летящих, сбивающихся и спешащих куда-то льдин, как бывало, а от самой высоты, от головокружительного расстояния до поверхности глубокой и живой воды, подернутой зыбью и воронками завихрений.

3. Вербное воскресенье

Великий пост!

Слова звучат сурово. И действительно, пост проходит в серьезной, суровой тишине. Очень мерные, раздельные, очень ритмично-редкие, как при погребальной службе – четкие, глухие и тяжелые, на один голос, раздаются короткие удары колоколов церквей города. Они падают откуда-то сверху, как тяжелые капли из плохо завернутого крана... Их вскриками определяется на долгие дни и недели поста – пульс жизни города.

После шумной, веселой "широкой" масляницы наступает искупительный долгий пост и очищающая тишина. Все увеселения, зрелища, развлечения – церковь ставит под запрет. Вечерняя жизнь города замирает, замыкаясь по углам семейного уклада.

А в эти дни проходит и другая, столь же важная смена: со сцены уходит зимняя Москва, шаг за шагом очищая место наседающей Москве весенней. Методично, как громадные часы, отбивает и отсчитывает недели и дни календарь, приближая город к приходу весенних дней.

И вот – Весна на дворе!

В марте – в те времена – на утренних столах появлялись чудесные булочки, плетенкой, с черными коринками глаз, замечательно пахнущие "жаворонки", вестники весны. На бульварах же, на площадях, на улицах в эти дни медленно двигались фигуры, держащие в протянутой руке пучок красно-кожис-

тых веточек вербы; без зазывания, молча, на ходу, вынимая новый пучок из корзинки или мешка за спиной, они продавали вербу – и все, мимо идущие, не торгуясь, также молча – брали. В пучки вербы, с их свежими, серебристо-серыми, нежными "барашками", вплетали веточку брусники, с темно-зелеными, округлыми, плотными листочками. Дома пучки вербы ставили в бутылки с водой. Постепенно верба старела: веточки становились темно-вишневыми, с синим отливом, пыльными. Барашки понемногу отпадали, капюшоны почек, подсыхая, сморщивались и отваливались, обнажая белесые, чуть желтоватые, слабые комочки будущей зелени. А в бутылке, в воде, уже шевелилась, как живая, борода длинных, как мочала, белых корней. Так верба теряла изначальную свою прелесть, а ее символическая (вспомним: евангелист повествует – "другие же резали ветви пальм и постилали их по дороге...") роль кончалась – в Вербное воскресенье – Вербным базаром.

Базар этот имел свой личный вымпел – как зима и весна – и этим флагом была подлинная метаморфоза города! В этот замечательный – и единственный в году – воскресный день город истинно преображался; для взрослых это выражалось всеми чертами перехода от поста к обычному темпу жизни, от темного короткого дня к свету и теплу весны, и, главное, тем, что в этот день можно было забыть безнаказанно свой подлинный возраст, с его условностями общественных положений, и вернуть себе давно уже утерянную молодость и беспечность юнца; для детворы же преображение города в этот день было иным; город оказывался во власти и в плену веселого и буйного шума и гама всевозможных звукоиспускающих игрушек, вроде знаменитых "тещиных языков", надувных поросят, трещоток, свистулек и всякой иной шумности. Над этим нестройным, но в полифонии уже стройным гулом, стояли более могучие, но беззвучные силы иного волшебства: "морские жители" и мохнатые обезьянки были истинными, пожалуй, знаками Вербного базара.

Приученный к электрофицированным игрушкам, нынешний ребенок не в состоянии правильно представить себе и оценить прелесть той обезьянки! Он, естественно, предпочтет свою автоматизированную, электронно-действующую модель такой вот обезьянке – как он, однако, ошибется!

Вербнобазарные обезьянки нашего детства были всего-навсего наивнейшей поделкой простого кустаря, скорее – только идеей игрушки; и не игрушки даже, а одной только ее трогательной забавности! В воображении нашем она легко становилась, не завися от ее выраженного лика, любым игровым *субъектом*, или, что правильнее – объектом детской выдумки.

* * *

С приходом Вербного базара "обезьянка" рождалась и с ним же, с его окончанием, она исчезала с глаз, до следующего своего рождения – ровно через год.

Кто их придумал и когда? Как родилась такая странная причуда – у простого русского кустаря? Кто знает? Она появилась – и прочно прижилась к Вербному дню, заняла свое яркое, неизменное место и стала прочной эмблемой базара.

По прихоти кустаря обезьянке придавался любой образ любого персонажа: чертей и человека. Как маскарадное переодевание не меняет существа человека, так и обезьянка во всех своих метаморфозах оставалась все той же наивной и трогательной кустарной выдумкой; по сути же дела – всего лишь ниткой толстой крестьянской пряжи, броско окрашенной в разные, немыслимой яркости, колера, вплетенной в мягкий проволочный каркас. Благодаря мягкости и податливости проволоки, обезьянка в руках детей (и взрослых, часто!) могла принимать любое положение, нужное в игре с ней. Пряжу, вплетенную в каркас, подстригали так низко, что создавалось ощущение щетины, либо очень жесткой шерсти мохнатого зверька. Круглая мордочка с парой блестящих черных бусинок-глаз, казалась "себе на уме", с хитрецой – но обезьяньего в ней ничего не было; и даже длинный и тонкий хвостик не сближал существо из пряжи с миром обезьян. Впрочем, несоответствие вполне прощалось, с ним легко мирились.

Изображая обезьянку, кустарь вел двойную игру – в обезьяньем обличии он изображал какой-нибудь иной самостоятельный сюжет. В такой двойной игре фантазия кустаря не знала границ. Чаще всего его фантазия обращалась к миру вымысла – чертей всех рангов и званий. Когда же она обращалась к человеку, то обезьянка изображала собою безграничное разнообразие профессиональной изменчивости в облике человека. Чего-чего только не придумывалось кустарем! Тут были балерины, в их пачках и туфельках, трубочисты, с лесенкой и веником, повара, в белых колпаках, с ложкой или вилкой в лапке. Были и пожарные, в медных блестящих своих касках, и городовые, в черных шинелях; были матросы в тельняшках и бескозырках, и лекаря в белых халатах – всего не перечислить! Разнообразие усилялось еще и тем, что сами тельца обезьянок были ярчайших "ядовитых" расцветок – безотносительно к изображенной профессии, так что повторности были исключениями.

Со спины – каркас имел длинную булавку для прикалывания обезьянки к шинели или пальто, на картуз, фуражку или шляпу покупателей, а также для накалывания обезьянок на большие квадратные, обтянутые черной материей щиты продавцов. На этих щитах обезьянки выстраивались стройными рядами разноодетых и разноокрашенных существ. В лучах солнца такие щиты играли яркой пестротой, напоминая нарядные, красочные и великолепные коллекции бабочек под стеклом. Щиты эти, приделанные к длинным шестам, продавцы несли на плечах, как римские легионеры свои инсигнии и значки когорт.

А помнит ли еще кто – вербных "морских жителей"? Замысловатое верчение, трепыхание и внезапный подскок дутого из тончайшего цветного стекла чертика, плавающего в розоватой или зеленой жидкости в специальных

колбочках? Когда нашему сыну было года два, жена купила на рынке и принесла ему такого "жителя" – но уже не в колбе, а в пробирке. Это был последний, мною виденный чертик. Больше "морские жители" в продаже не появлялись, очевидно из соображений опасности таких затей (а вдруг стекло лопнет и дите пальчик порежет, или – чего еще чище! – жидкость в глазки брызнет!), и преопаснейшая игрушка, должно быть, была запрещена.

В годы нашего детства такой заботы о детской безопасности не проявлялось: даже в действительной давке и толчее на Красной площади никто не страшился покупать "морского жителя", и они разбирались нарасхват. Все шли с ними и "теплом своих рук" сообщали чертикам нужную энергию и жизнь. Все несли свою колбу с прыгающим стеклянным существом совсем так, как на картине Чимы-да-Конельяно девочка Мария несет свою горящую свечу, восходя по высоким ступеням лестницы.

* * *

Но не морские жители и не мохнатые, милые нам, обезьянки, занимавшие свои первые места, а нечто совсем иное и куда более важное было основой исключительности и той единственности, которая отличала Вербный базар. Бывали же и другие ярмарочные и базарные дни народного гулянья, возможно, не менее яркие, красочные и шумные, часто изображаемые Юоном: однако, они не имели силы объединить поголовно всех – и детей и взрослых – в таком всеобщем, незабываемом чувстве порыва и радостного подъема. А ведь в день Вербного базара – его одного только – так именно и было.

Ни одного безрадостного, пасмурного, не говоря уж – дождливого – дня этого базара я не припомню. Чему это приписать – фенологическим ли силам, или слабости моей памяти – я не знаю. Но в сознании упрочилось, что базару всегда сопутствовало радостное настроение весеннего солнечного дня. Ни одного встречного лица хмурого, мрачного или кислого – не могу себе представить.

Уже с утра Москва настраивалась на совсем иной темп жизни, чем следовало бы в обычное воскресенье или праздничный день. Горячка начиналась спозаранку: старались как можно скорее отбыть обязанность утренних испытаний – мытья, чистки зубов, причесывания; завтрак, столь приятно тянущийся в праздники – спешить-то некуда! – в это утро казался нарочито долгим, хотя его, ради нас, ускоряли всемерно. Всеми владело одно только желание – как можно скорее выскочить на улицу!

И – вот сбылось! Я – на Мясницкой!

На бегу застегивая последние пуговицы форменной шинели, я спешу – впрочем, как и все попутчики – к одной цели, к Красной площади. Входя Владимирскими воротами на Никольскую и приближаясь к площади, я как бы окунался в прозрачный, мягкий, смягченный далью и уплотненностью воздуха гул, в ровное, на одной ноте, не прекращающееся гуденье... Самозвучащая атмосфера такого дальнего гула всегда вызывает во мне почти осязае-

мую картину иного времени и места – раннего детства моего на Черном море. Наша дача стояла на высоком, резком обрыве над берегом. В сильные штормы, когда завывала сирена маяка, все так вот и гудело, непрерывно, насыщая все вокруг. Любой новый, даже самый тихий звук, казалось, повисал взвешенным в этой вибрирующей и обнимающей толще плотного, почти осязаемого воздуха. Густое и не злое гудение прозрачной массы, при спуске с обрыва на берег, не становилось внизу более грозным и устрашающим, но еще более плотным, давящим. Сквозь прозрачность же гула и на берегу ясно слышны были любые тихие и нежные вздохи умирающего прибоя, расползающегося по песку и оттягиваемого незримыми силами обратно в морскую пучину, или змеиного шипения лопающихся пузырьков густой, хорошо взбитой пены, вынесенной далеко на отмель и лежащей лохмотьями на мокром песке, или шороха катящейся гальки, увлекаемой уходящей водой, с особым сосущим и высасывающим призвуком. Так бывало на берегу. А невидимо далеко, в бескрайности моря, в грохоте и канонаде громадных валов и раскатывающихся водяных гор, по горбам разъяренного моря создавался – оркестром космических труб и литавров – хаос рева и воплей; до нас он доходил присмиренным далью, ровным басовым гуденьем чудовищно громадного органа.

Вот таким присмиренным ревом и гулом далекого очага встречала нас, идущих к ней, предвкушаемая Красная площадь Вербного базара.

* * *

Площадь, куда нас прибивало потоком Никольской улицы, в этот день была неузнаваемой. Обычно огромная – она сейчас становилась тесной и ограниченной; обычно тихая – сейчас она ревела, горланила, свистела и верещала; обычно степенная – она полна была вакхического веселья. Люди не шли, их несло; теченье потока направлялось от Иверской к Лобному месту, там русло заворачивало обратно, к Иверской. Оба течения, туда и обратно, шли рядом, не задевая друг друга. Люди старались сохранять равнение шеренг, но в потоках рождались омуты, буруны и воронки, изламывающие ряды. Площадь бурлила неиссякаемой энергией искреннего веселья и детской радости. В ритме общего движенья толпы, над ее черной массой, в разных точках площади медленно плыли большие, блестящие на солнце, легкие, но плотные гроздья воздушных шаров, связанных к продаже, разной яркой расцветки. Пестрые связки цветастых шаров трепетали, как живые, колеблемые токами воздуха. В лучах солнца они играли глянцем и яркостью, вдруг ослепляя глаз острием солнечного "зайчика". Изредка – тут или там – из недр толпы взмывал в чистое, синее небо оторвавшийся или нарочно отпущенный маленький шарик, резко выделяясь цветным диском; он сразу взлетал вверх, затем, замедляя полет, петляя по воле ветра, становился все меньше и меньше и, неодолимо стремясь к своей гибели, исчезал в прозрачной синеве.

Медленно, как неуклюжие и неповоротливые жуки, переползали над толпой темные щиты с пестрыми обезьянками или бумажными цветами для будущих куличей и пасок. Да и сама толпа, по истине, была совсем не черной, но скорее пестрой, по-весеннему уже одетой в праздничные, цветастые наряды. Вся площадь в этот день была подобна большому цветнику, здесь вдруг расцветшему.

Вдоль Кремлевской стены расположился "ряд", то есть палатки и ларьки, где торговали всякой всячиной, включая снедь и питье. Сюда, и обратно, в толпу – шло движенье, как в кадрили, чтобы перекусить или выпить стакан ядовито-красного напитка, наливаемого из громадного жбана.

А у Торговых рядов, вдоль тротуара, шла совсем иного склада жизнь. Здесь денежная и купеческая Москва отвоевала себе свой мир кичливого хвастовства и показа своего капитала. Здесь проходило подражательное евро-московское Корсо.

Великолепные выезды красивых, холеных лошадей в прекрасной и дорогой упряжке и новенькие экипажи – медленно, шагом проезжали нескончаемой вереницей. На козлах восседали монументально-изваянные, ясновельможные, и, как кондотьеры, наглые кучера, в гордыне своей еле шевелившие возжами в белооблитых чудесной замшей лопатах своих ладоней. Величием и надменностью своих задов, преувеличенные самой одеждой, они были намного представительней и колоритней своих хозяев, скучающих в углах колясок, всем давно пресыщенных.

Над всей площадью, бурлящей радостью и весельем, над всем ее разнообразием, над плещущим и расплескивающимся вширь и ввысь раздольем народного гулянья, как бы все завершая, объединяя и осеняя – опрокинулся огромный, далеко-высокий, яркой чистоты и хрустальной прозрачности, как будто только что промытый, с еще влажным блеском – небесный купол.

По его душу захватывающей синеве быстро плыли ослепительно белые, пухлые, как вата, облака. Их белизна подчеркивала еще более чистоту и свежесть синевы. Купол был – как площадь внизу – не беззвучен: весь до краев был он заполнен благовестом всех московских сорока сороков.

Могучий благовест, как полноводная в разливе река, катил свои мощные волны из края в край города. По законам природы, он то нарастал в своей мощи до силы предельной, когда звук становился ощутимой вибрацией плотной массы, то, будто уходя куда-то, расплывался и замирал до полного почти исчезновения, до неясного шелеста запредельной музыки. Полноты и силы совершенства он достигал, когда в хор колоколов вплетался глубокий, бездонный, мощный, но мягкий бас больших, тысячепудовых, именных колоколов соборов Кремля и города. Тогда, в громоподобном перекате узнавали звон Успенского колокола Ивана Великого. Вместе с младшим братом своим, Реутом, всего только в две тысячи пудов, они давали благовесту основу и опору, как своего рода генерал-бас оратории.

Торжественно и величественно прокатываясь по небосводу, большой и невидимый, сводный всея Москвы хор колокольных голосов захватывал в

свои могучие объятия и осенял собою все внизу происходящее. Полнотой и мощью своего звучания благовест объединял и накрепко связывал в неразделимое целое всю разнородность народного праздника.

После мрачного, в один голос, ритмично-раздельного похоронного звона долгих великопостных дней – этот многоголосый, полнозвучный благовест и был, пожалуй, тем началом, которым Вербный базар, как всенародное, свободное гулянье, неоспоримо стоял на исключительно первом и единственно *своем* месте. Конечно, не с ним было тягаться другим базарам и ярмаркам, о которых вряд ли кто и помнит, сколь бы великолепны, ярки и красочны они ни были. Их великолепие, увековеченное картинами Юона, быстро блекло, как дым таяло и исчезало из бытия и памяти, сохраняясь лишь в живописи картин художника, безмолвно висящих на стенах галлерей и музеев.

4. Грибной рынок

Вряд ли кто помнит еще Грибной рынок, этот своеобразный, даже единственный в своем роде базар, для Москвы тех дней столь же характерный и колоритный, как и Охотный ряд, некогда называвшийся еще "обжорным". Вскоре, нет сомнений, забудется всеми и Охотный ряд, а новые поколения москвичей и вовсе о нем знать не будут – да и отколе им и знать-то о нем? Разве что будут знать и помнить его по второй профессии, как ныне говорят "хобби", приказчиков из Охотного ряда, то есть "охотнорядцев", как деятелей Союза Русского Народа, как ражих и рьяных членов Черной Сотни, выступавших под хоругвями и портретами "царя-батюшки", с дубинками и дрекольями, против безоружных студентов и рабочих демонстрантов. Это мы помнить будем.

А в свое время Грибной рынок был так же неотделим от бытия Москвы, как и "широкая" масляница или "Красная Горка", как Вербное Воскресенье, или как Пасхальная неделя, с ее веселым, весенним, светло-прозрачным перезвоном всех колоколов московских колоколен. В эти дни звонить в колокола дозволялось всем, кто только хотел: для подростков и старших гимназистов это было большой радостью.

Грибной рынок был явлением очень временным и связан был, даже прямо зависел от приближающегося сурового и длительного Великого поста. Здесь народ запасался той снедью, какая в строго соблюдаемой великопостной кухне разрешалась установлениями церкви. Скоромный товар изгонялся с рынка вчистую, да никто бы и не стал интересоваться столь противобожеской, не ко времени, торговлей.

Рынок географически сосредоточивался традиционно на одном и том же месте, москвичам хорошо известном, вдоль Москва-реки, по правому берегу ее, между Устьинским и Москворецким мостами. Говорили – сам я этого не видал – что, бывало, рынок будто спускался даже на лед реки: я сомневаюсь – так ли это уж и бывало! Вряд ли мог выдержать лед, даже и метровой

толщины, большую нагрузку толпы и товаров. Посещался рынок непрерывно, с утра до вечера, народом – покупающим, торгующим, ищущим и выбирающим наиболее подходящее, а то и просто болтающимся – глазеющим. Поглядеть на других, на торговлю и товары, на расторопных продавцов – всегда найдется много праздных и любопытствующих. На небольшом пятачке набережной в эти дни был поистине большой торг, но всегда при полнейшем порядке.

Рынок был рассчитан всего лишь на несколько дней торговли и на удовлетворение покупателей из совершенно разных слоев московского общества. Все на рынке было сугубо временным, под открытым небом. Но, несмотря на то, что все лежало в бочках, в кадках, лоханях и на лотках в открытую или даже, как мороженные туши громадных рыбин, прямо на расчищенном снегу, на земле, несмотря на такую примитивность – все отличалось безукоризненной добротностью и свежестью товара и чистотой и опрятностью самих торговцев.

Надо думать, что такие качества вызваны были и крайне сжатым временем, отпущенным городом на торг, и тем еще, что рынок располагался на городской территории, в центре города, на набережной, по сему случаю закрытой для проезда. Вполне возможно, что такими исключительными качествами, отличавшими его от любых других обжорных базаров, он мне и запомнился так отчетливо. Кроме того, Грибной рынок был уникален и силой красоты и естественной природой своих товаров, подчеркнутой строгим подбором качества их и широким изобилием.

Силу такой вот красоты, как грандиозного какого-то натюрморта красок и запахов – мне и хотелось бы восстановить и как-то донести до тех, кто не мог видеть его, но кто не равнодушен к красоте природы в любых ее положениях.

В морозные дни вдоль реки, по набережной, обычно тянулся ровный, приятно-вкусный запах квашеной капусты и моченых яблок, либо рыбы и ее янтарного копчения или грибов, сушеных и соленых. Первоклассным на рынке был не только товар, но и обычай торговли: тут не зазывали, не ловили покупателей прибаутками и расхваливанием, друг друга тут не надували; галдежа и перебранок, спешки и давки также не бывало, все шло чинно, степенно и серьезно, очень по-деловому, в большом спокойствии. Характерным для рынка было, что закупленный товар уносили домой в новых, еще пахнущих свежей древесиной, лубяных кошелках, лукошках, рогожках, или туесах и кадушках. В памяти сохранилось, будто тут вовсе не заворачивали покупок в бумагу.

Рынок вершил большие дела при малой розничной торговле. Возможно – утверждать не смею – что рынок работал с Охотным рядом совместно, может быть и как дочернее ответвление, на одни и те же карманы. Полагаю, что обороты были отменными, ворочать большими тысячами было свойственно старой купеческой Москве, втихоря, сидя где-нибудь на неокрашенной табуретке, в полутемном подвальчике. Так и деды и прадеды создавали

"большие дома" – как ни анахронистична была такая старина уже в мой гимназический век.

Рынок был разделен на строго определенные и неизменные уже "ряды" – по характеру продаваемого товара. Какой из этих "рядов" или какой именно товар был своего рода "знаменем" рынка, точно определить и сказать трудно; все одинаково было хорошим. Но хотя рынок и именовался "Грибным", не сушеные грибы были этим знаменем. Грибы, поистине, были чудесны. Исключительно белые, висели они ровными, плотными и какими-то корпусными гирляндами, одни только шляпки, без ножек, которые на рынке считались постыдной дешевкой, а продавцами – чуть ли не личным оскорблением!

Сейчас сушеный гриб нанизывают вместе с ножкой в восходящем порядке от самой ничтожно-малой, почти что одной черной, сморщенной, корявой ножки – смотреть не на что! – до более или менее выраженного среднего размера гриба, малыми и тощими косицами. В те времена до такой профанации торговцы не опускались: грибы, так грибы! И одни только шляпки, белые с исподу, нанизывались ровными, по мерке, кружками, один к одному, такова уж была их "кондиция". Несомненно, и в те времена в продаже бывали и вторые, и даже третьи сорта, да только не тут, не на Грибном.

Скорее всего, гербом и вымпелом рынка могли быть всякого рода квашения, моченья и соленья. В нескольких таких "рядах" стояли громадные бочки, ушаты, лохани и кадушки, обязательной дубовой клепки, шпалерами. Эти вместилища красоты и изобилия поражали своей помпезностью и представительностью, своим великолепием и редкой отборностью цвета, вкуса и аромата, удовлетворяя даже самый требовательный спрос. В поистине гейдельбергских бочках доверху лежала и при очень бойкой продаже казалось не оскудевала отборная, ягода к ягоде, темная клюква, розовая брусника, морошка. Клюква, морозом хваченая, была чудесно темно-бордового цвета, налитая и обтянутая кожурой – вот-вот лопнет и брызнет соком – на солнце она играла бликами, как глянцевые, из стекла, елочные бусы. В других чанах, не меньшей емкости, великолепные, как бильярдные шары слоновой кости – светло-золотистые, крупные и ровные, без единой морщинки, моченые яблоки антоновки. От этих чанов и тянуло бесподобным запахом не то какого-то вина, не то секретных своих каких-то травок. Как для контраста, рядом – темно-коричневые, подобные хорошим кожаным изделиям, мороженые яблоки с особым, замечательно тонким, кисловатым, устойчивым ароматом.

А в других рядах – черная и красная икра, паюсная, громадными плитами, или зернистая в кадушках; поражали не только, и не столько даже, отборность и первоклассность продукта, как неимоверные количества его и то, что при такой быстрой продаже обилие его не истощалось. Веретена рыбьих мороженых туш лежали тут же, почти под ногами толпящихся покупателей, и их число также не убывало: когда и как и кем заполнялись пустеющие места в этих штабелях – было неуловимо и непонятно.

Как на театральное зрелище – интересно было глядеть на этих "малых"

или ”молодцов”, стоящих за воображаемыми прилавками. Они легко и красиво, разом, без ошибок, отмахивали и отсекали куски мороженых туш рыбины; у всех на кожаных поясах висели в черных, кожаных же ножнах разных размеров ножи, острые как бритвы. То и дело они с блестящим лязгом и свистом направляли их на длинных оселках. Очевидно, глаз их был так наметан, что ”довесков” – в те времена их вообще не знали – они не добавляли: ”кусок” всегда оказывался именно таким, каким он должен был быть. Возможные ошибки, вероятно, бывали, но они проходили обоюдно незамеченными. Никто от этого как бы не страдал. Когда хребты рыбы были особенно крепки или заморожены, ножи заменяли секирой, и с особо значительным придыханием (х-х-ха!) рассекались строптивые туши. Меня всегда удивляла выдержка продавцов, хотя они и были тепло одеты: на ногах были завидные нам белые, обшитые коричневой кожей, валенки, манжетой под коленкой завернутые, на толстой кожаной подошве; верно, и полушубки были достаточно теплы, и теплые меховые шапки – но, все же! – целый день простоять на морозе, даже притопывая и приплясывая – по меньшей мере было героичным! Поверх одежды они были оснащены белоснежными фартуками, на руках – черной кожи раструбы краг. А ведь бывало, что мороз хватал и терзал довольно крепко! В такие морозные дни вниз по реке стлался дым тумана; солнце просвечивало сквозь непрозрачный воздух, как ярко-красный, даже малиновый, диск, не слепящий глаз и не греющий, как будто собою создающий такой сильный мороз. Лошади, в инейно-белом пушистом убранстве, как аллегорические звери, дышали и выдыхали струи пара, что придавало им еще больше сказочности в богатырском их обличии. Правда, пар шел и от людей, точно все стали заядлыми курильщиками и пускали колечками дым и ртом и носом. Но и в такие красивые, все же и трудные дни – зевак, вроде нас, гимназистов, бывало достаточно много.

Для молодежи, которой тут множество любопытствующе бродило, глазело, почти ничего не покупая, привлекающими были, конечно, ряды, где торговали всяким сладким товаром, в пост разрешенным церковью. Тут на первом месте были изделия из постного сахара, почему-то окрашенного в особо ядовитые цвета – желтый, зеленый или красный. Кроме расцветки в нем ничего ядовитого не было; яркость же – оказывалась той мимикрией, которой слабость рядится в силу: здесь броскостью цвета разжигалось любопытство и желание отведать. Кроме постного сахара – в виде ли квадратных кусков, подобных простому пиленому сахару, или более изощренных форм богатой фантазии – торговали кондитерскими изделиями и всякого сорта баранками, сушками и бубликами на постном масле; все это было вкусно и интересно. Кроме того, в этих же рядах торговали и сухими фруктами, поставщиком которых был либо Прохоров, либо киевский Балабуха, два конкурента, ставшие как бы сиамскими близнецами этого производства. А так как конкуренция по сути расценок уже не достигала больше своего смысла, то соперничество ударилось в улучшение качества, и обе конкурирующие фамилии достигали все большего совершенства.

Но странно, гораздо большим спросом, оказывалось, пользовались так называемые и в те времена всем известные "стручки". Какого растения плодами были эти изсиня-черные, или черно-фиолетовые, гладкие как рояльная полировка, жесткие и мясистые "стручки", раз в десять бóльшие во всех направлениях, чем стручки акации или простого гороха – я не знал и не знаю. Но все жевали это сладкое подобие дерева, с трудом поддающееся разгрызанию и разжевыванию. Так все и ходили, судорожно жуя эту древесину, не хуже тех индейцев, которые столь же непроизводительно жевали свой бетель. Я больше любил их за их красивость, за гладкую поверхность, как бы полированную, и за бренчание, как в погремушке, их твердых овальных зернышек.

Нет никакого сомнения в том, что среди хозяек, сюда приходящих по необходимости, среди гурманов, толпящихся около особо привлекающих товаров или среди глазеющих простых зевак, таких, как я сам, разве что на пятак покупающих, среди всего этого снующего и занятого своим делом народа попадались и любители совсем другого труда. Они зорко наблюдали за покупателями, вернее за их карманами, избирая наиболее внушающие успех. Не рыба, не икра и не весь рынок интересовали их, а только одна сторона дела: как можно ловчее, незаметнее и быстрее – ну, конечно, только по дружбе или по ошибке – запустить руку в чужой карман. Пока не изловленные – они не нарушали своим криком, шумом и воплями общего шелеста деловой тишины.

С мороза, от блуждания в среде снеди, почти все что-то грызли, жевали, заражая аппетитом друг друга и создавая атмосферу домашней простоты, почти что родственности, в сближающем всех интересе. Бродить, смотреть, наблюдать, ни о чем ином серьезном не задумываясь, было приятно и вольготно. Если бы не мороз, который к вечеру крепчал, если бы не его щипки щек и носа, никто, вероятно, и не помыслил бы о своем доме, об его уюте и о необходимости туда вернуться. Сама природа заботилась о семейном укладе и покое: крутыми мерами мороза заставляла она не забывать о своем доме. Полюбовавшись на все и постояв у прилавков, люди уходили с лукошками, кошелками, а то и без них, уступая место новым гостям рынка. Безостановочно вертелась эта карусель, нигде не заедая и не цепляясь, с утра до вечера – отмечая своим бегом особое, той Москве свойственное, предпасхальное праздничное и незабываемое время.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ЛЕТО В ОБОЛЕНСКОМ

Лето 1903 года запомнилось мне по многим событиям – радующим и горестным; главным образом тем, что оно было нашим первым летним пребыванием не на Юге, на Черноморском побережьи под Одессой, а в Подмосковье. Поездки на Юг прекратились с появлением в семье четвертого ребенка, из-за большой громоздкости и утомительности путешествия большой семьи; с няней она состояла бы из семи уже человек!

Из года в год повторяющие себя переезды отложились в моей памяти, несмотря на скучливое однообразие уже известного, чертами всегда интересной детской романтики: внезапно просыпаясь ночью – оказываешься не дома, и не в привычной своей кроватке в детской. Тут устанавливаешь, что ты – в поезде, в купе. Поезд стоит на какой-то станции – и ты попадаешь в мир знакомых уже, но сколь волнующих и интересных переживаний... Мир изведанных таинственностей! Все – только звуки, но о скольком они рассказывают! – Разных тембров и разной силы гудки маневрирующих паровозов – спросонок кажутся и сердитыми и недовольными; резкие трели свистков кондуктора и – в ответ – такое успокоение в рожке стрелочника! Еще издалека доносится быстрое приближение перестука молоточка – на длинной ручке – по ободьям колес; а вот и сам он – фонарь железнодорожника, бегущего вдоль поезда – внезапно отсвет его вскакивает в окно купе, в темноте взбегает по стенке, перемахивает округлой линией по потолку и сбегает к спящему, у противоположной стенки, брату. А весь этот сложный, непонятный, но столь знакомый уже ночной гул голосов на платформе, то близкий, то откатывающийся куда-то вдаль...

Или – вот: по крышам вагонов бежит к нам водонос, его не видно, но знаю: он тянет за собой шланг, наполняя водой баки умывальника и уборной; вдруг шумный каскад воды падает наземь из переполнившихся баков. Или ни с чем не сравнимый, пыльный запах полосатых чехлов на диванах и подушках, или темно-коричневых оконных занавесок, где вытканы вперемежку двуглавые орлы и монограммы из перевитых букв МКВЖД (то есть Московская Киево-Воронежская Железная Дорога), а также и всего вагона. Все вместе составляло сущность поездок и – особенно, по ночам – неясных и тревожных знаков станции, живущей, бодрствующей и работающей ночью. Но и днем-то не все так уж просто! Романтично все: и разный, почему-то меняющийся, перестук колес, вызывающий какое-то навязчивое слово, или даже целую фразу, вроде "вот тебе на, вот тебе на", и так без конца, пока

не возникнет: "да-да, да-да, да-да!" И пейзажи, вовсе уж не наши, московские — с березкой, елкой или липой — а до самого горизонта пустопорожние, безнадежно ровные, скучные и однообразные, и только где-то там, на самом краю земли, силуэтами, на пыльно-сером от жары небе, медленно и устало, вращают тяжелыми крыльями мельницы; они, как видно, не желают уйти из поля нашего окна, хотя поезд давным-давно умчался с того места, где они влезли в наше обозрение.

Не уподоблялось ли все, тайной своего однообразия — картинкам к какой-нибудь еще не написанной сказке?

В нынешние дни туда летят на самолете. Краткие часы перелета не могут уж родить той романтики, какая сопутствовала долгому путешествию в поезде. Всего через восемь лишь лет, мне пришлось летом 11-го года, уже "старшим" сопровождать моих сестер с дряхлеющей нашей няней, в те же края, той же железной дорогой, тем же скорым поездом. За эти восемь лет многое, конечно, изменилось, однако общие звуки и запахи и все вышеописанное сохранялось еще; только я сам, став "за взрослого", не испытывал уже былой прелести этого путешествия. Когда же, через много десятилетий, я снова ехал тем же путем и тем же скорым, даже курьерским, в разрушенный дотла Севастополь, по делам его восстановления, все было уже иным: мощные тепловозы, не дымя и не обдавая угольной гарью, "не пуская пары", ровно и бездушно мчали длиннющие составы (где там — семь каких-то рыжих и синих вагонов!); не задерживаясь, они промахивали мимо даже крупных станций, обозначенных в справочнике ножом и вилкой, где ранее набирал воду отцепленный паровоз: где надо, они бросали короткие, обрубленные и неживые, на одной ноте, куски клаксонных окриков; все стало иным, даже облик проводников и проводниц вагонов, сменивших прежних дородных обер-кондукторов, в сапогах гармоникой.

* * *

Мы провели лето девятьсот третьего года в ста верстах от Москвы, в некоем имении, в местности исключительной красоты, холмистой, с большим разнообразием пейзажей. Имение находилось под Малоярославцем. Полустанок железной дороги — случайно опять же Киево-Воронежской! — был последней остановкой — перед Малоярославцем — для дачных только и товарных поездов: другие, тут не задерживаясь, вихрем промахивали платформу, обдав ее дымом, тучей пыли и обиднейшим презрением.

В усадьбе имения, принадлежащего одному из князей Оболенских, стояло всего навсего три небольших, деревянных, холодных дачи, сдававшихся "в наем". Ни барского дома, ни служб, ни крестьянских дворов, ни подобия жизни хозяев и их крестьян — тут не существовало уже давно. Об имении говорило только название — неофициальное — полустанка: "Оболенское". Значился же он официально — "сотая верста". Тем не менее, усадьба существовала, существовали и дачи на ней. Мысом довольно высокого холма она

входила, как корабль, на открытое пространство поймы реки, лугов и пашен, простиравшихся до самой железной дороги. Холм зарос сосняком; некогда тут был разбит, хорошей планировки, парк, но сосны давно вытеснили неприродную красоту старых лип, завладев сухостью почвы. По этим соснам небольшая площадь заросшего парка стала громко, не по чину, именоваться бором, даже "оболенским бором", что звучало особенно ходульно и неправдоподобно былинно.

Тем не менее, даже и такой оминиатюренный бор, во время бурь и сильного ветра, гуляющего по вершинам сосен, ревел и гудел большим органом, вызывая в памяти знакомый нам ровный и непрекращающийся гул рассвирепевшего моря. Тогда нам чудились разные бриги и корветы, вой и свист натянутых, как гигантские струны, канатов, скрип мачт и хлопанье вздувшихся по ветру парусов. Но и в спокойные, солнечные дни в наличии были все признаки подлинного бора: сухая, скользкая, порыжевшая игла выстилала ровным, толстым и пружинящим тюфяком землю; повсюду большие конусы муравейников, сложенных из той же черно-рыжей иглы; множество белок, обитавших высоко, в вершинах сосен; нас они не боялись, осыпали резким таратором ругательского цоканья и огрызками шишек и шелухой семян; множество грибов, какие водятся в сосновых лесах.

Бор этот – и три дачи по его опушке, находились на довольно крутом холме, почти на его кромке. Слева вытекала и вдаль уходила не широкая, но быстрая, изумительной чистоты и прозрачности, речка странного названия – "Лужа". Железная дорога пересекала ее мостом ажурного плетения, на высоких кирпичных быках. За линией виднелись деревеньки, чьи-то имения, какие-то дома... По широкому раздолью местности – тут было довольно безлюдно и захолустно. Дачные поезда доставляли сюда одного-двух пассажиров, а чаще всего ни одного. Дороги от полустанка до нашей дачи я не помню; но, очевидно, это был обычный проселок, в сухое время чрезвычайно пыльный, но непролазный, по грязи, в дождливые дни. Вероятно мы проезжали через деревеньку, этого я не припоминаю. Дача же, которую мы первыми сняли, была расположена как раз насупротив моста: с нашей веранды открывался широким веером вид на всю луговину, на щетки каких-то лесов по горизонту. Солнце вставало где-то за железнодорожным мостом, а садилось за спиной, так что вся панорама перед нами была крайне разнообразна, смотря по солнцестоянию. Особенно красив был пейзаж в вечернее время, когда все насыщалось как бы красной лессировкой. Ночью же, при луне, туман, поднимавшийся с реки и постепенно заполнявший всю низину под нашим холмом, показывал, как все место преображалось зимой, под глубоким снегом, искрящимся в лучах лунного, этого неживого и таинственного, но к себе приковывавшего света. Тогда безбрежность ровной белой пелены, вероятно, была особо ощутима и величественна.

Все три дачи, хотя и стояли на открытых лужайках перед лесом, однако расстоянием и изгибом холма и опушки бора они друг от друга изолировались настолько, что поначалу мы и не подозревали о существовании других,

кроме нашей, дач. Обнаружились они лишь значительно позже; оказалось, что и другие две, подобно нашей, расположены были на небольших своих участках, обнесенных такой же, как избы в деревнях, оградой из двух длинных горизонтальных слег, зажатых в концах меж стояком. Все дачи были засыпные, легкие, обшитые тесом, холодные, то есть неотапливаемые.

Я задержался столь на описаниях места и характера дач по той причине, что несколько событий, из которых я опишу только два непосредственно затронувших нашу семью, были связаны с особенностями местности, речки, железнодорожной линии и моста. Одно из этих двух событий коснулось моего брата, другое — знакомство с композитором А.Н.Скрябиным и его семьей — касалось всей нашей семьи.

* * *

Отец давно уже задумал написать жанровую картину и, как тогда говорилось — вынашивал — сюжет и характер будущего своего произведения. Тема была навеяна натурой, не раз виденной им своими глазами. Тема была увлекательна связью с русской деревней: отправки в "ночное". Но простое, обычное и каждодневное "в ночное" воспринималось отцом — по его словам — как нечто гораздо большее, как какое-то эпическое видение, нечто в характере скифского наследия. Особенно заинтересовало его "в ночное", когда он впервые увидел замечательную кавалькаду из крестьянских девок, поразивших его своей смелостью; они с какой-то бесшабашной и милой удалью, даже не без особого ухарства, вихрем мчались на неоседланных и, естественно, необученных лошадях. Отец военную службу проходил артиллеристом, потому хорошо знал, что может означать такая бешеная езда по бездорожью, без стремян, табуном.

В ближайшей деревне в ночное отправлялись вот такие "валькирии": девки, чрезвычайно красочно одетые, бесшабашные и очень смелые. Надо признать, что зрелище такой эскапады было поистине и захватывающим и красочным, а нам — мне и Боре — просто увлекательно завидным. Ярчайшие краски одежды, кофт, юбок, головных платков, все полыхающее в багровом освещении закатного солнца; блестящие от пота и вечерней сырости лошади разных мастей и характеров; задорное молодечество деревенских амазонок, заправски гарцующих, конечно, без седел; весь дух этой предстоящей гонки по бездорожью, на широкой рыси или даже в галопе, был настолько фееричен и необычен, по освещенью, по движенью и по явной приподнятости настроения и всадниц и зрителей, что эту радость молодости только и можно было назвать — поэмой огня. Вот эту поэму и хотел отец передать и воплотить в свою картину "в ночное", как он уже называл ее нам. Он мечтал силой искусства выразить динамику движенья и энергию цветового напряжения этой сумасшедшей красоты — в статичной форме живописи, ограниченной прямоугольником холста.

Мы часто втроем, отец со своими неразлучными альбомчиками, я с братом просто зрителями, а потом и подносчиками мольберта, складного стула и иных вещей, нужных отцу в работе, – были на месте, когда еще подготовлялся выезд за околицу. Молодые, веселые, задиристые – и не без кокетства – девицы и молодайки были с нами уже знакомы, и, хотя еще не понимая, что этот чудак там делает – кто разберет этих городских господ: уж не записывает ли что? – все же переставали нас бояться и даже уже не обращали на нас внимания. Разбирая лошадей и готовясь к походу, они перекидывались шутками и какими-то им ясными намеками, от чего та или иная, конфузясь, прикрывала рот кончиком платка, под грохот общего гогота во все горло. Перекидывая свои легкие и гибкие тела, вмиг уже сидя верхом, они еще какое-то время болтали и языками и черно-загорелыми ногами; лошади же, переступая с ноги на ногу, не знали, с какой из них пускаться в рысь.

Удивительно, как эти крестьянки ладно и красиво сидели, без седел и стремян: на необъезженных лошадях, на разных аллюрах, им было так уверенно и свободно скакать, что не трудно было в то же время что-то друг другу кричать, рассказывая, и весело и громко хохотать!

От вихревой скачки их красные, синие и ярко желтые платки развевались по ветру, а подчас и сползали с головы; тогда волосы, заплетенные в косы, взметывались горгоньими змеями. Их широченные юбки, столь же яркой расцветки, задранные верховым сиденьем, надувались пузырем от ветра и вились за хозяйкой вымпелами, как и головные платки. Все плыло и пылало в огне последних лучей солнца, садящегося за нашим бором. Когда, по времени, все потухало, и только вверху еще тлели багровые облака, внизу же все тонуло в синеющей туманности сумерек, зрелище скачущих по полям амазонок становилось волнующе-тревожным – дикостью экспрессии в движении – коней, рук и ног всадниц, в движении ветра и облаков, наконец – и это было главным – движении самих красок всей изумительной картины...

Отец перешел уже от карандаша к цветным наброскам. Все обещало стать живописным и для отца новым и необычным отступлением от привычного ему жанра. Отец чувствовал, что тут намечался какой-то новый для него и очень серьезный шаг; от осуществления этой картины он ждал для себя многого и очень нужного, как некоего самообновления.

Для первого и главного композиционного плана он облюбовал гнедую лошадку дивной масти. Ее хозяйка, одна из трех Валь, под кличкой "ноздрявая" – у нее были очень красиво очерченные ноздри, стала даже позировать отцу у нас на даче – к его огорчению и раздражению, так как, сидя верхом на стуле, она теряла и свою живость и нужный огонь движенья: "Как манекен! Кукла! Уж лучше и впрямь куклу бы!" – бранился отец, по ее уходе. Цветовые гаммы кусками набросков заполняли уже стены комнаты. Все шло быстро, гладко, с нужным напряжением к переходу на большой холст. Он уже был набит на подрамник в четверть натурального размера. На нем углем размечались уже эпизоды композиции. Как маяки, то тут, то там уже намечались цветовые пометки. Все постепенно стало подобным большому

оркестру, который вот только что, в разнобой, пробовал еще свои инструменты, а сейчас вдруг смолк, в глубоком волнении, и ждет только взмаха дирижерской палочки, развязывающей его тяжкое молчание. У отца было наготове все – только не хватало такой дирижерской команды тащить мольберт, подрамник, краски, стул, чтобы его оркестр вдруг ожил пятнами на холсте... Но – ни тогда, когда я в напряжении ждал команды, ни потом – и вообще никогда уже команда не раздалась, и никогда никто не поднимал об этом разговора. Все разом прекратилось – и навсегда! И никогда более не прикасался отец к начатой работе и даже избегал к ней подходить. Была ли причина столь резкой и неожиданно-страшной развязки? Причина была. Она стала бедствием и ударом судьбы.

* * *

Мой брат с детства отличался неодолимой страстью овладеть тем, что явно ему было не под силу или что совершенно не соответствовало складу его мыслей и характера. Так случилось с ним и тут: ежедневно глядя на выезды наездниц, он решил испытать себя в этой трудности. Тут никакие уговоры не могли поколебать или отклонить его от исполнения задуманного. В спорах он так всем надоел, что на него махнули рукой.

Наступил день, когда он все же уговорил одну из наездниц дать ему ее лошадку, казавшуюся более хилой, спокойной и тихой. Пока среди стоявших еще лошадей он сидел верхом на ней, все казалось прекрасным. Он сиял торжеством! Вначале все шло гладко и спокойно. Табун шел ровным аллюром, почти шагом и, по-видимому, девки не давали лошадям воли к быстроте хода. Брат ехал среди них, радостный и спокойный. Но его лошадка, естественно, сразу почуяла на себе чужого и, судя по прядавшим ушам, была не слишком тем довольна.

Беда всегда приходит неожиданно и не там, где ее ожидают.

Отец занял свое обычное место, я раскладывал мольберт, устанавливая его по старым следам. Мы стали наблюдать приближение кавалькады, ожидая их проезда мимо нас. На сей раз, не знаю почему, в головах табуна шел не обычный гнедой конь нашей Вальки, а другой, вороной. Его наездница решила изменить обычный путь. Когда табун подходил уже к речке, где-то раздалось призывное ржанье чужой лошади. Тут весь табун взбеленился. Резко повернув за вожаком, табун бросился к ржавшей лошади; мы ясно увидели, как кобылка, на которой скакал потерявший управление и равновесие, растерявшийся Боря, стала подкидывать задом, и Боря, не ожидавший еще и этого, стал заваливаться. В конце концов он не удержался и упал на бок, скрывшись с наших глаз за табуном, который, не останавливаясь, помчался дальше. Настала тишина.

Тут все как бы исчезло. Не сразу поняли мы, что надо бежать к Боре – и на помощь ли?

Бег стал труден: луг был кочковат, траву еще не косили, уже темнело. Я подбежал первым. Боря был жив; он был в сознании, боли не чувствовал, шок еще не прошел. Ногой шевелить он не мог. Тогда я быстро помчался домой, отца оставив у брата. К счастью, дома, в гостях, сидел наш друг, хирург, живший на даче по ту сторону железной дороги. Были еще какие-то люди. Вместо носилок взяли легкий садовый плетеный диванчик, захватили все, что могло сойти за бинты. С большим трудом донесли мы брата, ставшего почему-то необычно тяжелым. Дома доктор вправил разбитую в бедре ногу; под утро отец поехал в Малоярославец за хирургом и сиделкой. Уже одной этой встряски было достаточно, чтобы отвратить отца от продолжения работы по картине. А тут прибавились и другие, побочные горестные моменты, уже не в нашей семье.

По совокупности всех переживаний, картина была отставлена; к ней более и не возвращались.

* * *

Для отца это была потеря, ничем не возместимая. Я только теперь понимаю трагедию художника. Ведь весь дальнейший творческий путь его легко мог бы сложиться иной тропой восхождения; все могло бы пойти под другим знаком, которого, однако, не стало; не стало ни обновления, ни перемены идей и позиций художника. Несомненно, это понимал и Борис. Непоправимость была слишком очевидна.

В двадцатые годы мы обнаружили в завалах старых вещей, перевезенных еще в одиннадцатом году из отцовской мастерской, с Мясницкой улицы на Волхонку большой полуистлевший, полуразорванный темно-коричневый байковый экран, которым отец закрывал в мастерской южное окно. Байка этого экрана послужила отцу взамен холста, во время эскизирования картины. На темном фоне самой байки намечены были цветовые пятна всей композиции, почти в рост натуры: наездница в красной яркой кофте, гнедая лошадь в аллюре, загорелое колено амазонки; кое-где другие всадницы, пятна розовеющих в закатном зареве облаков; гнедая лошадь и Валька были почти полностью обозначены. Об этом большом эскизе — в свое время — мы не знали ничего. Эскиз в те годы был еще свеж и ярок, по краскам очень интересен; но на каркас был натянут не холст, а байка. Она была слабо растянута и легко колыхалась. Пастель, которой работал отец, вообще не долговечный материал; на такой дряблой основе эскизу и подавно грозило быстрое исчезновение. Так оно и случилось. Как бы тщательно ни сохраняли его в неприкосновенности, этот набросок, его дни были сочтены.

Припоминая байковый этот эскиз сейчас, через более чем пятьдесят лет, мне обидно и горестно думать, как чистая случайность столь трагично и жестоко оборвала работу художника, в ее почти что полном развитии. В те годы многие уже видели этот цветной эскиз, о нем в доме уже говорилось, о нем спорили: возможно, возникали какие-то сравнения, ассоциации — скажем,

с Малявиным, даже с Цорном, но, на самом-то деле, ни с тем, ни с другим никаких общих путей и не было, тем более – связей. Прежде всего сама тема была слишком своя и очень своеобразна: тема движенья, в теме заката. То, что деревенские "бабы" или "девки" одевались в яркокрасочные одежды, как их писал Малявин, не связано было с появлением *в их быту* Малявина. Он стилизовал то, что и до него было и что его поразило, как явление живописно-яркое. Его достижение большого мастерства живописи было в том, что он широким своим характером и смелостью своей кисти поставил эту красочность и яркую задорность в гармонию с характеристикой почти что портретной, не впадая, однако, в портрет, а обобщая многое в одном. Художник счастливо нашел свое слово и свой язык, в передаче – жестом и "игрой глазом" – бойкости, смелости и удали в сугубо статичном теле. "Малявинские" манеры и тема, в те времена, были абсолютно уникальны и новы – ему вторить было бы чистым безумием, обреченным на неудачу и явный провал; никто – ни тогда, ни позже – не подхватывал этих тем, ни Кустодиев, приближавшийся к ним, ни тем более Юон.

Цорн брал также яркостью красной гаммы и яркостью характера крестьянки, одетой в тулуп или обнаженной – в бане. Но его задачей была *разгадка рефлексов* – от этой красной заявки на них.

В этой двойной игре красок – явной и отраженной, поставленных под действие огненной киновари, Цорн нашел в те годы свою силу и свое значение. Он подчеркивал во всех своих картинах, через эти отраженные света и цвета, ту же радость бытия, радость молодости, радость задора, как и Малявин. Но не в статичности "малявинских баб", а в жизни – в бане ли, на морозе, в комнатах – безразлично.

На темно-коричневой байке не было ни того, ни другого; ни в задаче, ни в ее выражениях. Никаких нитей связи не протягивалось к ней ни от Цорна, ни от Малявина. Красный цвет, простой элемент спектра, не был, конечно, такой связующей нитью. Все трое, если бы третий пошел дорогой своего эскиза, были слишком разного толка люди и, как художники, стояли изолированно далеко друг от друга; каждый из троих думал о своих задачах и не заглядывал в папки других.

Обидным было то, что такая новая для отца работа, новая и ответственная по всем аспектам, на полпути к цели была сорвана чисто личными и внешними, вне искусства стоящими, случайностями, и сила этих случайностей оказалась для отца – достаточно повелительной. А время, всеразрушающее время, стерло и последнее свидетельствование об этой незаконченной эпопее.

* * *

Почти с первых же дней пребывания на даче, брат мой и я каждодневно совершали все новые открытия. Брат должен был, по гимназическому заданию, собрать гербарий, что он весьма методично и пунктуально выполнял, составляя его очень красиво; я же лишь из подражательства составлял свой,

далеко не такой красивый и полный. Эти сборы трав и цветов уводили нас иной раз в более отдаленные и незнакомые места. Тогда мы чувствовали себя какими-то следопытами, Кожаными Чулками, Зверобоями и прочими индейцами, точно следуя их приемам незаметности и скрытности, хотя глупо было скрываться, когда заведомо вокруг — и на далеко — ни души в эти часы не было вовсе.

В жаркие же дни и часы мы предпочитали открытым пространствам постоянную, даже при ярком солнце, сумрачность и свежую прохладу заросшего бора. Тут гербарий уступал место наблюдениям за лесной жизнью, более интересной, чем жизнь травы. Тут и индейство наше обретало, пожалуй, бóльшие права на правдоподобное существование. Гуляя так по бездорожью леса, не имея никакой определенной цели, не ища специально ничего ровно, шли мы однажды по еще неизведанному направлению. Внезапно, среди царившей тишины, которую только усиливали редкие трельки птичек да цоканье белок, мы услыхали, очень издалека, отрывочное, с перебоями, звучанье рояля. Оно сразу же стало нам ясной задачей определившего себя краснокожего обследования. Мы стали пробираться к звукам — с беззвучием мокасинным.. Так набрели мы на источник музыки — и замечательной. На опушке леса, куда мы дошли, нас задержала непроходимая заросль кустарника. На залитой солнцем лужайке сквозь кусты виднелась дача, такая же, как наша.

С этой-то дачи и раздавалась музыка, похожая на разучивание: но для разучивания она шла странно, не обычно, без застревания в трудном месте, без заминок. Остановившись, внезапно, на каком-то такте, она обрывалась, затем слышалось какое-то невнятное, словно бормотанье, с повторами одной или двух нот, как для разбежки. Так настройщики пробуют отдельные струны и проверяют, будто бы, себя самих. Затем прерванная фраза возобновлялась с прежней быстротой и безошибочностью, на много уходя вперед: бормотанье же, бурчанье и проверка настройщика передвигались на новое, более дальнее место, музыка же все бежала и бежала, между такими перерывами, вперед. Брат, более меня понимавший, сказал, что там, несомненно, с о ч и н я ю т , а не разучивают и не разбирают новую вещь.

Так, с того дня, мы обосновали место, где нас никто не мог обнаружить, благо на даче не было собак; мы же оттуда наблюдали и слушали безнаказанно и преотлично. Подглядывать и подслушивать входило в железный закон жизни краснокожих. В столь же железный закон бледнолицых входило обратное, — что и подглядывать и подслушивать — одинаково подло, нечестно и постыдно. Все это — и то и другое — мы отлично знали, но ни то и ни другое в данном случае не руководило нами. Обосноваться в укрытии и оттуда невидимками слушать — нас заставила только сила музыки: ведь музыка с самого дня нашего рождения шла рядом с нами и только и делала, что приучала нас состоять при ней — ее слугами и верными ее прозелитами.

* * *

Однажды отец, ежедневно совершавший дальние свои прогулки по Калужскому тракту, красивому и почти всегда пустынному, вернулся домой в особо веселом настроении. Со смехом рассказывал он, как ему повстречался какой-то чудак: он спускался с высокого холма, куда по тракту должен был подняться отец. Тот не только спускался, но вприпрыжку сбегал вниз, странно маша при этом руками, точно крыльями, будто бы желая взлететь, как это делают орлы или грифы и другие большие грузные птицы. Да и жестикулировал он так же странно. Если бы не абсолютно прямая линия его спуска, можно было бы предположить в нем вдрызг пьяного человека. По всему же обличью и по телодвижениям ясно было, что это отнюдь не пьяный, но, вероятнее всего, чудаковатый, может быть, и "тронутый" человек.

С этого дня они изредка снова встречались, и незнакомец был верен своим чудачествам. Теперь совершенно ясна была его трезвость, но и чудаковатость – тоже. Наконец, после уж которой встречи они, естественно, заговорили друг с другом. Быстрый бег с подскоками и махание руками продолжались и после знакомства. При первом же разговоре выяснилось, что он такой же дачник, как и отец; что их дача – вон на опушке того леса – и рука протянулась почти к нашему месту; что он – тоже москвич, и фамилия ему – Скрябин; что он музыкант и композитор, и что сейчас, на даче, в это лето занят сочинением своей третьей симфонии, которую чаще называл в разговоре Божественной, не как определением, а как заглавием, названием вещи. С того момента свершилось знакомство отца, а затем и матери нашей, с семьей Скрябина. На том и закончилась наша таинственная и кустами засекреченная связь с музыкой, поистине завораживающей. Мой брат описал ее дважды: в своей "Охранной грамоте", через тридцать почти лет, и во второй раз – в "Опыте автобиографии", уже в пятидесятых годах. Как каменотес или скульптор, отсекая и отбрасывая все лишнее и ненужное от глыбы мрамора, добираются до самой сути, так, много вычеркивая, скупо и сжато, брат мой в крепчайшей концентрации свел читателя с музыкой ошеломляющей. Рассуропливать его рассказ водицей слабой редакции мне ни нужды, ни смысла нет. Оно даже и опасно.

Мне остается только добавить немногое о последующем, что стало прямым следствием этого лета и что опущено моим братом.

После переезда обеих семей с дачи в город сближение родителей со Скрябиными росло и крепло. Еще с Оболенского я стал испытывать восторженную преданность Вере Ивановне. Милейшая и какая-то особенная, она была воплощением доброты и душевной мягкости. Как положено десятилетнему, я питал к ней глубоко скрываемые чувства детской влюбленности, нежности и паладинства. В Москве это возростало.

В их семейном конфликте, достаточно уже понимая сложность событий, я стоял, естественно, на стороне Веры Ивановны, однако, сохраняя мою очарованность скрябинской музыкой. Вера Ивановна, в разговорах с моей матерью касаясь больных мест, умела прекрасно, почти героично, полная высокого достоинства, не допускать и повода к какой-либо жалости к себе со сто-

роны матери. Напротив, скорее получалось даже так, что она сама в этих разговорах проявляла, будто бы, жалость к матери, как если бы не она, а наша мать была страдающей стороной.

На судьбе Скрябиных я ощутил тогда и понял уже навсегда всю остроту семейного конфликта людей, хотя и любящих друг друга, но отданных творчеству по своему призванию; то есть *более* преданных своему искусству, чем тихой радости и счастью в семье.

Потом, и не раз, мне приходилось в этом убеждаться.

Удар, настигающий расходящиеся пары людей обычных, заурядных, сам по себе очень тяжел; тем тяжелее он, когда падает на пары, отмеченные высоким артистизмом и сильными творческими характерами.

Поначалу Скрябины бывали у нас запросто и всегда вдвоем, бывали и с детьми. По мере развития конфликта стали приходить, и все чаще, порознь. Когда же разрыв произошел, Скрябин, словно бы всех спасая, как в изгнание, как в бегство в одиночество, уехал – и надолго – за границу. Вера Ивановна осталась, с детьми, в Москве, бывая по-прежнему у нас. Она много и с успехом концертировала, постепенно ограничив свой репертуар исключительно произведениями только Скрябина. Сама прекрасный музыкант, пребывавший долгое время в орбите скрябинской игры, она, несомненно, достигла совершенства в передаче характерных особенностей игры Скрябина, главное же – скрябинского понимания задач и смысла его творчества. Все это обеспечило ее игре достоверность и подлинность желаний автора.

Вот почему Вера Ивановна – пока Скрябин жил за границей – была, пожалуй, единственной из московских пианистов, кто, исполняя скрябинскую музыку, играл поистине – по-скрябински.

Я передаю вовсе не только мои впечатления. Им можно и не доверять, конечно; но многие замечания, мною уже тогда услышанные и от людей, хорошо знавших игру самого Скрябина и его жены, говорили о том же. Я могу только добавить, что тогдашние исполнители Скрябина, например К.Н.Игумнов, не говоря уж о моей матери, считали для себя образцом интерпретации скрябинских вещей именно игру Веры Ивановны, не скрывая этого.

* * *

Девятьсот шестой год мы всей семьей провели в Германии. За время тамошней жизни связь родителей с Верой Ивановной, несмотря на взаимную переписку, как-то ослабела. По возвращении же нашем в Москву эта связь, вначале как бы восстановившаяся, вскоре стала убывать и в конце концов сошла и вовсе на нет.

Через несколько лет отсутствия вернулся в Москву и Скрябин. Он показался родителям – да и нам – каким-то другим, новым, по меньшей мере обновленным. У него ясно обозначились, вероятно уже там установившиеся, новые художественные и философские (теософские) мысли, новые широкие взгляды на будущее искусство, ясные образы будущих своих произведений.

К этому времени, как записал мой брат, – "он приехал, и сразу же пошли репетиции Экстаза".

"Экстаз" был написан за границей. Мы его, конечно, не знали. Симфонию же, ту, с рождением которой судьба свела нас в кустах Оболенских, исполнили в России впервые в зиму 1906 года, когда мы жили в Берлине. Позже мы слышали ее уже довольно часто, я ее знал почти что наизусть; ее первым дирижером был Эм. Купер. Первые исполнения "Экстаза" шли также под его управлением. Через несколько лет дирижировать "Экстазом", не столь удачно, стал Кусевицкий. Нет сомнений, но не берусь утверждать, – что Купер штудировал партитуру "Экстаза" при непосредственном участии, а может быть и под руководством Скрябина. Вполне естественно, что столь новая музыка требовала к себе особого отношения, и предположение об авторском руководстве не умаляет, а только усиливает уважение к талантливому и многоопытному дирижеру.

На все репетиции "Экстаза", начиная с самой начальной, мама ездила со мной и часто с нами ездил и брат. Эти репетиции проходили по утрам, или в дневные часы, когда большой зал Консерватории был свободен и пустовал. В своей непривычной пустоте дневной сумеречности – зал представлялся необъятной громадности. Гулкость и малая освещенность зала – давила и заставляла пребывать в застенчивой робости; малейший шорох, казалось, – вызовет обвал или какое-то потрясение тишины зала. Эта особая гулкость зала возникала и подчеркивалась обстоятельством, также несвойственным залу в часы концертов: электричества не зажигали, а солнечные лучи ложились яркими косыми арочными пятнами на овалы портретов на противоположной стене. Очень медленно эти световые арки переползали с портрета на портрет. Через весь зал, наискосок, протягивались от окон к стене как бы выпиленные брусы мерцающего воздуха; в этих брусах, все время в движении, танцевали искорки освещенной пыли. Световая игра этих брусьев принадлежала и музыке и залу.

Первые репетиции обычно интересны своими перерывами; за сухим и нервным треском палочки дирижера о пюпитр, в наступающей разом тишине, раздается слабый после полного звучания оркестра, и тем не менее очень внятный голос человека. Он обращен к кому-нибудь из оркестра и разъясняет, как следует понимать и исполнять только что отзвучавшее место текста, в чем недостаток, из-за чего оркестр умолк; затем, указав, с какого такта надо начать снова, все приходит в движение, музыка овладевает залом, до следующего раздраженного стука дирижера.

В этом чередовании игры, голоса одинокого человека, полной тишины враз застывшего оркестра и последующих увещеваний – раскрывалась как бы идея музыки. Все имело свое начало, развитие и разрешение, отдельные куски срастались в целое, и оно всегда имело свое определение. В данном случае это была поэма Экстаза, сиречь – *экстаз музыки.* Брату моему это название впоследствии казалось претенциозным, музыка была выше и серьезней этого названия. Но тогда, в *то* время, это название, как дополнитель-

ный экстаз творческих стихий, говорило всем именно то, что *требовалось самой музыкой.* В описаниях самой музыки Скрябина брат, конечно, прав. Когда я с матерью впервые, на начальных репетициях, слушал "Экстаз" (впрочем, как и ранее, слушая из кустов фортепьянную закладку 3-ей Симфонии), то, действительно, все было в хаосе только что обвалившегося здания – в пыли и грохоте. Но тут же пыль оседала, воздух очищался и становился вновь прозрачным, а из хаоса разрозненностей каждый отдельный кусок занимал нужное ему место, и, к нашему счастью и радости, здание, то есть музыка, начинало ощущаться как единоцельное построение – по замыслу и плану. И, чем дальше мы вживались в дело распада и воссоединения, чем реже стук палочки прекращал очередное возникновение хаоса, а мниморазрозненное тут же сращивалось, в целое и неразделимое, тем яснее раскрывалась глубина и сила музыкальной новизны поэмы.

Так, по мере подготовленности почвы, одновременной обработки оркестра и слушателей, "Экстаз" покорял и более уже не отпускал.

В то время я стал уже пятнадцатилетним. Музыку я очень любил и много слушал. Но – знал ли я ее? С другой стороны, – не все ли равно, какие картины природы или фантазии возникали в душе такого пятиклассника, в этот момент слушавшего репетицию "Экстаза" и им побежденного и поверженного? Сила самой музыки, как сила любого вида искусства, ее оригинальность, новизна и *существенность* – рождали во мне ощущения радости или гордости или счастья – в тут же возникавших картинах моей фантазии. Конечно, я знаю, что слишком уж смешно принимать ощущения пятнадцатилетнего за нечто определяющее; вместе с тем, даже и сейчас, слушая через много десятков лет исполнение Божественной симфонии или "Экстаза", как только зазвучат определенные музыкальные фразы, так я невольно вздрагиваю, и тотчас же мною овладевают образы, тогда еще в моем сознании возникшие и утвердившиеся. Тогда мне почудилось, скажем, звучание низвергающихся масс воды, каких-то водопадов потопа; или возникали видения в буйной радости резвящегося созидателя, во весь голос орущего – "Я есмь", или в резких, как бы прерывающих все предшествующее, голосах тромбонов какие-то материальные архитектурные построения или переплетающиеся орнаменты, или – в финальных кусках "Экстаза" – явственное преображение звуков валторн, вдруг взметнувшихся своими раструбами кверху – в чистый хор женских голосов, поющих в унисон; или, когда уже весь полный оркестр, во всю свою мощь, громадным кораблем, на всех парусах, шел напролом, сквозь бурю и волны – вдруг раздавались первые удары колокола, – а затем он потоком волнения благовеста разливался поверх оркестра по всему залу, преисполненный величия и радости и утверждения жизни...

Сколько бы раз я ни слышал исполнений этой музыки, уже наперед зная, где и какой инструмент должен сейчас вступить и как разовьется далее музыкальная фраза, – я приходил к финалу в дрожи и облитый очистительным потом, как после труднейшей, но радующей работы.

Следует отметить, что после Купера и Кусевицкого все дальнейшие исполнения в чем-то, в каких-то крупицах, постепенно отодвигались от изначального, данного самим, может быть, автором тонуса, трактовки и звучания поэмы. Уже и колокол заменен, увы, металлом стержня, и валторны не звучат женским голосом, и – увы – нет того корабля, несущегося в бурю, напролом, вперед...

* * *

Мои впечатления о музыке, как бы хорошо они не запомнились, остаются всего лишь записью не музыканта, а профана, хотя и имеющего открытые уши и глаза. В эти годы я особенно увлекался музыкой, сам немного играл на скрипке, ничему, однако, не научаясь; я посещал почти все тогдашние концерты, да и дома постоянно слушал прекрасную музыку.

Мне выпало на долю большое счастье – ныне сказали бы "мне довелось" – слышать игру трех пианистов, гигантов пианистического исполнительства – Рахманинова, Бузони, Скрябина. Все трое чрезвычайно разные; не греша против истины, можно сказать – они были антиподами друг другу. Антиподами – во всем: в поведении, в характерах, в любви к тем или иным композиторам, в понимании сути их творчества, наконец, в программах, свойственных каждому. Их игра, собирающая эти качества воедино, утверждала их полное различие, оставаясь на уровне гениальности.

Рахманинов всегда был как бы суров, неулыбчив и до крайности серьезен. В движениях был необычайно прост, строг и скуп. Он одинаково хорошо играл как свое, так чужое, притом так, как если бы исполнял некую службу, скорее церковную, нежели гражданскую. В те времена сказали бы даже не "службу", а "служение", имея в виду серьезность и аскетичность его игры и его *отношение* к игре.

Его духовная сила и сила его нежности, весь склад и облик его – человека, композитора, пианиста и дирижера – выражены были в скупой, суровой, многозначащей и глубочайшей простоте исполнения.

Если не ошибаюсь, он выступал не, как обычно, во фраке, а в очень строгом, классическом сюртуке (впрочем, так выступал и дирижер А.Никиш).

Игра Рахманинова всегда поражала мужественностью, была сочной, хотя и сухой, какой-то "тяжело-скачущей". Громадность его кисти была всем известна, музыканты завидовали ее растяжению.

Менее всего ему удавался, на мой взгляд, Шопен, которого исполнять "по-шопенски" – а кто знает, как он сам играл? – вероятно, мало кому дано.

Обычно характер исполнителя выдает посадка его перед инструментом. За роялем Рахманинов сидел с той же серьезностью и столь же просто, как сидел бы за своим рабочим столом или даже за обеденным, за тарелкой супа, то есть столь же прозаически просто, как бы забыв, сколько пар глаз устремлено в этот миг на него, на его руки, пальцы, на голову, на педали. Таким прямо сидящим, с несколько склоненной головой и почти неподвижным тор-

сом, запомнился он мне. Вся сила удара сосредоточивалась у него в руке; торс – как будто не участвовал в его необычайных фортиссимо.

Полной противоположностью ему был Бузони. Я ощущал его на эстраде за роялем – восторженным маниаком от музыки и ее преданнейшим проводником. Музыка им, а не он музыкой, владела безраздельно; каким он был вне эстрады и не в музыке, я не знаю, но думаю, что вне музыки он не мог быть даже во сне.

Когда он сидел за роялем, а вернее, вовсе чуть не лежал на нем, он совершенно уходил в мир исполняемой музыки, забывая все, что его окружало; и зал, и публика, и он сам – не существовали более для него. Он вел себя в это мгновение непосредственно и по-детски наивно. Он сопел, хрипел достаточно громко; в особо патетических местах он подпевал настолько явственно, ничего не замечая и себя не слыша, что заражал этим и публику, которая, отлично ловя все эти дополнительные, ненужные звучания, все ему прощала, очарованная его игрой и передачей музыки. Ему прощалось и то, что он, по-видимому, вовсе не интересовался *эффектом* своей игры: он стремительно уходил в артистическую, одним поклоном головы выражая, что он принял к сведению овации зала. Поскольку это стало привычной известностью, у рампы не собирались гирляндой восторженные слушательницы, обычно на бис вызывающие любимых авторов или их произведения.

Чудесно исполнял Ф.Бузони Баха. Особенность звучания и одновременно богатство тембра, извлекаемого из инструмента, вызывали представление органного исполнения. Играл он Баха, точно сам импровизировал, с каким-то особым настроением, и медленнее, чем исполняется Бах другими пианистами.

И – Скрябин:

Прежде, чем говорить о Скрябине, Скрябине-исполнителе, я несколько отвлекусь в "историю". Можно вполне представить себе, что музыкант-исполнитель будет играть, скажем, – как Рахманинов, хотя рахманиновской игры никогда и не достигнет; или как Эгон Петри, или как Бузони – с той же оговоркой. Играли, "как" Метнер. Это "как" приложимо ко многим корифеям, хотя их совершенств никто из повторявших не достигал. Я вспоминаю, например, как играл И.Гофман; он покорял аудиторию и царил, признанный *исключительным* шопенистом. И ему подражали в игре. К сожалению, теперешние передачи записей тех лет невозможно слушать: Григ играет, как трехлетний ребенок; игру Гофмана, который, казалось нам тогда, вобрал в себя все, что составляло сущность Шопена, сейчас немыслимо слушать, до такой степени он беспомощен, как музыкант. Равель на пластинке представлен так, что лучше о нем не поминать. Не говоря о них, можно вполне представить себе их игру, правда, до какой-то степени приближения.

Играть, *как Скрябин,* – было абсолютно немыслимо и невозможно. В своей игре он был уникален в том смысле, что само понятие "игры на рояле" исключало повторение; это не была обычная игра на рояле, которой можно подражать, т. е. извлекать те же звуки, тембры, силу, слабость и т. д.

У Скрябина все это было, конечно, но оно составляло как бы второй план исполнения. Первым же планом было совсем особое отношение к инструменту, которое и было неповторимой тайной одного только Скрябина...

Странно – я не помню Скрябина на эстраде, хотя и не раз слушал его в концертах. Но я прекрасно запомнил все, что касалось его игры, когда он исполнял свои вещи у нас, в гостиной. И вот тут-то меня поражало всегда одно и то же: какие бы вещи он ни исполнял, в каких бы настроениях он ни пребывал – я ни до, ни после Скрябина ни в чьей игре не ощущал ни физически, ни как бы "зрительным" ухом – такой звуковой палитры. Конечно, дальнейшее в моем изложении может оказаться только моим личным и случайным определением. Возможно, что слушавшие его игру музыканты и знатоки фортепианного исполнительства не ощутили того, что производило на меня впечатление *исключительности* игры Скрябина. Но я знаю, что никто из многих и многих слышанных мною первоклассных пианистов не вызывал своей игрой тех и таких ассоциаций, которые возникали при игре Скрябина, и это, пожалуй, то главное, что делало или определяло игру Скрябина, как исключительно *ему* свойственную, и никому больше.

Мне, как профану, трудно точно музыковедчески объяснить, что я имею в виду. Но, как только возникали звуки его игры на рояле, даже если я сидел с закрытыми глазами, не глядя на руки и пальцы, тотчас же я ощущал и понимал, что пальцы его извлекали звук, не *падая* на клавишу, не ударяя по ней, что фактически происходило, а наоборот, *отрываясь* от клавиши и легкими движениями взлетая над клавишей. Создавалась полнейшая иллюзия, что он своей рукой и пальцами как бы *вытягивает* звук *из* инструмента – звук, столь же легкий, столь же отрывистый, но и столь же сильный.

Недруги Скрябина говорили, что это вообще не игра пианиста, а какое-то щебетанье птичек или мяуканье котят – имея в виду и характер исполнения и звучание инструмента.

Однако в легкости его звука его форте звучало не менее, если не более, чем три форте обычного пианиста, однако без всех тех ухищрений, нужных для обозначения всей трудности игры, без лишнего грохота, усиленной педализации и т. д. Достигалось это только контрастом между его легким, колокольчатым звучанием игры и его "скрябинским" форте, контрастом, который при его манере был столь велик, что достигал нужного эффекта.

В его игре отображалась и вся его одухотворенная легкость, столь для него характерная во всех его проявлениях: в походке, например, в движениях, в жестикуляции и вскидывании головы – в разговорах. Все это было его естественной сущностью и исключало любое представление о театральности и наигранности. Наоборот, весь его вид, его костюмы и характер "подачи" себя были направлены скорее к обратному, менее всего "артистичному" облику. Вернемся к его игре.

Проще и вернее сказать – да простят мне музыковеды – что характер его игры был неотделимо связан с характером посадки его за инструментом. Он всегда сидел на несколько большем, чем обычно, отстоянии от клавиату-

ры. Он сидел, откинув торс и вздернув голову. Вот тут-то и казалось, что пальцы его не падали на клавиатуру, а как бы порхали *над* ней. Все, вместе взятое, обеспечивало ту же легкость звучания, которая составляла главное качество и прелесть его игры, и то "щебетанье птичек", столь для Скрябина нужное.

Хотя очень многие первоклассные пианисты исполняли прекрасно скрябинские произведения – например, Софроницкий или Нейгауз – однако, их игра не создавала – да и не могла создать – впечатления той легкости "порхающей" игры, которая так запомнилась мне по сей день. Между тем Софроницкий знал, конечно, характер игры Скрябина. Нейгауз не мог ее слышать, он появился в Москве много лет спустя, после смерти Скрябина.

В некоторых вещах, например, в четвертой или седьмой сонате, в "Загадке", "К пламени", в "Хрупкости" Ст. Нейгауз достигает почти скрябинской "разрозненности" и нервности игры, что было Скрябину также характерно.

* * *

Мне хочется отметить еще одно обстоятельство, само по себе, может быть, и ничтожное, но в связи со Скрябиным, с рождающейся третьей симфонией обретающее свое значение. Тут мы возвращаемся к лету 1903 года.

Последнюю из трех дач Оболенской усадьбы, находившуюся в некотором отдалении от дачи Скрябина, сняла группа каких-то учеников не то приютских, не то сиротских домов или семинарских школ. Более всего напоминали они воспитанников былой бурсы. Идя табунком, как на водопой, купаться в речке, одетые в летние форменные темносерые косоворотки, с ременными, как у нас, гимназистов, черными поясами и медными бляхами, они встречались изредка с нами. Это были безобидные, здоровенные и мрачные парни; они, оказалось, составляли свой школьный духовой оркестр. С ними на даче жили их надзиратель, регент и служитель.

Часто, слушая в "наших" кустах игру А.Н.Скрябина и постепенное вырастание "Божественной Симфонии", отрываясь начисто от Оболенской действительности и уносясь в иной мир моей фантазии, я, от испуга, чуть не валился на землю, когда, никого не спросясь, в дачную красоту врывался, нагло вторгался – бычий рев геликон-баса, поддержанный звоном тарелок и большим барабаном – оркестра соседних оболтусов.

Тогда игра на даче обрывалась моментально. Но и энтузиазм оркестра прекращался так же внезапно, как возникал. Наступала обоюдная тишина, усиляемая нежностью чириканья какой-то птички – а затем "Божественная" снова владела миром – и нами в нем.

В таких-то условиях, как будто бы исключавших всякую возможность тонкой работы ума и рук, происходило рождение совершенно новой музыки.

И вот, впоследствии, слушая симфонию в ее уже завершенной оркестровой форме, я каждый раз вздрагивал, когда столь уже знакомый замечательный ход басовой трубы, радостно-торжествующий и самого себя утверждаю-

щий – я есмь! – вступал, надстоящий над всем оркестром. Невольно и моментально вспыхивали в сознании яркие, свежие утра, кусты, звуки рояля – и этот всеуничтожающий рев меди; тут мне приходит на ум невольно почти кощунственная мысль: не та ли семинарская дача внушила Скрябину ход этого баса в симфонии? Не есть ли глубокое, сумрачное трубное вступление, мрачное, как напоминание о Страшном Суде, затем развитое, просветленно, в повторениях – не есть ли оно каким-то откликом? Ведь оно появляется и в утверждении бытия, и в провозглашении радости борьбы и победы, и в вакханалии веселья божественных игр, и в блаженстве отдыха после прекрасного труда.

Не превращение ли это бессмысленного вопля геликон-баса за леском, противоставшего против рояля на даче? Не преображение ли это слепой и грубой бычьей силы в полную себе противоположность торжества разума и воли, в большую новую идею, выраженную творчеством гения? Не мне это решать. Но я ясно себе представляю это, *как нечто,* имеющее неоспоримое право и место в действительной жизни замечательной музыки.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Я – ГИМНАЗИСТ!

1. Первый класс

М.5.Г. – три, белой жести, знака в окружении дубовых листьев – кокарда гимназиста. Те же три знака выбиты на металлической пряжке ремня черной кожи. Каждая гимназия имеет свой обязательный номер. "М.5.Г." – Московская Пятая Гимназия, еще добавляется при этом, в отличие от всех других гимназий – слово "классическая", значит с греческим языком с четвертого класса. В этой гимназии обучаюсь и я.

Мой первый дебют – 16 августа 1903 года – прошел для меня в рядах таких же новичков, как и я сам; мы все, вся гимназия, собраны в Актовом Зале. Все одеты в гимназическую казенного образца, серого офицерского сукна, форму. Головы малышей острижены под нулевую машинку. Все стоят в рядах смирно, навытяжку.

Я впервые не знаю, что делать с руками, ставшими в бездеятельности – излишними, ненужными. Вспоминая солдатскую команду – "руки по швам!" – я судорожно прижимаю руки к ногам. Команда эта всегда звучала в моем детстве непонятным каким-то словом "пошвам"... Так, если забыться, звучит она и сейчас: руки – "пошвам"! Так прошел мой первый молебен в гимназии. Восемь лет, восемь начал учебного года – восемь раз стоял я в своем ряду, под своим номером, на подобном молебне.

За эти восемь лет гимназии на первом месте стоял все же наш дом: пребывание в классе было мне временной лишь отлучкой из дому. Возвращение домой было радостным попаданием в мир моей жизни.

Гимназия помещалась в двух смежных зданиях на углу Поварской и Большой Молчановки; в старом ампирном угловом особняке князей Голицыных, с фасадом по Поварской, и в пристроенном к нему, уже в конце прошлого века, для нужд гимназии корпусе, по Б.Молчановке. Углом своих стен объединенное здание обнимало гимназический двор. По Поварской, вдоль ограды, росло несколько старых лип. Двор примыкал свободной стороной к кирпичной стене соседнего участка – церкви XVII века Симеона Столпника.

Кроме участка и здания Пятой гимназии, по Поварской улице стояло несколько старых, ампирных домов, образуя выход на площадь "Арбатских ворот". Сейчас ни от гимназии, ни от этих домов, ни от их участков – и следа больше нет! По тихим дворам и садам снесенных зданий сейчас, как угоре-

лые, в обоих направлениях, сломя голову, как на пожар или как взапуски, наперегонки, кто скорее, мчатся автомобили: прямой, широкий проспект пролег как раз по таким участкам.

А площадь "Арбатских ворот" – в ее нынешнем состоянии – стала, поистине, одним только картографическим названием места на плане города. Явление архитектурное, то есть площадь, как элемент города, стало исчезать уже давно; с недавнего же времени оно – как площадь – приказало долго жить.

Мы привыкли нынче – или нас к тому приучили – любой пустырь безбрежного поля, часто и бесформенный, принимать за норму городской площади; тут ни размеры, ни их бесполезность уже никого не пугают. Но были времена, когда площади города не могли быть бесполезными или лишенными явных целей. Вызванные к жизни самой жизнью, они рождались в силу своей необходимости, и оказывались – по характеру и по нужным габаритам – в полном единстве и в соответствии с потребностями в них города.

* * *

На самом деле: как родилась в городе Москва площадь при Арбатских воротах? Попробуем сесть в "машину времени" и дадим ей ход в очень далекое прошлое!

В XIV веке небольшой посад вокруг Кремля вырос до большой территории, в границах нашего бульварного кольца "А". Для защиты города, постоянно страждущего от набегов и разграблений, в этом веке его обнесли рвом, валом и крепостной по нему стеной. А для пропуска дальних торговых дорог в город в стене прорубили – сильно укрепленные башнями – ворота.

Вот две такие дальние дороги – из Смоленска и из Новгорода – уже под самой почти Москвой слившиеся вместе, входили в город через свои, для них прорубленные ворота. Их назвали – Арбатскими потому, что дорога проходила городским предместьем – Арбатом.

После долгого трудного пути, чреватого множеством злоключений, обычных в многодневном путешествии, часто осложнявшемся нападениями воровских шаек и разных "разбойных людишек", в те времена явлением обычным, торговые караваны и обозы, проходя в город своими воротами, попадали, наконец, под защиту и охрану крепостных стен. Тут прибывшие впервые за свой путь могли, наконец, спокойно насладиться заслуженным и долгожданным отдыхом. А в нем нуждались все – и лошади, может быть, более людей! За стеной тогда пустырей было еще много, стоянка обозам – обеспечена. Место отдыха выбиралось, конечно, более близкое к охране, к воротам, и близкое к самой дороге; это было естественно, логично и разумно, и раз отобранное, оно уже закреплялось надолго!

Наконец-то, теперь никого и ничего не опасаясь, обозная челядь готовила себя к отдыху и к ночлегу: распрягали лошадей, ставили в коновязи, задавая им корм и пойло. Выстраивались строгими рядами, как по улице, телеги или

розвальни зимой; появлялись среди обозных людей торговцы разной снедью, квасом, сбитнем; тут же стучали, чинили; кузнецы подковывали лошадей. Начиналась полуоседлая жизнь у приезжих. Возникала возможная торговля привезенным добром; происходила перевалка грузов, могла быть и длительная разгрузка клади. Все требовало каких-то мест хранения. Появлялись быстро строящиеся и сразу входившие в обиход сараи, складские избы, лабазы. Жизнь не стоит на месте. Приезжий люд нуждался в размещении, в жилище – и оно появлялось; строили заезжие дворы, гостинные избы, харчевни, трактиры, питейные дома. Бывший пустырь все больше обрастал нужными строениями, превращаясь теперь уже надолго в целесообразную необходимую городскую площадь. Жизнь новоявленной площади, все на ней происходящее и свершающееся нуждалось во всеосеняющей и всевозглавляющей церкви – и она также появлялась: их тут оказалось целых три, и на каждую хватало дел и доходов. Так родилась, стихийно, как теперь презрительно говорят теоретики градостроительства, площадь "Арбатских Ворот", свыше четырех сотен лет жившая, процветавшая и обновляемая, когда что приходило в обветшание. Казалось – ничто уже не может угрожать благоденствию площади, выдержавшей столь длительную и благополучную жизнь.

Но всему когда-нибудь да приходит свой предопределенный конец. Так пришел конец постоянным усобицам, татарским и прочим набегам и "игу". Страна вошла в долгий период мирной жизни и спокойного труда. Крепостные стены, некогда, как защита города, в свое время, обязательные – теперь перестали быть надобностью; прослужив с честью и доблестью свои четыреста лет, они неожиданно превратились в противуположность себе – в прямую помеху развитию и росту города.

В XIV веке их с большим тщанием возвели вокруг Москвы; в XVIII – по царскому приказу Павла I – их снесли, а по следам их кольца разбили иное кольцо – бульварное. По другому указу царя надлежало свободные торцы разрезанного проезжими улицами или площадями кольца бульвара закреплять постройкой одинаковых двухэтажных зданий гостиниц, по проекту В.Стасова. Такой мерой восстанавливалась как бы идея непрерывности бульварного кольца. Вот тут-то площади Арбатских Ворот и не повезло; с этой-то поры и начались ее беды. Вопреки царскому указу, кому-то пришла немудрая мысль – в торце Пречистенского бульвара (тогда названного Чарторыйским) возвести не типовую гостиницу, а здание крупного городского значения – театр! Дело поручили архитектору Карлу Росси. Он подошел к задаче с размахом чисто петербургских масштабов, Москве совсем чуждых. Театру, великолепной и величественной, по словам очевидцев, архитектуры, он предпослал театральную площадь, не менее великолепную, парадную, строгую и больших измерений. Соседствуя с давнишней площадью Арбатских Ворот, небольшой, жилой, скорее интимной, – новоявленная площадь, конечно, вошла с ней в дисгармоничный конфликт, не только по размерам, но, главным образом, по импозантности своего характера.

Театр просуществовал всего пять лет, сгорев дотла в пожар 1812 года;

его более не восстанавливали, а вскоре о нем и забыли; но его площадь, теперь вдовица, продолжала свое неприкаянное существование, в сущности более никому не нужная, с которой ни один архитектор не знал, что делать и чем ее оправдать. Напомню, что в отличие от соседки, эту площадь прозвали "Арбатской площадью", по принадлежности к Арбату. Так она обозначена еще на плане города 1894 года, рядом со старой площадью *Арбатских Ворот*. Эти две отдельные площади – достаточно разные, очень друг от друга, по характеру, далекие, по смыслу разобщенные, но оказавшиеся непосредственно рядом, стали жить жизнью сиамских близнецов, объединенных, но не единых. Ничто площадей не роднило, но вместе с тем и не разъединяло. Такими сиамскими близнецами я и застал их, когда первоклассником стал каждодневным, два раза на дню, постоянным их "прохожим". Далее все проходило уже на моей памяти. Все попытки привести их к какому-нибудь, хоть малейшему равновесию – не приводили к удаче, впрочем, как и естественное желание обратного порядка – их чем-либо, но решительно разъять и отделить друг от друга.

Такое вот сиамское состояние их стало значительно ухудшаться, когда при новых градостроительных веяниях принялись "расчищать" площадь (к этому времени обе площади начали рассматривать как одну, но бесформенную) от некоторых "лишних" зданий. В первую очередь была снесена церковь Бориса и Глеба, занимавшая часть площади при устье улицы Воздвиженки. Я хорошо помню этот угол, когда конка, привозившая меня к гимназии, заворачивала с Воздвиженки в узенький проезд, огибая церковь. При современном, себя ускоряющем движении, конечно, такой узкий коридорчик не выдерживал критики – и церковь пала, обнажив некую свободную пустопорожность. Лиха беда – начало. Дальше пошло проще. Снесли большой, по плану, трехэтажный дом, замыкавший Никитский бульвар, и тем открыв перспективу, вряд ли кому полезную. Хуже стало, когда был разобран старый ампирный дом по углу Воздвиженки и площади: в нем помещался магазин, всем гимназистам знакомый "Сотрудник Школ" Залесской, где мы приобретали тетрадки, географические учебные карты, книги и учебники. Дом этот закреплял угол площади и ограничивал устье улицы. Снесенный – он вслед за собой увлек и опорную часть границы площади. Так, постепенно, утрачивалась ясность площади и ее габариты. Площадь – от сноса к сносу зданий – все более раздавалась в стороны, случайными прирезками пустых мест усиляла и без того уже явную свою бесформенность. Финалом существования площади можно считать появившийся не так давно новый пустырь треугольника, когда снесен был хороший ампирный, но, правда, нуждавшийся в ремонте двухэтажный дом; этот треугольный пустырь лишил вконец разрушенную площадь последнего представления о "площади". Вместе с подземным проездом под новым проспектом здесь образовался сложный узел взаимных транспортных пересечений, для пешеходов же – грозная мышеловка.

Так завершилась судьба ”площади Арбатских Ворот” и ”Арбатской площади”, в результате некогда свершившейся ошибки, совсем не понятой вначале; стоило бы только продолжить линию бульвара, до пересечения с площадью Арбатских Ворот, и восстановить нарушенную архитектурную систему — и вся картина этого места и поныне сохранила бы себя.

* * *

Не прошло и полугода, что я стал гимназистом, как в январе 1904 года на Дальнем Востоке, в Чемульпо, героически погиб наш крейсер ”Варяг”. С того и началась русско-японская война, о возможности которой поговаривали уже давно. Однако, несмотря на прогнозы, мы к ней готовы не были. Сразу же возникшее наводнение хвастливыми, ура-патриотическими, ходульными статьями, газетными реляциями, плакатами — не мешало даже нам, первоклассникам, понимать, что войну ведут из рук вон плохо, бездарно и даже — продажно! Несчастному русскому солдату вдвойне попадало — и от японца, и от своего, даже и высшего командования. Все, что негласно просачивалось с далекого фронта, ускользая от цензуры, говорило о позорной тупости его; сообщения же официально-гласные были неправдоподобно-надуманными, явно наигранными — никто им и не верил — восхвалениями неистощимой удали и лихости русского богатыря и русского казака! Недаровитым было все, начиная с каждодневных однотипных, слово в слово, телеграмм отбывающих на фронт офицеров.

”Перевалив через Урал, шлем родным и знакомым... и т. д.” — ежедневно читали мы в газете стереотипные эти телеграммы, точно для военных действий самым важным было именно извещение о перевале через Урал! Это настолько навязло в зубах, что мы, первоклассники, с ехидством, во все горло в коридорах гимназии провозглашали, что: перевалив через Урал — мы сегодня едем на экскурсию! или — перевалив через Урал — я несу домой двойку! или что-нибудь еще глупее.

Фронт был далек и почти недоступен. Москва жила фактически вне войны и ее очень мало чувствовала. Мы, первоклассники, лишь однажды ощутили войну как лично коснувшееся нас явление. Нам пришлось провожать на фронт нашего учителя русского языка и классного нашего наставника, Николая Ниловича Филатова. Вероятно, он тотчас по окончании Университета стал преподавать в нашей гимназии и именно в нашем первом классе, и это было его дебютом; он производил впечатление робеющего новичка. Конечно, я понимаю это теперь; тогда же мы относили все к его явной молодости; на фоне пожилых уже и многоопытных преподавателей его такое новичковое состояние молодого еще человека, естественно, нас привлекало и располагало к себе. Все выказывало в нем какую-то еще неуверенность, стесненность, быть может и робость в своих начинаниях. Поэтому запомнились особо яркие черты его тогдашнего облика и поведения, его манера, хотя бы, — входить в класс. Нет, вернее сказать не входить в класс, а — влетать метеором и

с разбега плюхаться на стул за кафедрой, точно это было спасительным причалом в бурю. Чудом было, что при таком темпе он не спотыкался о подиум кафедры. Его первые движения – как он хватался за классный журнал, раскрывал его, выслушивал дежурного ученика – все выдавало его нервическую стесненность, тщательно им скрываемую.

Вначале он приходил в черном штатском сюртуке, не застегнутом наглухо, потому при резких его и внезапных поворотах и рывках – полы сюртука раскидывались в стороны; он напоминал тогда птицу, машущую крыльями, чтобы ускорить свой бег и сохранить равновесие перед взлетом.

Нам он был тогда очень симпатичен; с первых же дней распознанная нами стеснительная его молодость удерживала нас от обычных шалостей и слишком вольного поведения. Его внешний вид также был не типичен для школьного моржа. Он был в бороде "лопатой", выдававшейся сильно вперед. В речи его был какой-то неуловимый дефект, он яснее чувствовался, когда он рассказывал нам что-либо по уроку, постепенно убыстряя фразы, – тогда он начинал как-то странно причмокивать языком, даже будто и заикаться. Характерным было особенно, что, заканчивая фразу, он внезапным рывком закидывал голову, выставляя вперед лопату своей бороды, точно имея ввиду сказать: – ну, что, взяли? – мило при этом улыбаясь. Вначале примиряющая и сближающая нас такая манера стала впоследствии приедаться и надоедать. Под конец мы даже конфузились, точно мы были причиной и поводом к такой странности. Со временем от прежней его робости не осталось и следа, а вот такая манера – "что, взяли?" – не покидала его до конца гимназии.

Когда Николай Нилыч вошел в класс в своей новой ипостаси, в офицерской форме прапорщика запаса, он нисколько не стал другим, хотя его внешний, военный теперь, вид типичен был для всех военных того времени: широкие черные суконные шаровары, с красным кантом, свисающие почти что юбкой на голенища "гармоникой" сапог, темнозеленый мундир с таким тугим воротником, точно он выкован из железа. Такие же манжеты, с золотыми шпалами, вроде римской двойки. Все по форме, как полагалось рядовому офицерству российской армии.

Но тут оболочка офицерства жила от Николая Нилыча, носителя ее, совершенно отдельно, не повлияв на него и не изменив его качеств. Он и в мундире и при шашке так же причмокивал, так же выставлял вперед лопату своей бороды, так же резко и внезапно двигался, что уж и совсем не подобало офицеру с его размеренным величием. До последнего времени я сохранял фотографию, сделанную перед самым отъездом Н.Н. на фронт. Весь класс наш собран во дворе и составил большую группу с офицером в центре. Это – Н.Н.Филатов. Он сидит в позе, обычной в таких случаях: хотя дни были уже морозные, он без шинели, в мундире. Фуражка козырьком вперед лежит на коленях. Руки – на эфесе шашки, поставленной между ног на землю. К сожалению, фотография – любительская – и выгорела и распалась на клочки. Но я очень хорошо помню ее, во всех почти деталях.

Наш класс, по обычаю тех лет, решил ко дню отбытия Николая Нилыча на фронт приобрести и передать отъезжающему образок его святого и заступника. Потому, совершенно нежданно для Н.Н., мы всем почти классом явились с подношением на вокзал. Дело было к вечеру.

Обряд "проводов" всегда труден не только тем, что связан с печалью и грустью расставания. Вероятно, более самого прощания удручало растянутое время проводов: все уже высказано, достаточно уже вытерто мокрых глаз. Молчание, все более тяжкое, чаще сменяет выклики пожеланий счастливого пути и благополучного возвращения – а поезд, как назло – все еще и не думает отчаливать!

Во мне чувства, неизбежные при вокзальных проводах, пропадали весьма быстро – и не потому, что я оказывался более других черствым. Но я как бы исчезал, отвлекаясь в стороны, которые становились более действенными, призывающими, чем молчащее стояние у вагонной двери. Так было со мною всегда, так случилось и при проводах Николая Нилыча. Вначале проводы "военного" заняли все мое внимание. Мне было странно, несколько за Н.Н. обидно и жалко, что кроме нас, гимназистов, никого из провожающих – скажем, родни – не было. Приятно было видеть, что Н.Н., получив наше скромное приношение, как-то трогательно его принял, поцеловав образок, и сразу же с ним убежал в свое купэ. За ним вслед в вагон поднялись наши представители, Белиц-Гейман, с которым я впоследствии часто встречался, и кто-то второй, кто – не помню. Остальные скучились на платформе, против вагонной двери. В это же время у двери соседнего вагона шли другие – совсем другие – но тоже военные проводы, громко омываемые слезами и причитаниями, вперемежку с поцелуями и разными выкриками. Выражения подлинных чувств глубокого горя перемешивались со звонким щелканьем шпор, сухим треском каблуков, с короткими, как выстрел, обрывками фраз или приказаний, брошенных в пространство, – или с змеиным шипением керосинокалильных фонарей, вдрут разгоравшихся особо сильно, с брызгами искр.

Где-то далеко, уже за дебаркадером, на путях, возникали какие-то гудки паровозов, мелодичные звуки стрелочниковых рожков или резкие трели кондукторских свистков – эта обычная звуковая картина вечерних железнодорожных прощаний с надолго и далеко отбывающими.

Среди такого отвлечения я и не заметил, как поезд незаметно и медленно стал отрываться от теснее сплотившихся кучек провожающих, остающихся на платформе. Поезд медленно, тяжело, со скрипом застывших рессор, стал, подрагивая, уходить в даль.

Николай Нилыч, приложив руку к фуражке, все еще стоял на площадке, постепенно в сумраке и тумане исчезая. За поворотом путей поезд скрылся, мигнув нам, напоследок, красным глазом последнего вагона. Тогда, всей гурьбой, молча, мы покинули платформу. Пока мы еще шли вокзалом к выходу, стояли на широкой, открытой входной лестнице и спускались на тротуар, поезд, только что сорванный с якорей расписания и скрывшийся за пово-

ротом, уходил с нашего поля зрения, в поля ночных далей полным уже ходом, мерно и, как всегда, хлопотливо отстукивая стыки рельсов. А его пассажиры начали уже жить новой своей, вагонной жизнью: кто стал, раскачиваясь в ритме хода, раскладывать постель и облачаться в дорожное; кто – еще в военном, ни на что еще не решаясь, позевывал в кулак все громче и чаще; кто – выйдя в коридор, прислонясь к оконной раме закуривал папиросу. При большом разнообразии поз и движений все одинаково топили свои разные ощущения одиночества и отрыва от дома – в монотонном перестуке колес. Он в своем, почти языковом – на разные слова и обрывки фраз – тараторе – это говор бегущего поезда – постепенно овладевал смыслом жизни пассажиров, заарканенных своим вагоном.

* * *

Все они были брошены на фронт войны. Кто из них вернулся домой?

Шла Русско-Японская война!

Первая война – на моей памяти; не придуманная, не из сказки или романа вычитанная, а ведущая себя по-настоящему, с кровью, ранами и смертями людей, жаждущих жизни.

Первая – из четырех, пришедшихся на мой век: из них бесславная, с большим позором конца.

Первая, значит во всем новая и еще моим поколением не испытанная, потому наиболее сильная и потрясшая своею природою и сутью – разрушением и смертями. Какие же впечатления и воспоминания оставила она во мне, тогда еще мальчишке, первокласснике?

Из взаимно сплотившихся, наслоившихся и прикипевших с позднейшими суждениями о злополучной войне выделить химически чистые воспоминания мальчишки тех лет – довольно трудно.

Дома – о ней у нас говорилось, по-видимому, мало: больше о *реакции* на войну, на действия высшего командования; о возможных последствиях войны – о несомненности ожидаемой революции, как о расплате за войну, об ответе пред народом – это все я слышал и это помню.

В гимназии – такие же разговоры имели бы место, если бы их не отсекали напрочь тут же, недремлющим оком начальства, не допуская возможности таким беседам и начинаться. Но на то и существовали уборные, чтобы, хотя бы там, средь дела, предаваться волнующим передачам всяких слухов, рассказов и предположений.

В городе – снаружи все, казалось, идет в ногу с двуглавостью орла, которым будто бы вся наша жизнь тогда осенялась. Что делалось во глубине народных душ – нам видно не было. Все, возможно, и закипало и бродило, но – пока что не на поверхности. Поверхность была заполонена и, как ряской зацветает пруд, заклеена повсюду плакатами, веря которым – благоденствию и благополучию – конца не было! О – эти чудовищно странные плакаты! Кто их придумывал – и для каких целей? Могу точно сказать, по тогдашним

впечатлениям, что тех целей, на какие рассчитывали их выпускавшие – они не достигали, конечно, но обратных – да, этих – сколько угодно!

Люди моего поколения помнят, вероятно, военные плакаты тех лет. Им желали придать характер и вид народных лубков, с присущей им крепкой солью народного юмора и выдумки и с их яркостью самых несусветных красок, всегда, однако, красивых и цельных.

Увы – в военных плакатах ни того, ни другого – кроме желания – и в помине не было! Кроме того, по слишком уж очевидной и кричащей лжи – они убеждали как раз в противоположном написанному. На этих плакатах японцы, как правило, изображались только хилыми, слабыми, тщедушными подобиями обезьян, желтокожих, косоглазых и почему-то мохнатых. Иначе, чем "япошки" или "макаки" их не именовали. Им противопоставляли наших солдат и манчжурских казаков с желтыми (не красными) лампасами, в виде былинных богатырей. Вот примеры: на плакате изображена громадная казацкая папаха, из-под которой тщетно стремятся выкарабкаться на четвереньках паукообразные "япошки", с искаженными от страха лицами: это – "шапками закидаем!". Или, на другом – громадная пятерня, сжимающая схваченных "макаков", почти что в агонии дрыгающих руками и ногами. Запомнился и такой шедевр – едущий на рысях казак, с пикой наперевес, успевший насадить на нее, как на вертел, – нескольких "япошек" и догоняющий еще одного. Народ же знал отлично цену всему такому. Он знал, что японцы берут не своим богатырством, которого у них и не было, но – ловкостью и легкостью маневра, новым – и превосходным! – вооружением и, главное, – применением, впервые! – мимикрии: вся армия была одета в "хаки" цвета горохового гаоляна, где и проходили бои. Не даром "хаки" стало, после этой войны, основой обмундирования англичан, а потом и всех армий мира! Русское же воинство – по-старинке – было одето в белые рубахи, белыми были и фуражки. Среди ровного гаолянного пейзажа этот белый цвет да еще яркие разноцветные знаки войсковых подразделений служили японцам прекраснейшей мишенью даже для беглого огня и на больших расстояниях выдавали расположение и передвижение русских. У японцев основным оружием были пулеметы, которых у нас в начале войны вообще не было, если верить сообщению гр. Игнатьева ("50 лет в строю").

Вот поэтому военные плакаты, дурнейшего тона, не имели никакого успеха в народе. Генералы Куроки, Ноги и адмирал Того действовали не худо для японцев, а мы, в плакатах, обзывали их достаточно грубо и глупо, что, однако, только раздражало. Народ на ура-бравое "шапками закидаем" со злобой приговаривал – "лучше бы снарядами!" или – "нынче шапками только дураки дерутся!", а то и еще более хлестко, далеко не цензурными словами.

Детвора – в свои повседневные игры переносила, естественно, очень посвоему и на свой лад, общий дух военного времени. Способствовал тому характер и смысл выпускаемых магазинами детских игрушек и настольных игр. Они должны были, кроме своего прямого назначения, по общим идеям

времени воспитывать и прививать детям высокие патриотические чувства преданности царю и отечеству и веру в обязательную силу русского оружия. Достигали ли цели такие идеи – в играх – я не скажу, но у нас успеха такие игры не имели, хотя подобные игры появлялись и у нас на столе.

Одна из таковых запомнилась отчетливо – и потому, что кто-то из старших игроков – или Борис, или его друзья – Миша Ромм или Шура Штих – переделал игру на манер шахматов. Магазинная игра, типа "вверх–вниз", с выкидыванием костей или верчением рулетки, не требовала ни ума, ни расчетов. Тут действовал закон случайностей. Называлась игра "Морской бой". При игре прилагались, кроме раскладной картонной "доски" с квадратиками радости или огорчения и рулетки – еще четыре, по числу игроков, оловянных корабля русского и японского флага.

В переделанной игре были установлены свои правила игры: отдельных ходов кораблей по их рангу, стрельбы, потоплений и т. п. По типу оловянных мы слепили множество кораблей разного типа и назначения из отцовской глины и нарисовали громадную карту моря с контурами русского и японского побережий, с бухтами, заливами, рифами и мелями, с островами и береговыми фортами и укреплениями! Эту карту, по ее громадности (вероятно, она была даже склеена из нескольких листов бумаги) приходилось раскладывать на полу – стол ее не вмещал никак!

Придумал игру, вероятно, Боря – а всю ее "юридическую" часть (так и говорилось ими) составил Миша Ромм, немногим старше Бори, долговязый, худой и нескладный еще подросток; угрюмый, с грубоватым юмором, острослов, он несомненно был и острого ума. На его губах играла постоянная добродушная усмешка, при совершенно спокойных серьезных серых глазах. Таким он оставался и впоследствии уже взрослым, когда, бывало, снова появлялся на наших горизонтах.

Главарями в морской игре были Борис и Миша Ромм. По необходимости меня включали в игру номером четвертым, но когда старшие, углубляясь в замысловатую каверзу противника, обдумывали подолгу свой заковыристый и взрывной контрход, уставясь молча на карту, – мне все уже надоедало, я был непоседа, и потому предпочитал втихоря, незамеченным – смыться.

В некий день игры Борис прозевал решающую засаду, в какую его завлек своими действиями флот Миши Ромма. Для флота Бориса это была полная катастрофа, он был в пух и прах разбит. Не говоря ни слова, Борис поднялся с пола, бледный и в полном молчании, и немедленно вышел из комнаты. Воцарилась гробовая тишина. Победитель и триумфатор – Миша Ромм – выглядел весьма даже плачевно. Такого рода казусы с Борисом бывали, новостью для нас это не было. Мы все знали, что расспрашивать, уговаривать или – еще хуже – проявлять жалость или участие – было просто безумием.

Об этой черте характера брата мне придется говорить ниже и более к месту, объясняя все его же словами.

Вот с того дня – игры я более не видел – и куда она исчезла – не знаю. Ни тогда, ни значительно позже, когда в доме бывали генеральные уборки,

чистки или комнатные ремонты – игра мне на глаза не попадала.

Возможно, кто-нибудь из игроков унес ее из нашего дома, чтобы она не напоминала брату о поражении его флота.

* * *

А война, настоящая война, шла между тем полным ходом и своим чередом, увы, не в нашу пользу. Смерть родных или близких людей, гибнущих на любых фронтах войны, во всех семьях, их потерявших, всегда является горем глубоким, неутолимым, тяжелым – но всегда личным, своим, семейным. Все чаще появлялась в газетах, в официальных извещениях или ответах на запросы – лаконичная формула, как отпущение грехов, как облегчение и даже как призванная принести счастье погибшим и оставшимся без них. Она кратко, но бодро гласила, что такой-то, имярек, "пал смертью храбрых", точно иная смерть на фронте для родных была бы более тяжкой утратой.

Но катастрофа в водах Порт-Артура в февральскую ночь, гибель громадного броненосца-крепости, со всем своим материальным добром, с тысячью жизней его населения – была тяжелейшим ударом беды уже не семейной, не личной, а всей России, всего народа. На "Петропавловске" погибли все, с адмиралом Макаровым во главе. Он был новатором флота, крупным человеком, ученым моряком и его преданнейшим слугой. Все моряки нового типа возлагали на него, как на обновителя российского флота, большие надежды, хотя против него восставала вся флотская, да и нефлотская верхушка высшей власти. Гибель Макарова для флота России была незаменимой потерей.

Для художников всей России потеря на броненосце художника В.В.Верещагина была также национальной утратой. Верещагин – художник и военный корреспондент – вместе со всем населением "Петропавловска" – вышел из порта, чтобы в своих зарисовках фиксировать дела и дни этой громады. И вместе со всеми он погиб в первые же минуты этого похода.

Живопись Верещагина, всем более или менее известная, считалась – может быть и по праву – устаревшей, изжитой по темам, по характеру изложения, по манере передачи. Его живопись была типична для передвижничества. Но, для своего времени, Верещагин был крупным художником-баталистом.

Пусть его живопись для нашего времени и была отсталой, устаревшей, пройденным этапом. Пусть его картины не могли уже претендовать на интерес новых зрителей. Пусть его громадные, многотрудные и многодельные картины, висящие по стенам галлерей и музеев о войнах, их суровых следах, пирамидах черепов, костей, раскиданных по полям, и полях сражений, в зное песков пустынь – создавались им не в натуре природы, а в прохладе мастерской, по воспоминаниям, по зарисовкам, по поставленным натурщикам, даже манекенам – пусть все так! Пусть все эти полотна в тяжелых рамах давно перестали дышать живой жизнью для нас – но ведь когда-то она была и жи-

вой, и свежей, и новой, зрителей волнующей жизнью живописи. Эти полотна и тогда, как и ныне, выказывают руку большого мастера, крупного художника, пристального и верного наблюдателя природы и жизни. Он – мы признаем это – великолепно знал, например, даже без всякого манекена, без даже живого натурщика, как на громадном полотне изобразить во весь рост и заставить бежать солдата, бежать, а не падать – в полной выкладке, при полном, ярком освещении солнцем; он знал, как показать солдата, бегущего из последних сил, в адову полуденную жару, и при этом не уронить его на землю, сохранив в его беге полную уравновешенность всех частей движущегося тела!

Он знал – и очень точно – что южное, палящее солнце на безоблачном, голом небосводе, съедает своим светом силу и свежесть всех красок – а не делает их еще более сильными, яркими и свежими, как, казалось бы, им быть в натуре должно. Он писал свои туркменские азиатские небеса не ярким ультрамарином, тяжелой и плотной краской, как это делал – скажем – Семирадский; он не пугался мутной сизости и тумана марева. Его безоблачное небо было более правдоподобным в легкости и воздушности сероватой голубизны кобальта.

Его пригласили, и он согласился, снова быть военным корреспондентом – теперь на палубе громадного корабля. Он согласился, чувствуя в себе достаточно бодрости и сил, желая сбросить с себя тяжесть времени и приверженности к старому передвижничеству. Кто знает? Может быть, принимая предложение, он мечтал, как когда-то уже, о новом для себя этапе своей жизни, снова дать молодое искусство в изображениях теперь мариниста? Кто скажет, что он не достиг бы такой своей новой мечты?

Но – судьба безжалостна! Вдруг, внезапно, в момент духовного подъема, в ночи, в какую-то секунду – она погубила все чаяния глупостью несчастной случайности. Ведь – отклонись броненосец на несколько градусов – может быть, он не встретил бы на своем пути свою смерть.

Но – случай слеп! Небольшая кубышка, врезавшись в громаду, – оказалась сильней и губительней гиганта, со всеми его ухищрениями, толщенной его броней, его пушками, солдатами, матросами и командорами.

По инерции, не теряя хода, но уже мертвый, резал корабль воду, идя уже под волнами. Все более погружаясь на дно, он боролся с водопадами, врывающимися в отсеки, еще свободные от воды, но занятые живыми еще жертвами стихии.

Мир праху вашему, люди броненосца! Мир праху и вечная память вам – и ему, Верещагину!

* * *

Преподавателем нашим, пробудившим в нас еще более, чем Н.Н.Филатов, стремление сблизиться и подружиться с ним, как с любимым человеком, был учитель географии и естественной истории – Александр Сергеевич Бар-

ков. Как и первый, Барков был тогда еще молодым человеком, симпатичным и горячо относившимся – по любви – к своим предметам, особливо же к естественной истории. Вероятно, он был врожденным натуралистом чистой воды. Впоследствии он стал профессором университета, кажется, чуть ли не академиком – во всяком случае, он кончил свою деятельность и жизнь не только гимназическим учителем. С нами, еще в младших классах, он обходился – а нам это нравилось, – как со взрослыми уже гимназистами; он задавал "на дом" положенное по программам, по учебнику, но занятия вел как собеседование. Вызывая к доске не более трех учеников за урок – все оставшееся время он посвящал рассказам по теме будущих уроков, предваряя учебный план. Такие занятия с нами были настоящими, увлекательными и многое раскрывающими импровизациями в разных областях естествознания. Собственно то, что у других учителей, излагаясь, превращалось в засушенную скуку и пыль гербария, у Александра Сергеевича, в его системе преподавания, даже в состоянии требуемого гербария оставалось свежими, яркими и прекрасно пахнущими букетами трав и цветов. Барков прожил с нами всю нашу гимназическую жизнь; в восьмом (последнем) классе из десяти восьмиклассников (сейчас странно слышать, что в классах бывало по 10–15 человек всего!) около 6 или 7 учеников занимались с А.С. вполне уже серьезно биологией. Как будущие его студенты, имея почти каждый свой микроскоп – настоящий, с тремя поворотными объективами, в красивых светло-желтых деревянных ящиках – мы, хотя были еще детьми во всем, работали за окуляром увлеченно и заинтересованно; мы полюбили делать срезы, окрашивать их и заливать стекляшки бальзамом.

С первых же классов все, что мы за зиму от него узнавали, он с первых же теплых дней весны показывал нам в природе, устраивая великолепнейшие выезды загород; такие экскурсии были в ближайшие и доступные места дачного Подмосковья, но в такое время, когда природа не заполнялась еще "дачниками". Экскурсии! Вот где мы действительно и по-настоящему сближались с А.С., чувствуя в нем тут, в свободе общения с ним – не строгого и сухого мундирного учителя, а – по всему – старшего брата. Его разговоры с нами, характера скорее вопрошающего размышления, вызывали нас незаметно на, как бы, ответы или разъяснения его собственного непонимания или сомнения. Например, держа в руке цветок баранчика, он задумывался и как бы советовался с нами, думаем ли мы, что это действительно баранчик? И что, собственно, заставляет нас думать, что это не – скажем – лютик? И мы, обсуждая серьезно, что к чему, приходили к выводу, что – да, это действительно не лютик – а баранчик, по всем ботаническим статьям и качествам.

От Баркова к нам перешло большое любовное отношение к природе и ее проявлениям – мы любовались и проскочившим дорогу крошечным лягушонком, и стрекозой, наконец, после долгого трепыхания на месте, севшей на стебелек, с еще дрожащими ее прозрачными сетчатыми крылышками – и мохнатой какой-то, пугающей своим видом гусеницей, важно проползающей по листу куста, – или даже веточкой мха, будто нарочно ювелиром сде-

ланной, или остро-изрезанным листом — всегда по одному принципу.

Благодаря пробуждавшимся — через него — чувствам и начаткам каких-то знаний, мы без труда осваивали его предмет — естественную историю, в первую очередь, но также и географию и геологию.

На подобные экскурсии нас собирали не без торжественности. Из дому мы приходили с ботанизирками, сачками и со странно пахнущими черными непромокаемыми плащами, свернутыми в тугой валик на ремешке, через плечо — как у городовых или у кадетов. В гимназии нас выстраивали в пары, длинной колонной, возглавляемой А.С.Барковым; в хвосте шел постоянно сопровождающий нас Василий сторож, он же и коридорный швейцар и блюститель чистоты — я отлично помню его фигуру, в постоянном потертом и старом вицмундире, на все пуговицы застегнутом. Мы с ним — возможно из-за таких походов — были в хороших отношениях, и он нам — простецки и дружелюбно — отвечал тем же.

Без барабанной дроби, но все же по-военному, по-двое, колонной, выходили мы (равнение направо!) мимо нашего надзирателя, учителя гимнастики и военных приемов построений — со двора на Поварскую, держа равнение еще некоторое время, пока мы не выходили из поля обзора нашего начальства. Но постепенно вся военная четкость и чинность исчезала, и у вокзала или у начальной станции загородной конки мы сбивались в простую веселую кучку ребят, окружавших и Василия и Баркова, кстати сказать, также ставших простыми собеседниками.

Наиболее интересными из экскурсий были, пожалуй, те, которые А.С. проводил с нами на берегу Москвы реки, по высоким, крутым и осыпающимся обрывам. По крайней мере мне они были очень интересны. Тут А.С. знакомил нас и вводил в неизвестную еще страну, именуемую на негимназическом языке — палеонтологией.

На реке, да еще под уже довольно греющим солнцем, все законы гимназических правил забывались. Сбросив шинели и фуражки, а кто посмелее — и куртки, сдав все лишнее под охрану Василию, мы вольготно и вольно ползали по откосу, собирая попадавшиеся "окаменелости", или раскапывали их — спирали аммонитов, твердые, подобные большому ореху, белемниты, чертовы пальцы и другие отпечатки. Показав находку Баркову, получив его одобрение и благословение, — триумфатор заворачивал редкую находку в вату и мягкую бумагу, с горящими, красными ушами от радостного волнения, и укладывал свой трофей в ботанизирку.

Некоторые редкие аммониты, действительно, были прекрасны. Вдруг, среди рыхлой черной земли или уже подсохшей, сероватой, почти сыпучей, как-то невзначай что-то блеснет, будто "зайчик" золотого блеска. Осторожно отгребая слой земли небольшим, как ложка, совком, а когда и просто пальцем — обнаруживаешь лежащий в земле небольшой чистого золота медальончик — и вот, обдувая на ладони уже лежащий аммонит — вернее его эмаль, перешедшую на земляной оттиск его, — какая нужна осторожность, чтобы не раздавить, не испортить то, что миллионы лет пролежало в земле, ожидая, что

вот наступит минута, когда ты извлечешь из земли миллионнолетнюю хрупчайшую "окаменелость"! Было от чего краснеть ушам! Когда с такой эмалевой миниатюры сдуваешь – или акварельной кисточкой снимаешь, еле дотрагиваясь, пыль веков – она начинает, на солнце, гореть и переливаться всеми цветами спектра глубочайших тонов – на чисто золотом фоне. Когда удавалось открыть подобную редкость – Александр Сергеич, хваля, начинал фантазировать, увлеченно и увлекательно, о том, что могло миллионы лет назад быть на месте, где мы только что откапывали наши трофеи. Слушать его фантастические рассказы, перемешанные с серьезными проблемами ученого, было интересно и ново.

После так проведенного дня на реке, на черных откосах, в горячке работы – я возвращался домой в замечательном настроении. Оно с лихвой покрывало и усталость, только теперь ощущенную, и неприятности пропыленных волос, рук и грязной одежды, и вообще все прегрешения против нормальной домашней жизни. Торжественно вынималась, разворачивалась и всем показывалась моя находка, все ахали, а Борис брал ее для пополнения общей нашей палеонтологической коллекции. Новое пополнение тщательно прочищалось от ваты и пылинок, затем взбалтывался раствор шеллака в спирту, и беличьей кисточкой Борис проходил этим раствором по всем сторонам аммонита, закрепляя эмаль и легко осыпающуюся землю отпечатка. Под прозрачной пленкой лака чистая поверхность эмалевой спиральки производила полное впечатление ювелирной, золотых дел мастера, работы. Казалось, что такой драгоценности место – только на темно-фиолетовом бархате коробочки, в каких у мамы хранились ее золотые "бижу", как она обычно говорила.

С других наших экскурсий – в область живой природы – я приносил в той же ботанизирке – она служила мне верой и правдой до конца дней своих, когда уже экскурсий не было больше, а она сама – перешла к следующему поколению – моих сестер – так вот, в этой-то ботанизирке приносил я ворох веток, цветов, всяких растений, которые надо было определять – "по Ростовцеву" – и засушивать, превращая их в гербарий, что по-русски означает – "травник", но не настойку на спирту – а коллекцию засушенных, определенных уже, растений.

За год до поступления в гимназию я уже проделывал все это, в подражание брату, в Оболенском. Тогда мне, естественно, не удавалось еще достичь его превосходства. Теперь же, от Александра Сергеича, мы узнавали, как в свое время Боря, от него же, все секреты красоты Бориных гербариев. Теперь и мои папки с гербариями разных времен и мест гимназических экскурсий были не хуже тех, которые приводили меня, в Оболенском – в трепетное восхищение.

Уроки Баркова были столь хороши и действенны и так запомнились надолго, что я с успехом мог передать часть этих наставлений моей внучке, при ее сборах и приготовлениях своего гербария – по ее школьным заданиям – летом, в Переделкине.

Наши же коллекции – мои и братнины – исчезли, увы, при переселении нашем с Мясницкой на новую квартиру на Волхонке; тем и закончился пройденный этап моей жизни – гимназической.

Но это произошло гораздо позже – в 1911 году!

* * *

Однажды, когда я рассказывал внучке моей о керосиновом, в нашей квартире во флигеле, освещении – жена моя поинтересовалась, не было ли у нас, как у них, в ее детстве, керосинового "волшебного фонаря"?

Конечно, конечно был!

И – оказалось – все: и фонарь и картинки, были совершенно одинаковыми, до мелочей! И нам обоим, об этом фонаре вспоминавшим, захотелось несколькими словами моих записей почтить память этой замечательной, волшебной полуигрушки.

Когда "волшебный фонарь" появился в нашем обиходе, я сейчас не помню. Вероятно, это было еще во флигеле, потому что его обслуживала, то есть закрепляла лампу, зажигала ее и следила, не коптит ли, – мама. На новой, после переезда и сноса флигеля, квартире фонарь "показывал" сестрам уже Борис, вскоре перепоручивший эту обязанность мне. Как я не помню времени рождения у нас волшебного фонаря, так я не помню – когда он, в последний раз, демонстрировался – и куда навеки исчез.

* * *

"Дети, волшебный фонарь на столе!" – мама скликает нас в гостиную; комната совсем не похожа на самое себя в обычной ее обстановке. Сейчас стулья стоят в чинном ряду, да еще посереди комнаты; перед ними, на стене растянута белая пелена скатерти или простыни. Из отцовской комнаты принесен низкий, но массивный, солидно сработанный стол, на нем уже поставлен хорошо нам знакомый куб деревянного ящика, оклеенный глянцевой бумагой, зеленой с черными точками разных скоплений, похожей на расцветку спины большой лягушки. Мама стоит у стола – у нее вид капитана корабля, который вот сейчас что-то скомандует – но она просто обращается к нам: ну, рассаживайтесь! Мы – это я с братом и его гости. Тут наступает блаженство: нас охватывает какое-то волнение, когда мама, откидывая крючочки, открывает ящик. Почему – волнение? Непонятно! Мы и все присутствующие уже давно знаем, что последует, не раз это видев! Но измененная обстановка комнаты столь не похожа на ее постоянный вид, что все эти частности вызывают возбуждение.

В ящике лежит черное, гладкое, отражающее свет свечи – *нечто.* Оно-то и есть волшебный фонарь! Вот черное бережно выдвигают из пазов ящика и ставят на столик. Короткий, цилиндрический, пузатый корпус из жести, окрашенной снаружи в черную эмалевую краску, покоится на двух тонких

деревянных дощечках, к ним корпус фонаря наглухо присоединен. В свой черед подпорки посажены на клею в пазы фонарного деревянного же подножия. Все деревянное окрашено ядовито-красной морилкой, матово. На доске подножия устанавливается керосиновая лампа – ее стекло пропускается через цилиндр фонаря, в нем, на спине и брюхе, два для этого отверстия.

Перед фонаря обозначается длинной выступающей трубой объектива, сзади – на петельках дверца, внутренняя сторона ее – зеркального блеска, отражатель света от лампы в объектив.

Вот лампа вставлена, зеркальце протерто, фитиль зажжен и отпущен, стекло вставлено, и на полотне вспыхивает яркое белое круглое поле с радужными кольцами по округе. Тут-то и начинается волшебство фонаря. Мама надевает на трубку объектива шапочку – круг исчезает. Мама произносит – правда, на русском языке – магическое заклинание – "сейчас наведу на фокус!" и...

Но прежде надо бы рассказать, как о фонаре – о картинках к нему. В ящике было отделеньице, где находилось, кажется, шесть (или двенадцать?) длинных стеклянных пластинок, по высоте не более пяти сантиметров. Они были по-двое соединены красной бумажной окантовкой. Между стекол была вставлена – подобно нынешним слайдам – цветная картинка на прозрачной пленке. Покуда окантовка была цела (а она была на удивление прочной!), тайна слайда сохранялась; раскрылась же она гораздо позже. Картинок было много. Но запомнились мне только две, и возможно самые неинтересные! На одной из них был изображен интерьер какого-то явно не русского кабачка; за стойкой стоял толстый трактирщик, стояли столики и стулья, большие бочки для пива; за столиком сидел один-единственный посетитель. Его шляпа, серая фетровая с кисточкой чьих-то волос у тульи, явно была альпийского характера. Да и служанка, мы называли ее дочерью трактирщика, была одета в какой-то тирольский костюм. Другая картинка была посвящена катанью на коньках по ледяному катку. И коньки также были не нашего привычного вида: их носы были задраны кверху, как передок у саней!

Сказать правду – дело было совсем не в сюжетах или в качествах картинок! Сюжетно мы эти картинки знали назубок, но тем не менее встречали их – там, на полотне – как незнакомца: очевидно сама манипуляция, вот это "наведение на фокус" – конечно, нас именно мама наводила на какой-то ее фокус, что ли, хотя в чем фокус заключался, мы никак не понимали – то, что маленькие картиночки вырастали вдруг до размеров почти нас самих, вначале как-то расплывчато и туманно, но тотчас же восстанавливались и резкость и отчетливость – именно после маминых прибауток. А через некое время к волшебству рук мамы прибавлялось еще и другое: как бывало на "елке", в комнате разливался какой-то нагретый запах: там разогретых елочных игл, смолы и воска свечей, тут – керосиновой лампы и горячего черного лака фонаря. Это обстоятельство, как и на "елке" – прибавляло свою малую толику к праздничному настроению. Да и темнота комнаты – не обычна! – два световых пятна – на простыне, другое – на потолке, своею резкостью

только еще более темнят комнату, в которой однако никто не спит, а, наоборот, все веселятся. Тут не оберешься тайн и волшебства – вот что такое *волшебный* фонарь!

Но всему бывает конец! По мере нашего взросления убывала тайна волшебства. А когда красная окантовка, хирея, лопнула, и оба стекла расселись, и внутриутробная пленка с картинкой себя обнаружила, исчезла и последняя кроха тайн. Борис, перенявший к этому времени командорство от мамы, решил обновить запас прежних картинок и стал рисовать новые, на прозрачной кальке, испрошенной у отца. Увы, он не предвидел, что его рисунки, во много раз увеличенные на простыне, окажутся разнотонными кляксами, пятнами и разводами, исказившими смысл картинки. Сестры, к тем временам ставшие уже новыми зрителями, мало что в этих картинках понимали и требовали старые, более ясные. Но Борис не унялся и ввел новшество в показ даже старых картинок: он, протягивая их через пазы объектива, стал ими пошевеливать, вверх–вниз, вперед–назад, короткими пассами, так что на полотне все вдруг пошло в движенье, точно на экране показывали землетрясение или кораблекрушение. В этом новшестве Бориса сказались отчасти и новые веяния века. Стремление от мертвой неподвижности застывших на фотографиях фигур подойти как-нибудь к жизнеподобному движению в природе – в воздухе уже флюидами носилось, хотя и эмбрионально, пока еще.

Кое-что этими флюидами навеивалось и нам, мне и Борису. К месту тут вспомнить и новинку, полученную нами в подарок от нашего дяди, постоянно живущего в Вене, нас изредка навещающего. Это было, пожалуй, первым случаем нашего столкновения с предшествием будущего кинематографа. Вторым – были наши посещения действительно первого – по крайней мере, в нашем околотке – "синематогра́фа" (с ударением на букве "а").

* * *

Новинка, о которой пойдет речь, была интересна не только нам, детям: ею увлекались частенько и взрослые. Это были красивые альбомчики фотографий, на первый взгляд обычных, "моментальной" съемки, размером 6 х 9, наклеенных на плотную бумагу и накрепко сброшюрованных. Однако альбомчики, да и сами фотографии были совсем не обычны: их прельстительная тайна – и для нас, и для взрослых – заключалась в том, что при быстром, но ритмичном перелистывании страниц – фотографии вдруг оживали: приходило в движение то, что только что еще – и мы все это видели – было неподвижным, мертвым фотографическим изображением!

В каждом из альбомчиков была своя тема изображений и своя линия движения. Так, один из них был посвящен фотографиям с какого-то "concours hippique" – лошадка с наездником на всем скаку брала разные препятствия. Другой альбомчик демонстрировал процесс учения солдат, по их форме – австрийских, в спортивных кэпи и длинных штанах "на выпуск". Они старательно выполняли всякие ружейные приемы: "на караул!", "на плечо!" и т. д.

Третий альбом давал понятие о хаотическом движении людей и транспорта на какой-то улице, возможно Парижа. Четвертый альбом, который несомненно был у нас, не сохранился в моей памяти — почему — я не помню.

Тайна же этих альбомов, каждый из которых содержал действительно самые обыкновенные, нормальные, всем нам знакомые "моментальные" снимки, была в том, что подбор отдельных фотографий был близок к тому, что ныне знакомо и понятно любому дошкольнику — хотя бы по телевидению, в передачах "спокойной ночи" — и что мы называем мультипликацией. Тогда о ней никто не слыхал, не знал и не думал, поэтому альбомчики в действии ошарашивали своей черной игрой магии.

Конечно, вспоминая сейчас даже начальные фильмы Диснея, нас так восхищавшие, где плавность передачи движения еще не достигла своих последующих высот, можно сказать, что нашим альбомчикам до диснеевской скорости было еще очень и очень далеко! В них движенья были переданы еще в полной нервозности, раздерганности и прерывности *примитива*. А тайна перехода от мертвой неподвижности каждого снимка к движенью при перелистывании — сохраняла себя довольно долго.

Вспоминая те годы сегодня, я могу сказать уверенно, что на Западе существовал уже какой-то про-прототип киноаппарата, который щелкал моментальные фотографии с движущейся натуры, одну за другой, столь быстро и так автоматически ритмично, что последовательная — с той же быстротой — смена кадров, демонстрируемых на полотне экрана, вызывала полное представление движущейся фигуры в натуре. Это было рождением кино. Передача плавности и непрерывности движенья натуры зависит только от быстроты съемки, от быстроты "револьвера" и от исключительной силы и резкости объектива. Тогда, в те годы и мечтать о такой быстроте, какая разрешима сейчас, — не приходилось. Поэтому нельзя было — тогда — получить два соседних снимка, минимально отличающихся один от другого. А потому и передача движенья была еще очень далека от плавности. Но ведь не только в тех альбомчиках, приведенных в движенье пальцами, но даже и в первых наших встречах с тогдашними "синематографами", движенье фигур на экранах было таким же нервическим, дерганным и трясущимся, но тут я нечаянно забежал вперед: о синематографе я кое-что расскажу, но ниже. Сейчас — вернемся к альбомчикам. Самым трудным было сохранять и выдерживать ритм листанья страниц. Брат настропалился в этом деле настолько, что его лошадка, довольно плавно, лихо перемахивала через рвы, барьеры, палисады, без ощутимого конфуза. Наездник тоже, то похлопывая лошадку по шее, покуда она скакала по земле, то, когда она взмывала в воздух — старался сам себя — как барон Мюнхгаузен поднимал себя из пропасти за собственную косичку — перенести через препятствие, а уж за собою туда же вытянуть и свою лошадку, так он привставал на стременах, перегибался вперед и, посылая лошадь, чуть не вытягивался выше и дальше самой лошадки. У брата все это получалось. Мне до него было достаточно далеко! Мои солдатики самым курьезным образом двигались разрозненными скачками, их ружейные приемы распада-

лись на отдельные эпизоды – а, когда незадачливые мои пальцы вдруг пропускали несколько страничек фотографий, солдаты, вскидывая ружья "на кара-ул!" – ловили их потом с воздуха, точно это были яблоки, осенью падающие с деревьев в подставленные руки. Мы стремились к совершенству листования, но, бывало – из озорства – допуская юмористику и нарочно меняя ритм, достигали в передаче движения полного гротеска.

Борис же, кроме того, тщился понять тайну альбомчиков; мы подолгу рассматривали в отдельности кадры и особенно дивились каким-нибудь срединным фотографиям, собственно говоря – несусветным! Ну, на самом деле, вот, например, стоит эта самая лошадка, уткнув морду почти что в землю, упершись на передние ноги, а задними болтая в воздухе: может ли лошадь так стоять и не падать? Мы пробовали достичь такого положения – но из этого ничего не получалось – мы либо тут же валились на пол – или, переходя какую-то грань, перекувыркивались через голову. А разве возможно – но мы видели такую отдельную фотографию – чтобы эта лошадь птицей летела по воздуху, над препятствием! И не падала на него! А в ходе листования эта же парящая в воздухе лошадка просто свершала свой перепрыг – и нисколько во время прыжка не падала – так же, как и мы, перепрыгивая через веревку, ее не задевая, не падали, а, приседая, свершали свой прыжок. Так постепенно мы убеждались, разбирая по отдельности фотографии, что каждая отличалась чем-то, совсем неуловимо, от соседствующей; но пропуская несколько страниц, мы обнаруживали, что различия становились отчетливо заметными. В конце концов мы приходили к выводу, что зримое нами во всем в природе движение – в натуре так же, как в альбомчиках, – состоит из непрерывности цепи бесчисленного количества отдельных частиц движенья, запечатленных на фотографиях, и еще большего их числа, не попавших, по их быстроте, в объектив.

Это, поистине, открытие, сделанное Борисом, имело для нас обоих ошеломляющее значение. Оно помогло нам, кстати, "изображая" самими собою "синематографические" сеансы сестрам, делать такие странные телодвижения, какие, отдаляя нас от естественного движения в натуре, приближали к неестественному – на экране.

* * *

Уже не раз упоминавшийся выше аптекарский магазин (не аптека!) Эрманса на Тургеневской площади был мне лично интересен тем, что хозяин или его приказчик, зная нас за своих постоянных покупателей, давал мне, на прощание, что-либо в качестве премии за покупку.

Вначале это были странные, глянцевые, белые открытки, с "сюрпризом". Последний раскрывался дома, когда я натирал открытку ребром гривенника. Тогда по белому глянцу вдруг начинали проступать темные пятна, постепенно превращавшие себя в картинку. Чаще всего, к недовольству, попадалась открытка, на которой появлялся один и тот же, уже надоевший мне

матрос не русского флота; он бежал, нагруженный вещевым мешком, по толстой балке бугшприта, весело кому-то маша рукой.

Потом, когда рядом с вывеской Эрманса появилась другая, извещавшая о новом "синематографе" фирмы Патэ, у Эрманса стали выдавать небольшие билетики, по которым разрешалось посещать синематограф бесплатно. Такая форма рекламы вводилась впервые, и, вероятно, она имела значение для обоих предприятий.

"Синематограф братьев Патэ", открывшийся на втором этаже, как раз над магазином Эрманса, несмотря на свое громкое название, привел бы в ужас любого пожарного, туда заглянувшего. К счастью предпринимателя, таких гостей там не бывало. Кроме детей, с красными от волнения ушами, и очень редких взрослых, любопытствующих узнать, что же это такое – "синематограф" – да еще братьев Патэ? – кроме таких посетителей я там никогда никого не встречал.

Все, вкупе с аппаратом Патэ – было совершенно примитивно и до невозможности домашне-кустарно, начиная с самого помещения. По всей видимости, это была нормальная, небольшая и не очень высокая квартира, в которой все перегородки были удалены; так образовался небольшой залец, в который зрители попадали непосредственно с общей домовой лестницы. Дверь в этот зал была снята с петель, возможно, как спасительная мера при пожаре, а заменяла ее – тяжелая плюшевая красная портьера, наглухо во время сеанса задернутая, отделявшая затемненный зал от освещенной лестничной площадки. В зале были установлены два или три ряда простых "венских" стульев; в отличие от всех позднейших кинозалов, тут аппарат "братьев Патэ" с его маркой петуха, "который все видит и все знает", стоял перед зрителями, что мне лишний раз напоминало наш волшебный фонарь. Аппарат был установлен на каком-то примитивном станке, похожем на простые "козла". На стене перед аппаратом висел экран: если не простыня, как у нас, то нечто столь же несовершенное, которое во время показа вдруг начинало волнами колебаться.

Механик – он же и владелец всего заведения и контролер, кассир и уборщик одновременно, становился у аппарата, объявляя, что покажет, и гасил общий свет, оставляя гореть лишь маленькую лампочку над портьерой.

Сеансы показа были коротки, не по причине недлинных лент фильма, а потому, что аппарат слишком быстро нагревался и механик боялся перегрева целлулоидной пленки. А как она горит почти ничем не угасимым пламенем – это мы знали; когда случалось гореть целлулоидной кукле ярко-белым огнем – вонь стояла ужасающая, целлулоид, казалось, закипает ноздреватой пеной, все суетились вокруг догорающей игрушки, посыпая ее мокрым песком, если это было на даче, или накрывая мокрыми тряпками. Во время 15–20 минут сеанса мы сидели не шелохнувшись, как завороженные. В эти минуты мы все, взрослые не хуже детей, отлетали и уносились от обычной, обыденной жизни Москвы в воображенный или увиденный на экране новый мир – либо истории, либо иных стран, показанный на стене, или в но-

вые иные ситуации, смотря по тому, что присылал нашему синематографисту его патрон, петух братьев Патэ. Но все, что показывалось, – было волшебством. И самым волшебным волшебством было для нас тогда то, что простые фотографии, оказывается, могут действовать, то есть фигуры машут руками, двигают ногами, глаза мигают, рот широко раскрывается в смехе!

Из репертуара я, конечно, ничего не запомнил; может быть и потому, что такие – теперь называемые короткометражными, а тогда бывшие даже "мини"-метражными фильмы не имели сюжета, достойного отложиться в памяти. Почему-то запомнилась лента, изображающая жизнь и смерть Марии Антуанеты, ее голова, насаженная на пику какого-то страшного исполнителя танца "ça ira". Часто нам показывали – и это было куда интереснее смотреть – эпизоды военного порядка, французами заснятые на полях сражений, под Ляояном, под Мукденом или на реке Шахэ. Тогда мы воочию видели либо кавалерийские "лихие" атаки сибирских казаков, какие-либо передвижения войск, или сцены боя на наших батареях. При этом мы отлично понимали, что упавшие солдаты падали не по желанию фотографа, а это были всамделишные убитые или раненные люди...

Все движенья – людей, животных, движущихся предметов – нас повергали в ошеломление, и мы прощали им все их несовершенства: ведь не то важно было – *как* на экране люди садятся, встают, ходят, машут руками, снимают шляпы – важно только то, что они *могут* все это проделать – и что мы своими глазами видим это, там, на полотне.

Все дрыгало, корчилось, качалось, подпрыгивало, ходуном ходило – все гротескно диковато, угловато, раздерганно – ах, пусть – ведь все же это было истинным движеньем неподвижности, мертвых фотографий! И мы принимали это – не как искажение той плавности и непрерывности движенья, которое есть сама природа, но скорее – как ее подтверждение!

С благодарностью и даже благоговением покидали мы залец, унося замечательные чувства пребывания в стране зримых чудес. Эти чувства были столь ярки и слитны, что их-то я и запомнил, совершенно позабыв картины экрана, их вызвавшие...

2. "Сафонтьево"

Отец давно уже мечтал и планировал поездку заграницу, по городам, где он еще не бывал, чтобы познакомиться с их музеями – в Голландии, Бельгии и – особенно – в Испании; там он так и не был. Об этом разговоров было немало уже и раньше, а насколько это было ему необходимо и насколько тому помехой были, главным образом, вечные денежные затруднения, мы хорошо знали и сочувственно понимали. Такое положение, впрочем, было уделом не только одной нашей семьи. Удел этот был явлением общим и распространенным среди всей той интеллигенции, какая составлялась педагогами, врачами, людьми искусства – музыкантами, художниками, писателями – всех тех,

кто имел несчастье принадлежать к людям "свободной профессии". Из этих-то общих правил наша семья исключения не представляла.

Вполне понятна была нам радость отца, когда он как-то прибежал из класса домой, с большим, желтой плотной бумаги, конвертом в руках, присланным в Училище, на отцово имя. На конверте, уже вскрытом отцом, в левом углу красовался типографски напечатанный государственный герб Германии.

Стилизованный, крепко нарисованный, одноглавый орел был нам, по немецким маркам, давно и хорошо знаком. Стилизация была направлена на особое выражение хищных свойств птицы: действительно, лапы орла, когти, кривой клюв, приплюснутый череп и общая какая-то угрожающая угловатость – как нельзя лучше выражали всю хищническую стать птицы. Перед таким орлом наш царский двуглавый орел походил скорее на хорошо откормленную, упитанную, добродушно распластанную, увешанную домашними побрякушками и цепочками – курицу; скипетр и держава, заняв собою лапы птицы, – лишили их орлиной когтистой цепкости и мощи хватки, а короны на головах, как металлические чепцы – округляли приплюснутый контур орлиного черепа.

В пакете лежал большой лист глянцевой бумаги, с тем же страшным орлом в головах, осеняющим собою все содержание текста. Письмо было, собственно, кратко выраженным приглашением отца принять участие в большой всемирной выставке в Дюссельдорфе и, кроме того, предложением взять на себя устройство и представительство отдела русской современной живописи и скульптуры этой выставки.

Выставка должна была открыться в мае этого 1904 года. Приглашение было отцу лестным, по двум статьям. Дюссельдорф был вторым, после Мюнхена, центром и очагом немецкого новаторского течения в искусствах. Именно в Дюссельдорфе обосновалась группа "отколовшихся" от академической школы ("Сецессионисты"). Выставка должна была базироваться на показе, впервые в Германии, оригиналов французского импрессионизма. Русские художники, получившие приглашение участвовать на этой выставке, открывали собою, также впервые, русское "молодое" искусство, там мало известное. Участвовать в таком смысле на этой выставке было отцу, конечно, очень лестно, но и ответственно. Еще более ответственным и важным, пожалуй, было предложение быть устроителем – значит взять на себя отбор, составление отдела, взвалить на себя все хлопоты и всю "черную работу". Но такое предложение разом разрешало также все трудности в отношении желанной заграничной поездки! Понятна, потому, была отцовская взволнованность, когда он нам прочел текст приглашения, понятна была и наша за него радость и своего рода гордость! К счастью, отец предчувствовал многие рифы и подводные камни, какие несомненно встретились бы на его отборочном пути, и, прислушавшись к словам матери, он решил действовать не единолично, а коллегиально, пригласив для отбора и решения всех вопросов кого-нибудь из членов Союза Русских Художников. Кажется, он обратился к К.А.Коро-

вину, А.Е.Архипову и, возможно – не помню точно – к В.В.Переплетчикову. Серова отец решил не тревожить, но консультировался с ним, как обычно бывало в других разных случаях.

Как всякое жюрирование, процедура отбора была делом мало приятным, даже и кляузным. "Тройка" (или "четверка") поначалу работала ретиво и единодушно, но первый запал стал вскоре остывать, как всегда в таких случаях бывает. А вместе с тем начали появляться сначала мелкие, потом и покрупнее, разногласия, разномыслия, "особые мнения", даже разброд во вкусах и оценках – что, конечно, было и естественно, но и сложно; тут, могло быть, припутывалась еще и политика, относительно отбора у тех или иных художников их работ. Обозначившее себя отсутствие единого суждения очень усложняло и без того сложное дело. Бывало – и это учащалось – что решение, к какому, наконец, удавалось придти всем четверым, в следующую встречу подвергалось заново обсуждению, спорам, сомнениям. Принятое накануне под давлением критики оказывалось напрочь опрокинутым, и все начиналось сначала. Такая непринципиальная шаткость взглядов и неустойчивость мнений отца здорово волновала, тем более, что срок, назначенный для составления списка выставляемых работ, стал – и довольно быстро – истекать. И Комитет выставки, не понимая сути задержки, начал бомбардировать отца письмами, поначалу в виде вопросов, затем перешедшими к напоминаниям и, в конце концов, – к требованиям скорейшей высылки списка, для включения в общий каталог выставки. Когда Комитет взял отца "за горло", он упросил маму помочь ему, на время взяв на себя – как бывало уже – роль личной секретарши. Тут дело пошло несколько лучше и быстрее, так как составленные и подписанные "протоколы" уже более не обсуждались.

И уж совсем быстро пошло дело, когда вмешался мощный голос транспортной конторы, известной миру художников, "Гергарда и Гея", зафрахтованной для перевозки картин в Германию Комитетом выставки.

Длинный фургон, похожий на одноэтажный барак, обшитый темнокрасной вагонкой, на массивных, низких деревянных колесах, был знаком и нам; он не раз появлялся в нашем дворе, у сарая, хранящего в себе картины для выставок.

Дело, подталкиваемое теперь с трех уже сторон, приблизилось, наконец, к завершению, фургон снова появился, уже заполненный собранными картинами, и благополучно отбыл в далекий рейс.

Тут и отец смог готовить себя к отъезду. Получив, наконец, из Дюссельдорфа извещение о благополучной доставке картин русского отдела, отец со спокойной совестью и достаточно утомленный и всем замученный, отбыл на три месяца за границу. Все летнее время мы должны были, впервые за всю жизнь, провести в деревне без отца. После его выезда за границу, жизнь в доме стала входить в свои обычные берега. Вся нервотрепка ушла вслед за фургоном Гергарда и Гея в Дюссельдорф, оставив нас в покое. Теперь настало время матери подыскивать нам пристанище на лето. В этом у нее был уже длительный опыт и сноровка, так как отец в такие дела совсем не вмешивал-

ся, зная, что мама проделает это куда лучше его самого. Обычно же, почему-то в ее поездках осмотра участвовал я. По чьим-то указаниям мать остановила свой выбор на небольшой усадьбе "где-то на Истре", которую на все лето сдавал московский нотариус и помещик, некто Рукавишников. У него в конторе, у Иверских Ворот, мать увидела фотографию небольшого "барского дома", как он величал каменный флигель среди буйной зелени "векового парка". Запущенность природы маме понравилась сразу: она вместе с хозяином съездила на место, осмотрела все в натуре, они тут же ударили по рукам, и наше лето было обеспечено. Но мы еще кончали гимназический год, доживая последние дни в квартире, ставшей необычайно душной. Незаметно пришел день, когда двери гимназии закрылись за нами, и наступил другой, когда с утра появился в квартире наш милейший, добродушный Кузьма, библиотечный сторож, всегда помогавший нам в любых затеях семьи. За ним шел Иван Котов, личность интересная, постоянный натурщик в классе отца, здоровеннейший дядя, похожий на молотобойца. В скороговорке и спотыкаясь на сложности, он обращался к отцу неизменным "ленёсыпыч" – что в стереотипе означало "Леонид Осипович".

Кузьма, человек более "великатный", бережно окутывал пахучим сеном всякое стекло и фарфор, осторожно укладывая в громадные ящики сервизы, лампы и прочий бьющийся обиход. Котов же, могучей силы, ушивал в свежие рогожи кровати, матрацы и необходимую "небель", увязывал тяжеленные ящики и корзины и громадные тюки. Мы в их дела не путались. Они сами все знали и все умели: они приносили дивно-пахучее сено ровно столько, сколько надо, спресованное в небольшие кубы, стянутое железными полосами; они же нанимали и приводили во двор, в нужное время, подводы и грузили нашу кладь, вместе с возчиками накрывали возы брезентом, канатами притягивая все накрепко к бортам полков. Тогда – и это считалось последним актом – нашу горничную и кухарку, сопровождавших обоз, подсаживали на удобное место какого-нибудь воза. Возчики после сего истово крестились, держа картузы на отлете, и, перебирая вожжи, усаживались и сами, на бок полка. Они грозно и басовито мычали – но-о-о! – чем и открывали шествие.

Меня всегда удивляло, как, получив любой адрес полной неизвестности, они все же добирались, куда следует; каждый раз, в каждое такое отправление на дачу, они прибывали вовремя и точно на указанное место, пусть несколько навеселе, но со своим живым и мертвым грузом в полной сохранности.

* * *

"Сафонтьево"!

Для русского сердца в этом звуке ничего, конечно, не слилось! Для нас же, для всей семьи нашей, он оставался надолго не звуком только, но синонимом, более того, *символом* самой жалкой, мыслимой еще, нищеты (еще более – нищеты духа), тупейшей покорности почти рабской судьбе, полного

и беспросветного мрака безнадежности и ужасающей, чудовищной грязи, самим крестьянством, увы, не ощущаемой. ”Сафонтьевым” звались деревня и усадьба. Здесь мы провели, и совсем не плохо, два лета подряд. Все это — в каких-нибудь шестидесяти верстах от Москвы — от столицы!

Однако достаточно припомнить хотя бы путь к усадьбе от ближайшей станции железной дороги (Виндавской, а станция ”Новоиерусалимская”) или от не более отдаленного уездного городка Воскресенска, этих двух культуроносных центров, чтобы более ничему не дивиться — иного и ожидать тут было нечего! Расстояние от очагов культуры было невелико: по мнениям местных извозчиков — верст эдак с пятнадцать! На деле же и того меньше, не более десяти от станции, двенадцати от города. Но — на преодоление этих немногих верст ухлопывалось не менее трех часов времени — на лошадях! Пешком же люди добирались до станции гораздо быстрее. Нам приходилось не раз, с поклажей, испытывать все прелести такой прогулки на безрессорной таратайке или допотопной пролетке на железном еще ходу.

В пути приходилось форсировать реку — если не Истру, то ее меньшую сестру — вброд, как это проделывалось испокон веку на Руси. Был, правда, через реку мост, но где-то очень в стороне, далеко. В первое такое пересечение реки, довольно быстроводный, мама серьезно напугалась. На середине переправы вода, перекатывая через пролетку, быстро поднималась, заставляя задирать ноги чуть ли не на уровень козел. До сиденья — по уверениям извозчика — вода тут не поднимается: но все же сидеть так, что под тобой свободно течет вода — было не слишком уютно. Длилось это недолго — лошаденка, столь же флегматичная, что и кучер, постепенно вывезла нас с глубокого места и дала возможность сесть по-человечески, опустив ноги на мокрый, сияющий на солнце, пол. Опасности в такой переправе не было, конечно, никакой, смеху было много, а ощущение новизны и необычности переправы вброд запоминалось надолго.

Но — дальше! На какой-то версте проселочная дорога, разбитая и пыльная, вилась на большом перегоне почти что болотом. Глина и суглинок во время дождя и после него, размокая в жидкое тесто, засасывали телегу или пролетку по самую ступицу. Лошади с трудом выдирали ноги из подобия черного клея. Возчики предпочитали, сильно удлиняя путь, объезжать в обход, по целине, превращая, однако, и ее в ту же непролазную топь! Картина была обычная для любых наших проселков, даже и посейчас! Разве не подобная же дорога вела со станции в Арханово, около Абрамцева, когда — в пятидесятых уже годах! — мы переправляли, теперь на грузовиках, на дачу наш летний скарб? Разве из соседнего колхоза не вызывали их трактор — вытягивать из грязи дороги заглохший и на мертвый якорь севший грузовик? Тут вспомнишь поневоле и Пушкина и Вяземского с их оценкой наших дорог — и ставшую знаменитостью сибирскую ”Козюльку” после описаний ее, в дорожных заметках, А.П. Чеховым, по пути на Сахалин.

Когда же наша, подмосковная Козюлька XX века просыхала, ездить по ней все равно не ездили, слишком сие было рискованным, все предпочитали

пешим ходом, рядом с таратайкой, перепрыгивать с одной колеи на другую; они, подобно застывшим потокам лавы Помпеи, окаменевали разнонаправленными и острыми грядами. Транспорт же в точности повторял пируэты, описанные Чеховым. Понятно, что такая дорога требовала трех часов на преодоление ее.

Но вот – все уже позади! Последние уже версты пути. Издалека – уже слышна деревня: кричат петухи, откуда-то доносится далекий лай собак.

Подымаясь по легкому взгорью, извозчик берет с большака направо, не доезжая до деревни и оставляя ее с левой руки. По хорошо убитой дороге мы въезжаем, через остатки бывших ворот в виде двух обелисков, на господскую часть усадьбы. Лошадь, учуяв конец пути, набирает последние силы, возчик также, ободренный предвиденьем водки, вдруг оживает – и мы лихо подкатываем к каменному дому – цели нашего трудного путешествия.

* * *

В деревню, стоявшую в стороне от наших обычных прогулок, я ходить не любил и даже избегал туда заглядывать. Но бывать мне все же в ней приходилось – я помогал отцу носить нужные ему в работе предметы – зонт или треногу или просто что-нибудь, что мешало ему делать альбомные кроки. С матерью я попадал туда в ее походах по молоко или творог – и мужественно нес за ней крынки теплого еще молока или лукошко с прозрачными, только что снесенными яйцами. Тут я имел случай впервые наблюдать нищету захудалой русской деревни во всей ее неприглядности, однако еще не самую худшую из плохих.

Жалости или соболезнования ее вид во мне не вызывал, скорее во мне вспыхивали – а ею попирались – чувства человеческой гордости и хоть какого-нибудь достоинства. Я попросту злился, видя их покорное безволие и полное равнодушие к своей нищете и грязи. Мне казалось, что в этом явном равнодушии раскрывало себя полное уничтожение последних ощущений себя человеком.

Вероятно, население этой деревни никогда не мылось. Мытье, да еще с мылом, считалось, должно быть, роскошью, уделом господ; уделом господ, надо полагать, было все, что стояло не в деревне, а через дорогу. Тут думать или говорить о романтике жизни деревни в голову не приходило. Курные избы, продымленные, почерневшие, были здесь обычными, и наоборот, избы с печными трубами – их было всего две или три – были нарушением устоев предковых заветов. Те и другие одинаково были крыты соломой. Дранки я здесь не видел, а о железной кровле и не мечталось. Мягкие, толстые, изумительно ловко и опрятно сложенные соломенные маты придавали избам характер и их своеобразный, уютный и теплый вид. Солома была на всех уже серой, обветренной и политой частыми дождями за десятки лет. Некоторые крыши давно должны были обновляться, старая солома местами от прогнили совсем почернела, "сгорела".

Избы, поставленные без фундаментов, первым венцом более толстых бревен прямо на землю, от времени перекашивались и оседали, как какой избе выпало на долю. Некоторые вросли в землю чуть ли не по самое окно. Все избы следовали одному извечному канону – в три оконца по фасаду, в тесовую ограду двора с перекосившимися воротами – с улицы. Небольшой квадрат открытого небу двора даже и в жаркий полдень сухого лета производил удручающее впечатление – из-за мокрого, жидкого навоза, никогда не убираемого и устилающего всю площадь двора.

Аборигены, шлепая босыми ногами, по щиколотку уходили в теплую и вонючую жижу. С осторожностью, подбирая высоко юбку, мама робко ступала, но навоз, как обычно, зверски налипал на все, что с ним соприкасалось. Навозная топь не кончалась порогом избы, но вслед за человеком, по пятам его, входила и сама в избу. Там она обретала значение некоего родового признака здешней жизни. Если бы составлен был *определитель* бытия деревень и изб, эта навозная жижа оказалась бы обязательно в рубрике первостоящего знака, то есть

– – – – – (1)

Иначе и не могло быть, когда в такой вот избе, идущей под знаком – (1), в число семьи, в ней обитающей, входят, как неотъемлемые члены ее, по крайности, хотя бы одна курица с петухом и всегда столь ожидаемый и желаемый теленок, еще нетвердо стоящий на своих разъезжающихся ногах и жалобно помыкивающий за печкой или занавеской, где его укрывают от "глаза".

Нам не предшествовали никакие скороходы и арапы, и в трубы не дули – но наши приходы, неизвестно как, узнавались загодя и вызывали некоторую панику. При входе в избу – мы загоняли детей за юбку матери, откуда они одним глазком с опаской выглядывали, сердито; куры, кудахча и нелепо хлопая крыльями, подымая вековую пыль, взлетали куда попало; теленок, всем шумом напуганный, вносил в общую сумятицу, дополнительно, свое тонкое мычание.

И – как по стуку палочки дирижера весь громадный оркестр мгновенно и разом умолкает на одной ноте – так и тут все смолкало тотчас же за скрипом захлопывающейся за нами двери, глухой и низкой. Балансируя в топком дворе, мы покидали избу шума, с чувством облегченного возвращения в нашу простую и тихую жизнь.

Хотя к концу лета нас уже хорошо знали и понимали, что зла мы не приносили, все же детвора предпочитала еще жаться к материнским юбкам и ногам. Старшие нас не боялись, и бабы часто обращались к маме за советом или лекарством, или просто посвящали ее в свои семейные дела и горести.

Но глаз – этих шести-, семилетних девчонок, глаз испуганных, круглых, застывших – точно они увидели не нас, а смертоносных удавов – девчонок, приносивших по утрам, в глубоких тарелках, увязанных в платочек, свежесорванную, сочную, красную, с желтой сыпью, землянику, такую духовитую, девчонок, которые от волнения почесывали нога о ногу и, получив свой зара-

ботанный медный пятак, так и порскали босыми ногами в кусты – вот этих испуганных глаз и этих босых ног, молнией на солнце блеснувших в беге, я не могу никак забыть.

* * *

Запущенное сообщество старейших лип, молодого орешника, неизвестно откуда взявшегося клана кленов, в округе не имевшихся, по опушке даже сосен, все среди всякой бузины, крапивы, малины и громадных папоротников – полулесное хозяйство это называлось в деревне барским парком, куда доступа не было. А кроме этого "парка" в усадьбе, собственно, ничего и не было. Где находился часто упоминаемый "барский дом" – так тайной усадьбы и осталось. Хотя я и Борис, мы оба, облазали все, что было доступно, – но за два лета нашей здесь жизни мы так и не обнаружили ничего, ни следа даже фундамента! Каменный дом, часть которого мы заняли, "барским" никак не мог быть: скорее, это были службы, или "флигель" при доме. С широкой веранды, давно пристроенной к фасаду, открывался красивый вид на полукруг свободной площадки и на стрелу прямой, некогда широкой, сейчас заросшей на добрую половину травой, аллеи лип. Строка вдаль уходящих стволов лип, подымающихся прямо из ковра зелени, напоминала появлявшиеся часто на выставках пейзажи половодья, со стволами деревьев, воткнутых прямо в воду. В первородном же виде, аллея лип доходила до границы парка, заканчиваясь круглой беседкой, от которой оставались еще разбросанные камни радиальной формы ее фундамента. Дело, однако, было не в беседке, а в той, совершенно нежданной, открывающей себя отсюда, красивейшей перспективе, широкой и уходящей в даль открытых просторов – там, внизу. Неожиданность явления, после всего того, что представляло собою начало густой заросли, даже начало въезда в усадьбу, и чего никак нельзя было ожидать еще в преодолении Козюльки, заключалось в том, что весь путь – от станции железной дороги и до упомянутой ротонды в конце аллеи – шел очень пологим, неощутимым, но неизменным подъемом, несколько более крутым, как выше я указал, взлетом у самой деревни Сафонтьево. Этот незаметный, по равномерности, подъем заканчивал себя на границе усадьбы резким, довольно уж высоким и почти отвесным обрывом; внизу у самого подножия текла Истра, своей излучиной обняв мыс нашей усадьбы. Далее по течению река, уходя в даль, делая еще один поворот, пропадала из вида. Противоположный же берег, частое в Подмосковье явление, заливной луг, он-то и раскрывал глазу широкую дугу простора. Где-то далеко в глубине его, синеватой каймой, щетинкой, темнел на горизонте лес, кончающий картину заречья.

Больше всего в это лето любил я, в жаркие знойные дни приходить сюда, здесь в зарослях чувствовать себя в прохладе глубоких теней, в полнейшей тишине и в необычной красоте места, меня окружающего. Здесь я был оторван от мира гущиной не парковой уже, а настоящей лесной природы, в той

полной тиши, какая бывает только в лесу, отрывающем человека от привычной ему шумной всегда жизни; здесь же тишина леса разговаривала со мною громким своим внутренним напряжением. Внезапный, хотя мне уже хорошо знакомый, переход от укрытия к обнаженности реки и луга, от полутьмы – к ослепляющей яркости, от высоты – к низам, заполнял, заливал меня веселящим счастьем! Здесь я мог сидеть, на сваленном стволе, часами, ни о чем не думая, забывая все на свете, живя в собственных фантазиях. Было от чего!

Спуск к реке, крутой, пересеченный и заросший, был труден и не прост. Туда спускаться было и незачем. Отсюда, сверху, уходить не хотелось.

Весь ландшафт держала, естественно, река. Заливной луг, ярко зеленый сверху, с вьющейся по нему проселочной дорогой – чаще всего необъятно пустой, дрожал и струился в токах перегретого воздуха; этим лугом, вдоль реки, по утрам проходило большое, даже для тех времен, стадо. Коровы, овцы и лошади, разных мастей и каждая в своем роде, шли медленно, словно в глубоком раздумьи, и часто застревая с головой, опущенной к корму. Стадо вел, или – сопровождал старик-пастух, с двумя подпасками. Стадо шло откуда-то издалека.

Изредка с дороги поднимался столбик пыли, а через положенное время, когда пыль уже расходилась, садясь обратно, до меня доносился резкий щелчок выстрела – это кто-нибудь из троих пастухов вытягивал, с оттяжкой, длинный свой канатный бич с короткой ручкой, которую обычно они вешали на плечо; так происходило, когда скотина, размышляя, чересчур уж медлила передвигать ноги или просто останавливалась на кромке берега, с глубоким интересом заглядывая в глубь глади зеркала Истры: навстречу же ей двигалась из той же глуби такая же морда коровы, стоящей вверх ногами...

С холма, сверху, мне видно все, как на ладони. И эти две друг к другу обращенные коровы. А вот по лугу еще издалека бегут, словно в игре, темные пятна теней облаков, тянущихся по небу. Они легко и споро пробегают по зелени луга, добираясь до стада, с размаха вскакивают, без труда, на спины коров, спокойно продолжающих свою жвачку, тут же соскакивают, точно в чехарде, на землю и подбегают к реке; она их не задерживает – в том же темпе они уже плывут по воде, став вдруг полупрозрачными, и перебираются незаметно на мой берег. По трудному подъему они, легко и быстро, будто скользя, взлетают ко мне на холм и в моих соснах, за спиной, исчезают.

А река! Сколько разнообразия сулит она мне, сколько преображений, одно другого красивее и серьезнее! Вот она, разлетевшись под пеклом солнца, опрокинута навзничь и недвижно, кажется, лежит меж берегов; зеркалом своим ясно глядится она в небо, все в себе удвояющая: облака, плывущие по небу, лодку рыбака, и его самого, удящего рыбу вверх ногами, или бредущих по берегу коров, дивящихся на двойников под берегом; то, гляди! – река, только что цельного светящегося зеркала, вдруг раскалывается на мелкие осколки скользнувшим по реке ветерком, нивесть откуда взявшимся; тогда река становится сердито потемневшей, покрывающейся свинцовой рябью, бугристой и ничего больше не удваивающей...

То вдруг, из самого зеркала, его не разбивая, но как-то резко пройдя сквозь стекло, выскакивает на воздух какая-то рыбина, и снова плюхается с шлепком, а длинная нить ряби простегивается по течению реки и где-то вдали размывается.

Мне тут, в тени и тиши парка, удивительно привольно – а там, на лугу, как в горне, – оттуда и с реки тянет перегревом пекла; тяжкий звон жары будто висит в горячем воздухе маревом; так иной раз издалека откуда-то доносится тонкий и ровный звон работающей круглой электропилы. Так звенит и коса в руках косаря, ровным и округлым взмахом кладущего ряды скошенной травы.

Воздух, доносимый снизу, был горяч горьковатым запахом нагретой сухой земли и полыни, влажной осоки по берегу и пыли дороги, винтом вдруг поднятой струей воздуха. С дачи же сюда изредка доносило звуки маминой игры, еще слышной. Здесь мне было спокойно, тихо, мечтательно; я мог здесь безмятежно и легко отлетать в самые дальние моря моей фантазии...

* * *

Меня очень многие спрашивали, спрашивают и сейчас, каково было участие отца в нашей детской жизни и вообще об отношениях его к жизни семьи.

На такие вопросы не так-то легко ответить, и главным образом потому, что эти отношения были бесконечно разнообразны и менялись, зависимо от общих положений.

В зимние сезоны, когда пол дня из нашего времени у нас отнимала гимназия, у отца шла его напряженная, все его силы захватывающая, личная (заказная) работа – в мастерской. Во вторую половину дня, когда мы возвращались из гимназии домой, готовили уроки и чем-то бывали заняты – отец уходил на вечернее дежурство в свой натурный класс и там пребывал до конца дня. Он возвращался домой совершенно обессиленный и исчерпавший себя, к самому ужину; где тут – и как – участвовать в нашей жизни? По правде, ответить на это – кто мог бы? – Однако, достаточно перелистать все его альбомчики с зарисовками – детскими, главным образом, – чтобы понять, что ни о какой отчужденности, или об отмыкании себя от семьи, или об изоляции нас от него – не может быть и речи!

Когда сейчас я говорю "мы", от лица детей, я имею в виду всех нас четверых; к этому времени и сестры стали играть свою значительную роль в жизни всей нашей семьи. Они уже были достаточно большими. Так вот, мы сами знали и понимали, сколь напряженна, тяжела и загружена была жизнь отца, не оставляющая, увы, ни времени, ни сил на развлечения с нами. Вся связь с ним – и обратно – проявляла себя в том, что мы друг друга искренне и дружно любили, каждый чувствовал это и старался как-нибудь подтвердить это делом. Тут наше "дело" заключалось, главным образом, в том, что мы стремились не стать ему помехой или бременем жизни и – оглядываясь на-

зад – сколько раз именно я причинял ему, верно, страданий этим "бременем". Все домашние вопросы и дела мама решала сама, чтобы его не впутывать в эти, иной раз, глупые дрязги. Вообще отец во все это и не вмешивался, дух матриархата, как-то однажды выдвинутый, так на всю жизнь и сохранился в доме. Думать, что это было результатом какого-либо чувства "величия" или "недоступности" с его стороны – не приходило никому в голову; более простого и радушного в обращении со всеми человека, чем отец, – я затрудняюсь назвать. Все дело было в отсутствии сил, времени и возможности – и все откладывалось на лето.

Летом отец, на три месяца перерыва занятий в Училище, освобождал себя от всего, что зимой владело им и его временем. Летом он принадлежал семье. Ближние пешие прогулки, дальние пикники и всякие затеи – не обходились без отца, и тут он забывал и свои годы и свои силы. И, вдруг, оказывалось, что детство отца было как раз тем, что для нас означало эталон бедствий и горести семьи – "уличные мальчишки"! Но мы ими никогда не были, хотя нас и попрекали, иной раз, ими. Уличные мальчишки! – не было ли это уж полным падением? И вдруг оказалось, что отец – он сам об этом рассказывал нам – рос, по положенью семьи, именно уличным мальчишкой, из коих он самостоятельно, взрослея, выкарабкивался. Многие познания и навыки – например, уменье зверски, по-разбойничьи свистать в два пальца, шло именно оттуда; а он предлагал нам перенять это уменье, но тщетно: очевидно, дефомация из уличного мальчика в степень мальчика почтенной семьи оказывалась столь разительной, что наши челюсти – или пальцы – не ложились и не складывались, как надо: свистать нам так и не удавалось!

Любые летние развлечения в деревне – лодка, городки, гигантские шаги, крокет – отец разделял с нами; с крестьянами – он любил, понемногу конечно, косить траву у нас на полянке. Он уставал довольно скоро, но косари его похваливали, и то хлеб!

Помню, это было уже не в Сафонтьеве, но в классах не больно старших, отец не то купил, не то сам смастерил большой, почти в мой рост лук, из которого мы стреляли длинными, оперенными стрелами в цель, на приличной дистанции – и отца мы – я и Борис – переплюнуть не могли. И когда лето кончалось – кончалась, будто бы, и наша дружеская близость – конечно, только по внешним признакам расхождения по своим углам.

* * *

Как всякое и любое лето в захудалой деревне, так и наше сафонтьевское лето тянулось достаточно однообразно. Дни были сверх головы заполнены развлечениями, часто – общими играми. Для меня, все же, основным времяпрепровождением оставалось посещение излюбленного ствола упавшего дерева, где я устраивался надолго. С Борей мы либо совершали отдаленные прогулки, или же ходили купаться и кататься на лодке. Однообразие нисколько не приедалось, в однообразии программы разнообразила себя сама

природа. Календарные листки методично отрывались, не внося перемен, но приближая, с каждым оторванным листком, день предположенного отцовского возвращения. Хотя почта приходила в усадьбу крайне случайно и редко, мы все же, с большим правда опозданием, узнавали о его жизни, настроениях, намерениях и результатах посещений музеев. Когда день приезда был на примете, мать решила поехать в город, встречать отца. Для возможных услуг и помощи мама взяла Бориса и меня с собою в город. Пролетка была заказана, и мы втроем отправились в Москву. Это произошло точно 15 июня 1904 года, дата вполне определенная и точная, по событию следующего дня, что и будет темой моего дальнейшего рассказа.

После свободной и вольготной жизни в деревне мы отвыкали от условностей города. Влезать в форменную, хотя и парусиновую одежду, обуваться в черные ботинки взамен скороходовских сандалий – казалось большим подвигом. Прибыв в квартиру, с весны запертую, мы сразу же обалдели от нагретого, спертого, почти материально ощутимого воздуха. Мебель в чехлах и закутанные в белую марлю люстры увеличивали ощущение непосещаемого, нежилого помещения. Мы тут же бросились открывать окна, надеясь вызвать сквозной ток воздуха, но – увы – на улице стояла такая духота, что сквозняка не получилось!

Все говорило, что надо ждать благословенной грозы, но и ее, пока что, не было видно! Настал уже полдень. Поезд, с которым мы ждали отца, приходил около четырех часов пополудни. Мама возилась в кухне, готовя обед и встречу папы. Жара не сдавала, напротив – все прибывала. Вспоминалась, с сожалением, прохлада в лесу, на обрыве, тишина леса и свежесть реки.

Между тем гроза, действительно, собиралась. Раскаленный воздух густел, вибрировал, дышать было нечем. Как всегда в предгрозье – сборы были медленные, долгие, казалось – до грозы еще, бог знает, как далеко. И внезапно, как будто даже неожиданно, она уже тут как тут и действует в полную свою силу. Пока же она еще медлила, высылая свои авангарды. Воробьи на подоконниках чирикали все глуше и почти сонно. Голуби тоже куда-то поисчезали, вероятно залетая на нашу черную лестницу, где располагались ко сну, хотя день восходил только еще к обеду. Но всякая звучность природы – во дворе, на улице – снижалась, точно на все легла ватная пелена. И стало темнеть.

Я не помню сейчас, когда началось светопреставление. Вероятно – около двух часов дня. Я не помню сейчас – как, то есть с чего оно началось. Возможно, оно на нас свалилось мгновенно, и мы сразу, без предупреждения, оказались в его действии. В комнатах настала ночь. Пришлось зажигать лампы. Окна гремели, в них бил дождь, верно, с крупным градом. Многие потом уверяли, что градины достигали величины куриного яйца – не могу подтвердить этого, но с большой лесной орех он, действительно, был – мы видели застрявшие в подоконных пазах подобные.

Мама грозы не переносила, кажется, с детства: у нее начиналось сердцебиение, голова болела, она пластом лежала в темной спальной с занавешенны-

ми окнами, с горящей свечой на тумбочке. Мы с Борей, обслужив ее, как могли, лекарствами, холодными мокрыми полотенцами и добрыми словами, убегали в другие комнаты глядеть, что делается за окнами. Делалось же там нечто неописуемое, никогда не виденное; по созвучию это был несомненный тайфун; это и был тот знаменитый ураган, пронесшийся над Москвой 16 июня 1904 года, очень многое разрушивший и снесший с лица земли.

Неизъяснимая скорость ветра, сила воды и тяжесть воздуха – смешение всех стихий и элементов одновременно – и свет и тьма – что так волнующе и эпически было описано, в свое время, Виктором Гюго в его "Тружениках моря", – тут шло, как высокое представление. Все это возникало здесь, за окнами, не как иллюстрации к его тексту, но как сам – и новый к тому – текст к картинкам, показанным за стеклом. Там делалось нечто столь непонятное, что можно было бы охарактеризовать одним понятием: шиворот навыворот, то есть обратное тому, что каждому действию было дано и показано. В том, что каждое знакомое действие шло противопоказанно – и было невероятной силой, превратившей грозу в тайфун, которому никакие законы не писаны и который неправдоподобие показывает на деле, как самую простую и легкую правду. Понятно, что никто никогда раньше, в центре Москвы, не мог видеть настоящего, слышимого и ощущаемого океанского тайфуна, в его полной силе и дьявольской радости разрушения. Такова была гроза за окном. В окна жилых комнат, расположенных вдоль Мясницкой, мы наблюдали, как дождь – нет, ливень – и даже не ливень, а океанские каскады воды падали с неба не вниз, на землю, как полагалось бы тяжести, но – подхваченные невероятным свистом шквала – неслись горизонтальными пластами, вдоль улицы, пенясь и горбясь от наседающих следующих пластов. Быстрота вихря и тока вод были таковы, что стекла окон моментально высыхали, и все было нам хорошо видно. Став на подоконники, мы глядели под ноги на бывшую улицу, а сейчас – на бушующую реку, темную, катившую волны с белыми гривами пены мимо нас, к Лубянке. Двор Почтамта стал кипящим озером, в котором образовывались воронки омутов, от вливающихся в него и сталкивающихся волн с рикошетными от стен здания, обратных. Деревья, кусты сирени и штакетник, как кондитерских дел мастера, лихорадочно быстро взбивали коричневатую пену, иссеченную градом, сыплющимся пригоршнями; во всех углах двора сбивались большие кучи града, который также и сразу покрывался той же крутой пеной.

Громадные суки деревьев, отломанные где-то, птицами летали мимо окон, стремясь где-нибудь, на какой-нибудь крыше зацепиться и отдохнуть. Затем, подхваченные новым порывом рюбецалевской силы, они винтом ввинчивались и взвивались в небо и улетали вдаль туда же, к Лубянке. Было, как будто действовали сразу два мощных вентилятора – у Красных Ворот выталкивающий воздух, на Лубянке – всасывающий – и Мясницкая представляла собою этот уже не управляемый поток движенья. Все это просекалось мгновенными взрывами света молний, тьмы, грохота грома, еле слышного

в диком, вальпургиевом бешенстве шторма, града и помпами бросаемой воды.

Вот так рисовалось нам за окнами вдоль Мясницкой. Окно нашей столовой, это громадное квадратное окно, в раму которого вставлял себя величественный яйцеформенный купол костела, окно, всегда чистое и прозрачное, сейчас стало подобным окнам в ванной или уборной, с их рифленым стеклом. И тут, став подобием рифленого, лишившись своей абсолютной прозрачности, оно, как бельмо, белело непривычностью и, лишив нас вида костела, вдвойне стало неприятным и уродливым.

Сюда смотреть было нечего: это, для окна – было бездарно и отвратительно. А слушать безостановочную дробь, как бы талантливо – по ритму и ровности – это не шло, было, прямо скажу – скучно! – Тут возникали иные мимолетности в мыслях – а что, если град усилится, если его величина, действительно, дорастет до куриного... Господи! Выдержат ли и тогда стекла от такого боя? И что станет тогда – с нашей столовой, когда дубовый стол вдруг плотом двинется в дверь? И как долго придется нам бороться с волнами в собственной детской?

Частота молний так велика, что гром гремел сплошным грохотом. Все, что происходило – было поистине грандиозно! В окно передней, выходящее на крышу выставочного помещения, неподалеку стоящего, можно было видеть иную картину бедствия. По стеклянной крыше волны грязной воды уносили вниз, на асфальт, все, что попадало на крышу с разных сторон: ветви, куски содранной кровли, разбитые доски, предметы непонятной формы и назначения – все стремглав неслось по крутой крыше и свергалось вниз параболой стеновой массы воды. Но и это было однообразно, повторно и мало интересно. Еще менее интересным было глядеть в окна гостиной, выходящие во двор Перлова. Тут кубический двор скапливал в себе все уже описанное воедино, потому что отсюда ничему выхода не было. Вода, град, ингредиенты извне, молнии, темнота вслед за ними, грохот грома, вой и свист шторма – все влетало сверху во двор, уплотняясь, без выхода, внизу. Что можно сказать о колодце, в который пожарные помпами своими бросают уйму воды, кипящей холодом, которой уже и деваться некуда?

Фееричность всей постановки была гениальна. Силу же ее мы, хотя и чуяли, но фактически не понимали. Как потом мы узнали, Мясницкая и прилегающий к ней район были только краем движущегося тайфуна. Настоящее его злобствование шло в стороне, от Сокольников на Анненгофскую рощу и далее – к Рогожской. По этому тракту все, что могло быть вырвано из земли, им, его рукавами смерчей было вырвано, скручено, изломано и выброшено бог знает куда. Все, что могло и не могло быть сорвано – все равно, сорвано было и было унесено с собою. Анненгофская роща, не какое-нибудь деревцо – была сметена начисто, сметена, выдрана, переломана – толщенные стволы! – и разбросана по округе! Вековые великаны лежали повергнутые в прах, головами повернутые на Рогожскую. В Сокольниках, к их знаменитым просекам, прибавилась еще одна, шириной, равной почти что всем им десяти.

Но – где отец? Мать, повержнная грозой в полную прострацию, еле высказывала свое волнение, которое мы, и без нее, сами испытывали. Стараясь внушить друг другу малонадежный оптимизм, предполагать же можно было любой вид массовой катастрофы, мы говорили только о чем-либо другом. Несомненно, он уже давно должен был – либо быть дома, либо дать знать о себе по телефону. Отсутствие и того и другого могло предвещать, по здравому рассуждению, только худшее. К счастью, в такие минуты человек теряет то, что называется здравым рассуждением. И точно! К вечеру, когда реки, усмиренные наставшей тишиной, вошли в свои берега, и тротуары, вновь показав себя, пообсохли, из дома напротив нас, снова осевшего на твердую землю, с садом посередине, с сильно запоздавшей телеграммой пришел почтальон. Это была отцовская депеша из Германии, в которой он радостно нам сообщал, что слава богу, 16-го он благополучно покидает Берлин! Какое счастье! Он жив и невредим! Тут общей радости границ уже не было, и мама, восстав к жизни вместе с уходом грозы, радовалась вместе с нами. Только на следующий день из газет мы узнали, что даже груженные большие товарные вагоны, попавшие в фарватер смерчей, были, как спичечные коробки, подняты и перенесены на неподобающие вагонам пустыри. А просеку, вновь проложенную в Сокольниках, я видел потом своими глазами – и даже фотографировал поверженных великанов, у которых пильщики и корчевщики отсекали ненужные уже ноги и руки, превращая мачтовые сосны в мечты о дальних путешествиях по неведомым морям.

Отец появился в усадьбе в положенное время, сам: встречать его мы уже не ездили. Наша жизнь мало изменилась; отец вошел в нее шестым членом семьи. Разве только к обычным запахам – лета и дома – прибавились необычные – запахи искусства и мастерской. Жизнь шла дальше и неотвратимо приближалась к злосчастному для нас 16-му августа – к молебну, к гимназии и к жизни в коробках комнат.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ

На этот раз молебен не произвел на меня своего большого впечатления. Все было точным повторением уже знакомого, слышанного – вариаций здесь быть не могло. Да и вообще – жизнь второго класса и прошедшего, первого – не сходились разве только в том, что теперь мы уже прекрасно знали, кого надо бояться, чего избегать, кому нельзя попадаться под руку и во что не следует встревать – и так далее. Все перестало смущать, не представляя более интереса; напряженного, всегда необходимого внимания охотника в таинственном сумраке джунглей – теперь более уже не было.

Как обычно, после переезда из деревни в город, первое время ушло на пристрелку к условиям городского уклада, от которого – на лоне природы – так быстро отвыкаешь. Протекший год прибавил мне не только солидности возраста, но и расширил арсенал моего умственного пастбища, повысив интерес к тому, что ранее меня мало тревожило или привлекало из окружающего – в данном случае имеется в виду: война и газеты. Гимназия, не занявшая и раньше первого места, отступила теперь еще дальше на задний план. По всему получалось, что второй класс скучнее первого – хотя бы тем, что в нем и не пахло чем-либо, что могло бы сойти за "первое знакомство". Ничего из того, что сулил бы, скажем, третий, где начиналась латынь, или четвертый, с его греческим – тут ожидать не приходилось, и потому, вероятно, этот второй гимназический год я хуже всего и запомнил, как в отношении каких-либо эпизодов каждодневной жизни, так и людей – учителей и учеников – с которыми, как никак, я был связан целым учебным годом.

Война, разные о ней слухи, разговоры и на что-то намеки, и газеты – так же ею полные – естественно были более волнующими элементами окружающего меня мира. К ним, кстати сказать, все тянулось, и это было существом тогдашней нашей жизни.

Читая о войне в газетах, слушая о ней разные пересуды и критические сужденья, я стал кое-что понимать и разбираться в истинных причинах наших бесславных военных действий, какие и приводили любые наши наступления, даже начинавшие себя удачно, и от которых многого можно было бы ожидать, – к обычному, увы, истощению, переходу к бегству, панике или к отступлению "на заранее подготовленные позиции". Это "на заранее подготовленные" не означало ли априорное приятие поражения?

Не подтверждало ли сказанное – обвинения высшего командования в бездарности, в неумении вести войну, в чудовищном интриганстве, в подсиживании, в разноголосице и тому подобном? Не была ли действительно наша

армия, по-старинке, плохо приспособлена и экипирована к непривычной гористой местности? Не были ли военные топографические карты так плохо составлены, что очень часто приводили даже высшее и штабное начальство к ошибкам катастрофическим? В горном районе войны наша армия снабжена была обозами – телегами на колесах, вместо необходимого вьючного; колеса ломались беспрестанно, задерживая все, вместо необходимого обеспечения быстрых перебросок. Неужели второклассник знал больше, чем должен был знать главнокомандующий? А ведь за все ошибки отдувался, а то и жизнью расплачивался простой солдат, героически и стойко – это признавали сами японцы – сражавшийся.

Забегая вперед, скажу, что все названия мест боев, начиная с первого – на реке Ялу, где собирались войска высадившихся на материке японцев, и проходя цепочкой через Вафангоу, Ляоян, Шахэ, Сэндепу, Мукден, Тюренчень – говорили все об одном и том же: начинали за здравие, кончали за упокой! А бесславная потеря Порт-Артура, о котором все знали, что это грозный страж Ляодунского полуострова; когда он был уже осажден – он служил оттяжкой на себя крупной армии генерала Ноги. И что же?! Как только душа обороны, генерал Кондратенко был убит – ген. Стессель тут же сдал японцам эту крепость. Что это – предательство, измена? А он получил на такой шаг разрешение Санкт-Петербурга!

А катастрофа под островами Цусимы? О чем говорит она?

Бризантные, крепостные снаряды японских дредноутов, этих поистине плавающих крепостей, которыми они били по нашим слабым тихоходным, устаревшим судам – "самотопам", как их презрительно звали наши моряки, с первых попаданий сносили все управление кораблем, превращая его в громадную лохань, полную людей, объятую пламенем громадного костра. Только ли отсталость техники, как говорили тогда, – привела к тому, что эскадра, шедшая зачем-то в почти что парадном строю кильватерной колонной, представляла японцам изумительно дивную мишень профильной развернутости, охваченной японцами с двух флангов! А мы – героически, но безнадежно – осыпали непробиваемую броню японцев слабыми снарядами, не причинявшими этим толстокожим гиппопотамам ни малейшего вреда!

И вот – после всего этого – постыдный мир, когда сами японцы, по их признаниям, стояли почти что перед полным крахом, столь истощены и обескровлены были их силы – их победами.

* * *

Конечно, столь постыдная, позорная война даром пройти не могла – и она имела свои последствия. Жизнь тыла окрашивалась возмущением фронта. Все было напряжено, накалено и дрожало скрытой силой ярости. В тайниках, под не столь уж большой толщей пласта "благонамеренности", тыл кипел страстями; они как в просыпающемся вулкане, в его недрах – бурлили, приливали, скапливались раскаленной лавой, готовой вот-вот выплеснуться

огненным потоком, очищающим в своем огне все, для последующего обновления жизни. Сейчас, когда оглядываешься в то прошедшее, панорама тех дней оказывается ясной, даже нынешнему мальчишке. Тогда мы, мальчишки тех дней – не все, конечно, – понимали. Сильные мира сего пытались тогда умалить происходящее, сводя его к "брожению масс" или "беспорядкам", зачатым, будто бы, кучкой смутьянов, да еще неблагодарными "инородцами". Сторона, которая мнила себя беспорочной и от века нерушимой, предпринимала меры довольно трафаретные, для "успокоения", которые, однако, более походили на тушение разгоревшегося костра – керосином. Не понимая тонкостей, мы, однако, ощущали интуитивно, что происходит нечто явно неладное. Вместо разумного и нужного отношения к причинам (с детства мы знали, что доктора, приходящие к нам во время болезней, чтобы нас лечить, прежде всего, расспрашивая, разбирали возможные причины болезни, а затем их и устраняли, лечением), мы видели, что "пресекались" результаты, то есть стачки и забастовки, силою оружия, пока еще послушного самодержцу. Смутьяны же и инородцы, собираясь в какие-то партии, тревожили покой царя и его присных – вот этими самыми забастовками и стачками. Мы видели, что оружие оказывалось не столь уж прочным и закаленным – оно постепенно, как говорили, поддавалось силе слова, которое – вот странно! – в своей убеждающей правоте становилось все более сильным: ему-то и уступало оружие, которым хотели защитить бедный и околпаченный смутьянами народ от зловредных инородцев!

Вся осень и начало зимы этого года проходили под знаком нарастания силы слова и слабости нагаек и винтовок. Стачки и забастовки из локальных и небольших постепенно разрастались в большие, уже всеобщие и грозные. Меры, против них направленные, – были все те же нагайки и винтовки, но к ним уже присмотрелись и они уже мало кого останавливали и пугали. Наибольшей силы эффекта тушения пожара керосином – достигла трагедия воскресного дня 9-го января 1905 года. Я отлично помню силу реакции на это событие. Даже самые правоверные "благонамеренные", на этот раз, составляли ряды наиболее негодующих, протестующих и прозревших.

Еще бы! Большая, искренняя и мирно настроенная масса рабочих, с женами, даже с младенцами на руках, шла под хоругвиями и иконами, с одной только целью и намерением – поговорить с царем-батюшкой, отцом православного народа, рассказать ему обо всех невзгодах, нуждах, бедах его народа; шла – и все пели церковные хоры и песнопения. Впереди шел Гапон, как потом выяснилось, царский шпик и провокатор, которому тогда все поверили, что он приведет их к царю и все разрешится к общему благополучию.

Но это благополучие выразилось в сотнях убитых и раненных, усеявших мостовую, когда солдаты и полиция огнем и шашками разогнали безоружный народ – чего не смогли сделать на фронтах против японцев!

9-ое января! Не стало ли это злосчастное воскресенье куда более действенной пропагандой и агитацией, чем самые горячие слова листовок и про-

кламаций, чем самые зажигательные речи на летучих сходках и митингах, тут же разгоняемых силой? Это воскресенье раскрыло глаза многим, еще не видящим, на многое, еще скрываемое. 9-го января начал накапливать себя тот бушующий девятый вал, который обрушил свою силу на Москву, в декабре этого года, сначала всеобщей по всей стране забастовкой, а затем и вооруженным восстанием рабочих и солдат.

* * *

В туманном и неустойчивом понимании действующих, сталкивающихся и противодействующих сил я воспринимал, естественно, все более поверхностно, окольно, с виду – но душой был, как все мое окружение, за победу революционных сил. Мы, даже гимназисты низших классов, были достаточно революционизированы, пусть номинально, пусть инертно, но вполне и во всяком случае искренне и горячо. Совершенно ясно, что когда мой одноклассник и друг, гуляя со мною по Чистопрудному бульвару, как-то ни с того ни с сего на всю аллею громко и с вызовом закричал, что мы, мол, социал-демократы – на него все, рядом находящиеся, обернулись с опаской: это – и все так поняли – было мальчишеством, но именно потому я и запомнил эту сценку. А она все же характеризовала наше отношение ко времени. Мы, не понимая "что к чему", здорово ощущали, что делается в недрах просыпающегося и почти что проснувшегося даже вулкана, что бурлит, кипит, дрожит под почвой, готовясь излиться наружу, на улицу. В каком-то ином аспекте передавалось все и нам, мальчикам, нас к себе влекло, мы этому сочувствовали и желали ему только добра и удачи. К назревающему мы были по-своему подготовлены, его с затаенной радостью ждали, им горели. Все последующее принималось должным, высоким, благородным в целях и в жертвах. Все наше поведение высказывало себя в таком, детском, преломлении: "те, что в партии, смотрят орлами", это в старших. А мы – "безнаказанно греку дерзим"... Но мы-то и грека еще не имели; и все же – витали где-то, в прериях мятежных мыслей...

Однажды февральским морозным утром стоял я с отцом после завтрака у нашего большого окна в столовой. Глядя на дивную красоту овала яйца польского костела, порозовевшего в лучах морозного восходящего солнца, поджигающего то тут, то там хрустальные искры инея по ребрам купола, мы говорили о красотах мира, о красоте идеальных линий и форм в природе, а затем – в искусствах. Мы, сами не думая об этом, в разговоре уносились далеко от житейских переживаний, от настоящего дня.

Вдруг в чистом, хрустально-прозрачном морозном воздухе утра раздался непонятный, объемный, густой и оглушающий, похожий на пушечный выстрел – воздушный удар. Отец, в прошлом артиллерист, сказал, что нет, нет – это не пушка! Скорее похоже на какой-нибудь взрыв, и большой силы. Ежели бы выстрел из пушки, он был бы не однотактным, да и иного характера! Ничего более не повторилось, все успокоилось, костел оставался, все более

объемный в светотенях солнечного света, центром нашего внимания и почти продолжения интересного разговора.

Но уже через несколько часов, не помню как и от кого, мы узнали, что была брошена бомба в экипаж великого князя Сергея Александровича; он был попечителем училища Живописи и Ваяния, несколько раз я видел его на выставках, еще до их открытия, в классах училища. Этот великий князь – именно потому, вероятно, был для меня – да и вообще для нашей семьи, из всех "таких" лиц – не абстрактным именем, а человеком, реально живущим в своем мундире, в своих ботфортах с серебряным звоном шпор; высокий, сухой, худой, прямой – "как аршин проглотил"; таким его зарисовал, карикатурно, отец, когда великий князь посетил наше училище.

Великий князь был убит на месте, когда въезжал в Кремль через Никольские ворота. Потом, за деревянной решеткой был поставлен ему крест, так же чуть ли не деревянный, с неугасимым огнем лампадки. Действительно, когда бы я ни проходил мимо, огонек горел, даже в самую плохую погоду.

Покушением на великого князя началась неспокойная полоса. Большие, многолюдные и серьезные забастовки учащались и развивались. Росли также и репрессии, в свою очередь вызывая и еще более крупные стачки. Лодзинские баррикады, длительные и большие забастовки в Варшаве, Белостоке, в Риге, Выборге, в Петербурге, Иванове и Москве были преддверием полного пробуждения кипящих недр вулкана. Война по-прежнему шла удручающе плохо и бездарно. Бои на р. Шахэ и под Мукденом, на благоприятный и поворотный момент которых высшее командование рассчитывало, – кончились полным провалом и почти что поражением. Все, что ни взять – шло к своему неизбежному концу. В гимназиях – от возраста и класса завися – ученики по-разному волновались, но – волновались все. Вот тут-то, странно как-то, не от моего желания исходя, я оказался вовлеченным в общий круговорот движения. Правда, роль моя была так минимальна, что, собственно, ее и ролью-то назвать было смешно, но все-таки – вот роль, какой она на деле и была: одна мамина очень давняя знакомая, довольно близкий семье человек, которую, сколько я помню, отец называл "суфражисткой" за ее независимый, мужественный вид, оказалась теперь социал-демократкой, на какой-то серьезной партийной подпольной работе по распространению среди студентов и рабочих листовок и прокламаций. Опасаясь, что размножение литературы обычным способом печатанья будет очень скоро раскрыто и "пресечено", она ловко разрешила трудный вопрос конспирации печатанья тем, что обращалась к наиболее верным и наименее подозреваемым людям с просьбой переписывать от руки нужное количество текстов. Будущее показало верность такого решения. Так она обратилась и к матери, прося ее разрешить мне переписывать тексты, нужные ей. Она мотивировала это тем, что, дескать, и почерк ребячий, и квартира, соседствующая с директорской, обе "казенные", значит близкие к "властям", будут безусловно вне подозреваемых, и наша квартира менее всего привлечет к себе внимание. Таким образом, в течение всей зимы, почти до самого отъезда на дачу, я в гордости тщательно

конспирировал свое участие в революции, и никто, кроме родителей, даже в семье нашей, не знал ничего о такой моей причастности. Так я и переписывал "страшные" бумаги для заказчицы. Я не оговорился, написав это слово: чтобы, при случае, я мог бы, не сморгнув глазом, соврать, что я "нанят" на переписку, – мне действительно платили за каждый переписанный лист какую-то медную мзду. Получив свои медяки, я тотчас же бежал с ними в писчебумажный магазин "Полиграф" на Мясницкой и приобретал там, для пополнения моей филателистической коллекции, одну-две новые для меня марки. "Полиграф", как и Эрманс – или "П.Самсонов С^{я}" у Мясницких ворот – были мне не только фамилии или названия магазинов: это были живые места наших закупок, сначала маминых, когда я сопровождал ее, а затем моих собственных, когда она меня посылала что-либо купить. С детства "Полиграф" означал для меня имя или фамилию добродушного хозяина, плотного немца, в очках, которые он чаще вскидывал на лоб, глядя из-под них на собеседника; поэтому посылка меня к Полиграфу так и понималась, что я иду к этому дяде. Когда же теперь, гимназистом, уже умея почти что разложить это нерусское слово на составные части (греческий язык мне еще предстоял, но Борис уже свободно плавал в морях греческих текстов, и кое-что, от него, перепадало уже и мне), я приходил за марками в магазин – хозяин, раскладывая передо мною на прилавке свои разлинованные тетрадки, величал меня неизменно – "господин гимназист" (мне было одиннадцать лет!).

В моей переписке не все шло гладко. Поначалу я делал много ошибок и описок, не всегда понимая даже, о чем шла речь в тексте. Но однообразие темы сказалось и в однообразии незнакомых слов и понятий, так что скоро я к ним пригляделся и слова приобрели какое-то телесное представление. Бундовцы, Бунд, сменовеховцы, эсеры и эсдеки, ниспровержение, народоуправство и многое такое, что в наш обиход еще никак не входило, стали вполне привычным сопутствием ее листков. Но некоторые формулы, которые с первых переписок, по незнакомству с ними, вылились для меня в неожиданные созвучья, часто так и проскальзывали, даже и впоследствии, хотя я уже знал и значение и правописание таких формул. Запомнилось, что слова "земля и воля", которые суфражистка как-то быстро, враз говорила, слились у меня в однословное "земля иволя". Что такого хозяина, как Иволь – не существует, я, конечно, знал, и потому ошибка мне была ясна. Но рука еще какое-то время меня подводила, выписывая это глупое "Земля Иволя". Потому-то мне эта описка так и запомнилась. Точно также вторая описка запомнилась своей идиотичностью. В таком простом и чисто русском слове "власть" я почему-то вставлял ненужное "с" и писал "всласть", что вызывало много смеха, когда меня на этом слове уличали.

Но бедная суфражистка в конце концов все же попалась: ее завлекли в спровоцированную засаду, арестовали и выслали в "места не столь отдаленные". Но, должен сказать, что несмотря на ее арест никто никогда к нам по этому делу не приходил и мне не пришлось по нему быть в ответе.

Незадолго до ареста благодарная заказчица подарила мне интересную вещь: уже не игрушку, но еще не настоящую, взрослую, печатную машинку. Это была, пожалуй, примитивнейшая еще прапрародительница "Ремингтона", тогдашней пишущей машинки. Моя машинка была поворотным на оси жестяным диском, по внешней окружности диск был иссечен бахромой, в каждом квадратике бахромы была рельефно выдавлена и окрашена эмалевой черной краской буква алфавита. А под ней был резиновый диск, с такими же выпуклыми буковками, которые намазывались лиловой типографской краской. Вращая диск и нажимая на определенную букву, я на подложенной бумаге и получал оттиск ее в лиловом изображении. Так, последовательно вращая и нажимая на букву, я мог "напечатать" – целое слово. Не помню, как получалась строка – *что* ездило: то ли передвигался диск, то ли лист бумаги? Но скорости такое печатанье не прибавляло: оно шло куда медленнее даже моей рукописи.

Машинка существовала у меня долго, и я многих удивлял таким "печатаньем". Кончилось же это тем, что мама, убоясь неприятностей, что было тогда вполне естественно, припрятала это революционное орудие борьбы с самодержавием куда-то подальше с глаз: ведь такая печатающая машина была похлеще самодельного шапирографа, а и за него, коли обнаружат – владельцу попадало по первое число! Так я этой машинки более и не видел – куда она исчезла – даже мама не могла припомнить.

Между тем, среди разных волнений, учебный год, спотыкаясь и проходя не всегда в действующем классе – нас частенько, не говоря из-за чего, просто отправляли по домам, – год этот приближался к своему завершению. Снова в один прекрасный день в комнатах оживал чудесный запах свежего сена, сыроватой рогожи, снова Кузьма и его ассистент, "Ленесепыч", готовили нас к переезду на дачу, в то же "Сафонтьево", снова весь ритуал отъезда повторялся во всех мелочах; и, как в прошлом году, так и в этом, все перепетии переезда – та же переправа вброд, та же Козюлька, та же, на взгорье, деревня – правда, все уже знакомое – встречало нас, как должное – и на своих местах.

На веранде нас ждали уже прибывшие раньше тюки и заколоченные ящики. Вскрывали двери и запечатанные окна, и в запах прошлого года врывался новый, весенний. Но и это повторилось, ведь и в прошлом именно так было! Ничего нового, все, все повторное!

И все же! Что-то во всем было такое, что в очень даже хорошо известном, знакомом, где-нибудь пряталось до поры до времени, чтобы его заново открывать: но и это не ново! В природе все так: стоит лучу солнца брызнуть не так, не с того угла; стоит сменить пасмурному дню привычное в солнечный – внезапно все меняет свой лик, все знакомое выказывает себя таким новым, какого мы еще никогда не видывали!

Но – такова и вся жизнь: в постоянстве смены – открывание нового в старом.

* * *

В то лето семья помещика была в полном сборе. Нотариус, хозяин поместья, побоялся, как он объяснял родителям, оставить жену с девочками одних, не слишком доверяя крестьянам. В себе он полагал бо́льшую силу охраны и защиты, указывая при этом на два ружья, висевшие на стене, и револьвер в столе. Такие разговоры помещика, а еще более зримые приуготовления его ко "встрече" с крестьянством – застали родителей врасплох; ни о чем подобном они в Москве не думали. Однако и хозяйские разъяснения не привели их к выводам помещика. Мы очень легко, просто и скорее дружественно относились ко всем, с кем в жизни сталкивались, и нам казалось, что и мы, тем самым, не вызывали к себе – в ответ вражды. Мама, как и раньше, продолжала бывать в деревне то за тем, то за другим; горя она им, конечно, не приносила, иной раз им даже помогая. Тем не менее, после таких нотариальных речей – полного и естественного покоя у нас все же не было.

В конце своего недолгого отпуска хозяин со своей семьей отбыл в город. При прощании он отозвал отца в свою комнату и о чем-то с ним там говорил с глазу на глаз. Затем они расстались, не долго собираясь, и вскоре два экипажа укатили к выезду. Когда улеглась пыль дороги, их поездом поднятая, отец рассказал нам о сущности беседы: хозяин всячески уговаривал его взять, на случай, оружие, которое он в город не брал; на все отговорки отца – он всучил ему все же револьвер и кучку патронов к нему.

Когда мы остались одни в усадьбе, первые дни чувствовалась какая-то общая неловкость, как после какого-то неверного и стыдного шага. Но очень скоро наша обычная жизнь в обычной деревне восстановилась, и мы, по правде сказать, больше о "красных петухах" и подобных ужасах даже и не думали. Револьвер с его начинкой мирно и чинно полеживал в своем укромном месте стола.

Подобно бедному Тому Кенти в "Принце и Нищем", который, не ведая, к чему нужна большая, тяжелая государственная печать, – колол ею не по назначению орехи – так, в конце концов, не по прямому хозяйскому назначению, стал пользоваться револьвером отец. В нем проснулся азарт бывшего артиллериста, на стрельбищах из револьвера занявшего хорошее место, и он решил воспользоваться даром полученной игрушкой. Мы уходили с отцом в самый отдаленный и абсолютно безлюдный угол парка, нашли там подходящую уединенную полянку, и там на приличной дистанции отец стрелял в изготовленную дома и укрепленную на дереве мишень. Отец стрелял метко, твердой рукой наводя револьвер, с ухваткой бывшего военного. Нам за ним было не угнаться, особенно мне. Отец не раз показывал мне и даже вел холостой инструмент моей рукой; но твердости я так и не добился, и моя рука, как раз в тот момент, как я наставлял мушку на нужное место, нажимая курок, вдруг дергалась, пудовая гиря револьвера предательски меняла направление и пуля летела своим собственным, как ей хотелось, путем – только не в цель!

Такие спортивные, мирнейшие проделки кончились однажды раз и на-

всегда, и к револьверу, снова почившему в ящике стола, мы более не притрагивались. Дело было так: однажды, придя к нашему тиру, оказалось, что патронов взято было мало, и папа попросил Бориса принести еще сколько-нибудь. Мы остались вдвоем. Тут, на грех и на свою беду, прилетела, каркая, ворона и уселась на сук неподалеку. Отец захотел испытать себя в стрельбе по летящей цели. Не долго думая, он спугнул ворону, и враз, как только она, тяжело махая, слетела со своего сука, раздался выстрел, и ворона, как-то иначе взмахнув крылом, винтом свалилась на землю, цепляясь неудачно за ветви. Упав, она, странно волоча за собой крыло, с каким-то хрюкающим кряхтеньем стала удаляться в заросли кустов. Я ясно видел ее злобный, налитый кровью, хищный глаз и клюв, щелкающий в судорожных хлебках. Так она скрылась в заросли. На душе у нас было скверно. Боря, принесший патроны, увидев наши лица, явно не гордые победой, не стал расспрашивать, и мы трое молча пошли домой. Охотничья страсть – мною никогда не владела. После запомнившегося налитого злобой и местью красного глаза, хрюкающего карканья – угасла во мне и самая последняя искорка таких страстей.

Эпизод с вороной был последним в деревенской нашей жизни этого лета. Наступило время частых, холодных, меланхоличных и неэнергичных дождей. Редкие газеты, к нам приходящие, усугубляли дурное настроение. Отъезд в город становился, как обнадеживающая развязка, все более манящим.

В какой-то насыщенный сеткой мелкого то ли тумана, то ли дождя, или просто мокрыни – "в холодный день ненастья", мы появились на квартире, теплой и сухой.

* * *

Последние события лета – на фронте гибель эскадры, в тылу стачки в Иванове, Риге, баррикады в Лодзи – застали нас еще в Сафонтьеве. Вести о событиях доходили с опозданием, в искажении из устных передач, в не всегда верном освещении.

Город встретил нас иначе. Тут мы сразу попали в бурный водоворот и разнобой слухов, догадок и открытых газетных сообщений. Вулкан, еще не так давно только просыпающийся, переваливающийся с боку на бок то с покряхтыванием, то с зевотой, еще достаточно сонный, теперь, казалось, совсем проснулся. Подземная его работа прослушивалась уже явственно, толчки и взрывные удары кипящего нутра определялись даже без сейсмографов. Немногого теперь нехватало, чтобы извержение вулкана стало всеочевидным.

Вот в такой город мы и въехали. Видно было, что позорная война – позорно и кончается: слухи и догадки о каком-то перемирии перешли в область открытых сообщений в газетах о переговорах о мире. Ничего неожиданного тут не было: в народе уже давно говаривали, что, дескать, полно дурака валять, пора кончать, коли воевать не умеешь. За такими и в таком роде другими словами крылось более суровое, грозное, как неминуемая кара, осуждение. Еще не произносилось громко, вслух, но думалось многими, быть – или

не быть более монархии. Мы сами, третьеклассники, пришли в гимназию уже старыми волками против новых новичков! Из послушных овечек мы выросли в кое-что знающих и строптивых самодеятелей. В этом ни я, ни вся наша гимназия не были исключением – все гимназии, все классы, все гимназисты страны были жизнью распропагандированы, были в настроении более бунтовать, ездить по классам на партах, митинговать, ”дерзить греку”, проявлять свою волю – а кто старше, то и похлеще – чем сидеть на уроках, послушно отвечать свои уроки, получать очередные отметки – в то время, как за стенами все бурлило, кипело, шумело и грозило, точно сам воздух был насыщен иным составом кислорода. И вот все в гимназиях страны так насыщалось этим кислородом, что пришлось, как определило положение само официальное распоряжение, – закрыть на неопределенный срок все гимназии, ”вследствие большого возбуждения среди учеников”.

Это было в начале сентября. В эти дни время бежало так незамеченно калейдоскопично, и события, одно крупнее другого, сменялись так быстро, что оно, казалось, опережает само себя. Если бы можно было спросить тогда меня, третьеклассника, как я сам бы охарактеризовал те дни нашей жизни – одним каким-нибудь обозначением, я сказал бы, крайне неожиданно, но очевидно верно – одним только словом: ”браунинг”.

Да, это чудное, не русское слово определяло, как колорит, то время. Конечно, я – третьеклассник – имел бы в предмете мой собственный, из деревянной дощечки выпиленный и в черное окрашенный браунинг, с которым я, как и весь цвет гимназистов моего возраста, не расставался, нося его в кармане. В этом было еще что-то от уходящего мальчишества, что-то несомненно еще ребячье; но, вместе с тем, я помню и то, другое чувство – какого-то *сопричисления* себя к тем, другим, настоящим, более взрослым, у которых в карманах также лежали, такие же – но из чистой вороненой стали, пулями стреляющие, плоские и страшные браунинги. Те – ходили рядом, вокруг нас, в тужурках, с наплечниками, если были студентами технического или путей сообщения училищ, или, если студентами-медиками, химиками или юристами, то без наплечников, но в тужурках же, расстегнутых, как пиджаки, на русской косоворотке, подпоясанной шнурком. Были среди них и старшие по классам нашего училища – архитекторы или с живописного отделения. Мы знали их в лицо и часто с ними встречались – либо случайно, либо выполняя их поручения, чем я, в особенности, гордился. Это были все очень милые, добродушные ребята: ножей и кинжалов в зубах они не держали и не были повязаны шарфами вместо казенных фуражек – но все же это были те страшные дружинники, ”боевики”, которые сражались на баррикадах, которые совсем не играли своими черными игрушками, как мы; ни о чем их не расспрашивая и храня о них и дружбе с ними полное молчание, мы отлично знали, что они куда-то исчезали и долго отсутствовали – и либо вовсе исчезали, таинственно и серьезно, либо приходили и снова толкались без дела по классам училища. Мы знали, что они где-то обучаются – кто стрельбе, кто деланию других, еще более страшных игрушек, но каких, где

и как – никто ни полслова не говорил и мы не спрашивали тоже. Мы знали также, что такие же тужурки – были на тех, кто квартировал в классах реального Училища Фидлера, что у Чистых Прудов. Много позже мы ходили смотреть на черный, обугленный остов этого здания, обстрелянный артиллерией, подожженный ею и дотла, никем не тушимый, сгоревший. Да, мы знали, что здесь игрушками не занимались. Мы не обижались на тех из хорошо знакомых дружинников, когда они, бородатые и в усах, серьезно глядя в глаза, тихо, почти приказывая, удаляли нас домой, не объясняя причины. Но мы по приходящим – уже не в тужурках, а в сапогах и очень потертых пиджаках – понимали, что рабочие, а потом даже и солдаты, только что без винтовок, но в полной форме – приходили на совещания или митинги, и что нам, пока что, тут не место. И мы уходили наверх, к себе, на четвертый этаж. Все знаемое – мы тщательно хранили про себя, как выполняя какую-то миссию. При случае декламируя о Камоэнсе стихи – "...актер, махающий мечом картонным...", я невольно переносился мыслью и вспоминал о моем, в кармане, браунинге деревянном.

Дни шли, все более отодвигая, куда-то в даль, мир Сафонтьева, мир детства, былую даже беспечность возраста. Сентябрь проходил, гремели где-то – то тут, то там одиночные выстрелы, или залпы, рассыпающиеся, как горох; приходили все новые слухи о Кронштадте, о Севастополе, Киеве, Харькове... что-то нависало, чего-то ждали, к чему-то явно готовились.

* * *

Семнадцатое октября проснулось Высочайшим Манифестом. Чуднота его заключалась в сплошном, от начала до конца, противоречии: трафаретных и избитых слов "Мы, Николай Вторый", царь такой-то и т. д. и т. п., и завершавших "на подлинном Е.И.В. рукой начертано" – и всех тех слов света и надежд, если их прочесть во всей серьезности и точности их значений, которыми было полно содержание манифеста.

И чтобы ни у кого не было и не оставалось никаких сомнений в истинном значении и смысле манифеста, на следующий же день, 18 октября, то есть через каких-нибудь не полных даже 24-х часов текущей его жизни, на митинге, посвященном этому же манифесту, был убит студент технического училища, в такой же тужурке с наплечниками, Бауман. Его хоронила вся Москва, 20 октября.

Эти похороны мне запомнились, как врезанные в память. Мы, вся наша семья, кроме девочек, стояли среди других из училища, на балконе, между вздымающихся вверх колонн, как какие-то статисты какой-то мизансцены – о царе Эдипе или из истории ампирного барского дома в имении. Мы стояли черными неподвижными статистами и зрителями одновременно, потому что перед нами, под нами проходила, в течении многих часов, однообразная черная широкая лента шеренг мерно шагающих, молчащих и поникших людей, одна за другой, каждая по десять, кажется, человек, одна за другой, одинако-

вых и повторных, во всю ширину Мясницкой, мимо нас, к Лубянской площади. Всего грознее было, когда люди, проходящие внизу, шли в полном молчании. Тогда это становилось так тяжко, что хотелось громко кричать. Но тут тишина прерывалась пением вечной памяти или тогдашнего гимна прощания, гимна времени – "Вы жертвою пали...". И снова, замолкнув, ритмично и тихо шли и шли – шеренга за шеренгой, много шеренг и много часов.

Более всего запомнилась, однако, сама голова шествия. Как обычно при всяких похоронах, черной ленте, змеящейся по улице, предшествовал катафалк. Но гроб несли люди, на плечах, и это было трагично, как сама смерть. Перед катафалком плелась одноколка, наполненная лапами еловых ветвей, редко кидаемых под ноги шествию. И это было обычно; не как всегда и необычным было, что шествию, катафалку и одноколке с запахом хвои предшествовала не икона на руках, а нечто новое и торжественно возвышенное – шел в черном человек, с большой пальмовой ветвью в руке. Он махал этой ветвью в такт своего и всей змеи шага, как дирижер, или как регент хора, задавая тон и смысл всему, что шло, шеренгой за шеренгой, следом за ним. Я никогда более не видел ничего, что могло бы быть подобным этому шествию. Процессия шла долго, людей было бесконечно много, к ней все более и более приливало по пути, и каждый считал долгом своим примкнуть к ней и с ней слить свое участие. Порядок был идеальным по серьезности и самой трагичности события. Все, что встречалось, и все, что встречало – молча и сурово отстранялось от пути, пока процессия слитно и мерно шла к кладбищу, возглавляемая гробом на плечах шестерых. Также тихо и сурово было, так говорили, на самом кладбище. Тем сильнее разразилась гроза, затихавшая при проходе процессии – туда. Обратный путь был ознаменован другим. Люди – уставшие, разбредаясь отдельными кучками, ручейками, и потому уже не сильные – попадали в засады, в мешки, под обстрелы, под нагайки, а шедшие мимо Манежа – под настоящую бойню "охотнорядцев" и "черной сотни", которым на подмогу пришли дворники, драгуны, жандармы и полицейские. Весь этот "оплот" царизма, побоявшийся показать себя процессии, распоясался, когда обратный путь процессии перестал их пугать своей сплоченной силой.

Тут – говорили потом – храбрость черносотенной своры подонков и их патронов, поддержанная винтовками, шашками и нагайками, была "на высоте". Разгон безоружных людей указывал, конечно, на силу параграфов манифеста, относящихся к свободам – слова, личности и совести каждого. Это надо было, естественно, понимать как свободу действия "союза русского народа" и "черной сотни", кои, прикрытые иконами, хоругвиями и царскими портретами, находили себе охрану и содействие в оружии городовых и жандармов. Только последним и были сильны эти, действующие как гиены, "представители русского народа"; они могли безнаказанно бить стекла магазинов, бесчинствовать, избивать встречных, нападать ватагой на беззащитных. Что ни говорить, но встречи с обществом гиен – куда страшнее, чем столкновение со львом – говорят аборигены. Все возможно. И посему дирекция Учи-

лища решила устроить в вестибюле главного входа баррикаду – на всякий случай – зная, что для черносотенцев и их патронов учинить погром и дебош в здании, посещаемом совсем не только учениками училища, было бы весьма заманчивым. Баррикада была основательна – выросла новая, из дубовых бревен стена, укрепленная такими же откосами и стойками с внутренней стороны и прорезанная небольшой – на одного человека – калиткой. За такой стеной наш вечный швейцар при входе – Антон, с большой окладистой бородой – чувствовал себя совершенно спокойно. Эта стена просуществовала долго; во всяком случае я застал ее еще на месте, когда мы возвратились из Германии, в 1906 году. За эту стену князю Львову – нашему директору – попало от верхнего начальства, но он, не испугавшись, только посмеивался, охраняя, как можно лучше, вверенное ему добро.

Октябрь проходил, наступил ноябрь, и дни проходили под знаком все растущих и крепнущих сил революции. Уже почти в открытую шли разговоры и приготовления к переходу от стачек к вооруженной борьбе с царизмом и самодержавием. Восстание на "Очакове", его героический бой с крепостными батареями, лейтенант Шмидт, гибель "Очакова", арест Шмидта, карательные экспедиции Меллер-Закомельского, новые всеобщие стачки, вооружение народа – все, калейдоскопически быстро вертясь, наполняло дни, предшествовавшие девятому валу, – его все ждали, одни с надеждами, с желанием успеха, с нетерпением, другие – в страхе, с затаившейся злобой, с опасениями...

Но его все оттягивали, до полного и верного подъема сил и накала...

* * *

Осень вступала в раннюю зиму. Ноябрь ознаменовал себя ранним морозом, вначале бесснежным, но уже скоро повалил большой снег.

Хорошо запомнились эти особо длинные, не заполненные, сумеречные ноябрьские вечера и притихающие к концу дня Мясницкая и Почтамтский двор, к утру превращавшийся в сонно-спокойные картины зимне-деревенской жизни: белый, девственный, никем не тронутый, нехоженный снег; улица – без обычного исполосования полозьями, не изрытая копытами лошадей; тротуары – скрытые и сравнявшиеся за ненадобностью, с пеленой мостовой, пухлые от непритоптанного снега; тишина безлюдья, и только кое-где, одной, и то рваной строчкой, как следы ворон – пешеход, озираясь, испуганно пересекал улицу, как тать, скрываясь от лишних глаз, куда-то по надобностям устремляясь...

Ожидаемое началось – неожиданно; так всегда бывает. Я помню ясно, будто вчера это было, как я средь ночи проснулся, точно меня что-то толкнуло. Спросонок мне причудилось, что весь город, по крайней мере весь наш район, охвачен какой-то странной и решительной деятельностью многочисленной артели плотников. Где-то без устали и передышки заколачивали в толстые бревна или доски громадные корабельные гвозди; в других местах мерно – и с тем особым уханьем, когда колуном раскалывают круглое поле-

но – топорами, почти что звенящими, рубили и обрубали какие-то бревна; то тут, то там, с громадной силой громыханья, что-то круглое, казалось, скатывалось с больших козел и, падая, глухо било о землю.

Мы привыкли уже к таким странным, для ночи и в столице, плотничьим работам. На самом-то деле это был разнобой стрельбы – винтовок, браунингов, изредка даже допотопного пулемета. Этой же ночью артель, разбудившая меня, работала как-то более степенно; со сна мне показалось даже, будто ритм работы подчинен какой-то для них сочиненной партитуре, построенной на синкопах и триолях. Я разбудил Бориса, и мы довольно долго прислушивались, комментируя вслух и критикуя ошибки не вовремя вступавших инструментов. Я не могу сказать точно, было ли это началом декабрьского восстания – или, пока еще, одной из многих репетиций его. Но, с этой ночи, стрельба в городе стала своеобразной закономерностью ночных забав. Казалось, что таким развлечением отогреваются ночные сторожа, мерзнущие на все крепнущем морозе, преждевременном в эту зиму. Не по календарю также крещенские морозы стали для нас и нашей квартиры подлинным бичом существования: истопники училища, то ли уйдя на очередной митинг, то ли примкнув к чьей-либо забастовке, решили, чтобы не случилось беды, остановить топку котлов и спустить воду. Но – беда все же пришла, и стояк, как раз подводящий тепло к нашей квартире, единственно населенной в главном корпусе – директорская давно уже пустовала – ошибочно не был отключен, вода не была спущена, морозом ее где-то прихватило, труба лопнула – словом, наша квартира превратилась в некий филиал улицы с минусовой температурой. Весь ужас такого положенья можно без труда представить себе, ежели вспомнить, что как раз в эти дни младшая сестра моя, трехлетняя Лида, болела и довольно тяжело. Как всегда в такие моменты волнений, страха и беспомощности, крайнего напряжения нервов, общей неясности ситуации – любое, самое незначительное отклонение от общепринятой нормы воспринимается как, по крайней мере, наказание божие. Вся жизнь нашей семьи, как общества троглодитов в ледниковый период, сосредоточивалась у кровати больной, у стола, на котором стояла и горела неугасимая большая керосиновая лампа "Молния" – кое-как обогревающая нас всех. Но – где же Борис? Куда он исчез, не сказавшись никому и не спросясь, в то время как – это всем известно – на улицах было крайне неспокойно, и то тот, то другой, с нашего же двора выходивший на улицу, попадал либо под обстрел, либо под копыта драгун, либо – в лучшем случае – под огневой удар нагайки – с оттяжкой! – казака.

Но Борис исчез. Он пропадал долго, и мне самому стало уже не по себе. Ему было всего пятнадцать лет, еще мальчик – а характер у него был, слава те господи, что у взрослого! Переубедить его – иной раз было немыслимо трудно. Куда он мог сбежать? Среди стонов – Лиды в бреду, мамы в полуобморочном состоянии и отца – нервически, как черная пантера, шагавшего от двери к окну, от окна к двери, делая вид, что его ничто не смущает, что все в порядке – он все же подошел ко мне, и тихо, будто шепотом и на ухо –

прошелестел – "я иду его искать" – и пошел дальше мерять комнату своими большими шагами – и опять, пройдя мимо, как корабль мимо катера – тем же шелестом – "присмотри за мамой" – и опять – к двери. Но тут, к общему нашему счастью и сущей радости, вдруг знакомо хлопнула входная дверь, и появился в створе комнатной – сам Борис, но – в каком виде! Фуражка была смята, шинель полурасстегнута, одна пуговица висела на треугольнике вырванного сукна, хлястик болтался на одной пуговице – а Боря сиял, уже одним этим выделив себя из всей группы вокруг лампы. Из его, пока еще бессвязных рассказов, более восклицательных, постепенно уяснилось, что он, выйдя на Мясницкую и пройдя несколько вниз к Лубянке, действительно, столкнулся с бежавшей от Лубянки небольшой группой прохожих, в ней были и женщины, подхватившие в ужасе и Бориса. Они бежали, по-видимому, с самого Фуркасовского, от патруля драгун, явно издевавшихся над ними: они их гнали, как стадо скота, на неполной рыси, не давая, однако, опомниться. Но тут, у Банковского, где с ними столкнулся Борис, их погнали уже не шутя, и нагайки были пущены в полный ход. Особенно расправились они с толпой как раз у решетки Почтамтского двора, куда тщетно пытались вдавиться прохожие. Боря был кем-то прижат к решетке, и этот кто-то принял на себя всю порцию нагайки, под себя поджимая рвущегося в бой Бориса. Все же и ему, как он сказал, изрядно досталось – по фуражке, к счастью, не слетевшей с головы, и по плечам. Он считал нужным испытать и это – как искус, как сопричастие с теми, кому в те дни не только так попадало. Тем временем драгуны ускакали, оставив кое-кого лежащими на мостовой. Тут Борю кто-то увидел из наших и насильно увел во двор.

* * *

Московское декабрьское вооруженное восстание, как известно, началось 8-го декабря. Для меня и брата оно началось гораздо раньше; во-первых, потому, что все, что только еще подготовлялось и собиралось, и чему живым свидетелем были классы Училища, по существу давно закрытого, сплачивалось и бурлило своей, не школьно-живописной или архитектурной жизнью, а совсем, совсем другой; что в новых, для стен классов, лицах и одеяниях, мелькали, все чаще, солдатские шинели; что пахло не табаком, а крепкой махоркой и смазными сапогами. На нас, тут же юливших, смотрели косо и недоверчиво, но вскоре к нам пригляделись. Бывало, что вся эта куча разноодетого люда, заняв какой-нибудь класс, запиралась изнутри, а снаружи расхаживал, точно прогуливаясь, кто-нибудь из учащихся в Училище... Второй причиной, по которой мы думали, что восстание началось, когда его еще и в помине не было, – это ночные, правда, разрозненные, но настоящие ружейные выстрелы. И третье – пожалуй, наиболее похожее – это полное видоизменение московской жизни, что и указывало на крутые перемены, возможные – мы так тогда думали – только при возрождении гаврошей на улице.

Начинавшееся безлюдье на улицах; шопотом рассказываемое о каких-то баррикадах, может быть еще только проектируемых, но рисующихся в наших возбужденных головах; все, еще только предшествующее – для нас было свершившимся. Кроме того, мы знали, что неподалеку от нас, на Чистопрудном бульваре, в Мыльниковом переулке, в классах здания реального училища Фидлера, все чаще и чаще собирались сходки, митинги и рабочие собрания самих боевых дружин... Боевая дружина! Вот откуда появились в карманах гимназистов, мне казалось – всех гимназистов тех дней – формально сходные, но, увы, только еще деревянные, браунинги, в которые мы – то есть точно могу сказать лишь про себя одного – безусловно верили как в первосортное оружие. Конечно, все это, совмещенное с желаемым, входило в мое сознание как пылающее гневом и высоким чувством мщения и кары – всенародное восстание, какое-то смешение романтики "Девяносто третьего" Гюго и реализма махорки, смазных сапогов и гудящих классов и коридоров Училища. Еще никакого восстания фактически не было, когда лопнули трубы отопления, и наша квартира внезапно стала приближаться к ощущению настежь открытых окон и сквозняков, которых так боялась мать. Возможно, что такой переход комнат в уличное состояние и послужил к заболеванию Лиды; даже в обычных условиях жизни такое заболевание было тогда особо серьезным и тревожным. Тем более в условиях тех дней, с прерванным нормальным городским сообщением, отсутствием телефонного сближения разобщенных собеседников, при неизвестности, можно ли рассчитывать на аптеку, магазин и выход из дома. Холод в комнате, парализуя бодрую волю к движению, загоняя в полусонную бессознательность, в вялость ног и рук – усугублял естественный страх пред болезнью, и без того слишком самовольной и вышедшей из повиновения. Девочка на глазах горела в холоде комнаты, в беспамятстве бредила и металась, как в самый жаркий полдень где-нибудь на юге. Разговоры, предположения, мечты родителей – не лучше ли было бы, воспользовавшись тем, что гимназия закрыта на неопределенный срок, что отец также свободен от занятий в Училище, постараться поскорее наскрести денег и укатить за границу, где отцу было бы возможно, наконец, и для себя на свободе поработать, – такие мысли теперь прекратились совсем, пресеклись болезнью дочери и всеобщей железнодорожной забастовкой, охватившей все железные дороги страны. Вполне понятно, что сейчас на первом, на самом главном, первейшем месте было это страшное слово: двухстороннее воспаление легких. И, чтобы еще страшнее было родителям, добавлялось, как окончательно оглушающее, после чего и оставалось только безутешной матери ломать руки и, уткнувшись в подушки, заливать их слезами – добавлялось жуткое слово – "крупозное". Совершенно несущественно было напоминание значения его. Оно разило сразу, одним толчком пульса, как встреча с разъяренным буйволом, несущимся на обреченного, опустив голову с тяжелыми, массивными рогами...

Наш постоянный доктор, вначале приезжавший почти каждодневно, както застрял у нас, когда наш район оказался отрезанным от Тверской улицы,

за Страстным монастырем. Для нас это было удачей. Зная все возможные перипетии болезни, он распорядился, с самого начала, сделать кое-какие аптекарские запасы и, между прочим, рекомендовал иметь, на всякий случай, бутылку-другую сухого шампанского, для больной.

Вся жизнь квартиры стянулась к одной ее точке, к столу с горящей лампой — у постели угасающей Лиды. Я, как и Борис с Жозефиной, каждый посвоему, но одинаково со всеми, разделял трагизм этих страшных дней — и не только потому, что нельзя было выйти из общего тона существования квартиры. Я хочу сказать, что не только валенки, без которых ноги мерзли, как на бульваре, или теплые на меху туфли, в которые были обуты няня и весь женский отдел жилища, создавали своеобразный шорох приглушенных шагов; не только молчащие фигуры — потому что, собственно, не о чем было говорить или сообщать — придавали комнате ощущение пустоты: нет, эту пустоту и приглушенность родило выпадение, из нормы шумной жизни квартиры, одного только члена ее — ребенка, обычно веселого, жизнерадостного и шумливого.

* * *

Будь она сейчас на ногах, то даже сам холод, возможно, был бы утеплен весельем детской комнаты. Но — увы — она вышла из строя, а с тем и строй вышел из квартиры, в неизвестном направлении; холод, теперь уж ничем, кроме слабосильности против него "Молнии", не согретый, издевался над нами своим сухим смехом, дирижируя отсутствием жизни.

Дни, до краев насыщенные событиями за пределами квартиры, предоставленной себе самой, в ней текли крайне однообразно, главным образом в силу того, что и сердца и глаза обитателей пещеры ледникового периода были направлены и обращены только на то, как сохранить и продолжить горение: огня на столе и жизни — в кровати. Кроме того, все было устремлено не на сейчас вот происходящее, а на ожидаемое — в тревоге: на девятый день болезни. Доктор внушил нам, что только этот девятый день, а не его знания и способности, сможет разрешить наши страхи, наше томление, надежды.

Девятый день, девятый вал... и дни катились равными волнами, ничего не меняя, ничем не радуя, монотонно, как капает вода из испорченного крана.

Девятый день! Как все в природе необъяснимо странно: вот лежит человек, в жару, без памяти и сознания. Ничто не меняется — для нас — в эти восемь предшествующих дней. Все так же ставят термометр, все так же меняют компрессы. И все так же не меняется все вокруг — а может быть и внутри? И вдруг, стрелка времени отщелкнула все восемь и наступает девятый день — чудо! Больной может ожить: но, если чуда нет и не будет — больной, так и не приходя в сознание, так и не увидя, в последний раз, самых близких ему людей, уйдет от них, не прощаясь, навсегда! Как это случается? Кто определяет, по какой дороге направиться этому беззащитному, утратившему память и со-

знание телу, направо или налево? Кто может ответить на такой вопрос? И – нужно ли знать все то, что природой скрыто?

Все так же, как все восемь дней, сидел у кровати доктор, по привычке двумя перстами вытаскивая из жилетного кармана, почти как артист на сцене, неправдоподобно красивым жестом, свои золотые часы и хватаясь за руку, почти безжизненно висящую или тотчас же падающую после очередного прослушивания пульса. И вдруг – внезапно, как внезапно пробивается сквозь толщу облаков, в незаметную щелку, луч солнца и радостно меняет всю природу, – вот так, в ничем не предпосланный, неожиданный миг – доктор вскакивает и – быстро отбросив одеяло и схватив наготове лежащее полотенце – обтирает облитое, столь же внезапно и разом, обильным потом исхудавшее тельце... Шампанского! – бросает доктор в воздух, не обращаясь ни к кому, но зная, что протянув за спину руку, он затем приблизит ее уже с чашкой вина к губам девочки. Чайной ложечкой он вливал капли влаги в сжатые челюсти, и, хотя часть проливалась по щеке, за ухо, на подушку – часть все же попадала на зубы – и слабый, еле улавливаемый вздох – один, другой – и глаза девочки, как после долгого и утомительного сна, еще мутные видениями, раскрылись, в недоумении, никем еще не разъясненным – и снова закрылись, как будто еще не доспалось! Но вот они снова раскрылись, и в них уже просвечивает теперь не скрываемая более жизнь. И она отпила большой глоток обжигающей шипучести – или живучести?

Дальше описывать уже нечего: все вокруг стало крайне обычным и естественным при подобных случаях – в углу родители плакали, обняв друг друга; доктор, радуясь не менее нас, хлопотал возле уже не больной, но еще не вполне здоровой девочки; уже входила, крестясь, в комнату няня, неся что-то белое в руках, знаменуя собою наступившие будни; через какое-то время в дверь вошла, уже не боясь зашуметь некстати, Даша, с подносом в руках, уставленным чашками с горячим чаем и тарелками с бутербродами, и тут-то все разом вспомнили, что давно не ели, и почувствовали, как голодны.

И тут – так же вдруг – вспомнили, как дней пять назад, когда все, казалось, было до предела напряжено, оказалось, что нет, предел был еще впереди – родителям был нанесен еще один и, быть может, самый сильный удар – дирекции Училища был направлен генерал-губернатором ультиматум: если к такому-то времени Училище не будет очищено от бунтовщиков, дружинников и подлежащих военно-полевому суду восставших содат, – оно будет обстреляно артиллерией. А что это означало, мы прекрасно уже знали по зданию Фидлеровского училища, которое по такой же статье было обстреляно, подожжено и разрушено в какой-нибудь получас времени. С этим ультиматумом в руке князь Львов разговаривал с отцом, почти советуясь, как быть: все жильцы из здания и со двора разъехались кто–куда. Только наша семья жила еще прочно на своем, теперь уж действительно опаснейшем месте – из-за болезни Лиды. Для нас начались мучительные минуты: как быть, что делать, куда податься – с девочкой, почти что дышащей на ладан. День, и другой, медленно приближавшие нас к роковому часу, проходили в бесплодной

потере сил, мужества, времени. О чем говорить! Но, как нежданно ударила гроза, так же нежданно и уж совсем неправдоподобно и невероятно она и отпала.

Раскрытая как-то конспирация адреса заставила штаб боевой дружины и все, что с нею и со штабом было связано, вмиг исчезнуть, сразу и в полной тишине, как выходят на минуту из комнаты, чтобы в нее же вернуться, но тут – уж без возврата! Незаметно для всех окружающих, не вызывая никакого недоумения, Училище, все его классы и комнаты враз были очищены от людей и любых "вещественных доказательств". Все пришло в такой вид, что ложью было бы говорить, что только что – ну, с полчаса назад – тут ульем гудело и ходуном ходило столько разного народа. Как ветром сдувает клочок сена или старый лист, без следа, так и тут – исчезло все вчистую. Но это было не бегство: это был уход с тщательно подметенным и тряпкой пройденным помещением. Ультиматум, конечно, был тотчас же снят. Второго Фидлеровского училища больше не потребовалось.

Через неделю после выздоровления Лиды разговоры об отъезде были вновь подняты, теперь более решительные и реалистичные. Сборы к отъезду за границу начались, также и все формальные хлопоты. Постепенно приготовления превращались в реализацию. А за стенами квартиры Москва переживала кровавую расправу: семеновцы и павлоградцы, славны солдатушки, бравы ребятушки, в прекрасных белых портупеях, с хорошей и легкой выправкой и тяжелой артиллерией, постепенно сужали кольцо своего наступления – Пресня еще защищалась, но вот Прохоровка – пала... Началась охота на волков – облавы, подсады, красные флажки... Когда с "этим сбродом" было Высочайше покончено – тогда и железным дорогам ничего более не оставалось, как снова пустить в ход застывшие на рельсах, в морозы, поезда. Так, постепенно, жизнь большого города, только что героически сражавшегося за славное будущее, стала входить в берега. Как после большого паводка, сходя, вода оставляет лежать то тут, то там следы своей разрушительной силы, так и тут восстание уходило совсем не бесследно.

Морозы, как будто этим напоминанием о днях восстания город хотел справить тризну, не унимались. Пожалуй, стало даже еще холодней.

И наступил, наконец, день, когда нам сказали – кареты ждут во дворе.

Этими словами открылось наше путешествие в неизвестность, известностью которого было только одно: мы через час отбывали точно в Германию, еще точнее – в Берлин.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ГОД БЕРЛИНА

1. Лавка пряностей

В жуткие морозы конца декабря пятого года мы всей семьей собрались за границу. Последней гранью, краем земли русской была станция Вержболово. Дальше шла, за глазу невидимым, но непроходимым забором, земля ''ихняя'', то есть не наша, не русская, а немецкая. Не успели мы доесть обычный для всех российских вокзальных ресторанций обед – борщ ''по-флотски'' и ''зразы с черной кашей'', как родители, закончив все таможенные и паспортные дела, пришли за нами – садиться в поезд.

На перроне, окутанный морозным туманом и клубами пара и дыма стоял ''ихний'' поезд, совсем не похожий на наши составы, веселые разнообразием ярко-зеленых, оранжевых и синих, лаковых вагонов. Стоящий был мрачноватый, темно-коричневый, меланхоличный, словом – скучный. Вагоны – один, как другой – можно было опознать только по номеру над дверью. У одного такого носильщик остановился, говоря – ''здесь'' – широко обтирая рукавицей пот, на морозе странный.

Немецкий проводник, непохожий на наших внушительной комплекцией, выправкой, амуницией, особенно же какой-то полудамской сумочкой, красной лаковой кожи, на таком же лаковом красном ремне, стал проверять наши билеты – молча. Затем, посторонившись, внятно буркнув – ''bitte'' – начал пропускать пассажиров в вагон.

С этого-то ''Bitte'' и началось наше знакомство с незнакомой Германией, где мы прожили до осени следующего года. В Берлин мы въезжали уже в январе нового года, все в морозы, еще более крепчавшие. Так что преимущественное право на зимние ''трескучие'' морозы за матушкой-Россией природой было опровергнуто.

Уже в поезде нас многое стало поражать своей новизной и непривычностью, начать хотя бы с того, что поголовно вся обслуга, начиная от солидного обер-кондуктора и до самого распоследнего разносчика газет и журналов, до подметальщика – бегло и без икоты и подбора слов говорила на языке, для нас иностранном, которому нас обучали специально; брат мой и я всякий раз переглядывались, как если бы над нами потешались, говоря не по-русски, как положено, а по-немецки. Мы испытывали такие же чувства ''розыгрыша'', как Тартарэн в горах, в Альпах. А разве не удивительны были эти чудесные шкапчики со стопками полотенец и кусочков туалетного мыла в уборных, которые можно было бесконтрольно брать, а по употреблении бросать в кор-

зину – и никто не брал больше, чем нужно, и не совал лишнего в карман! Мы искренне завидовали спортивной выправке кельнеров, с которой они, при бешеной скорости поезда, у нас немыслимой, ходили с подносами, уставленными чашками с кофеем, ни одной не пролив, и точно по середине коврика – мы же не могли и шага сделать, чтобы нас не бросало в сторону, а на закруглениях так просто вжимало в ту или иную стенку вагона!

От мороза окна в поезде были затянуты инеем, потому мы ничего не видели, что пролетало мимо нас в природе. Так мы не смогли уследить, когда и в каких условиях при въезде в Берлин поезд наш стал незаметно подниматься на эстакаду, в черте города проходящую уже на уровне третьих этажей зданий. На этом уровне оказались и промежуточные остановки и большие вокзалы. Наш, не помню который по счету, назывался "Am Zoo", то есть "Зоологический сад", где мы и покинули наш вагон.

* * *

Только что описав первые, еще в поезде, впечатления юнца в двенадцать лет, я задумался... как могут они быть приняты и поняты – скажем, моим сыном? Не удивят ли они его тем, действительно странным для такого возраста, характером фактов, мне запомнившихся? Не начнет ли он их мерить на свой аршин, мальчика тех же лет? Учуяв тут значительное расхождение, сможет ли он подавить осуждающую, разоблачающую усмешку? И будет ли он так уж неправ в своих оценках?

Действительно, попав тогда в совсем новую, нам неведомую атмосферу, мы все время сталкивались с неизвестностью – на каждом шагу. Неизвестность нас поражала, в мелочах и в крупном, и более всего в бытовых мелочах, внедряясь в память именно тем, что чаще всего они-то изумляли, радовали и восхищали наше мальчишеское воображение, доставляли какого-то рода наслаждение – куда большее, чем ожидаемое от видов нового города, новых зданий, улиц, оживления и т. д. Увы, тут я должен сказать, что в этом отношении Берлин не был тем городом, в котором, что ни угол – то архитектурное совершенство. А вот разные "мелочи жизни" – они-то, по сравнению с только что оставленной Москвой, были какого-то рода подлинным обиходным чудом, для нас, мальчишек.

Тут надо объясниться.

Детство моего поколения совпало с переходом от века пара и керосина к новому веку – электричества. За избитой фразой скрыта, однако, большая жизнь. Безмятежно, как и все мои сверстники, прожил я первое десятилетие моей жизни еще при керосиновой лампе. Я отлично помню ее, в разных фазах ее существования: вот, к примеру, пришли гасить ее на ночь. Мило и задушевно фукая, она прощалась с нами, на свой манер – то вспыхивая еще раз (не последний ли?), то перебегая по округлости горелки своими синими, уже не освещающими, но еще самосветящимися бусинками огоньков; с глубо-

ким, глухим вздохом она находила свой конец. Или вот, бывало, что взрослые, отрываясь от своей работы, с криком "ой, коптит", кидались укрощать строптивую, когда, чем-то возмутившаяся, она вскидывалась неярким красноватым, с черным шлейфом, длинным языком пламени.

В первые годы жизни мне не приходило, конечно, в голову, что лампа эта родилась в первый же день сотворения мира. Огорошен и крайне удивлен я был, впервые услыхав, что в докеросиновое время люди освещали себя в домах и даже в царских хоромах свечами, а в избах – простой лучиной! И век электричества! Боже, как с ним все изменилось! Как могли люди существовать раньше, до него, в отсталости и темноте?

Наступление на нашу жизнь нового века электричества, по своей непонятности, ввергало меня чаще всего в испуг, в оторопь и в смущение духа; в изумление, но и в восторг! Новый век входил в жизнь не сразу, очень исподволь, постепенно, внедряясь прочно в обиход. Вначале был свет, без огня и спичек; значительно позже – черная трубка, через которую разговаривали с человеком, находящимся в другом конце города. Но даже и это было после нашего возврата из Берлина в Москву.

До Берлина мы, в нашем быту, не знали еще ни лифта, ни электрических приборов, еще не ходили по улицам автомобили... Но в резервуар лампы больше не вливали жидкости, отливающей голубым, керосина. Уже вместо горелки с фитилем была вставлена какая-то втулка с патроном, куда ввинчивали грушевидный стеклянный баллончик. В нем все время дрожью дрожал тоненький волосок, петелькой загнутый. Вот, кто-то щелкнул чем-то на стене и – о чудо! – волосок тут же начинал краснеть, раскаляясь все ярче, до резкого белого накала, а комната – освещать себя, пожалуй, ярче даже, чем при керосиновой лампе. Баллончик тогда называли – грушей, в пять или восемь свечей. Этого было вполне достаточно, и мы делали свои гимназические уроки под такой, восьми свечей, лампой. Когда у родителей были гости, много людей, тогда большой наш обеденный стол раздвигался на оба свои крыла, в висячий же над ним остов керосиновой лампы ввинчивали большую грушу, в 25 свечей, и было светло, как днем! Сейчас – не смехотворны ли подобные цифры?

Десятилетиями, постепенно и постоянно менял себя наш быт. Постепенно и постоянно он входил в новую электрическую колею, уже не покидая ее более. Вместе, одновременно, менялись жизнь и наши отношения к новшествам. Но все это совершалось гораздо позже Берлина.

Детство же моего сына, как и детство его поколения, пришло на все уже прочно установившееся, готовое. Давно позабыты были керосиновые лампы, поисчезали их электрофицированные останки; давно, задолго до рождения сына, специальная "арматура" (мы такого слова не знали) сменила висевшую еще кое-где дряхлую старость. В четыре своих года сын смело хватался за телефон, без страха говорил в трубку, понимая своего собеседника. К его услугам были уже электроприборы. О чем говорить! Ничто новое – в этой цепи усовершенствований – его не поражало, оно было – для него – лишь

следующим словом давно начатой фразы, ему понятной. Все было налажено, чрезвычайно привычно, просто и удобно. Все было – естественным!

А мы – в Берлин тогда попавшие – обалдевали, форменным образом, встречаясь с новшеством – в одинаковой мере как грандиозным, так и пустяковым, ну например, с уличным автоматом. Эти автоматы, реклама фирмы Штольверк, обслуживали берлинцев, кого – чем. Нам, за наши монетки в 10 пфенигов, они с колокольчатым перезвоном выбрасывали на желобок либо маленький пакетик жженого в сахаре миндаля, либо миниатюрную плиточку шоколада. Других же они радовали папиросой, сигарой и даже... духами! С таким же напряжением мы могли часами глядеть, как из-под земли с грохотом вылетали шесть красных или синих вагонов унтергрунда и взлетали с бешеной скоростью по наклону дальше подымающейся эстакады. И эстакада и дыра в землю окружены были зеленым газоном сквера, отгороженного от людей наглухо высоким каменным парапетом, у которого всегда глазел и любовался кто-нибудь, как и мы, исключительным эффектом новой техники. Все новое вызывало в нас живейшую реакцию. Но сын все же прав: где же воспоминания о городе, о зданиях, о широких проспектах или прекрасных скверах? Неужели это ускользнуло от нас, не интересуя? Да нет, позвольте! Вот я отлично помню и такое: на перекрестке широких улиц стоит монументальный, по величию богоподобный шуцман, в черной форме (длинные брюки! не шароварами в сапоги!) с каской с золотым шпилем – как у Бисмарка! – и с сознанием своего достоинства и важности, артистически плавно дирижирует, лишь легким манием руки, движением людей и экипажей. Он настолько не похож на наших городовых, неказистых, некрасивых, с их дворницкой бляхой, с шашкой, свободно болтающейся на ремне через плечо, с широкими, криво свисающими шароварами в сапоги, что глядя на шуцмана мы начисто забывали, что этот переодетый Зевс или Арес был представителем самого совершенного в мире полицейского государственного режима. Мы любовались не шуцманом-городовым, а ожившим монументом, и еще – красивостью движенья и изумляющим спокойствием размеренностей.

* * *

Когда наш заиндевелый поезд, в клубах пара, дыма и морозного тумана, обагренных огнем топки, как какой-то дракон, Фафнер из Вагнеровых опер, медленно вползал в громадный стеклянный колпак вокзала, с тяжким морозным скрипом колес – становилось уже сумеречно. Кое-где зажигались фонари, и их мертвенный желто-зеленый свет, казалось, еще более охлаждал морозный воздух.

Высаженные на перрон, тепло одетые, в ботиках и башлыках, мы не страдали от мороза и могли вволю глазеть на все новое, что нас тут встречало. Только что оставили мы наши вокзалы, как близнецы похожие друг на друга своими всегдашними пыльными пальмами, толстыми, дородными швейцарами при дверях и тем постоянным, непонятным, но обязательным запахом

древности, устоявшейся пыли и затхлости многолюдья. Тут – все было новое и интересное. Неожиданно неподалеку раздался мелодичный перезвон колокольцев, конечно, привлекший наше внимание: на наших изумленных глазах часть асфальтового дебаркадера вдруг расселась на две створки, подобные обычным нашим подъемным дверкам дачных погребов.

Пока позванивали колокольцы, створки стали как-то приподниматься, точно их кто-то снизу расталкивал и выпирал. Из образовавшейся и расширяющейся щели медленно стали высовываться, поднимаясь, трубчатые стрельчатые арки; они постепенно выдвигались все выше, разводя собою в стороны и поднимая створки погреба. Когда же арки вышли наружу и выставились своими вертикальными опорами, так же вертикально, облокотясь о них, встали и створки, открыв прямоугольную дыру, из которой выползала подъемная площадка со стоящей на ней багажной тележкой со своим грузом. Когда подъемник сравнялся с плоскостью дебаркадера, тележку быстро скатили на твердую почву, а подъемник тотчас же стал уходить вниз, потянув за собою и арки и створки, пока все не оказалось на своих старых местах. Тут замолкли и колокольцы, отслужив свою службу предупреждения.

Ныне подъемником – кого удивишь? Но в те годы зрелище, впервые увиденное нами на вокзале Берлина, вызвало в нас, естественно, бурный восторг! Как только раздавался мелодичный перезвон, нам уже знакомый, мы снова и снова жадно глядели на развитие спектакля.

Наконец все дела взрослых завершились, и нас повели по широкой лестнице вниз, к выходу в город. Тут нас ждали кем-то уже заказанные берлинские небольшие каретки в одну лошадь, в кривых оглоблях, но без дуги. Увы, и тут, как назло, окна были затянуты инеем, мы ехали невесть куда, по чудесной глади асфальтовой мостовой. Прибыв куда-то, высадившись на тротуар, мы оказались перед дверьми гостиницы с гордым – по вывеске – названием – "Fürst von Bismark Hotel", а ниже, под этим значилось: "Am Knie".

"Am Knie", как мы уже потом узнали, называлась развилка улиц, веером с этого угла расходящихся. Гостиница занимала весь угловой участок.

Нас поместили на каком-то из верхних этажей, в трех смежных номерах. В комнатах было холодно, что ощутили даже мы, северяне, родня белым медведям. Но оба нас обслуживавших коридорных, тут их называли "пикколо", хотя оба были верзилами, уверяли нас, что нам поставят дополнительные печки. Нас удивило, как это можно ставить печки без труб? Многое, что нас тут встретило, вроде перин вместо одеял и перин вместо матраца, или деревянных ящиков на ножках вместо кроватей – и т. д., было нам знакомо и по сказкам, и по картинкам, и по карикатурам в немецких же юмористических журналах и удивленья не вызывало. Но к массовому распространению светильного газа мы тогда подготовлены не были. Поэтому, когда обещанная "печка" была водворена в комнату, присоединена к системе, спичкой подожжена, и легкий язычок пламени, как-то вздохнув, змейкой побежал кверху, между каких-то трубок, мы в глубокой оторопи, в один голос, хором закри-

чали: "Вот так печка! Разве это печка?!" – но оба "пикколи", усмехнувшись и переглядываясь, выбежали из комнаты.

Запах зажигаемого газа! Как многое он мне и сейчас еще напоминает и говорит из далекого прошлого! Меня с рожденья постоянно преследовали запахи, с них ведь все и начиналось! Видимости, как следствия, но не как причины, шли постоянно по пятам запахов. Сначала – приторно-тошноватый запах газа; затем – огневая вспышка. И уж после всего – свисающие под лампой латунные цепочки, прикрепленные к подобию коромысла весов; цепочки кончались латунными же плоскими штампованными кольцами, с выписанными на них буквами "A" и "Z", как альфа и омега существования. Дернешь за "A" – и через секунду газ зажигается сам собою, без спички; потянешь за "Z", и все моментально гаснет. Так во всем: сначала запах привлекает внимание, а уже после, видимое – разъясняет.

* * *

Наше пребывание в Берлине для меня лично было чем-то бо́льшим, нежели только жизнь в новых условиях, в новом государстве, в новом укладе. Это пребывание означило для меня целый отрезок жизни, новый во всех смыслах, которым началось и новое мое отношение с братом. Периоды, когда его возрастное трехгодичное преимущество, которым он, впрочем, никогда не пользовался и не злоупотреблял, почти вовсе стиралось, бывали часты еще в Москве; тогда мы становились по общим играм, общим знакомым детям, по общим интересам и, главное, по общим к нам отношениям, как бы и равными. Но и до Берлина бывало, особенно, когда он стал музицировать, что его старшинство, обозначив себя серьезными занятиями, всплывало, к большому несчастью для меня.

А тут, в Берлине, брат мой впервые стал "старшим" и совсем не по возрастному трехлетию, а по какой-то новой, и скорее моральной, координации; по новому, еще никак не высказанному, не обозначенному качеству: вернее *степенью* своей возмужалости. Было очевидно, что этому новому периоду "старшего" и "младшего" конца больше не будет, что никогда уже не вернутся дни, когда стиралось трехлетнее различие и мы становились чуть ли не однолетками. Как это произошло – не знаю. Но в какой-то день – он стал таковым. В поезде, который привез нас в Германию, в отеле Бисмарка – он еще был мне ровней. Началом этому, возможно, послужило время, когда он вдруг снова стал заниматься музыкой, теперь уж серьезно, как взрослый, чего еще не было в Москве. Но об этом ниже и дальше.

Я не могу припомнить, как долго держались морозы и как они закончились. Я не помню, как долго жили мы в гостинице, как, когда и почему попали мы в пансион премилой особы, по фамилии Гебхарди. Пансион был невелик, это была одна многокомнатная квартира, населенная разными людьми, приехавшими на срок из разных стран, по делам, в Берлин. Все говорили бегло и хорошо по-немецки, это был обычный застольный язык. Исключением

был студент не то из Бирмы, не то из Кореи, который очень уж коверкал язык. Бывало, он всех смущал, прося за ужином молока, называя его "Ochesenmilech", чем приводил в крайнее смущение горничную. Fräulein Gebhardi, как ее все величали, понимая, что бирманец в мыслях не имел вгонять в краску бедную девушку, всегда ее выручала, отводя разговор в сторону.

В пансионе мы занимали вначале три комнаты. Вскоре выяснилось, что такая роскошь отцу не по карману. По совету Frl. Gebhardi, которая приняла большое участие в делах семьи, для нас, мальчиков, была снята небольшая комната в том же доме, но с переулка, в первом этаже, позади фруктового магазинчика в одну витрину; очевидно, доходы от торговли были не блестящи, и владелице магазина, вдове – фамилию не помню – так как все обращались к ней, как к Frau Witwe, вдове приходилось для баланса сдавать одну из двух жилых при магазине комнат. Вот тут мы и прожили с братом все наше берлинское время жизни.

В память Диккенсова романа "Лавка древностей" мы прозвали этот магазин фруктов – "лавкой пряностей". С Диккенсом ее сближало и то, что наша "лавка" сочетала бедность с честью, благородством и необычайной чистотой. Фоном ко всему служил прозрачный и легкий аромат пряностей, корицы, ванили, перца или фиников, груш, винограда и даже ананаса, выставленного в окне.

Сама Frau Witwe была властна, спокойна, но и сентиментальна. У нее были две ею обожаемые дочки. Старшая, лет пятнадцати, неплохо играла на очень уж разбитом пианино; младшая – ей было, вероятно, около одиннадцати – была как-то не заметна.

Вот в этой милой "лавке пряностей" и пошла наша новая, самостоятельная, на отлете, жизнь в парадизе, то есть раю, имея в виду характер лавки. Ведь на вывеске лаконично значилось "Obst und Südfrüchte". Эти Südfrüchte и были истоками рая, спустившегося на Kurfürstenstrasse.

Южные плоды! Южные пальмы!

И возникали видения Колумбов, Марков Поло, всяких пиратов и тех, кто был помешан на зовах Востока, обеих Индий, экзотики юга и пряностей, за обладание которыми гибли корабли и люди, лилась кровь, гремели кандалы и цепи; здесь – на яву – лежали громадные, волосатые кокосы, безволосые, гладкие орехи с голову ребенка величиной, висели громадными гроздьями золотистые бананы; отовсюду текло благоухание вином отдающих фиг – и еще более тонкого букета из ящиков с ванилью, с корицей, с кофе. Конечно, сказать, что названное было нам обоим неведомо и невиданно новым – невозможно. Но в таком постоянном и близком, рядом, общении с дарами Востока мы, естественно, были в первейший и – теперь ясно – в последний раз нашей жизни.

Апельсины, мандарины и даже ананасы были нам уже и раньше, в Москве, знакомы, не скрою. Ананасы – за стеклом витрины Елисеева на Тверской. Апельсины и мандарины – как праздничные дары, а не обиходная еда, как везде – сейчас. В те времена средний класс интеллигенции, врачи, преподава-

тели, люди так называемых "свободных профессий", чаще всего свободные от лишних денег, не позволяли себе особой роскоши. Елисеев был не их придворным поставщиком. На елку, правда, покупались даже и заморские орехи – теперь их не бывает в Москве – разных форм и вкуса, их покрывали, как елочное украшение, золотой фольгой, но, скажем, манго, которым сейчас лакомятся иной раз москвичи, тогда было нам знакомо только из литературы, скажем, по "очеркам кругосветного плавания" – по "Фрегату Паллады". "Аппль!" Вандика и манго Фаддеева с первого же раза запомнились навсегда. К Елисееву мы попадали в году раза два, три – не более: делать там нам было нечего. Поэтому совершенно ясно, какое сильное – грандиозное! – впечатление должно было произвести на меня, хотя и тринадцатилетнего, существование в среде осязаемой, обоняемой и зримой подлинной природы Востока; в лавке она оказалась под рукой – либо в пристенных шкапах, либо в ящиках под прилавками, или декорацией окна-витрины. Все, о чем читалось в волнении с горящими ушами, запоем, все – здесь в лавке! Все пахнет чудом и истиной, неповторимой историей и природой, пышной, сочной и опасной. В этой лавке, не часто посещаемой, стояла, в полном соответствии с ароматами, тишина и безмолвие необитаемого острова. Одно единственное окно не ярко освещало помещение: и в этом ощущался как бы полусумрак девственного леса, заросшего лианами, орхидеями, ядовитыми, дурманящими и убивающими...

Такое видение первого дня – не покидало меня во все время нашего там прожития.

Похоже было, что внешний образ жизни Берлина, сутолока, гам, бурный ритм улиц и постоянная нервозная спешка – сюда не допускались, точно на двери висела надпись – вход для них "строго воспрещен". Жизнь в "лавке пряностей" была так чудесно великолепна, как никогда и нигде более в жизни нам не перепадало. Долгое время, даже и после возвращения в Москву, мы с благодарностью поминали ее добром.

Когда раздавался слабый звон открываемой двери, человек, входящий с улицы, сразу же попадал в успокоительную ауру особого мира. Сюда входящий испытывал полное отпущение всякой смути. Весь антураж лавки располагал к успокоению духа и к вере в ближнего.

Вскоре мы должны были приметить, что к постоянству ароматов, звуков и покоя присоединялось и постоянство лиц, посещавших лавку; бывали, конечно, случайные покупатели, но мимолетностью захода, покупки и исчезновения навсегда – они не зачислялись в состав рая. Тех, кто своим постоянством как бы становился живым придатком к товарам лавки – было не много; в наших представлениях они вскоре заняли свои прочные места, да и сами они стали хорошо знать "этих русских детей".

На мой тогдашний взгляд барышни Frau Witwe были также прямой принадлежностью лавки. Мой брат, который уже порядочное время не прикасался к роялю и изнывал без музыки, был очень обрадован, услыхав как-то за перегородкой звуки инструмента, правда, сильно разбитого и расстроенного,

на котором заиграла старшая дочь. Очень скоро брат предложил Frau Witwe безвозмездно давать дочери уроки, по теории музыки, за право самому играть на пианино; разрешение вдовы было получено, и тут для брата началась совсем прекрасная жизнь. Он стал посвящать ученицу в тайны музыки, задавая ей, как он сам говорил, "легкие задачки"; пианино вскоре было настроено, звук его был неплохой, и брат оживал, когда приходило время ему самому играть и импровизировать. К сожалению, он играл, как и сам признался в "Охранной грамоте", не ахти как хорошо, и упражняться в технике – терпеть не мог. Он любил, когда знал, что никто его не слушает, – импровизировать, это была его стихия. Сочетание инструмента, музыки, молодости, равных лет и интимности занятий легко могло стать новым вариантом старой идиллии Абеляра, однако ни учитель, ни ученица этой дорогой не пошли.

На мою долю выпали иные заботы. Я должен был заниматься латынью и математикой, чтобы к возвращению в московскую гимназию не перезабыть всего, ею с трудом в меня вложенного. Занятиями ведал приглашенный репетитором русский эмигрант-студент, с черной шевелюрой и усами, с фамилией подстать – Майбардюк! И то и другое шло с трудом и страхом – далеко не гладко.

Иной и куда более приятной мне заботой было – по временам – замещение вдовы за прилавком, когда ей приходилось отлучаться. Малая посещаемость лавки, что всегда огорчало Frau Witwe, меня не беспокоила, малая же сложность торговли – не затрудняла; потому чаще всего, сидя за прилавком и вдыхая ароматы Востока, я на крыльях фантазии, как говорилось, отлетал туда же или с упоением читал русские книжки, попадавшие мне в руки.

* * *

В берлинский период жизни брат мой окончательно был покорен музыкой Вагнера. Уже в Москве он Вагнером увлекался. С некоторых пор, когда уяснилось, что будущим брата будет музыка и деятельность композитора, ему стали дарить ноты. В его шкапу красовались, в красивых изданиях, в красивых с золотом переплетах клавиры некоторых опер Вагнера. Но не столько брат, сколько наша мать, часто и помногу, проигрывала отрывки из них, так что многое из Вагнеровых опер стало мне хорошо знакомым.

Брат играл мало, предпочитая импровизировать и что-то свое сочинять, видя себя в будущем не исполнителем, а именно композитором. Потому, не думая вовсе о развитии техники игры, он ею абсолютно не владел. Года за два до Берлина он начал брать серьезные уроки теории и гармонии у известного в Москве музыкального критика, теоретика и композитора Ю.Д.Энгеля.

Тут я врываюсь в область, описанную самим братом в его "Автобиографии". Брат, однако, ни словом не обмолвился о музыке в его жизни в Берлине; потому, вероятно, что будучи уже признанным писателем, давным-давно порвав все связи с музыкой, перестал придавать ей какое-либо серьезное

значение в воспоминаниях, не считая эту область своего прошлого заслуживающей внимания. Мне придется восстановить и восполнить им упущенное.

Ю.Д.Энгель, человек мягкий, бесконечной доброты, нежности и товарищеского компанейства – был крайне требователен в работе, в творчестве, даже суров, придирчив и скуп на признания. Его похвалы – в его критических заметках – потому особо и ценились и означали – для тех, кого он не бранил, – очень многое, им не высказанное. Для Ю.Д. занятия, с кем бы то ни было, означали и труд, и подвижничество, и счастье удовлетворения. Никогда занятия не спадали до диллетантизма и развлечения. Это требовало пота и энергии. В занятиях брата именно этим все и было. Я не раз заставал его в большом возбуждении, раздражении и полном расстройстве за нотной бумагой, вдоль и поперек исписанной, исчерканной. Наша московская тогдашняя, в Училище, комната была велика и для двоих нас. Но в такие вот минуты она становилась тесной даже ему одному; бегая из угла в угол, он заполнял ее всю; что-то напевая, будто даже дирижируя, он то присаживался, то снова вскакивал, в озлоблении, со мною не говоря – будто меня в комнате и совсем не было. Так бывало, и не раз. Но каково было радостно обоим нам, когда, возвращаясь от Ю.Д. в хорошем настроении, он мог сказать мне, что ему удалось сочинить такую фугу, что даже Ю.Д. ее не очень чиркал красным своим карандашом! Это было равновелико похвале.

Еще в Москве я стал слышать, все чаще, имя немецкого теоретика музыки Римана, толстый том которого брат приносил от Ю.Д. Когда же Энгель узнал о поездке нашей в Германию, он посоветовал, то есть просто поручил брату приобрести в Берлине такой же том теории и задачник к нему Римана, с тем, что они будут оба пользоваться этими книгами и пересылать друг другу – то номера задач, то исправления братниных решений. Теперь такой метод занятий широко распространен, и заочное обучение имеет большой успех.

Так, обзаведясь в Берлине Риманом, брат стал методически им заниматься, и переписка с Ю.Д. шла теперь полным ходом и очень регулярно. С этих пор в разговорах брата стали звучать новые и нам не всегда понятные слова, вроде "тоника", "доминанта", "контрапункт", или еще хуже – "цифрованный бас", или уж совсем странное, идущее чуть ли не от времен органа св. Цецилии словечко "континуо"; этим "континуо" брат приводил меня в совершенное ничтожество.

Все свои новые познания он и применял и проверял на своей ученице. Из таких занятий с ней он извлекал немалую пользу для самого себя. Задавая "легкие задачки", какие она не всегда могла сама решить, и дело у нее не шло, брат тут же, испытывая собственные знания, умения и силу, разрешал, иной раз даже устанавливал и объявлял ей, как, в стиле какого композитора, Баха или Бетховена, или даже Шопена или Листа он задачу закончит и чем разрешит – и, гляди-ка! – действительно конец звучал именно Бахом или Листом, и этим приводил в полную оторопь оробевшую девицу. Все это я слышал, сидя в нашей комнатке за перегородкой. В занятиях этих брат следовал каким-то приемам, может быть заимствованным, а может быть и по-

ставленным, в качестве задач, самим Ю.Д.Энгелем. Такие упражнения были для меня в те времена неожиданно новыми. Но сейчас мне вспоминается, как молодой, очень одаренный ученик Консерватории, Исай Добровейн, правда уже гораздо позже, блестяще и талантливо развивал любую заданную тему в целое сочинение, так же заданное наперед кем-нибудь – ”под Баха” или ”под Вагнера” и т. д. В кругу ближайших друзей именовавшийся запросто ”Зайка” (вероятно, испорченное ”Исайка”), – он однажды по моей просьбе проиграл целый хорал Баха на тему – смешно сказать! – ”чижика”. Тут, конечно, было переплетение серьезности и озорства, но всех он привел в дикий восторг. Это было уже в 1910 году; Добровейн был настоящим, еще молодым, но уже подлинно крупным музыкантом и композитором; о нем следовало бы написать целую книгу!

Я выше сказал, что в Берлине мой брат, по отношению ко мне, стал неоспоримо ”старшим”. Повинна в этом была, конечно, музыка, которая подняла его на уровень подлинно взрослых людей. В какой-то мере он, по отношению ко мне, стал в лавке пряностей даже ”опекающим”, проводя опеку деликатно и незаметно. Наши интересы стали расходиться. Я видел и понимал, что брат безмерно вырвался вперед. Я понял, что настало мне время подтягиваться и догонять брата, а не ему, снисходя, опускаться до моего уровня. Не всегда удачно и не всегда ”впопад” я пытался выполнять эту труднейшую задачу. Общий какой-то перелом между детством и не-детством начался для меня в это время и именно в этой лавке.

* * *

В Берлине брат стал часто и серьезно посещать концерты, в основном – симфонические. К струнным инструментам, не только в сольном исполнении, но и в камерной музыке он всегда был как-то холодно настроен, считая струнные только принадлежностью и частью оркестра. Рояль он принимал только в его чистом, сольном исполнении и как соло в концерте, для фортепьяно написанном; совместные сосуществования инструментов – в сонатах, трио, даже квинтетах, брата не трогали; камерная музыка почему-то тогда его не увлекала.

Музыкальное развитие брата в это время шло стремительно вперед и определяло собою все его тогдашние интересы. Это сказывалось, и довольно откровенно, на всем, что касалось его личной жизни и характера его существования. После возвращения в Москву это еще более закреплялось и выражалось открыто, как прочная основа всей его будущей жизни и композиторской деятельности.

Посещая берлинские концерты, брат брал с собою, ”для музыкального развития”, свою ученицу или меня. Я с наслаждением ходил с ним; музыку я вообще любил и, кажется, как-то по-своему понимал, но с братом мне приятно было ее слушать, он часто мне что-либо попутное разъяснял или рассказывал. Обычно мы ходили на утренние удешевленные концерты филармоничес-

кого общества. Программы "утренников" не уступали в серьезности вечерним концертам, солисты и дирижеры были столь же первоклассны, как и там; различие составлялось лишь самой публикой, вечерние концерты привлекали более солидную, денежную и кичливую публику, вроде "сливок" общества. Утренники собирали молодежь, может быть более чутко и серьезно относившуюся к самой музыке, что несомненно передавалось и всем другим посетителям утренних программ.

На утренниках нам выпадало счастье слышать многих выдающихся музыкантов, еще в дни их расцвета, и даже более молодых. Из дирижеров чаще выступали Никиш, Менгельберг, молодой Фуртвенглер, Вальтер. Здесь слушали мы и Годовского и Шнабеля. Как-то, проездом, выступал Изаи. В программах давались симфонии и концерты Бетховена, Брамса, часто – Вагнеровы увертюры и симфонические поэмы Рих.Штрауса. И все это стояло на уровне первого класса. Но именно потому, что музыкальная сторона была первоклассна, одна незначительная черта утренников нас поначалу как-то возмущала, шокировала и поражала возможной своей профанацией серьезности происходящего: в торце – или карманом сбоку, сейчас не припомню – в зал открывался небольших размеров буфет, ресторанчик, где можно было получить кружку пива и порцию горячих сосисок. В зальце были установлены небольшие столики на четверых, но обычно садились по двое, чтобы видеть происходящее на эстраде. Сидящие за столиками одновременно слушали музыку и предавались чревоугодию, что нас возмущало своим бесстыдством! Музыке же это не мешало. Все, пьющие и едящие, слушали музыку не менее нас сосредоточенно, внимательно и тихо. Кельнеры так же тихо, точно по толстому ковру, бесшумно ходили от столика к столику, столь же артистично, как если бы и сами были частью музыки, подаваемой сюда с эстрады. Все тут, за едой и питьем, было так же бесшумно и причастно музыке, как бесшумен был сам дирижер и оркестранты; шумела же *только музыка,* заполнявшая собой и общий зал, и хоры, и ресторанчик, и сердца всех, кто где и как сидел на этом утреннике.

Пиво и сосиски слушать нисколько не мешали. Сидящие за столиками не разговаривали, не шутили, кельнеры не спрашивали, внимательно глядя в глаза и отлично понимая, что требуется, ни разу не ошибившись. Принося нужное, они ставили посуду так, как будто мраморные доски столиков превращались в слой ваты, а фарфор тарелки или толщенное стекло пивной кружки – в пуховую подстилку. Сидящие за столиками, возможно, даже серьезнее сидящих в партере вникали в ход исполнения с нескрываемым знанием исполняемого и с ухватками профессионалов. Они ели и пили с естественно и бессознательно выраженным – на лице и в фигуре – удовлетворением признания или – поднятием брови, жестом руки, внезапно поднятой – осуждением или удивлением новой трактовкой; глоток пива при этом не оказывался помехой дальнейшему. Так, все это наблюдая и к тому привыкая, мы стали в этом видеть не дурной тон панибратства, а братство простое и чистое, в котором сама музыка участвовала в их скромном завтраке и им

даже подмигивала в особых своих переходах, вроде: ”Каково? А?” или ”Здорово!”, и дальше шла своей дорогой.

Ранее нас возмущавшая несовместимость одного с другим, духовного с гастрономией, стала таять и исчезать; в конце концов мы сами стали присаживаться к столикам, не изменяя нисколько нашим чувствам к музыке. Закусывая и запивая – мы не меньше восторгались, чем ранее, сидя на хорах, стоя на галерке или вольготничая в партере. С былым восхищением слушали мы и теперь, забывая о пиве и сосисках перед нами, Бетховенскую, скажем, грозу, с громом, молнией, пролетавшей через оркестр скачущими триолями, с шумом дождя в контрабасах и виолончелях, или с пастушескими свирелями, после успокоения природы – или же частую у Бетховена гигантомахию, всегда разрешающую себя в ”лэндлере”, т. е. в умилении радости и покоя доброй жизни. С тем же, что и раньше, чувством подъема и восторга слушали мы, глядя на клубящуюся пену пива, романтические завихрения Вагнеровых чудовищ или скачущих по залу и доскакивающих до наших столиков валькирий, этих девиц на конях, кричащих пронзительно и ненатурально, но что поделать? Ведь земной певице немыслимо красиво и правдоподобно передать своим ограниченным голосом вопли и выкрики неправдоподобий, летающих будто бы по воздуху и выражающих в этих кратких, нарубленных, громовых криках свою нечеловеческую силу и радость бытия.

Теперь и мы, уже привычно, в слиянии музыки и еды, прислушивались к появлению – в раскатах смеха, прыгающего по всем линейкам нот партитуры, или в тихом шопоте заговорщика – к появлению шалопая, шарлатана или ярмарочного фокусника – вышагивающего вдруг, одним шагом, гогоча над разинями, всю базарную площадь, а там и весь зал – бурей пронесшегося над ошеломленным партером, никому не видного, но явно среди нас разгуливающего фигляра и вертопраха – Тиля Эйленшпигеля.

На этих утренниках я услышал много и новой для меня музыки и новых исполнителей. Совершенно понятно и естественно, что влияние идей брата на мое восприятие имело громадное значение. Он вводил меня в современную музыку с простотой и естественностью бывалого уже там человека: он, как старший, знакомил меня с нею, как со своей старой знакомой, протежируя робкому незнакомцу.

Единственно кого мы тут не слушали – был Бах. С музыкой Баха началось ощущение детства. Как воздух невозбранно входил в мои еще слабые легкие, что-то окисляя в физиологическом естестве без моего в том участия, так музыка Баха, в исполнении на рояли моей матери, входила, также без моего участия, чуть ли не с рождения, в мое еще не работающее сознание, как какая-то духовная сущность моего естества. И пока только рояль был этим духовным передатчиком, я, собственно, баховской музыки не слыхал и не знал еще.

Здесь, в Берлине, брат стал ходить со мною по воскресениям в неподалеку от нас находящуюся соборную церковь с необычайно готическим названием ”Gedächtniskirche”. Церковь эта, не бог весть какой архитектуры, сла-

вилась своим великолепным органом и акустикой. Органист был талантлив и высокой музыкальной культуры. Позже, освоившись уже с обычаями этой церкви, мы захаживали туда иной раз и в будни, в часы, когда не было службы и посетителей, когда органист, как у себя дома, упражнялся на органе, разбирал что-нибудь новое или проигрывал какие-нибудь отдельные мелодии Баха, то в одном, то в другом толковании их.

Кульминации в исполнении Баха он достигал обычно ко времени конца служб, к разъезду. Тогда Бах, как бы разгорячась в обращении к владыке мира, достигал, в строптивости своей, почти что крика, и музыка, сотрясая стены, не вмещаясь более в ими ограниченное пространство, раздвигала их, как глубокий вздох раздвигает грудную клетку. Орган и Бах, оба вместе, нагнетая все больше звучание, уплотняли вдвоем среду уже настолько, что мы, потеряв свою земную весомость, начинали ощущать себя взвешенными в плотность звуков, в духовном парении. Казалось, что все вокруг исчезало в общей бесконечности мира, нас же что-то мощными объятиями держит и поддерживает в этом могучем гудении органных басов.

Взяв, наконец, последние аккорды, уже вне мыслимой земной силы, орган внезапно и отрывисто смолкал, вслушиваясь в обратную отдачу своего звучания стенами, витражами и сводами вдруг возродившейся церкви. Обессиленные, мы уходили последними, в удивлении, что дома и улица еще существуют; медленно уходили мы домой, в полном молчании.

Понятно теперь, почему я сказал, что здесь – и впервые – я услыхал, в деле, существо и энергию Баховской музыки. Как некоторую странность, отмечу, что мне часто впоследствии приходилось выслушивать, что у меня нет ни музыкального слуха, ни музыкального понимания... Честно, однако, могу сказать, что наиболее искренне и просто из всего, что зовется искусством, более всего я люблю именно музыку.

* * *

"Besser wie du".

Фраза лаконична и звук лаконичен и хлесток, как удар бичом. На тогдашний слух наш фраза казалась не совсем правильной, мы сказали бы – "Besser als du" – но в таком виде она тут же утратила бы скорость выпада. Она была произнесена лет шестьдесят с лишком назад, но свист рапиры я слышу еще и по сей час.

Фраза и эпизод, ее родивший, одинаково были ничтожны. Однако реакция на них означала очень многое. Чтобы правильно оценить ее значение и смысл, надо вернуть себя к раннему нашему детству. Ведь уже и тогда брат ставил меня – и не редко – втупик непонятным своим поведением; даже взрослые, не понимая его, говорили о странных выходках, о чудачествах и сумасбродствах брата. Во всех его детских играх, в забавах и шалостях со своими сверстниками – друзьями и полу-знакомыми детьми, он обязательно – именно так – должен был занимать первенствующее положенье; он и

становился обычно "главой дела", вожаком. Ничего особенного в этом не было, стремление к превосходству, к первенству естественно и понятно среди детворы – cosi fan tutti – и выделялся он, быть может, только тем, что достигал своего без больших усилий; ему все легко давалось, и считалось, что ему во всем "чертовски везло". Отличающим же и притом разительно, было то, *как* он реагировал и поступал в случаях неудач, осечек, провалов, и с ним иной раз бывавших. Ежели не он, а кто-либо другой добивался превосходства, выходил на первое место, оставляя брата за собою, на вторых ролях, реакция брата была поистине – страшна. Но страшна она была не ожидаемой, вполне понятной и естественной бурей негодования и гнева или резким взрывом страсти отмщения, а совершенно неожиданной – тишиной смятения! Он мгновенно впадал в неизъяснимый мрак подавленности, в глубокую депрессию, исчезал молча, не говоря ни с кем и не объясняясь.

Непонятность таких реакций пугала взрослых, вызывая упомянутые оценки. Я в те времена, конечно, ничего не понимал и брата жалел. Как я теперь полагаю, суть их заключалась в желании скрыть от всех столкновения его душевных эмоций. Горячий его темперамент и большая его одаренность – ко всему и во всем – играли большую роль в том, что ему, как я сказал, все давалось и удавалось легко и без труда. Все создавало и упрочивало в нем глубокую веру в свои силы, возможности и некую будто бы предопределенность. Вот это было действующими силами его поступков и переживаний. Не иной кто, а он сам, впоследствии, уже признанным писателем, скажет – в "Автобиографии" – что он "...с малых лет был склонен к мистике и суеверию... и охвачен тягой к провиденциальному..." и что не прямые, а "...мнимые причины, гадание на случайностях, ожидание знаков и указаний свыше..." были, как он считал тогда, виною и причиной его бедствий и неудач. В отсутствии абсолютного у него слуха он "видел доказательство того, что моя музыка была неугодна судьбе и небу...". Так писал он о своем разрыве с музыкой. Но при соблюдении, как французы говорят, всех пропорций и нужных соотношений, слова его записей приложимы вполне к неудачам и провалам, постигавшим его в раннем еще детстве. Не воспринимал ли он, уже и тогда, свои ребячьи поражения и неудачи не как случайные явления, а именно как указание свыше на "неугодность судьбе и небу"? Только такими представлениями о "неугодности" и можно объяснять его смятение духа; в такие ведь моменты *поражалась его вера в себя*, в свои силы; они оказывались, поколебленные свыше – даже и несостоятельными!

Я могу предположить и то, что им самим неосознанные, но нужные самопроверки, как подсознательно возникавшие регуляции, играли значительную роль во многих поступках и проявлениях, вызывавших тогда упомянутые выше порицания и оценки. Наиболее убеждающий в этом пример – его эскапада лета 1903 года, когда он с непонятным никому упорством, приведшим к катастрофе, увязался в "ночное" с деревенской кавалькадой. Характерным во всех таких случаях было и то, что игры, даже наиболее им любимые, постоянные в его обиходе, после таких неудач и провалов начисто и навсегда

им изгонялись и к ним он более не возвращался, точно и тут он их от себя отсекал и "вырывал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным".

Так, в свое время, он отказался от филателистического своего увлечения, почувствовав себя уличенным в "слабости". Так было и с одной из его любимых игр, я о ней уже рассказывал (морской бой двух эскадр), особенностью которой было то, что она требовала вдумчивости, изобретательности и полна была разных уловок. Как-то случилось, что брат прозевал засаду и был разбит противником в пух и прах! Он безнадежно проиграл кампанию. Не говоря ни слова, явно мрачнея, сложил он в кучу остатки флота, поднялся с пола и медленно ушел из комнаты.

Ни кораблей, ни карты, ни вообще этой игры я в нашем доме больше не видал. Разрыв с игрой был обычен – моментален и решителен. Таким же манером – категорично и разом – пресекалось и более никогда не возобновлялось все, кончавшее себя личной неудачей брата. Однообразие неожиданных концовок было столь постоянным, что нет смысла и нужды умножать примеры: все было на одно лицо.

Живя еще в пансионе Гебхарди, ощущая наши промахи в немецкой речи, в построении фраз, в произношении, в той общей характерности, сразу выдающей чужестранца, как бы бегло и гладко он ни говорил на чуждом ему языке, брат, естественно, страдал от предполагаемого к нам презрения – которого, кстати сказать, вовсе и не было – и снисходящей терпимости к неполноценным чужакам. Вот эта кажущаяся ему терпимость немцев к нашему московско-прибалтийскому общему духу говора "по-немецки", к "этим москвичам", терзала брата едва ли не физически.

Именно из-за этого страдания брат с первых же дней нашей жизни в Германии поставил себе целью и задачей добиться полной идентичности с немцами, вернее с той разновидностью немцев, которая называлась даже самими немцами "германцы", имея в виду особый жаргон и особые ухватки истых берлинцев. Не нам было судить, насколько он с ними сравнялся: на наше ухо и глаз он добился очень многого – мы переставали отмечать бывшее различие. После переезда в "лавку" и более тесного общения с простыми людьми берлинского общества дело пошло еще быстрее на должный лад.

Однажды, в прекрасное, теплое и солнечное утро зимы, повернувшей уже на весну, мы вдвоем вышли на обычную прогулку, в самом благодушном и радостном настроении: да и было отчего!

Раннее утро. Наш переулок почти безлюден, подметен, чист. Асфальтовая тропинка между поблескивающими на солнце квадратиками разноцветного, как бы натертого ходьбою камня, выложенного на широком тротуаре по лекальному рисунку, выделялась серой своей матовостью и казалась муаровой лентой на глянцевой чешуе панцыря. Вдали показался приближавшийся к нам мальчик. Он, видно, так же как и мы, наслаждался чудным утром, и тишиной переулка, и полной своей свободой. Издали еще слышно было, что он насвистывал что-то бодрое и веселое.

Мой брат, возможно машинально, то есть о том не замышляя, но сверху

вниз, как старший, похвалил – истинно берлинским манером – мальчишку, когда он с нами поравнялся. Что брат сказал – не помню; верно, что-то вроде – ”здорово ты свистишь!”, но покровительственный тон старшего, может быть учуянный мальчишкой, или не совсем берлинский лад и акцент, и *желание изобразить* берлинца, вызвали в этом гамэне Берлина реакцию неожиданную и быструю: среди общей тишины, особенно вызывающе резко и кратко, прозвучало ”Besser wie du!”, и мальчишка умчался дальше.

Поражающий наповал такой выпад мы ощутили тотчас же; но прежде чем брат пришел в себя, гордого победой мальчишки и след простыл.

Полное затмение солнца было бы все же светлее, чем внезапно погрузившееся для брата в полный мрак солнечное утро. Он смолчал и молча шагал дальше. Малодушно молчал и я. Так, в двойном молчании шли мы дальше, хотя цель прогулки уже исчезла. Мы просто двигали ногами, не думая, куда и зачем идем. Наконец, устав, мы повернули домой.

С этого утра брат – как с ним всегда в таких случаях бывало – сразу перестал ”берлинничать”. Он больше не бросал, как бы невзначай, сквозь зубы, жаргонные словечки, не искажал своей речи каким-то гортанным звуком, как если бы его схватили за горло, не подражал буршам, в быстром сдергивании с головы кепки. Все это исчезло мгновенно, как не бывшее вовсе...

* * *

Книги, которыми зачитывался брат, с детства его, тут же прочитывались и мною, на три года раньше положенного. Беды в этом никакой не было, но и пользы – также: мой неподготовленный еще разум не вмещал всей сути и красоты текстов. Я не могу установить, когда же я, действительно, читал впервые Гамсуна, произведшего на меня большое впечатление, о чем в те дни мы с братом много говорили. Тут меня интересует не моя встреча с новым писателем, а – через нее – возвращение к моему брату.

Братом самим чтение Гамсуна, Белого, Пшебышевского – отнесено к 1903 году. В ”Автобиографии” брат отмечает: ”...гимназистом третьего или четвертого класса гимназии... я был отравлен новейшей литературой... бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшебышевским...” Указание отнесено к поездке на Рождественские каникулы в Петербург.

”Гимназистом третьего или четвертого класса” – тут ”или” неправильно поставлено: в четвертом классе на Рождестве брат лежал еще в гипсовом заключении, или, если нога его уже была вынута из каменного футляра, то вряд ли кто-либо пустил его в таком еще беспомощном состоянии в самостоятельную поездку. Следовательно, весь эпизод с поездкой, с театром Комиссаржевской и т. д. мог состояться *только* лишь в третьем, а не четвертом классе гимназии, то есть на Рождество 1902 года или под Новый год, в январе 1903 года. В это время мне было всего лишь девять лет. Трудно представить себе, что в эти годы, девятилетним, я читал Гамсуна, да еще делился с братом моими впечатлениями... Эти мои сомнения не имели бы никакого

значения и тем более – интереса, если бы не связывались с важным вопросом, когда же, действительно, брат был в Петербурге и когда он впервые стал "зачитываться и бредить" новейшей литературой.

Допустим, что брат в "Автобиографии" был более точен, чем я...

В Лавке нам отвели комнатку не великих размеров; кроме кроватей и небольшого столика, в ней находился большой комод, наполненный вещами Frau Witwe, умывальный столик и, в углу, большая, почти до потолка, круглая и заключенная в черный железный кожух печка, которую я топил небольшими кирпичиками прессованного торфа. Через восемь лет, на втором курсе Училища живописи и зодчества, проходя теорию отопления, я вновь встретился с такой печкой и тут впервые узнал ее техническое название – "утермарк". В нашей комнате, по ее тесноте, никакой иной утвари не было и быть уж не могло. Над комодом, которым мы не пользовались, висела небольшая настенная полка, для книг. Все, чем мы могли пользоваться из мебели в комнате, было на виду, вполне открыто. Никаких "потайных" мест, куда мы могли бы прятать что-либо, – не было: все, чем я или брат занимались, было друг другу хорошо известно, и никто из своей работы тайн не делал.

Вот почему я могу категорично и ответственно говорить, что новая страсть, которой было суждено отвоевать брата от музыки и тем изменить все его будущее, – родилась не тут и не в те времена. Я могу думать и допускать, что в это время и в этой комнате могли быть брошены семена нового будущего увлечения, да и то лишь к концу нашего там пребывания, ближе к весне; выражалось это столь неопределенно, случайно, что тогда на себя не обращало моего внимания, не настораживало и не удивляло. Тогда лишь – стали появляться на полке над комодом однотипные книжечки карманного типа "Universal-Verlag'a", в кирпично-коричневых обложках, дешевого массового издания немецкой и переводной литературы. С этого-то времени я и стал примечать, что брат начал увлекаться чтением немецких классиков – стихов, главным образом; не знаю, где он доставал русских поэтов – современников. Я не замечал, а мог бы, конечно, – стал ли он и сам писать в это время стихи. Нет, в это время он писал *только* нотные знаки! Тут были и учебные упражнения и попытки своих собственных композиторских работ. Главным арбитром этого времени был, конечно, он сам. В "Охранной грамоте" и в "Автобиографии" о зарождении здесь новой своей творческой линии он не упоминает ничего ровно, хотя о дебюте в области музыки, о "бренчании" он говорит, не скрываясь.

Сейчас, ретроспективно, предполагать, что уже тогда, в лавке, произошел этот перелом интересов – вполне допустимо. Но тогда, в дни нашей жизни там, даже появление книжек Universal-Verlag'a – ничего не говорило и не давало повода что-либо мне подозревать!

Судьба этих книжек была хотя и оригинальна, но для меня не нова: он их покупал, читал, зачитывался, прочитывал – и ставил на полку, покупая новую, следующую; и так шло далее. Но количество книжек как-то не увеличивалось – старые куда-то исчезали, на что брат не роптал и даже не обра-

щал никакого внимания, а, может быть, даже сам их отдавал ученице. Если бы не такая судьба их была, при отъезде из Берлина ему пришлось бы вывезти ящики книг!

Но брат никогда не был коллекционером и был чужд этому духу: "собирать" библиотеку было не в его характере.

"Коллекционером" он был однажды и то не надолго. Это было, когда детьми мы собирали марки. Но впоследствии я не могу припомнить его "собирателем": впрочем, в его характере были черты, нужные любому коллекционеру. Например, его гербарий, который он составлял как гимназическое задание: папка, в которой хранились большие белые листы фильтровальной бумаги с превосходно разложенными образцами кустов и веток кустарников, с определенными "по Ростовцеву" названиями – поражала своей внешней красотой и методикой дела. Я уже отмечал выше сбор палеонтологических находок во время гимназических экскурсий на обрывы Москвы-реки. Но все же это были эпизодические сборы. Коллекций же в настоящем смысле у него не было никаких и, по существу, он всегда был врагом этого дела. Комната его, уже в юности, поражала строгостью простоты и пустоты: стол, стул и полка для книг – никаких картин и украшений.

Таким он оставался во все – разные – периоды жизни, и иным я его никогда не видел.

С приближением тепла, солнца и весенней сухой погоды мы чаще стали уходить – почти на весь день – в рядом с нами находящийся парк – Тиргартен. Этот замечательный громадный зеленый остров среди шума города стал нашим весенним прибежищем. Он напоминал нам Сокольники. Ведь и там, уже в самом преддверии их, на знаменитом "кругу" с его деревянным курзалом ясно чувствовались свежесть и запахи хвойных "просек", в которых вдруг исчезало присутствие Москвы. Вот так и в Тиргартене пропадало ощущение городского окружения. Мы избегали многолюдья, тех широких аллей, где процветала высокая культура парковедения, где все было аккуратно расчищено, подметено, убрано и посыпано свежим, сыроватым, ярким песком. Здесь более всего паслись, вместе со своими детьми, няньки, гувернантки и разные их обожатели – у первых солдаты и шуцманы, у вторых – молодые, в котелках, люди. Мы же избирали другие островки, наиболее укромные, безлюдные, тихие и малоубранные. Вместо людей тут водились белки, они гонялись друг за другом, перелетая с ветки на ветку и не обращая на нас никакого внимания – и воробьи – в громадных количествах.

Здесь, сидя на скамейке, брат вытаскивал из кармана очередную книжку Universal-Verlag'a. Я знал – это была проза, которой он наслаждался, либо Гофмана, либо – он им зачитывался – Жана Поля: он говорил, что лучшей книги, чем его "Путевые записки Д-ра Катценбергера", он не читал еще. Даже уже в Москве, по приезде, он ухитрился достать в магазине Ланга на Петровке эту книжку, но в хорошем и дорогом издании, и подарил ее мне, возможно, в память наших тиргартенских прогулок, а также раздобыл там несколько томиков рассказов Гофмана, также на немецком языке. Он настолько

увлекался этими писателями, что первые свои новеллы, "Черта Апеллеса", например, или пропавшая еще в рукописи и более не возобновленная "Сказка о Карпе", были им написаны совершенно в характере немецкой романтики и бесконечного, неостановимого движения. Однако, впоследствии, брат самым категорическим образом отрицал этот стиль, так, как будто в эту область он никогда и не заглядывал.

2. Остров Рюген

Независимо от желаний людей всего мира и их настроений, время бежало предуказанными путями. Прошла зима, пришла весна, настало лето. В людях всего мира просыпалась мечта первобытства, смутные зовы к иной, внегородской жизни – в покое, среди природы, в горах или лесах, на морях или реках. Мерещились картины охоты, рыбной ловли, прогулок пешком или на лодке. Такие зовы к природе стали тревожить и родителей. Чужаки здесь, мы своего мнения не могли иметь. Выслушивались советы с разных сторон. Не было критерия, что чему предпочесть: чем стоянка на острове Рюген на Ostsee благоприятней такой же, на берегу Nordsee, открытой океану с приливами и отливами, – не было понятно. Но первая, более звучная – "Göhren auf Rügen" – превысила остальное, и вскоре мы оказались в поезде, несущемся в Штральзунд. По проспекту, ярко иллюстрированному, нас должны были переправить на остров в тех же вагонах, на пароме. В нашем представлении не укладывалось, как наши четыре больших пульмана, как какую-нибудь телегу или тарантас с лошадкой, сведут с берега на плот парома. Еще в пути по твердой земле мы с братом придумывали разные способы переправы. Мы не додумались, однако, до самого простого, что ожидало нас в порту Штральзунда. Наши пульманы, действительно, как таратайку, спихнули с берега на паром! – но он оказался палубой широкого и большого парохода специального устройства. Он, пока длилась процедура загрузки его составом поезда, накрепко и неподвижно был как бы продолжением железнодорожного пути – рельсовой колеи.

Ни до этого, ни после я не испытывал странного ощущения постановки "дома" – "на доме"; такое ощущение возникало, когда паром вышел в море: пароход – и поезд на нем. Сама процедура перевода состава с тверди земли на подвижное тело парома была проста и недолга: паровоз в конце состава толкал вагоны медленно и осторожно, точно нащупывая дорогу; на стыке рельсов – земных и палубных – тяжелые вагоны от неожиданности перехода вздрагивали грузно и резко.

Сидя на наших местах, мы видели из окон вагона сначала обычную черную от гари и масла щебенку, местами чахлую травку. Затем разом изменилась обстановка: плотно пригнанные друг к дружке узкие доски палубы, начисто отдраенной, ярко блещущей на солнце лаком белой своей покраски – резко отграничили твердь от зыбкости. Мы стояли уже на пароме. Тяжелые,

пыльные пульманы, как коричневые туши каких-то бизонов, громоздко застыли в отдыхе, вытянувшись в ряд, приарканенные наглухо к месту. Постепенно пассажиры покидали свои купэ и, осмелев, безбоязненно прогуливались по палубе, отдаляясь от своих вагонов, не опасаясь грозного оклика, как на обычных станционных платформах – Bitte einsteigen! Детвора, в их числе и мы, конечно, чувствовали себя героями и без обычных возгласов – Куда вы? Что вы затеяли? – лазили под вагоны, перелезали через рельсы, вылезая на другой борт, греясь на солнце и дыша свободно свежестью и запахом, столь нами любимым, морского воздуха. В сущности тут все расходилось с установленными понятиями земных вагонов на колесах и парохода, идущего по необъятности морских далей. Во второй раз такую же странность ощутил я в 1912 году, пересекая поездом, идущим по дамбе, пролив между terra firma и островками Венецианской Республики.

Стояла поразительная тишина. Все пребывало в покое. Ритмически и глухо работала в чреве парома машина. Палуба под ногами мерно подрагивала, отвечая машине. Зайчики, отраженье от зеркал вагонных окон, ложились цепочкой осветленных косых четырехугольников на палубу, и без того уже ярко белую. А на неподвижных пыльных боках пульманов трепетно волновались и безостановочно перебегали отсветы солнца, посланные с моря дыханьем легкой зыби.

В какой-то момент мы оказались в водном безбрежьи: за спиной, в мареве дали, исчез берег земли; другой, на горизонте еще не заявлял о себе: на какое-то мгновение природа пролива пропала, а возникло ощущение бескрайности моря. Так, некоторое время шли мы единственными по морю, только резкие, голосистые чайки, облетывающие пароход, представляли живую связь парома с невидимыми берегами.

Вдруг, на горизонте, кто-то заметил темную черту земли. Однако, на марсе никто в волнении не вскричал – "Земля, земля" – и ликования на палубе также не было. Скорее досадно стало, что все так быстро заканчивалось! И верно, мы медленно, но явно приближались к острову. Своими высокими и отвесными скальными обрывами он надменно возвышался, неприступный, над гладью пролива.

Вскоре и незаметно вошли мы в бухточку с большим причалом, взявшим паром в свои тугие объятия.

Та же процедура, что и в Штральзунде, но в порядке обратном, была проведена и тут – паровозик вытащил наши вагоны с палубы парома на берег острова. Вскоре нас повезли по острову – по единственной одноколейке. За весь переезд от порта до конечной станции нигде не пришлось застревать в ожидании встречного поезда. По дороге мы слышали, довольно часто, однотонный, размеренный, скучный звон колокола, точно мы кружились все время вокруг какой-то лесной часовни, настойчиво призывавшей запоздавших прихожан к себе. Постепенно теряя на станциях соседей, добрались мы и до нашей конечной станции, на северном берегу острова; это и был курортный поселок – Göhren auf Rügen!

* * *

Как мало и плохо запоминает детство из того, что через полвека или более, оказывается интересным и даже существенным. Беспечность детства, в его полноводном существовании, проносит его с легкостью поверх событий и фактов, не сажая его на мель: она-то и отметила бы рубцом в памяти катастрофу. Но зарубок нет – и сколько бы потом ни старались восстановить – а что произошло тогда-то? – ничто надуманное не заменит утраченное памятью. Ну – что с того, скажем, что запомнился мальчику образ того старика, правда еще бодрого, который каждую пятницу, вечерами, прохаживался по главной, а впрочем и единственной улице поселка и равнодушнейшим голосом возвещал что-либо, совсем как в каком-нибудь тринадцатом веке сообщал глашатай напуганным жителям о предстоящей казни на площади.

Правда, барабанная дробь старику не предшествовала: он сам звонил в небольшой, но громкий колокол – на ручке. Возвещал он не о казни, конечно, а о большом и очередном вечере, который "будет иметь место в курзале". Французское слово "réunion" он смело выговаривал на своем провинциальном северо-немецком поморском диалекте, чем снимал всю торжественность и серьезность своего дела. Так вот – эту, никому не нужную картину, ничего не говорящую ерунду – мальчик запомнил во всей живости до своих восьмидесяти лет, а самого местечка, его характерного расположения, вида, его улицы, где находились почта, аптека, лавки, куда мальчика почти ежедневно посылали за хлебом, сыром и разной снедью, вроде, например, замечательной, только что копченой рыбы, еще пахнущей морем и дымом, – этой мощеной улицы, по которой ежедневно мы все спускались к пляжу, мальчик и не запомнил!

Поселок расположился на острие мыса на севере острова. Одним боком мыс обращался к морю широким, великолепным песчаным пляжем. Все население поселка проводило свой день именно тут, на этом райском месте. Другая сторона мыса была скалиста, берег был дико-суров, каменист, почти постоянно в буруне, правда не опасном.

К пляжу на севере вела упомянутая улица, центр и нерв поселка. К дикому же и бурунному берегу шли другого вида дорогой, пыльной и немощеной; на эту дорогу никакие виллы не выходили, здесь были зады нескольких рыбачьих хижин и сараев, обнесенных заборами или почти что нашими деревенскими плетнями! По этой уличке мы – я и брат – бежали, "пыль подымая", вдвоем к морю. Там никого никогда не бывало, кроме рыбаков; потому мы позволяли себе недозволенную прелесть купаться без ненавистных купальных плотных костюмов. Здесь мы могли часами наслаждаться, а песчаный пляж, с его добропорядочностью и рекомендуемой "примерностью", с громадными разно-цветастыми зонтиками, кое-где раскрытыми, или с плетеными, как корзины, будочками для отдыха, с купающимися в купальных платьях, с милыми детьми, чинно, под надзором чьих-либо глаз играющими в песочке, – нас, конечно, нисколько не привлекал и не интересовал. То ли дело

всеми манкируемый, дикий, суровый берег первоздания! Его-то мы и облюбовали, и лучшие часы жизни в Герене были связаны именно с пребыванием, свободным, независимым – почти, как в Одессе – на этом безлюдном, очаровательном береге.

Первое время из русских мы были тут одни. В эти дни мы с братом составляли очень сплоченный клан. Но вскоре нашего полку прибыло: приехала сюда, возможно по родительским советам, семья Ю.Д.Энгеля, о котором я уже упоминал. Кроме тех официальных качеств, которыми Ю.Д. стал известен музыкальному миру, он обладал и другими, сохранив исключительно симпатичную молодость души, привлекавшую к себе, и какую-то прекрасную черту "компанейства". Поэтому там, где он появлялся, образовывался вскоре вокруг него веселый "детский шум".

Многое вспоминается, связанное именно с Ю.Д., либо как с инициатором, либо как с одним из подростков, забывшим свой настоящий возраст. Вот, к примеру, запомнившийся эпизод. Я сказал, что не запомнил той улицы, по которой – и т. д. и т. д. Но, для большей справедливости, надо добавить, что одну из витрин, каких там было, вероятно, много – я запомнил. В этой витрине на зависть и скрытые муки желаний всех мальчишек курорта выставлена была игрушечная модель парусной яхты, царственных форм и превосходных качеств спортивного суденышка. Видно было, что игрушка превосходила свое значение, и была подлинной моделью. Владелец магазина игрушек, в витрине которого красовалась эта дивная яхта, был, очевидно, и сам очарован ее формами и в нее влюблен; он горячо и неподдельно искренне расхваливал ее отдельные спортивные стати и качества, точно это была настоящая управляемая представительница этого спорта.

Бесспорно, своей цены она стоила; однако эта цена превышала не только возможность ребят курорта, но и самую богатую фантазию тех, кто жадно, от восторга высунув язык, подолгу глядел на божество, не имея сил от него оторваться... Я и брат, приходя домой, припоминая ее особенности, пытались что-то смастерить, конечно, тщетно и впустую.

По разумному совету Ю.Д., также видавшего эту яхту, мы решились купить более простую и дешевую парусную лодку и, что возможно, менять на ней по принципу и на манер той дивной яхты. Царицы наших грез, конечно, не получилось, но все же мы часто запускали ее в море, втроем, с постоянным общим азартом и волнением. Ее, бедную, море не жалело, швыряло, как угодно, опрокидывало, даже мочило парус – ну, что ж! и с настоящими так бывало! – утешал нас Ю.Д., помогая вытаскивать утопленницу на берег.

Чтобы быть совсем правдивым, должен сказать, что Ю.Д. переживал ее неловкость и слабую мореходность, а также ее бедствия и полные катастрофы с одинаковым, если не превосходящим, пылом и возбуждением, что и мы; бывало даже так, что мне казалось нужным утешать Ю.Д., более нас самих огорченного ее нерасторопностью и бедствиями. Героически переживая ее злоключения, мы с мальчишеским торжеством несли ее домой на вытянутых руках, с таким видом, будто она не в магазине купленная вещь, а чуть ли

не небом дарованная благодать. В такие мгновения мы, действительно, забывали все ее недостатки и ее фактическое низменное происхождение! Мы вышагивали гордо, чуть ли не церемониальным маршем, под завидующие взгляды встречных мальчишек. Но недолговечность любого счастья оправдала себя и тут: наша яхта приказала долго жить, захлебнувшись в соленой пучине. Она пошла ко дну, и мы не смогли, даже с помощью Ю.Д.Энгеля, ее найти.

Жизнь в курорте не первого класса была, возможно, однообразна и скучна. Родителям в этом особого огорчения не было – отец, художник, как везде и как всегда, жил собственной жизнью; он много рисовал – на пляже, дома, в саду, с балкона – море и все вокруг; он не замечал, было ли там "скучно" или нет. Мать часто играла на инструменте пансиона-виллы, к счастью неплохом, и в жизни курорта также не участвовала.

Приезд Энгелей – родителей и двух их девочек – несколько изменил нашу жизнь.

Мои сестры с девочками Энгелей, своими однолетками, были знакомы уже в Москве. Здесь они сошлись короче и проводили все время вместе, большей частью на пляже.

Относительно девочек Энгелей я повел себя крайне глупо; я сразу же, не намереваясь "снисходить" до девчонок, стал избегать даже и сестер, хотя обычно играл с ними дружно и мы жили все в общих интересах. Взрослея, эти "девчонки" оказались куда содержательней, существенней и интересней меня самого. Потом, во взрослой уже жизни я чувствовал себя перед ними всегда в большой и неискупаемой вине.

Но не о них и не о моей вине будет идти речь ниже. С появлением Ю.Д. Энгеля, совершенно естественно, брат мой полностью увлекся своей музыкой, общением с Ю.Д. не только как учителем, но и как с близким по духу человеком. Неразлучная с братом жизнь сейчас стала идти подчас разными своими путями. Той совместности с братом, какая обозначила себя с первых дней пребывания в Герене, сейчас более почти что не бывало. Тем не менее я часто соприсутствовал на его занятиях с Ю.Д., так как Ю.Д. проводил их именно на пляже, между купаньем с нами и "загоранием". Тогда я мог наблюдать, в тиши, ими не замечаемый, за их разговором, за ходом занятий, за тем, как брат реагировал на замечания и критику учителя, хотя ничего "учительского" в Ю.Д. никогда не было, и он был полной противоположностью образу "преподающего". Тут скорее были общего порядка беседы, среди купанья и "загоранья", когда вдруг наступает долгая, но не томительная пауза, полное молчание, обдумывание – а, может быть, и отлет от темы – в наслажденье теплом, запахом моря и его видом...

Только тем, что музыку брат впоследствии отринул и, как он сам сказал в "Автобиографии", "вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоцен-

ным", и более к ней не возвращался, пока жизнь не свела его вновь с музыкой чужих, через Г.Г.Нейгауза, только этим я могу объяснить, что ни в "Охранной грамоте", ни в "Автобиографии" он не упомянул об этих днях и месяцах перипатетических занятий на пляже Герена. В те дни, еще совершенно не предчувствуя будущего, он жил в музыке и музыкой; встречи его с Ю.Д. были ему и радостным праздником и голгофой. Он искренне, почти физически, внутренне страдал, когда в своих упражнениях не достигал тех результатов, какие себе назначал – и каких, быть может, вовсе и не ожидал от него сам Юлий Дмитриевич.

Из их разговоров, подчас очень жарких, я вполне понимал, что брат мой требовал от себя всегда гораздо бóльшего, чем могло быть в его силах и возможностях, и о чем думал сам учитель. Но бывало и так, и даже не раз, что между ними возникали и споры, серьезные и профессиональные, по поводу задач, их решений и разногласий между ними. Начиналось же всегда однотипно: Ю.Д. в свойственной ему форме мягкого удивления – не упрека даже, а как бы стороной и о ком-то будто бы третьем, и – Бог мой! – не о данном случае, и как бы размышляя, высказывал будто свою собственную неуверенность, как же, действительно, следовало бы тому, третьему, решать вот эту задачу. С такого вот подхода все и начиналось, переходя, однако, вскоре уже на более открытые, прямые указания, в разборе выполненного не каким-то там третьим, а самим уже Борисом; в откровенно суровой критике без всякого стеснения уже говорилось Энгелем, что как же так, как возможно, чтобы такие простые мысли, такие естественные "переходы" и модуляции – а дальше шли уже непосредственные рулады и музыкальное "урчанье" – как же это так, Боря, тебе не приходило такое в голову? На что брат мой, густо краснея, заикаясь в смущении, кивал, соглашаясь, что, конечно же, так именно он и хотел, к этому и стремился и об этом-то он и думал; сделать, мол, вот таким ходом – и тут от слов он переходил к напеву. Тут происходило нечто совсем, очевидно, странное и неожиданное. Вероятно, брат, напевая что-то, что он понимал продолжением только что высказанного Энгелем, пел на самом деле совсем в другом, очевидно, развитии и в столь, вероятно, своеобразно-новом ходе, что теперь уж в свою очередь удивлялся, умолкая, ничего не понимая, как все это получилось, сам Ю.Д.Энгель. В неописуемом восторге, ошеломленный и огорошенный неожиданностью новой композиции, которой сам он не предвидел, но которая его взволновала какой-то новизной мысли, он вскакивал, махал руками, захлебываясь, как ему было в такие минуты свойственно, и только и мог выдавливать, повторяя много раз – "ну, Боря! ах, Боря!" Затем, когда первый порыв – и у того и у другого – несколько спадал, появлялась нотная бумага, и оба они, теперь уже не ученик и учитель, а просто два музыканта, два близких человека, перебивая друг друга, чиркали по линейкам и вели себя, то напевая и насвистывая, то снова обращаясь к линейкам, как либо пьяные, либо как сумасшедшие... В конце концов все так сливалось и перемешивалось, что я более не улавливал, что к чему, и как что – чем должно разрешиться...

Тогда я не слишком вдавался в красоту таких свободных занятий; чаще я начинал томиться ожиданием, когда же, наконец, они поставят свои ферматы и усталые ринутся в прохладу, их поджидавшую, моря – а уж заодно с ними и я сам, и мы все трое начнем плескаться, плавать и дурачиться. Надо прямо сказать, что с Ю.Д.Энгелем скучать было немыслимо и невозможно: в нем сидело как бы два разных человека. Один – человек дела, творчества, музыки, и вся его самоотдача шла без остатка на эту его часть. Другой, в нем сидящий – был замечательным "заводилой" – и вся самоотдача его, в такой момент – переключалась только на заводильство! Взрослым – он оставался более молодым, чем мы, молодые годами! Он устраивал общие игры, втягивая в них чужих детей округи, собирал большие экскурсионные компании детей и взрослых, пешком бродя по острову и навещая то соседние курорты, то неведомые рыбацкие поселки. Через пять лет жизни мы снова встретились на балтийском побережьи; и там я видел его все таким же молодым, энергичным и чрезвычайно компанейским, как в те незабываемые дни на острове Рюген! А как часто мы, обе наши семьи, гуляли в лесах Герена, правда не девственных, но достаточно безлюдных и полных тишины. Нам нравились такие прогулки, здесь пахло нагретой хвоей, каплями смоляного пота по соснам, иной раз тянуло свежестью морского ветерка.

Открытые лужайки, представлявшиеся в это время большими серо-синими коврами от изобилия черники, крупной и налитой – особо нас притягивали. Изредка, над головой, где-то далеко в небесах слышен был резкий клекот хищника и пролетала, в просветах деревьев, плавно-круговая тень птицы.

Бывало, что мы пересекали рельсы одноколейки; когда по тишине леса перекатывался редкий и далью приглушенный звон колокола, мы знали теперь, что не часовня зовет к себе прихожан, а местный паровичок разгоняет коров, одиноко пасущихся в лесу, боясь, как бы при стычке с медлительным животным самому не сойти с рельсов.

* * *

Ближе к концу лета на острове наступил обычный период гроз. Однажды глубокой ночью мы были разбужены пушечным ударом грома, раздавшегося не где-то в природе за стеной, а непосредственно в комнате, над нашими кроватями. Шла замечательная ночная иллюминация. Мы все, кроме матери, любили хорошие грозы. Они вселяли в нас какой-то героический, поистине бетховенский подъем, мы становились шалыми. Ночная эта гроза была в своем роде исключительной по силе и быстроте ритма. Проснувшись, мы более уже не засыпали: заснуть, при такой возбуждающей красоте, было совершенно немыслимо. Гроза была в разгаре. Стекла окон звенели, вибрируя в ответ на раскаты грома. Молнии разом заливали комнату своим безжизненным голубовато-зеленым светом, спеша обогнать друг дружку, точно боясь опоздать и что-то упустить. Гром гремел не прекращаясь, раскатываясь по небу туда

и сюда, так что уж нельзя было различить, с какой молнией в хвосте раскат влетал в комнату.

Брат, забыв свои шестнадцать лет, вел себя не умнее меня и чуть не приплясывал, когда наступавшая после молнии темень медлила замкнуть вдруг распахнувшееся магниевой вспышкой пространство. Когда гром и молния, казалось, летели в окно одновременно, мы нагибались точно от непосредственного и физического удара, но не от страха. В душе мы ликовали.

Гроза повисла, как на якоре, над нами и не собиралась уходить с места. Так бывает. Моментами ливень, лучше сказать – каскады воды, как бы брошенной из колоссальной помпы, достигал такой силы, что казалось стекла не смогут более противостоять напору шкварнутой воды, потоками льющейся по стеклам. Воды было столько, что она протекала ручьями сквозь неплотно пригнанные створки, заливала подоконники, текла на пол, образуя громадные лужи, отблескивающие от огней молний. Устав изливать столько воды, ливень на время прекращался; тогда сквозь гул грома слышно было, как ветер качает и гнет деревья, свистит в ветвях; затем, передохнув, ливень с удвоенной энергией, наверстывая упущенное, снова вступал в общий строй; все смешивалось настолько, что не было возможности отделить одно от другого, и чаще все шло не природой назначенными путями, и в этом была своя необузданная мощь и своеволие титанов. Спать мы, конечно, не могли. Мы шумели, прыгали и бесновались, чувствуя за стеной Кюлеборна, который не раз одновременно с молнией заглядывал к нам в окно, а то и просто оказывался в комнате, рядом с нами.

Вдруг гром, молния и огонь пожара одновременно поразили где-то свою мишень и жертву; нам показалось – где-то чуть ли не рядом, если не в нашем саду, то в соседском. Но утром узнали, что довольно далеко, на хребте горы загорелась сосна, расколотая молнией.

Гроза разбудила, конечно, весь поселок. Она затихла только лишь на рассвете. О ней много рассказывалось, скорее всего – небылиц, ими любят расцвечивать необычное, для большей интересности; хотя преувеличения, для красоты, и ходили из уст в уста, не ими оправдывалось мнение, что такой грозы и старожилы не могли припомнить. Как бы там ни было, и сколько гроз там ни прошло при нас, такой грозы мы более не наблюдали. Море же – часто и сильно штормило. Тогда купаться было запрещено. По улице и на всех подходах к пляжу появлялись зловещие черно-белые таблички с краткой, но решительно звучащей фразой, красной краской начертанной, что, мол, купаться – Polizeilich streng verboten, и, действительно, ни одного честного немца в воде не оказывалось. Пляж пустел, заливаемый валами воды, густой клочкастой пеной и всякими выбросами моря. С нашего балкона мы наблюдали всю красоту морской мощи, раскрывающую себя в стороне "нашего", то есть дикого берега. Отсюда, с балкона, был замечательный вид безбрежности моря, сплошь покрытого длинными белыми валами уже не отдельных "барашков", а целыми, во всю длину, грядами и провалами между ними. Издалека эти гряды холмов казались неподвижными, на одном месте

стоящими; своими белыми гривами они как бы подчеркивали, усиляя, черноту канав между ними. С балкона все представлялось почти неподвижным и полосатым.

Когда штормы не сопровождались холодным и непрекращающимся дождем, мы с братом бежали к нашей бухточке и, укрываясь от ветра в нам хорошо знакомой пещере, высоко над водой, подолгу могли глядеть на то, что происходило в бухте, под нами, и на море, в ограниченном его пространстве. В такую погоду вся бухточка, где мы обычно безмятежно купались, плавая между камнями и утесами, воображая себя потерпевшими кораблекрушение, либо аборигенами (”туземцами” – это звучало как-то более островитянски!), – бухточка эта была сейчас совершенно неузнаваема и неприступна; вода кипела, ревела, бросалась в ярости своей на камни, спадала водопадами со скал, снова взлетала ввысь, взброшенная сопротивлением утесов; откуда-то появлялись куски разбитых досок – не корабля ли? – которыми, как лучинками, швырялась волна, с чудовищным воем, грохотом и треском уничтожения. Мы с трепетом, но жадно всему внимали и давали из книг заимствованное пояснение этой совершенно бесполезной, никому не нужной и втуне пропадающей титанической энергии взбесившейся стихии, стихии разрушения, уничтожения. И вместе с тем, грандиозность этой работы, пусть бесполезной и не созидательной, ее космическая (тогда таких слов не знали!) мощь и власть необузданная – все было проникнуто торжеством и торжественностью, величием и великолепием настолько, что никак мы не могли, хотя давно пора было – оторвать глаз от картины полного возмущения и пойти, наконец, отогреваться домой. В такие дни, даже когда и дождя не было, весь поселок как бы замирал. Над всем царил соленый, йодный воздух взбаламученных водорослей, гниющих на берегах морской нечисти, разбитых крабов, медуз, выброшенных далеко на песок, – чего только не выкидывалось на сушу! Эта живительная вонь морской бури везде и всюду одинакова, что в Одессе, что в Ялте, на Балтике или в Адриатике. Я узнавал ее с первого же вдоха, как только попадал на перечисленные побережья, и наслаждался этой вонью моря, как целебнейшим штормовым подарком.

Учащенье дней грозовых и штормовых, конечно, было нам как бы предупреждением и вежливым намеком. Энгели поняли это ранее нас, может быть и потому, что их хозяевам стало уж необходимым поселиться в теплых комнатах. Энгели выехали с острова, и те две или три недели, которые мы провели в поселке в одиночестве, были нам, ребятам, несколько скучноваты: черно-белые запретительные – Polizeilich verboten! – таблички почти что не убирались с их столбиков; почти каждодневные холодные дожди загоняли нас в надоевшую уже комнату; началась такая пора жизни, когда чувствуешь уже не радость жизни, а какое-то ”отбывание”, когда отсчитываешь дни и ждешь того последнего, когда провозглашается – ”ну, дети, завтра, пожалуй, надо подыматься!”

День наконец наступил, когда наша неблагодарность острову стала реальностью. Все пошло обратным порядком – те же четыре пульмана, теперь не

так весело, но полно занятых отъезжающими, приняли нас в свои недра, и запряженный паровичок со своим, теперь уж почти не нужным звоном колокола – скотине делать в лесу было уже нечего – потянул, уныло, состав к югу, к порту. Там нас спихнули на тот же самый паром, который теперь никого не радовал, холодный и покрытый смесью дождевой и морской воды. Отсиживаясь в купэ, мы не помышляли лазить под вагонами по белоснежной скатерти лакированной белилами палубы; нет, нет, лучше посидеть в тепле! И вот, замедляя ход, под звучный колокольчик телеграфа, приказывающий то задний ход, то правый или левый галс – впрочем, может быть, мои мореходные познания тут окажутся слишком профаническими – вот, наконец, паром входит в объятия причала; тут становится грустно-ясным, что через секунду – и навсегда уже – вагоны окажутся на твердой земле, превратив остров Рюген в одну только романтику воспоминаний, теперь для меня и моих сестер: остальных давно уже нет с нами; последним из них оставил нас брат...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

СНОВА МУЗЫКА, СНОВА КОНЦЕРТЫ МАТЕРИ

В конце ноября 1906 г. мы возвратились к родным Пенатам.

Время, проведенное за границей, прошло для нас не бесследно. Каждый, вернувшись к московской жизни, испытал, мне думается, чувства хотя и общие, но по-разному для каждого расцвеченные. Продолжительный, резкий отрыв от привычного выбил нас всех из колеи жизни, установившей себя Училищем живописи и ваяния. Тут очень существенно понять: не "жизнь *в Москве*" или "жизнь *в России*", а именно "*жизнь в Училище Ж., В. и З.*". Определяющим и формирующим наши характеры – был не столько отец и не мать семейства, и даже не оба вместе; этим феноменом стало само Училище, его Дух, его Всеопределяющая Сила, то, что долго накладывало свою печать и тяжелую воспитательную длань на родителей, а через них и на нас, в конечном счете. Выше мне пришлось уже об этом заговорить, повторяться нет нужды; надо лишь не забывать о действии этой длани – тогда станет понятным наше радостное чувство избавления от нее в "Берлинском сидении". Не нашими способностями и не нашим стремлением, а обстоятельствами непредвиденными, была со всей очевидностью показана фактическая слабость мнимой стойкости – казалось, неколебимой – уклада прежне-московской жизни. Существенным моментом стало расчленение нашей семьи.

Оказалось, что неделимость ее и нерушимость патриархального существования в единстве – не вечно и что происшедшее в Берлине расчленение – пусть даже и не надолго – не навлекло ни на кого из нас бедствия или какого-то несчастия. Значение же такого факта более всего и благоприятным образом сказалось на матери. Ведь с момента выхода ее замуж, как взятого на себя нравственного обязательства, у матери началась – *для нее*, существенно – совсем новая жизнь – своей семьи, для этой семьи! Энергия, ранее отдаваемая пианисткой *только* музыке – переключила себя на исполнение этого нового долга и притом целиком. Появление детей, новые заботы и волнения, дела мужа стали для нее жизненной целью и задачей. Когда в Берлине двое из четверых откололись и зажили на отлете, какая-то доля энергии матери, высвободившись, смогла быть обращена на возврат к музыке. Так и произошло на самом деле.

Немало помогла тут скандинавская скрипачка, жившая также у Frl. Gebhardi. Я о ней уже упоминал. Узнав, что мать пианистка, она стала уговаривать ее на совместную игру. Начали они с небольших скрипичных вещей классической музыки, но вскоре, убедившись в куда больших своих возможностях, перешли на репертуар сонат для скрипки с роялем. Их музицирование

привлекло к себе внимание поначалу только соседей гебхардийцев, но затем и знакомых скрипачке консерваторцев. Музыка стала постепенно возвращать матери ее былое бодрое настроение, остатки которого мы успели еще застать в первые годы нашей детской жизни во флигеле Училища. Оно стало исчезать, примерно, когда мне было уже шесть-семь лет, когда я мог уже наблюдать.

Наметивший себя у Frl. Gebhardi возврат к музыке упрочился на острове Рюген, когда там появился Ю.Д.Энгель. Мы все старались, не без эгоизма, поддержать мамино такое ренессансовское настроение и дальше, уже по приезде в Москву. В таком духовном Возрождении матери музыка вселилась, с нею вместе, в ожившую квартиру и зазвучала полным голосом не только рояля соло, но и струнных – скрипки и виолончели – то порознь, то всех трех вместе, а, бывало, что их собиралось и пятеро – когда исполнялись любимые мамины квинтеты – Шуберта или Шумана.

* * *

Мои занятия в гимназии, после берлинского перерыва – никак не налаживались. Они шли из рук вон плохо. Конечно – я отстал за год от класса и было очень трудно войти в его колею. Кроме того независимость, став в Берлине привычной жизнью, для гимназии не могла быть терпимой. Я все более запускал свои гимназические дела и, запутываясь все безнадежнее, я шел явно ко дну. Гимназия начала меня терроризировать. Не видя никакого выхода, я попросту перестал заниматься и превратился в обычного "камчаточника", как прозвали учеников, последних в классе по отметкам. С таким положением в соответствии определился характер отношений и оценки меня со стороны окружающих – в гимназии и дома – даже и брата, что огорчало более всего. Но мое "грехопадение" не вызывало во мне чувств страданий, напротив, я чуть ли не кичился моей "отпетостью".

Под таким тяжким, все же, знаком проходил для меня – и пришел к концу, весь 1906–07 учебный год. Это был, по существу, последний год пребывания в младших классах: со следующего – пятого – я переступал порог "старших". Но даже и пятиклассник – среди истинно старших – был на положении еще молокососа!

В четвертом классе, пожалуй, еще более чем до Берлина, я воспринимал *дом* и *в доме* жизнь – истинным миром жизни. Только возвращаясь из гимназии домой, я ощущал себя *человеком*; такое обретение в себе человека было спасительным счастьем и радостью, особенно же если, еще подымаясь по лестнице, я слышал мамину игру, сюда доносящуюся.

Значение сказанного – сейчас не вполне ясно: но нельзя забывать, что музыка матери стала уже приумолкать, когда мы перебрались из флигеля в учебный корпус, на наш четвертый этаж; возможно потому, что расположение квартиры, смежно с классными залами, обязывало к некоей тишине (или нам так казалось!); с другой стороны, все крепче захватывали и заглу-

шали музыку цепкие руки, именуемые взрослыми всегда очень слитно — "семьяидети".

После Берлина осозналось, что этим рукам, то есть их фиктивной силе, пришел конец, и музыка постепенно входила в свои права. Мать стала все больше увлекаться камерной музыкой, играя то с тем, то с другим струнным инструментом. По старой памяти, она решилась даже давать уроки фортепианного исполнительства кончающим консерваторию, даже — ее окончившим...

Однажды, когда я возвращался из гимназии уже в сумерках, я застал, на полуоткрытом рояле, на поднятом пюпитре — раскрытые ноты. Обычно мать проигрывала свой репертуар без нот. Очевидно, она разбирала что-то для себя новое. Это были, действительно, у нас не водившиеся ноты скрипичной сонаты Эдв. Грига, которого я тогда знал только как композитора фортепьянных небольших пьес и романсов.

На мой вопрос мать отвечала как-то нерешительно, что, действительно, утром она играла со скрипачом — она назвала фамилию, которая тут же испарилась, — вот эту григовскую сонату; скрипач-де приходил предложить матери сыграть эту сонату с ним на концерте; он хотел дать концерт из нескольких скрипичных сонат — и на пробу принес ноты — вот этой. Игра скрипача матери понравилась.

Упрашивая мать, он обещал всю техническую сторону — получение разрешения, публикацию в газетах и в афишах, все оформление и т. д. — взять на себя. Это было существенно. Мать согласилась, и с этого дня у них пошли разучивания и репетиции — на первых порах трех сонат — Грига, Моцарта и Бетховена.

* * *

Артисты, которых я не раз называл, Гржимали, Брандуков, фон Глэн, были исполнителями высшего класса. Тогда я сам еще ничего не понимал, конечно. Теперь стали появляться новые имена, не меньшей величины. В этом я сам теперь убеждался. На меня произвела большое впечатление виолончелистка Анна Любошиц. Она превосходно играла, и это была первая женщина-виолончелистка, какую я встретил. Потом часто приезжал из Берлина скрипач Михаил Пресс и его брат — виолончелист Иосиф Пресс. А теперь вот — и этот, совсем юный скрипач, его звали Александр Могилевский. Он покорил всех и особенно мать своей легкой полнозвучной игрой, без дурного "выжимания" звука. Сам скрипач — склонный к полноте, казался олицетворением мягкости и диккенсовской доброты и благоприятности, особенно в губах, припухлых, и в симпатичнейших руках. Увы, потом я убедился, что он был, в сущности, жестким и даже жестоким человеком. Игра же его была, действительно, исключительно мягкой. Я слышал его игру часто — и у нас дома, и в концертах, и в его квартире, где я бывал; а одно лето — уже в 1908 году — почти ежедневно, когда наша семья и Могилевские жили в одном захудалом, но красивом поместьи под Москвой — "Райки". Наши дачи находи-

лись в разных концах его запущенного, большого парка. Я ни разу не слыхал чего-либо грубого или резкого в манере его игры. У Могилевского полнота звучания вызывалась, казалось, только волей музыканта, только самым легким, еле чувствуемым, движением смычка по струне; казалось, что нежность прикосновения – сама уже вызывает благодарный ответ и радость пения струны.

Могилевский по своей природе не был виртуозом блестящей техники. Но технически трудные концерты Чайковского или Мендельсона он играл с нужным блеском и совершенством звука. Он вообще играл так, что непонятно было – волнуется ли он или являет полное спокойствие. Только один всего раз я застал его в состоянии действительного и крайнего волнения. Это было во время происходящего в Москве, не помню точно, в каком году, международного конкурса скрипачей, собравшего тогда, как говорили, цвет лучших исполнителей мира. Этот конкурс имел для участников – колоссальное значение.

Накануне дня этого его "экзамена" я зашел к нему на квартиру. Уже в передней меня перехватила его жена; совершенно расстроенная и испуганная, она сообщила, что "Саша, кажется, с ума сошел", что она очень боится за него, что он-де не только что побагровел, а почти что почернел... Действительно, вид его был достаточно ужасен. Тем не менее на конкурсе он играл великолепно и завоевал, не помню точно, но кажется второе (или третье) место, что в тех условиях было очень крупным успехом. Во время войны 1914 года мы как-то с ним разошлись, потеряли его следы, потом узнали, что в последние годы войны он концертировал в Скандинавии, кажется в Швеции, а затем о нем и вовсе ничего более до нас не доходило.

Публичные выступления матери – с Могилевским или с Зисserманом (виолончель) – начались в первый же сезон, по возвращении из Германии. Все требовало времени, подготовки, все делалось загодя и длительно. Я не ошибусь, ежели назову первым годом таких концертов сезон 1907–1908 гг. А тем временем все шло своим чередом, музыка завладевала теперь всеми нами и самой даже квартирой!

Из вещей, которые она тогда играла, мне припоминаются квинтеты Шумана и Свендсена, а из сольного – Крейслериана, Большая Соната и Карнавал Шумана, и Си-бемольная Соната Шопена.

Эти – и следующие – годы были для родителей самыми, пожалуй, благоприятными. Влияние жизни в Берлине сказывалось; новые навыки, новая – для них – свобода действий – содействовали новой линии, как-то само собой сложившейся жизни. Гораздо чаще, чем когда-либо раньше – устраивались вечера, которые в те времена, довольно претенциозно, в обществе назывались нерусским колючим словом "журфиксы". Гости съезжались без особых приглашений, случайно и потому довольно разных кругов и интересов. Бывали и "люди искусств", причем чаще – музыканты, реже писатели, почти совсем не бывали – непонятно, почему – художники. Вечера эти были всегда оживленными, очень скромными, непринужденными и интересными. Неред-

ко случалось, что за рояль садился кто-либо из гостей; если это были скрипачи, виолончелисты или вокалисты, мама им аккомпанировала.

Борис избегал появляться на этих сборищах, даже если среди гостей бывал его кумир тех лет – А.Н.Скрябин. Впрочем, это понятно: он не хотел быть втянутым в разговор, что неминуемо произошло бы, появись Борис за общим столом. Мне же ничто такое не угрожало. Я не представлял ни для кого – никакого интереса и на меня никто не обращал внимания. Поэтому, будучи в полной безопасности, я мог позволить себе роскошь спокойно прислушиваться к общим разговорам, всегда извлекая из них для себя что-либо новое и всегда интересное.

Кроме того, мне нравилось само течение вечера – и его яркое освещение, и красочное убранство стола, общий, негромкий гул голосов, в разных местах, и яркость платьев, среди черных сюртуков или костюмов, общее приподнятое у всех настроение и нестройный шорох ножей, вилок и тарелок, или – вдруг – на секунду наступающее общее молчание. Многое, что мне запомнилось, запечатлевалось, вероятно, в силу новизны, услышанного в первый раз. Потом, через множество лет – оно вдруг всплывало по совсем другим причинам и – либо подтверждалось, либо, по иным уже положениям нового времени себя опровергало. Вот и сейчас: описывая наши "журфиксы", я вдруг – во всей четкости – вспомнил эпизод, не бог весть какой важности, но произведший на меня тогда какое-то впечатление – скорее даже меня просто удививший. Завязался горячий разговор между архитектором Л.Н.Браиловским, преподавателем Училища Живописи, моим отцом и – почему-то А.Н.Скрябиным – о зодчем итальянского возрождения Андреа Палладио. Говорилось о его теории пропорций и взаимной связи всех соразмерностей; меня тогда удивило, что о таких специфических, архитектурных – то есть строительных вопросах говорит – или даже спорит, и значит ими и до этого интересовался – музыкант; но когда, в разгаре разговора, архитектор, чуть не захлебываясь от восторженного пафоса, ему свойственного, стал говорить, что в рисунке, в форме и чуть ли не в характере палладианской балясины он видит совершенно ясно, прообразом – женскую руку, – тут в разговор вступил отец, пытаясь подстрекнуть Браиловского, – и стал говорить о более глубокой связи искусств с природой, или что-то в этом роде... В разговоре стали поминать имя одного архитектора, мне тогда ничего не говорящее, какого-то Жолтовского, который-де такого же, как Браиловский, мнения. Кто мог тогда думать, что через каких-нибудь десять-двенадцать лет я сам, будучи еще студентом того же Училища Живописи и Зодчества, столкнусь с И.Жолтовским, уже академиком, который в моей последующей судьбе и жизни архитектора сыграет такую основательную и замечательную роль... Насчет "руки и балясины" Жолтовский нам не говорил, но о цветке и росте в растительной природе и о связи форм природы и архитектуры – рассуждения стали ныне трафаретными.

Обычно после ужинной части журфикса все переходили в гостиную, где стоял рояль. Начиналась другая часть вечера – музыка. Как тогда все стано-

вилось одновременно – чудесным, волшебным и очень простым! Музыка – да в каком еще исполнении! – торжествовала. Как запросто, не торгуясь и не чинясь, за рояль садились именитые музыканты; если тут же случались инструменталисты – скрипачи или виолончелисты – или певцы – то и они вступали в строй. Из певиц чаще всего бывала и великолепно пела Дейша-Сионицкая; у нее был прекрасный, глубокий и бархатистый голос.

Расходились гости поздно, не раньше 2-х часов пополуночи. После их ухода родители еще засиживались (и я также) за пустеющим и разбираемым столом, вспоминая наиболее интересные моменты вечера. Ах, как все это было мне интересно, ново, живо! В эти вечера я чувствовал себя вдруг повзрослевшим, уже не гимназистиком! Но на следующее утро всплывали не приготовленные уроки, и, если меня вызывали к доске доказать очередную теорему, мне приходилось напрягать всю свою догадливость, чаще меня покидавшую, чтобы придумывать свои малоубеждающие доказательства и выслушивать обычное, скучающе-однообразное, со вздохом – "ну... садитесь!"...

* * *

Когда сейчас я переношу себя в тот далекий и невозвратимый мир гимназии и думаю о многом, с нею связанном, я не перестаю удивляться, как недаровито преподносили нам, в нашем классе (я отмечаю здесь, что в классе моего брата, даже по его тогдашним словам – все было куда выше, интереснее и потому – увлекательнее!), особенно те два предмета, которыми и отличалась наша гимназия. Я имею тут в виду те два языка, которые назывались "мертвыми", что одно уже обеспечивало им возможное проявление скуки. Мы как-то преодолевали все трудности грамматики и синтаксиса и с трудом форсировали болота каких-то хрестоматийных фраз, взятых из античных текстов, – только для подтверждения тех или иных правил весьма учеными мужами с однородными и не русскими фамилиями, стоящими на титульных листах ими составленных учебников, как – Нетушиль, или – Поспешиль (что я не вру, свидетельствуют сами эти учебники, которые у меня на руках). Эти имена вызывали в нас острейшее желание придумать им другие схожие, но обидные фамилии – например – Надуриль, или подобное.

А пока все это кое-как шло, со скрипом и трудом, вперед – мы либо отчаянно скучали, проклиная уроки, либо занимались чем-нибудь посторонним из недоделанных еще домашних заданий. Я не думаю сейчас, что в те годы я был самым идиотичным учеником в нашем классе, однако же я тогда, да и какое-то время и после того, был вполне уверен, что все эти "примеры" из текстов, якобы, Цезаря или Ливия, Ксенофонта или Платона, и других древних авторов – как значилось в конце каждой фразы – что все это на самом-то деле было состряпано вот этими самыми Нетушиль-Поспешилями, и специально для правил на применения этих "dum" и "cum".

Сейчас мне непонятно, как могло подобное зародиться и обрести такую надо мною силу внушения, и стыдно не только говорить об этом, но даже и подумать – и однако же! так оно ведь тогда и было!

И даже когда наш класс приступил к чтению, переводам и разбору целых больших отрывков из античной прозы – например, из Ксенофонтова "Анабазиса", автор, его имя и он сам для нас – думаю, всех учеников класса – был не живым некогда человеком, а каким-то призрачным фантомом, – в самом деле, кто его знает, может быть, все это и правда было вымышлено этими Поспешилями? Ведь никто не подумал разъяснить нам об этом авторе, кто он был, что он писал, когда жил и что делал, никто не пытался нас заинтересовать сутью дела – а ведь как-никак можно было бы нас увлечь тем, хотя бы, что автор этих мемуарных, географических, историографических, наконец, просто житейско-бытовых повествований был не только живым, а не вымышленным лицом, но очевидцем и участником этого похода и отступления! Ни о нем, ни о его времени, ни о значении этой замечательной прозы, написанной совсем не "мертвым" языком, а самым наиразговорнейшим, на котором тогда говорил весь древний мир и который звучал на самом-то деле – так музыкально красиво! Но нам ни об этом, ни о задачах и целях этих авторов никто ни полслова не сказал, нас увлекших бы... Вот и получилось, что мы по святому, казалось бы, давно уже исчезнувшему принципу допотопной Бурсы времен Гоголя – учили все "наизусть без понимания" – как мы тогда сами над собой издевались.

В таком падении – грустно, но приходится признаваться – так уж пошло; а остановить и изменить это – даже время – не смогло! Мы до невозможности боялись осточертевших нам античных авторов, главной целью которых было нас унизить и над нами поиздеваться. Потому, всеми ухищрениями гимназических навыков, мы стремились отлынивать от жути вызова "к доске". Но Немезида не прощала нам постыдного нашего отношения к предмету и, вылавливая нас отовсюду, ставила перед доской, со всеми явными последствиями беглых преступников. Можно объяснить только нашей слабосильностью, что блистательный, вот уже третье тысячелетие ежеминутно оживающий мощный водомет искрящейся красоты и хрустальной чистоты и прозрачности – нашими трудами, на наших уроках превращал себя в мутную, хилую, вялую струйку невнятной речи; то есть в "школьный предмет", в таком его виде, действительно, никому не нужный, лишний и подлинно уж мертвецки-мертвый язык!

Но все же, к какому-то времени некоторым из учеников, и мне в их числе, стало проясняться, что "мертвый" язык и его живой прообраз, бывший разговорным когда-то, – еще и сейчас сосуществуют; что тут – две ипостаси одного явления, одна – по изложению, другая – по сути самого явления, и что они могут отлично уживаться, то есть итти двумя не пересекающими себя направлениями. Почти более половины лет, положенных на обучение языку, для меня, в сущности, пропало; эти линии рядком, бок-о-бок бежали, нигде не сходясь и даже не задевая друг друга! Я тогда – впрочем, как и другие соученики – не подозревал даже о существовании второй, параллельной дороги! Но – в нужный момент сила истинного искусства сама скатапультировала меня и некоторых из нас с линии мертвого языка на другую, вдохновен-

ную и искрящуюся красотой орбиту античного живого слова. С опозданием непоправимым, постепенно и медленно, но все явственней, стали доноситься из далей тумана звуки божественной эллинской речи – да и римской тоже! В сухих, скучнейших, ранее казалось, реляциях римских полководцев, консулов и военных историографов, всех тех, кого мы, как огня, боялись, стала раскрываться – в четкости наблюдения, в образности и живости изложения, в построениях фраз – красота и сила чудесных, лаконичных и смело-выразительных описаний! Вот, к примеру, отрывок, запомнившийся мне с гимназических еще лет, о начале сражения римлян с пуническим войском Ганнибала. Передаю его не дословно, конечно, но так, как он с тех пор мне помнится:

> "Очень раннее утро, только-только просыпающаяся природа; густой, предрассветный туман клубится, чуть розовея в свете еще не выкатившегося из-за гор светила. Постепенно утро разгоняет туман; он медленно проползает по серой, сонной еще глади озера. На том берегу чувствуется незримое еще скопление врага, притихшего в зарослях тростника. Кругом все тихо; птицы не подают еще своих голосов. Напряженное ожидание, как угроза, скрывается в обманчивой тишине – но не безжизненности – природы. Солнце, показавшее, наконец, над горами край своего раскаленного диска, выхватывает из предутренного тумана – то тут, то там – вспыхивющие искры на гребешке шлема, на острие копья, на значке когорты, и этими блестками выдает присутствие войск, спрятанных в засаде.
>
> В молчащей тревожности стоят солдаты и выжидают условного крика рожка горниста, который резкостью звука разрывает тишину природы".

Последнее передано почти что дословно: этот "крик рожка" меня уже тогда поразил. Так описал утро на Тразименском озере, где Ганнибал наголову разбил римлян, – не поэт, не художник, а всего лишь историк, ненавистный нам Тит Ливий, гроза гимназистов, виновник их бед! Историк только – а писал словами и образами художника и поэта! А мы, идиоты, зубрили тексты, не вникая ни в их красоту, ни в сочные, краткие, но такие выразительные фразы. А Юлий Цезарь? Кто, сидя за партой, не трепетал в чудовищном страхе, ожидая в тоске спасительного звонка, пока очередная жертва сменяла уже павшую? А ведь и у этого жупела немало замечательных описаний, подобных стихотворениям в прозе. И если в этом, все же "армейском" языке (arma virumque cano) встречаются чудесные строки, то что же сказать о том, другом мертвом языке, абсолютно музыкальном? Через сложности самого этого языка, через завалы грамматических и синтаксических трудностей – древнегреческая речь начала постепенно обращаться к нам красотой своего звучания. Как туман Тразименского озера – стал таять и исчезать туман наших занятий, а звуки и слова дивно-музыкальных фрагментов расцветали все ярче и яснее.

Перезабыв, естественно, все правила и слова, я на слух, конечно, помню какие-то осколки из надгробий Симонида, из строф Алкея; звучат еще обая-

тельность, страстность, живость порывов в обращениях (гимнах) Сапфо — этой чудесной поэтессы.

К чести гимназистов нашего класса скажу, что в восьмом, последнем классе, группа учеников — и я в том числе — совместно с преподавателем греческого языка устроили большой вечер греческой античной литературы. Был прочитан вводный доклад, написанный учеником П.Рудиком; в качестве примеров к докладу — были прочтены (наизусть) стихи разных поэтов античности; во втором отделении нами был поставлен второй акт Софокловой "Антигоны". Без игры и бутафории, стоя у рампы в гимназических куртках, без суфлера, мы читали полный текст наизусть, как ныне говорят — "в концертном исполнении". В зале среди приглашенных был цвет профессуры филологического факультета Московского Университета. И среди них — столп языкознания и литературы античного мира — проф. А.А.Грушка. Мне передавали, что он был очень доволен вечером, особенно чтением "Антигоны". Для нас это было серьезной похвалой.

Мне пришлось исполнять роль Антигоны. В наиболее патетических текстах я невольно, того не желая, переходил на почти что игровую декламацию; тогда в зале мне хлопали... Немногое из этих текстов я и посейчас еще помню.

Я забежал сильно вперед. Но, заговорив уже о восьмом классе гимназии, я закончу эти воспоминания другими мыслями.

Гимназия, несомненно, и несмотря на не всегда и не во всем удачное преподавание, все же свое дело для меня делала; она упорядочила и расширила еще с детства мне привитую приверженность — из-за отца — к античному миру и искусству. Образцы античной скульптуры, вазовой росписи и храмовой архитектуры, знакомые мне по отцовым книгам с моей еще догимназической жизни, а теперь предлагаемые в виде иллюстраций к истории Греции, оказались сущей правдой, историческими реалиями, а не передачей детских сказок. Все это, включая там же встречающиеся, не всегда правдоподобные и удачные реставрации акрополей, театров, храмов или реконструкций некоторых статуй, — все это, объединенное словом "искусство", входило в сознание взрослеющего гимназиста само собою, не спрашиваясь и не извиняясь за вторжение. Здесь никакой заслуги гимназиста — не было: искусство само, без всякой подмоги, находит себе благоприятную почву и расцветает на ней, как хорошо ухоженный сад.

Моими друзьями становились уже в те годы — конца гимназии — одинаково, как архаичные обрубки "ксоаны" — деревянных истуканов, захватывающей, чарующей музыкой их скользящих, неясных блуждающих улыбок, так и зрелая уже скульптура движенья — у Мирона, Фидия или, например, на изумительных анонимных фризах храмика Бескрылой Победы — этих движущихся торсов Ники!

Не перечисляя всего, скажу, что уже тогда гимназист ощутил все как эталон величия духа и красоты тела: *καλοῖ κ'αγαϑοῖ*!

Еще ребячье только, но все же ощущение недосягаемой высоты искусства в передаче целомудрия и гармонии обнаженного тела человека — мужско-

го или женского – безразлично, я впитал – и, благодарный богам, – сохранил это ощущение и чувство величия – и по сей день.

* * *

В зимний сезон, о котором я рассказываю, мне пошел пятнадцатый год и моя самостоятельность – во многом – никем уже не оспаривалась. В это время наступила и для матери какая-то новая пора жизни. Она будто проснулась от долгого и нелегкого сна – возобновилась им прерванная концертная деятельность и радостная жизнь в музыке. Расцветшая пора жизни, до краев наполненная музыкой, длилась, увы, не долго. Болезнь сердца, обозначившая себя еще в начальный период ее концертной деятельности, еще девочкой-подростком, теперь стала хозяйничать во-всю, частыми и все усиляющими себя сердечными припадками. Борьба этих двух качеств сердца – музыкального и стенокардического – с возрастом становилась неравной; последнее слово было сказано болезнью. Но это было позже. Сейчас она и я, вместе или порознь, были частыми слушателями разных концертов, которыми в те дни Москва могла хвалиться! Несколько слов о музыкальной жизни города.

Два крупные объединения, два очага – Консерватория и Московское Филармоническое общество – разделили между собой всю – или почти всю – посещающую концерты Москву. Бывали, конечно, и другие концерты, не зависящие от такого расчленения; но они не меняли, так сказать, определяющего баланса – либо по своей программной случайности, либо по своей малой мощности, не отвлекая на себя большую публику. Водоразделом между Консерваторией и Филармонией намечалась, главным образом, программа музыки и исполнители. Конечно, о четкой разделяющей пограничной линии говорить не приходится – тут вполне достаточно и приближения.

Вся русская классическая музыка, симфоническая и камерная и – в основном – русские исполнители, воспитанные еще началом девятнадцатого века, могучей кучкой и Стасовым, тяготели, может быть по старой памяти, к своей alma mater, тогда единственной. Я не хочу пользоваться "игрой слов" или дешево заигрывать, каламбуря; но уже таково было само явление, возможно и не случайное; более консервативная музыка и более консервативно настроенные в музыке исполнители избрали местом своих выступлений Большой и Малый залы Консерватории. Соответственно этому, а вернее сказать – тем самым – стекалась сюда и объединялась тут своя и очень определенная публика, образуя свой характерный лагерь. Другой лагерь объединялся программой и исполнителями Филармонии, то есть более молодой, новой, оригинальной музыкой Запада и западных ее интерпретаторов; они концертировали преимущественно в Большом и Малом залах Московского Благородного Собрания, что в Охотном ряду. Концерты обоих этих объединений стояли естественно на качественно одинаковом высоком уровне – и по программе и по исполнению, и публика распределялась не степенью исполнения, а чистым тяготением к той или иной программе. Бывало, что и в Консервато-

рии звучала новая музыка – например, Скрябина или Стравинского – так же, как в Филармонии можно было услышать, скажем, музыку Глинки. Однако это не меняло установившегося обычая и отстоявшего себя обличия лагерей и всем известной репутации. Последняя была настолько уже ясной и диктующей, что когда появилось третье организующее начало – "концерты С.А.Кусевицкого", то его абонементные, на весь год, циклами, концерты устраивались в залах Благородного Собрания, потому очевидно, что Кусевицкий приглашал в основном почти только западных дирижеров и западных исполнителей. О самих концертах – ниже: сейчас только о залах, куда я приходил, либо один, либо с мамой или с одним моим приятелем, начинающим виолончелистом.

Эти залы существуют и поныне. Поэтому они всем знакомы. Но их общий вид совершенно изменился. Малый зал Благородного собрания сейчас, насколько я понимаю, как концертный зал – даже не используется.

В те времена концерты посещались гораздо скромнее, чем сейчас. Когда приезжали тогдашние корифеи, как Иосиф Гофман или Эжен Изаи, народ даже и тогда не толпился у касс и перед входами в зал. Симфонические хоровые и смешанные концерты исполнялись только в двух Больших залах – Консерватории или Филармонического общества. Камерная, сольная и вокальная музыка – главным образом в Малых залах тех же обществ. В залах в те времена стояли ряды стульев и кресел; цена их билетов была различна не только из-за близости к исполнителю, но и потому также, что первые шесть–десять рядов составлялись из действительных кресел – широких, удобных, со своими локотниками и хорошими спинками. И кресла, и стулья (также настоящие стулья!) в те времена были типа "гнутой венской" мебели "братьев Тонет в Вене"; легкие, красивые модели, у которых сиденья и спинки плетеной соломки золотистого цвета, а политура гнутого дерева – глубокого коричнево-красного тона. В массе, в зале эта легкая, ажурная красивая мебель производила впечатление и праздничности, и какой-то одомашненности одновременно. Такая мебель была тогда очень распространена; она имела среди москвичей большой успех и спрос – в каждой квартире средней интеллигенции часто можно было найти что-либо подобное из тонетовской мебели.

В залах кресла и стулья были расставлены, к началу концерта, в чинные ряды, как по нитке, но совершенно свободно, то есть не прикрепленными наглухо к полу и друг к другу. Обыкновенно концерты посещались одной и той же публикой, регулярно, даже если и не "абонементной". Большинство знало уже друг друга, не будучи однако между собой знакомыми. Поэтому, уже к первому антракту, под воздействием флюидов притягательных сил музыкальной восторженности и необходимости хоть как-нибудь поделиться обуревающими переживаниями и впечатлениями, люди – значит и стулья и кресла под ними – сбивались со строгой стройности своих рядов и образовывали магнитные поля островков – особенно к концу концерта, когда чинности рядов вообще уже не было, а все бывало, как дома, перемешано.

Впоследствии, не помню, когда именно, но, думается, ближе уже к

14-му году – началась борьба с таким вольнодумством публики, кстати сказать, численно значительно возросшей; сначала в венские кресла и стулья регулирующим началом привнесли длинные шесты, пропущенные под сиденьями, к которым наглухо привязаны были задние ножки мебели. Но, даже и такие ряды, свободно стоящие на полу, имели плохую привычку съезжать с намеченных строгих положений. Поэтому в партере Большого зала Консерватории появились – в 20-е, кажется, годы – те иммобильные деревянные конструкции тесных и малоудобных "мест", с откидными сидениями, положившими начало выжиманию лишних мест в зале. В более свободном, простом, но аристократичном – даже и по архитектуре Казакова, Большом зале Филармонии кресла и стулья оставались жить; при Кусевицком они еще запомнились. Наоборот, демократичный дух Консерватории был более строг и суров, в отношении к своей публике, что усугублялось еще и серьезностью овальных портретов композиторов, осуждающих, своим присутствием, всякое попустительство в таком храме искусства музыки.

Малый зал Благородного собрания был особенно уютен и красив. Его стены были окрашены в глубокий темный красный колер. Белые части – откосы дверей и окон – были теплого тона слоновой кости, с глянцем "под мрамор". В зале не было эстрады, а только небольших размеров подиум, и со стороны двери из артистической комнаты на подиум поднимались по приставной, деревянной, в три подъема лестничке. Акустика зала (да и Большого зала также) была замечательная, и артисты-исполнители чувствовали себя там очень легко и непринужденно. Вход в Малый зал был с улицы обособлен от входа в Большой зал. Этот Малый зал в 20-е годы был переделан и перекрашен; его отвели под большой буфет, функционировавший при Большом зале. Нельзя сказать, чтоб это было хорошей идеей, и, кажется, такое использование чудесного зала было вскоре отменено.

* * *

Репетиции матери начались и пошли полным ходом еще в январе 1907 года. Она сговорилась с давнишним своим партнером, скрипачем И. Гржимали и замечательной виолончелисткой Анной Любошиц, часто выступавшей с успехом, об исполнении на концерте известного трио Чайковского ("На смерть великого артиста" a-moll). Музыку этого трио, тогда еще не так заигранного, я знал уже более или менее, и теперь, по маминому разучиванию, стал в ней хорошо разбираться. Это мне очень помогло в том смысле, что я мог улавливать, в чем, или вернее чем отличалось мамино понимание текста, из-за чего происходили редкие остановки при репетировании, в чем было расхождение во мнениях партнеров, их уговоры и доводы, убеждающие особенно на тут же исполняемых примерах вариантов.

Это было крайне интересно, увлекательно и поучительно слышать со стороны; слушая все это из другой комнаты, я им нисколько не мешал, а вместе с тем как бы соучаствовал в их музыкальном анализе идей композитора.

Случалось, что темпераментный, хоть и не молодой уже, Гржимали, отстаивая свои соображения, вдруг вскипал, возмущался, по-стариковски говорил громче обычного, но – вдруг неожиданно умолкал и, вероятно, убедившись в своей неправоте, соглашался с доводами матери. Тогда музыка вновь овладевала квартирой и, успокоив всех в ней – и исполняющих и меня, обеспокоенного такой вспышкой разногласия, – снова катилась дальше, до следующей остановки. Такие общие репетиции показывали, кроме всего прочего, еще и замечательное единомыслие партнеров в смысле чтения и понимания своих партий, поэтому остановок для убеждения и уговоров было сравнительно мало. Репетиций же было обычно три, четыре, от силы пять: все шло гладко, уверенно, убежденно и убедительно, наступал срок для необходимых побочных, но неизбежных дел, которые вел кто-нибудь из приглашенных молодых студентов консерватории, либо самих партнеров, более молодых. Нужно было договариваться о дне концерта, о зале, о разрешении властей на устройство его, о расклейке афиш и о газетных анонсах, о билетах... А у матери появлялась своя забота: надо было выбрать инструмент, обеспечить доставку его на сцену, пригласить настройщика и так далее. Играла она всегда на Бехштейне, от Циммермана на Кузнецком Мосту. Там маму уже знали и всегда шли ей навстречу беспрекословно. Чаще мать выступала – соло или в камерной музыке – в Малом зале Филармонии (здание Благородного Собрания), но не исключался и Малый зал Консерватории. Зал и эстрада (еще без органа) отделены были от артистической комнаты толщенной, полой внутри, дверью – почти шкапом, выгнутым со стороны эстрады по кривой ее раковины. Я обычно поджидал мать в этой артистической, сидя на диване.

Я очень любил сопровождать мать на утренние репетиции или проверку инструмента, уже доставленного в зал; особенно в интимный, замечательный, почти ласковый зал Филармонии. Мы приезжали на извозчике, выбирая самые широкие, то есть не модные сани, потому что я держал на коленях мамин стул; он всегда фигурировал на эстраде – на других матери было неудобно и непривычно. Она всю жизнь пользовалась этим стулом, берегла его очень, и удивительно, как это он не попадал за границу, когда мы туда всей семьей отправлялись.

Пустой и освещенный окнами, но не с солнечной стороны, зал казался меньше того, чем он был. Когда он утром пустовал, его прекрасная акустика портилась – казалось, что стены, недовольные отсутствием слушателей, в сердцах отдавали звук обратно. Гулкие шаги, начинавшиеся еще где-то далеко по коридору, приводили в зал какого-нибудь редкого утреннего слушателя – чаще служителя при залах. Они всегда бывали требовательными, но очень деликатными слушателями. Громко разговаривать было невозможно, поэтому разговаривали шопотом, как заговорщики, даже когда исполнители замолкали, совещаясь друг с другом. Эти остановки музыки, какие-то переговоры, потом – громко – "начнем с буквы Д" или "начнем с такого-то такта" и т. п. – та "кухня", где начинается творческая интерпретация и ее анализ – мне особенно нравились.

На самом вечере все шло по-другому: торжественная минута, когда вдруг зажигаются все лампионы; тишина устанавливается не сразу, она прерывается шуршаньем множества программ. Но вот, теперь уже все замерло – открывается дверь артистической; из нее выходит, наклонив голову и придерживая шлейф белого платья – мама; за ней, в черном фраке и со скрипкой подмышкой – Могилевский. Мама легко взбегает по ступенькам на подиум, подходит с поклоном к роялю, а затем – для нее все пропадает, кроме внутренних видений. Казалось, что и Могилевский абсолютно не волнуется. Но – это только железная его выдержка. По словам матери, она переставала волноваться только, когда садилась за инструмент. Тут начинались уже не волнения, а определенный внутренний и сверхъестественный подъем, сильное напряжение чувств и воли.

Перед роялем сидя, мать держалась спокойно и просто. Она не думала вовсе о публике. Суждение, обычное, о "контакте" – для нее значения не имело. Ее контакт был – с инструментом и, как сама она говорила – с исполняемым композитором. Тут искала она – и находила – общий язык. И это было для нее самым главным и важным.

Она сидела, с виду, как-то бесстрастно, как будто даже безучастно, но внутренне – в огне. Все ее видимые движения были заурядны, просты и лаконичны. Не она играла руками – но руки играли ею; они играли все, что надо и как надо. Даже в особо сильных или трудных для исполнения местах, при более тяжелых ударах, когда обычно руки взлетают, как бы желая оторваться от клавиатуры или от туловища исполнителя, я не припомню чего-либо подобного в ее игре; школа Лешетицкого, говорила она, вырабатывала и добивалась тяжелого удара только в развитии силы в мускулатуре руки, а не в ее броске и весе.

А эти взлеты рук, что бывает сплошь и рядом, редко кто делает красиво и убедительно. Я вспоминаю, например, игру Иосифа Гофмана, этого короля Шопена (сейчас он – Гофман – успеха у публики не имел бы) – и мысленно сравниваю с игрой, так мало, к сожалению, записанной, Г.Г.Нейгауза. Он, как и Гофман, только изредка вскидывал руки и свою шевелюру – всегда артистично и в высшей степени элегантно. Его сын, Станислав Нейгауз – делает это еще красивее, еще аристократичней – в этом также сказывается большой артист.

За роялем мать позволяла себе лишь одну вольность: в длительных паузах она вытирала своим платком пальцы и легко проводила им по клавиатуре. Этот платок, как и ее собственный стул, особого вида, были непременными ее спутниками и соучастниками концертов.

Когда произведение завершалось, она столь же просто, как садилась, вставала и, легко опираясь рукой о рояль, благодарила за прием и аплодисменты – только легко кивая головой. Она в пояс не кланялась и не сияла улыбкой. Она всегда оставалась ласковой, но и серьезной. Выше всего она ставила – и очень ценила – искренность и значительность простоты сердца. Не заставляя публику долго ждать и сама не ожидая длительных вызовов и

выкриков, она бисировала, если видела, что зал этого заслуживает (а не она сама!) и исполняла на бис одну–две, еще ею не исполненных за вечер вещи, очень редко – три и больше, смотря по своему состоянию и желанию.

Если это был не ее сольный концерт, она со своими партнерами (чаще это был скрипач Могилевский) исполняли на бис какую-нибудь часть из сыгранных на вечере сонат.

В те времена публика была степенна. Бесилась она – главным образом молодежь – только на концертах И.Гофмана и Яна Кубелика. Они были для Москвы – два корифея инструментов и техники. А.Зилоти, приезжавший на один или два концерта из С.-Петербурга в Москву, имел всегда исключительный успех, но никогда публика не нарушала неписанного этикета и не выражала своего восторга и темперамента ни в теперешнем, очень ходком, скандирующем, как военный марш или акомпанимент к частушкам – аплодисменте, ни в бушующих волнах выкриков, вызовов и общего гама. Когда подобное, в гораздо меньших масштабах, все же происходило, тогда говорили – опять курсистки взбаламутились!

Я очень любил возвращения домой с таких маминых концертов. На столе нас поджидали свечи в канделябрах, кое-какая закуска, чай... После напряжения и труда всем приятно было, в тиши, перебирать в памяти запомнившиеся эпизоды концерта, слушать обсуждение концертантами отдельных мест программы, замечания тех, кто из публики случайно, прямо с концерта, заходил к нам. Такой вечер дома не затягивался; все понимали, как нужен покой и отдых исполнителям, но все же раньше 2-х часов ночи едва ли расходились: концерты в те времена начинались ровно в 9 часов вечера, кончались же – около или ровно в 12 часов ночи...

А вот ночью... Да, ночью – шла полная расплата за все! – за успех, за цветы, за аплодисменты. За дивную радость творчества, за витание в музыке и забытую землю. За смелость дерзания, за нарушение равновесия – за все, за все – расплата происходила тут же, тою же ночью!

Ах, как завидовала мать тем, кто мог – так не расплачиваясь, часто и почти подряд давать несколько концертов! С каким чувством собственной своей теперь инвалидности вспоминала она и рассказывала нам о времени, когда за одну поездку по разным городам давала до двадцати концертов! Концертов с оркестром и сольных, иной раз по два–три дня подряд в одном городе! И с каким заслуженным триумфом, когда ее, еще девочкой, через весь зал, на руках, под овации и гром аплодисментов, проносили студенты из публики.

И все же, даже эти, такие теперь редкие, для исполнителя-музыканта выступления – как они ее радовали, обновляли и убеждали!

Но – рядом шла боязнь! Боязнь физической слабости, телесной немощи. Тут смешалось все: и фактическая немощь, и немощь воображения, и мысли о долге и возмездии, и, может быть, ее давняя боязнь судьбы и предначертанья – снова все всколыхнувшая.

В доме об этом разговоров не было. Теперь я был достаточно взросл,

чтобы уловить факт такого разговора, ежели бы он происходил, и чтобы принять в нем хотя и пассивное участие безголосого слушателя. Но никаких таких разговоров не было, и внешне за прекращение маминых концертов говорило только учащение и усиление сердечных припадков, поселявших страх и постоянное опасенье наихудшего – даже и в нас самих.

* * *

Играть на рояле, как мама, я мечтал еще с детства. На мои долгие просьбы мать сдалась и решила, не веря в успех, меня испытать. По началу дело пошло хорошо, гладко и быстро, мама была довольна. Но когда мы перешли (довольно скоро) к более трудным упражнениям и в более быстром ритме, у меня появилась и усиливалась странная боль в правой кисти; сначала мать думала, что это обычная и нормальная чувствительность утомления, но, прислушиваясь к моим стонам, она обратила свое внимание на необычное движение сухожилий, управляющих пальцами. Приглядываясь к моей руке, она убедилась в обоснованных моих воплях.

Обратились к знакомому доктору. Осмотр, расспросы и наблюдения выявили дефект в кисти, требующий для возможной в будущем игры на фортепиано вмешательства хирурга. Соглашаться на сложную операцию, не будучи уверенной в моих данных, мать не решалась. Так и закончились, к моему крайнему огорчению, но одновременно и к радости избавления от мучительных болей во время игры, мои занятия; а в душе я продолжал – в детской резвости – считать себя пианистом, которому подвластны любые, самые трудные произведения. Тут надо отметить, что музыку в те времена я слышал только дома и воспринимал ее своеобразно – не как исполняемую кем-нибудь, а мною – слышимую, но, наоборот, как играемую мною самим; если в каких-нибудь пассажах или отрывках музыка – в исполнении – не совпадала с моим музыкальным представлением, я сердился на исполнителя, или это причиняло мне огорчительную боль – и, мысленно, я тут же исправлял допущенное расхождение. Мне казалось – вполне серьезно, – что истинные желания и мысли композитора, автора, я понимаю лучше, правильнее других. Странно – но такое необъяснимое отношение к слушаемому, как к исполняемому мной самим – не исчезло с возрастом и появляется иной раз, стыдно сказать, даже и сейчас.

Возвращаюсь, однако, к прерванному рассказу о гимназисте четвертого класса. Мне остается тут не много, чтобы его докончить – тем, как я стал "скрипачем на час". Волею судеб, после долгого перерыва, я снова оказался, как в раннем детстве, в водовороте музыки: фортепиано, скрипка, виолончель – порознь и в совместимости – в сонатах, трио, квартетах, снова вызвали во мне давнюю, еще детскую страсть стать деятельным музыкантом. Помня, что дефект в руке не даст мне счастья быть пианистом, я загорелся желанием овладеть инструментом, где не потребуется такой свободной подвижности пальцев кисти правой руки. Я был очарован игрой А.Могилевского. Меня

поразила кажущаяся легкость самой техники инстурмента, на самом-то деле – труднейшего и капризнейшего. Отлетая, в моей фантазии, в таинственные глубины скрипичного совершенства, витая в ней, как уже признанный всеми скрипач, я добился того, что мама взялась переговорить с Могилевским о рекомендации студента-консерваторца мне в учителя.

Могилевский, как профессионал, отнесся к нашей просьбе критически, как и следовало ожидать; конечно, он был прав: он отговаривал, выдвигая одно "но" за другим: и поздно спохватился – пальцы, руки, да и уши не податливы уже, как в детстве, и гимназия – ее ведь не сбросить со счета, и постановка рук – дело долгое и т. д. и т. д. – но чем больше выдвигал он доводов против, тем вызывал все большее упрямство и упорство во мне. Внезапно он сдался и – для нас совершенно неожиданно – предложил свои собственные услуги. Так я стал его учеником.

Вот тут-то, вскоре, все и вышло наружу: то, что мне казалось легким, – на деле оказалось невыполнимым; и пальцы не шли, и уши не слышали, и руки все уходили куда-то вбок и не слушались меня нисколько! Мальчишество, с каким я ринулся завоевывать искусство, раскрылось очень скоро. Но я твердо решил все преодолеть. Я сократил мои гимназические дела, полагая, что успею в дальнейшем наверстать упускаемое. Много – упрямо и упорно – работал над постановкой рук, перед зеркалом, изображая скрипача, так как, по совету учителя, играл на "немой скрипке", чтобы не резать уши людей. Так прошло года два–три, а я осилил только самые азы, да и то не полностью – срывался на любом участке!

Я приходил на урок, уже на лестнице теряя самообладание, дрожа от неизбежных окриков и обидностей, какие мне частенько выпадало выслушивать: но я все терпел и заставлял себя стоически переносить унижение. Как горько было мне видеть, с каким сочувствующим взором открывала мне дверь кабинета жена Могилевского! Как – еще конфузнее – мне бывало, после всех этих "ослиных ушей" или "курьих пальцев", красным, потным, выходить из кабинета и проходить мимо ожидающей своей очереди красивой консерваторки, уже умеющей играть! Как часто, дома уже достигши чего-то, я в кабинете все утрачивал, и ноты, вместо чинного стояния по местам, прыгали по линейкам вверх и вниз, путая еще более мои, окриками уже спутанные возможности! Поняв безнадежность положения, я сделал то единственно верное, что было нужно, – я распростился – и навеки – со скрипкой и скрипичной игрой.

Мне хочется закончить рассказ о мамином втором периоде музыкальных выступлений – ее последним, прощальным концертом в 1911 году, когда она была приглашена С.А.Кусевицким сыграть трио Чайковского, с Крейном и Зиссерманом, на вечере им, Кусевицким, устраиваемом. Последним этот концерт был потому, что болезнь сердца разыгралась уже вовсю.

Врачи не понимали болезни, и диагнозы бывали различны, значит не точны. Видя все расширяющиеся наступления на пациентку, они рекомендовали прекратить концертную деятельность, так как это была чрезмерная нагрузка

на ее сердечную деятельность, а эти обе деятельности – будто бы взаимно исключались. Эта нагрузка, столь радостная и счастливящая пианистку, а через нее и всех нас, оказывалась для нее непомерно дорогой по оплате. Домашние концерты, сократившиеся до комнаты с пятью–шестью слушателями, продолжались и дальше, и ее игру дома слушали, среди других, в свое время – и Скрябин, и Рахманинов, и многие другие. Уже значительно позже она играла и Верхарну, и Ключевскому, и кн. Кропоткину и другим, позировавшим мужу: не мне вдаваться в анализ и оценку ее игры и ее концертных выступлений. Моя мать, при ее скромности и малом тщеславии, не сохранила, и никто из нас не сохранил – ничего из тех рецензий и критических заметок, которые мы читали во многих московских газетах на следующие после концерта дни. В архиве семьи, к счастью, недавно обнаружились две–три рецензии, и это может меня документально поддержать: имена Корещенки и Кашкина, так же как Ю.Д.Энгеля – вполне известны.

Абонементные циклы концертов С.А.Кусевицкого начались примерно с 1910 года, может быть и позже. Сам Кусевицкий был великолепным солистом на контрабасе. Когда он солировал на контрабасе, говаривали – Кусевицкий выступает со своим шкафом! Но из этого шкафа он извлекал поразительное звучание. Правда, он играл на уменьшенном, не полногабаритном контрабасе, который оканчивался более длинной ногой, чем бывает у нормальных размеров контрабасов.

С.А.Кусевицкий ездил в Германию, брать уроки искусства дирижера у Никиша. Московский пианист, только что кончивший Консерваторию, очень даровитый музыкант и композитор И.Добровейн был приглашен Кусевицким проигрывать на рояли клавиры оркестровых вещей, которыми он хотел дирижировать, так как сам Кусевицкий на рояли не играл. Кусевицкий создал свой постоянный, хорошо оплачиваемый и только ему подчиненный оркестр. Сам он дирижировал лишь несколькими концертами, большинство же шло под управлением лучших дирижеров Запада. Солистами были также лучшие силы русского и западного исполнительства. По своим программам и великолепному оркестру концерты Кусевицкого быстро завоевали симпатию москвичей.

Концерты давались, как я уже упоминал, в Большом зале Благородного Собрания. От сезона к сезону места в зале попадали в одни и те же руки, поэтому публика знала друг друга в лицо, все перезнакомились и при встречах здоровались.

В ряду других московских концертов Московского Общества и Филармонии – эти, Кусевицкого, выделялись по заслугам. Они имели свое лицо и первоклассную марку.

* * *

В годовщину смерти Л.Н.Толстого "Общество Толстовского Музея" обратилось к Кусевицкому с просьбой организовать траурный вечер памяти Л.Н.Толстого. Кусевицкий согласился, и 10 ноября 1911 г. состоялся вечер,

с серьезной и глубокой нотой траурной торжественности. Консерватория освободила на этот вечер свой Большой зал. Он был освещен, что редко бывало, полностью, со всеми дополнительными лампионами, что придало залу чрезвычайную импозантность и великолепие. В программу вечера были включены, из особо любимых Л.Н.Толстым музыкальных произведений, только два – трио Чайковского ("Памяти великого артиста", a-moll) и Пятая симфония Бетховена. Трио Чайковского исполняли: партию ф.-п. – моя мать, скрипки – Д.Крейн и виолончели – Д.Зиссерман. Трио шло в первом отделении, после литературной части, а симфония – заканчивала, во втором отделении, весь вечер. Дирижировал С.А.Кусевицкий.

Вряд ли понимала публика, почему партия рояля звучала особенно похоронно-траурно, сильно и величественно. Вряд ли кто вообще мог это понять. Казалось, лицо самой музыки трио вдруг стало новым, более трагичным, и это ощущалось, вероятно, всеми; необычно зал замер, как будто бы опустел... ни шелеста программ, ни единого звука, кроме музыки на эстраде.

Во время исполнения этого трио я был в артистической, ожидая исполнителей, зная мамино настроение. В кармане у меня – разные пузырьки с лекарствами на всякий случай, для "первой помощи". Отец же, со старшей сестрой и, возможно (не помню теперь), с младшей, Лидой, сидел в зале.

Торжественность и исключительность вечера перекинулась и сюда, в артистическую: здесь был накрыт стол, стояли бутылки с вином и коньяком, вазы с фруктами, бутерброды, пирожные. Огни лампы и бра отражались "зайчиками" в стекле и блеске приборов.

Несколько человек, среди них и дежурные, в молчании сидели на диванах, на стульях. Я, как и все, прислушивался к доносящейся, очень знакомой мне музыке, но ее не узнавал и удивлялся какому-то новому смыслу звучания, такой интерпретации ранее у матери не бывало; казалось, что играет кто-то другой, не она; да, эта игра раскрывала новое осмысление и существо заигранной музыки трио и выражала сейчас чистую музыку горя, прощания, ухода...

Я слушал и вдруг обратил внимание на фигуру Кусевицкого, который стоял у полуоткрытой двери на эстраду. Кусевицкий, в черном фраке, с черными волосами и с его обычно сангвинично-темным цветом лица – красивым силуэтом вычерчивался в створе, на ярко освещенном фоне эстрады, на светлой полированной деревянной обшивке, на трубах органа...

Кусевицкий стоял неподвижно, несколько склонив голову – его обычная поза. Он внимательно, как дирижер, слушал ансамбль; музыка, видно, его захватила. Меня нисколько не удивило – я счел все прямой и непосредственной реакцией – когда вдруг что-то его передернуло, он вздрогнул и тыльной стороной руки провел по глазам, смахнув, очевидно, помешавшую ему слезу.

Это был последний концерт, последняя встреча пианистки с публикой. Такое вынужденное решение мать приняла, чтобы дать себе возможность леченья, отдыха, покоя...

Два или три незначительных выступления в сборных благотворительных концертах в пользу московских лазаретов для раненых офицеров, в первый год войны – нельзя считать концертными выступлениями, по небольшой доле участия в них.

Так закончился ее второй, короткий период концертной деятельности, с 1907 по 1911 годы. После концерта ее у Кусевицкого, в трио Чайковского, мы слушали ее игру только дома и только в обстановке будничной, семейной жизни. Вероятно, мать согласилась на предложение Кусевицкого сыграть на траурном вечере эту трагичную музыку именно потому, что она уже решила прервать свою концертную деятельность, и это трию – по смыслу, по настроению, более всего подходило к такому невысказанному прощанию с публикой, с эстрадой, с волнениями выступлений. И исполнение – действительно – выразило эту горечь и тяжесть прощального концерта.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

НОВИЧОК

Анне Н. Вильям

Начав посещать, после приезда из Германии, мою гимназию, я нашел в моем старом классе, теперь ставшем четвертым, двух учеников, оставленных – нам в наследство – по рубрике "второгодники" да еще одного, совсем нового, переведенного из какой-то другой гимназии, даже не московской. Из-за своего явного, тогда еще не побежденного, провинциализма, новичок этот, стесняясь, старался быть, поначалу, незаметным и тихим. Вполне возможно, что был он застенчивым и скромным по своей природе; сам, без указания, уселся он в тень, в глубину класса. Не имея в мыслях привлекать к себе внимание и интерес, новичок, против воли, только и делал, что вызывал к себе – своим видом, поведением, всей своей статью – повышенное любопытство окружающих.

На первых порах возобновления занятий я должен был свыкаться с новым составом класса, с новыми, без меня уже начатыми предметами, с незнакомыми еще преподавателями; дел у меня было сверх головы, и потому – не до новичков мне было! Долгое время он – для меня – оставался в стороне, хотя не раз и попадал в поле моего зрения, к примеру, тем хотя бы, что по своему росту, действительно заметному, он, новичок, "чужак", сам собою стал вторым нашим правофланговым, что для гимназиста было качеством значительным. Он был располагающе к себе прост и естествен; он был лапидарен, как необработанная глыба скалы, и непонятен своей обычной, ничем не вызванной, *доброй мрачностью* – иначе не скажешь – своего лица. Новичок, проведя с нами весь учебный год, перевелся в пятый класс, с переэкзаменовками по каким-то предметам, так с классом и не сблизившись.

Такое положение можно объяснить его безмерной застенчивостью и громадной его волевой скрытостью (но никак не *скрытностью*!). Чего здесь не было совсем – это защитной мимикрии "благородной гордости", обычной у физически слабейших учеников; ему она не была нужна, вся гимназия очень скоро узнала, что он силен, как атлет; еще чуть ли не в первые дни занятий, матерые наши записные мучители новичков попробовали было поиздеваться над ним, себе на потеху, да новичок показал им такую потеху, что во второй раз не нашлось уже желающих добыть себе легкую и дешевую победу!

В августе следующего учебного года, уже пятиклассниками, мы снова встретились в актовом зале; за лето – мы повзрослели и кое в чем, вероят-

но, изменились; было это неожиданно; не скажу, что огорчительно, но – и не радостно.

Ну, а новичок? Он-то где и каков? И вот тут, внезапно и впервые, я ощутил невольный к нему интерес...

* * *

В августе 1906 года, как видно по документам и справкам тех времен, в четвертый класс Московской пятой (классической) мужской гимназии был переведен из четвертого же класса Кутаисской мужской гимназии ученик Маяковский Владимир, 13-ти лет, показавший успехи по предметам... и т. д. и т. д.

Это и был, собственно, тот новичок наш, который так старался стать незаметным в классе, кто однако ростом оказался вторым правофланговым, а своей малой общительностью и мрачноватостью обретал постепенно все растущую приметность.

Принимаясь за *воспоминания* о четырнадцатилетнем этом пятикласснике, я ощущаю большое затруднение: ведь каждый, кто сейчас вот прочтет мои записи, наперед знает очень многое о Маяковском-поэте, о чем не раз писалось и говорилось, и что, наконец, сам Маяковский внушил нам, его читателям, о себе самом своим творчеством. Вполне естественно, что и в моих записях будут искать указаний, или хотя бы намеков, только знака хотя бы, что еще гимназистом, еще за партой, Маяковский уже утверждал свою – в будущем! – *исключительность*, тем приковывая к себе нашу изумленность.

Зная – или случайно узнавая – что я учился в одном классе с Маяковским, многие расспрашивают меня об этом времени, в надежде, что рассказывая о гимназисте Маяковском, я, конечно же, отмечу как-нибудь, уже в мальчике, в гимназисте еще, это необычайное чудо – зарождение будущего поэта громадного значения – и назначения!

Мне легче было бы и проще удовлетворить их любопытство, заметив, что да, конечно, и он (как в свое время пятилетний Моцарт, или восьмилетний Бетховен, или как в лицее еще – Пушкин) поражал нас всех в классе – строгой формой малолетнего своего стихотворства. Так объяснить, конечно, куда легче и проще, чем сказать сущую правду, заслужив тут же "дурака", проморгавшего чудо, рядом идущее! Однако истина остается именно в том, что я (как и все, тогда его окружавшие) – не учуял в гимназисте начала будущей громады.

В те гимназические годы Маяковский, если и стал причастен к искусствам, то скорее к живописи, но не к искусству слова; да и в живописи он был в те годы еще далек от подлинного искусства, которым он мог бы привлечь наше внимание. Приблизительностью же искусства – он не мог нас изумить. Он показывал мне свои "картинки" выжигания по дереву, правда красивые, но сделанные по трафаретным образцам, "под Русь"; это было, увы, еще далеко от искусства...

Что до его глубокой, искреннейшей и подлинной приверженности к революционному плану, к уже практической даже, в те годы, деятельности в этой области, то эта приверженность его – им самим так тщательно от всех пряталась и скрывалась, что мы, непосвященные, ее не знали, да и подозревать об этом никак не могли. Эта сторона, для него характернейшая, его сути и его главных интересов жизни, собственной его скрытостью прошла, вероятнее всего, к счастью для него самого, абсолютно мимо нас.

По кажущемуся противоречию к общеустановившемуся суждению, выданному ему, как патент и как запись в табели о рангах, – мои мысли, тут записанные, могут вызвать сомнения в их справедливости. Порукой за достоверность служит, однако, то, что сам ученик пятого класса, гимназист Маяковский, еще не подозревавший ничего о своем будущем, и о своем – в будущем – образе, поверив в меня, сам однажды и только на миг, не больший мига освещения молнией, приоткрыл мне (и тут же снова замкнул) свою сущность; а миг такого откровения я запомнил и пронес в себе на всю жизнь; за такое мгновение можно только благодарить судьбу, столкнувшую двух гимназистов: меня – и Маяковского Владимира – четырнадцатилетних...

Я пишу не о поэте и не о живописце. Я записываю, вспоминая, лишь то, что своими глазами, или чувствами, тогда в классе за партой, или на прогулке, на переменах, ощутил, увидал, понял – и запомнил!

Примеров же, которые бы подтвердили мои слова – я могу привести множество. Расскажу только о двух из них, наиболее ясных, выражающих вполне смысл моих ощущений. Уже и тогда эти два случая произвели на меня сильное впечатление своей полной неожиданностью. Не раз о них думая и проверяя себя снова и снова, я запомнил их во всей яркости первого сигнала. Разбирая же их и оценивая – я, само собою, приходил к определенному выводу; так эти мгновенные впечатления тогда уже определили смысл характера и лицо гимназиста. Я составил о нем – пока для себя только – непреложное и ясное представление.

Как ни странно, оно никак не сочетается – даже более того, оно расходится с теми эпитетами, которыми в будущем он окажется наделенным. Об этом – дальше и ниже. Сейчас это "будущее" его я отмечаю лишь для себя самого и для того, чтобы показать, что говоря о тогдашнем, я отлично знаю и о теперешнем и его не забываю. Но надо не забывать и о том, что ни у кого тогда и в мыслях не было (да и не могло родиться такое) об эпитетах поэта, известного ныне и школьникам! Тот гимназист, Маяковский Владимир, тогда от таких эпитетов был вполне еще свободен!

* * *

В классе мы обращались друг к другу по фамилиям, или по придуманным и утвердившимся кличкам. Измененная, еще с первых классов, фамилия из года в год заменяла собою подлинную, и ученик с ней и выходил в студенты. Был ученик Бажутин, которого сразу же все полюбили, а потом

стали и уважать за многое; тем не менее он сразу же стал почему-то "Утюжкиным" и таким он стал и студентом-естественником. Ученик Герасимов, Василий – был переименован в "Ваську-Козла", так Васькой Козлом он и стал первоклассным медиком-терапевтом! Так и Маяковский, в свой черед и момент, заработал своим обликом, силой, мрачноватой замкнутостью и нелюдимой обособленностью – свою кличку: "Одноглазый Полифем" – мы как раз проходили, на греческом языке, Одиссею о Полифеме. Такое название к Маяковскому подошло и быстро закрепилось. Обидного в нем ничего не было, Маяковский отзывался на него легко и даже спокойно-весело.

Когда стена, разделяющая людей, не больно друг другу доверяющих, между мною и Полифемом стала распадаться, правда очень медленно и исподволь – случилось, что во время перемены мы остались одни в опустевшем классе; глупо было сидеть по разным углам – и мы оказались за одной партой.

Мы разговорились не сразу. Но, через несколько общих, малозначащих фраз, почуяв что-то сближающее, Маяковский, пожалуй даже как-то стесняясь, стал говорить со мною о своем кутаисском прошлом, дальше – больше, о своих детских воспоминаниях, о семье, о горячо им любимом отце, умершем...

Оглянувшись и убедясь, что никто в класс не вошел и что никто за нами не наблюдает, он, заговорщически, заторопясь и понизив голос, стал что-то говорить, одновременно расстегивая борт куртки; затем – быстрым движением – вытащил из внутреннего бокового кармана маленькие черные часики на черной же цепочке, сплетенной из конского волоса. Такие цепочки, разных фасонов и рисунка, были тогда в моде. "Эту цепочку, – прошептал он, – сплел мне на память отец! Собственными руками!" – и с этими словами он отстегнул цепочку от куртки и с часиками дал мне в руки – поглядеть, как тщательно она сплетена! Казалось бы – что такого, что мальчик чем-то хвалится!

Но по всему – как любовно ее отстегивал, как бережно держал ее, мне передавая, как глядел на нее – и на меня, ожидая моего ответа, – своими большими, темными и грустно-ласковыми глазами; как говорил он об умершем отце – по всему этому явственно проступало особое, нежное, ему дорогое, чувство и отношение к этому дару на память! Цепочка, действительно прекрасно сплетенная, красивая, как художественная вещь, сама по себе могла бы вызвать к себе такое чувство. Но через все проступало другое: ценность памятного дара, от любимого отца, любимому сыну, ценность морального порядка куда бóльшая, чем сама вещь! Вот что нельзя было не прочесть во всем происходящем в крайне кратком миге откровения, через секунду погасшем. Все происшедшее было так моментально-мгновенно, как мгновенно темноту освещает вспышка молнии, тотчас же гаснущей. Секунду – не дольше – длилось его преображение. Я увидел душу – Полифема! В нелюдимом, мрачном обычно бирюке, в отщепенце, этом поистине Полифеме –

вдруг на миг чудесно раскрылась мне тщательно скрываемая, добрая, ласковая и глубокая нежность! И это – в Полифеме! Нежность, почти девичья!

Потрясенный неожиданностью превращения, я задал ему, для самопроверки и успокоения, несколько вопросов, почти даже провоцирующих, для меня очень нужных. Я хотел, говоря честно, вызвать его на еще некоторое продолжение откровенности. Он отвечал не сразу, задумавшись; может быть, он про себя проверял, насколько вправе он выдавать мне, человеку все же чужому, тайны личных чувств к отцу; затем, мне поверив (и не ошибясь), он кое-что добавил о семье и о своем прошлом.

Звонок на урок прервал наш разговор. Ученики, врываясь в класс и с ходу кидаясь на парты, сразу прервали все и восстановили атмосферу класса. С хохотом и обрывками не законченных в коридоре забав, они установили нормальный гимназический ход жизни.

Удивительно, как человек может преображаться! После пятиминутной метаморфозы на перемене – за своей партой сидел все тот же, нам столь знакомый, Одноглазый Полифем, мрачный, лобастый, отщепенец и нелюдим. Конечно, никто, врываясь в класс, не заметил, не почуял и не удивился метаморфозе, не увидел в Маяковском никаких новых и нежданных черт характера.

Меня, видимо, он перестал чураться, поняв, что тут ему не угрожает ничто, затрагивающее чистоту его тайн. Но даже и в таком новом – для меня – положении возможного своего освобождения – его не покидала ни обычная мрачность, ни настороженность: и то и другое, в каких-то почти неуловимых мимолетностях – глаз, губ, щек – тенью пролетало, мгновенно исчезая.

С этого дня – да и потом, после разных перерывов встреч – я замечал в нем, как раз когда он менее всего хотел бы об этом думать или показывать, что в своей сути этот Полифем, этот – уже позже – буян в желтой кофте, был – я не побоюсь сказать даже так: с душой лиричной и нежной, умеющей и готовой просто и горячо любить. Этот "солдат" и "трубадур" двадцатых годов был, по своей природе, излишне мнителен: именно из-за этого был он так замкнут в себе. Он надевал броню, несомненно тяжкую для самого себя – напускного, холодного равнодушия ко всему, мрачности и печоринского бреттерства, качеств, всем уже известных, ставших его вторым "я" и определявших его лицо – для всех!

Владимир Маяковский!

Воспоминаний о нем в его гимназические годы, вероятно, написано много. В те годы, вне гимназии, вне наших о нем представлений и знаний, он вращался в особом круге людей, между собою связанных общим делом революции, подпольщины и агитации. Эта жизнь – серьезная и важная, проходившая за нашим, гимназическим, горизонтом – несомненно кем-нибудь была записана, зафиксирована или – хотя бы – намечена. Это была еще одна, из неведомых мне, в гимназии, сторон жизни и характера все того же Полифема.

Но я, упаси Бог, не биограф его, складывающий, как мозаичник, портрет его из бесконечно большого числа кусочков цветовой смальты: это – не моя

задача и забота! В тот год, кроме того, он был и для меня и для всех других, имевших с ним дело, никем иным, как одним из многих таких же, как мы сами, учеников одной гимназии, одного класса.

А то, что скрывало от нас его будущее, что от нас скрывал он сам, то, что по детским привычкам прятать что-либо от других – само собою пряталось за полифемской маской – мы все, и я в том числе, естественно, ни знать ни ведать не могли – да и откуда бы? – и, тем более, не могли предвидеть или предчувствовать. Брать и разбирать его качества и черты разрешалось нам самим Маяковским только лишь по тем случайно перепадавшим крохам, какие он сам позволял видеть, трогать, обсуждать и оценивать. К этой, прямо скажу, малой малости прибавлялось – для меня лично – то, еще меньшее, что я смог в нем подметить, как теперь говорят, "скрытой камерой"; и, однако же, даже такая малость – в корне меняла общее представление о носителе странной клички Полифема. Вместе с тем эта малость имела силу восстановить – в моих, по крайней мере, глазах, истинную его суть, которую, однако, сам Маяковский сознательно, по неясной мне тогда причине, так тщательно от всех скрывал и глубоко в себе прятал.

Кривить душой я не хочу, да и не к чему! Ни в те годы, ни впоследствии, когда продолжались мои встречи с Маяковским, я с ним не подружился. Он оставался и дальше верен своему полифемству: в гимназии – ему ни сама гимназия, никто от гимназии, например мы, – никто не был нужен. Забегая вперед, отмечу – эта черта бронирующего равнодушия ко всему у него стояла всегда на первом месте.

Но на мгновение растопившийся между мной и Маяковским лед – более не замораживал дороги друг к другу. Не раз бывало, что, оказываясь в классе ли, на прогулке или в рекреации, одни вдвоем, без свидетелей, мы – наши обычные разговоры и болтовню о пустяках – вдруг круто перекидывали на более волнующие, скорее для отепления рассказчика, нежели для удовольствия слушающего.

Маяковскому, с детства жившему на природе, да еще на Кавказской, почти еще нетронутой человеком, в простой, полудеревенской жизни – было больше чего вспоминать, чем мне, горожанину. Он так захватывающе красиво рассказывал, лаконично, выпукло, так естественно просто и потому живописно, что слушать его басовитый бархатный голос было изумительно и приятно. Все, что он передавал, было мне интересно. Оно говорило о замечательно дружной, сплоченной семье, живой и жизнелюбивой, связанной с богатой южной природой.

Семья жила, хотя и безбедно, но все же ближе к грани бедности, что там, однако, не во всю силу чувствовалось. Все это формировало скрытого от нас человека; то малое, что просочилось и изредка им дополнялось, рисовало моему пониманию иного Маяковского и упрочивало мое представление об этом другом.

Подтвержденьем сказанного для меня был второй случай, еще более молниеносный, но, может быть, и более убеждающий в моей правоте.

* * *

Однажды, на большой перемене, я проходил с Маяковским опустевшим коридором, направляясь в большой зал первого этажа – гимнастический, превращаемый, в большую перемену, в своего рода бивуачный буфет. На длинных скамьях устанавливали три громадные корзины с разного рода булочным, кондитерским и гастрономическим товаром от Савостьянова – магазинчика с Поварской, недалеко от гимназии.

Гимназисты всех классов чинно, под неослабным и зорким присмотром наших надзирателей, гуляли по эллипсу зала, возле корзин задерживаясь, чтобы что-либо перехватить на копейки, и шли дальше, в сухомятку, под болтовню и смех все поглощая на ходу. Еще не дойдя до дверей зала, в пустом коридоре в затененном уголке мы наткнулись на сцену, увы не редкую, издевательства волкодава над очередной жертвой – новичком или малышом-первоклассником, сцену, по личному опыту в свое время мне хорошо знакомую. Тут-то и произошло нечто, никак и никем не ожидаемое, никому в голову не приходившее до сего раза, что однако – внезапно и разразилось! Маяковский громко, во весь свой басовитый голос, потребовал немедленно прекратить издевательство! Но, как на его слова волкодав не обратил никакого внимания, продолжая мучить свою жертву, наш Полифем моментально перешел от слов к делу и так решительно, внезапно, с таким хладнокровием наказания, что волкодаву, вмиг растерявшему свое величие, пришлось немедленно ретироваться, постыдно оставив поле своего превосходства над слабейшим; он бежал, показав себя к тому же и трусом и подхалимом перед более сильным. Маяковский же, еще в чаду возбуждения, ему вдогонку орал, что, мол, так он, Полифем, будет поступать с любым, кто станет кичиться своей силой над слабыми малышами!

В таком его поступке, казалось бы – самом естественном и простом, меня поразило то, что за все время моей гимназической жизни первым и единственным мальчиком, так откликнувшимся на "обычное" – оказался наш новичок, наш Полифем! Маяковский и в этом случае молниеносно блеснул – и тут же снова погас – своим чувством справедливости, бесстрашия, отзывчивости; не на последнем месте стояло и наличие большой, несомненной, душевной доброты. Не правда ли, такие качества, качества определенного духовного превосходства на фоне общегимназического полифемства – что-то обозначали собою; мне они снова раскрылись и подтвердили окончательно скрываемое нутро и существо характера Полифема-Маяковского. Я счастлив это здесь высказать и закрепить в рассказе.

* * *

Жизнь в классе, совместная с Маяковским, оборвалась так же неожиданно-случайно, как и началась. В марте того же 1907–1908 учебного года, из пятого класса, Маяковский был отчислен из нашей гимназии по прошению,

направленному им в педагогический совет. Никому не говоря, что вскорости покинет гимназию, возможно даже не простившись с нами, он как-то незаметно исчез с горизонта; во всяком случае я не припомню ни момента расставания, ни связанных с этим, обычных эмоций; я не могу сказать, как это произошло. Может быть, в этом проявилось и отсутствие, со стороны Маяковского, к нам особого интереса, а может быть – и это вероятнее – желание скрыться незаметно, незамеченно – конспиративно.

Как бы там ни было, весной он ушел, когда внимание было сосредоточено на окончании года, на подготовках к экзаменам, к их сдаче; затем все разъехались, кто куда, на каникулы... Когда же осенью все собрались снова, пошли новые заботы, новые дела, как бывает всегда в начале нового сезона, и все пустяковые треволнения, естественно, заслонили на время пустующее место Полифема!

Единственное, что промелькнуло о нем, но точно я не могу припомнить, кто сказал, при каких обстоятельствах и, главное, с чьих слов – и в какой форме – что бывший ученик пятой гимназии, Маяковский, значит именно наш Полифем, оказался связанным с революционным подпольем, на чем-то попался и сидел даже в тюрьме. Что было с ним дальше – никто уже не знал, этим не интересовались, и постепенно все выветривалось из памяти. На этом могло бы все и кончиться; был гимназист – и внезапно исчез! Но – судьбы наши складываются прихотливо, и не всегда – понятно!

* * *

Из нашего гимназического поля зрения он исчез бесследно и, казалось, напрочь. Однако жизнь столкнула меня с Маяковским еще раз, и так же случайно и неожиданно.

В десятом году, когда я был уже в восьмом классе, и в особенности, когда я стал студентом первого курса московского университета, по Москве распространялись разные разговоры о каких-то хулиганствующих бунтарях, разгуливающих по Кузнецкому Мосту в весьма странном и вызывающем виде, с размалеванными лицами, в экстравагантных костюмах. Бунтари эти составляли определенную группу молодых людей, среди которых выделялся один, более других броско одетый. Он был сам довольно статен, высок, красив, с моноклем и в цилиндре, в ярко желтой с черным кофте, с тростью со слоновой кости набалдашником. Прогуливаясь, они что-то будто бы громко декламировали, задевали проходящих мимо разными репликами, подчас явными насмешками и вызывающим нахальством обращений. Красивого в желтой кофте называли часто "каким-то Маяковским" с таким осуждением, что мне тогда в голову не приходило, что этот "какой-то Маяковский" мог быть тем, таким нелюдимым и угрюмым новичком, прозванным у нас в классе "одноглазым Полифемом".

Чем чаще произносилось это "какой-то Маяковский", тем больше пробуждались ассоциации фамильных созвучий. Да, да... Маяковский... но, пого-

дите! Маяковский... был, был такой! Да, но он – этот мрачный отщепенец – конечно, он мог быть кем угодно, даже и деятельным подпольщиком, идейно честным, искренним революционером – каким и был тогда, на самом деле! Но, Полифем – и эта дурацкая желтая кофта? Монокль? Ну нет, простите! Не может быть, не верю и не поверю! Тут кроется случайное совпадение фамильных созвучий, не более. Ведь было же – и это стало известно всем, и нам также, из газетных судебных хроник – что в уголовном суде судили подмосковную крестьянку, проворовавшуюся бабенку, по фамилии Пастернак, которая однако ничего общего – ни в настоящем, ни в глубоком прошлом – с нашей семьей не имела! Не состоя с нами в родстве, она, тем не менее, принесла нам много веселых насмешек.

Ни обликом, ни поведением, ни разговорами – ничем – ничто не вызывало во мне никаких предположений или предчувствий, ни тогда, ни даже и позже, что наш Полифем, пусть даже с его тщательно им скрываемой лирической, как я тогда ощутил, душой, что странно-мрачный, ничем себя не показавший и в тени скрывающий себя новичок, сможет так изменить себя, так преобразоваться! Конечно же нет, не смог бы! Тогда, в гимназические годы, как мы знаем, у него была склонность к рисованию, хотя и тут он выказывал себя странно: он выжигал по дереву и раскрашивал какие-то, не очень уж художественно-вкусные "картинки"; они не вызывали в нас большого восторга или потрясения; для его возраста они казались средней инфантильной обыденщиной. Ничто, ничто не выказывало тогда в нем будущего художника и поэта: таким он исчез тогда из нашей памяти. Потому мне трудно было связать одной нитью Маяковского-гимназиста с тем "каким-то" желтокофточным однофамильцем.

Окончил гимназию я весной одиннадцатого года. Я записался на физико-математический факультет университета, совершенно непонятно, из каких соображений – разве по дурости. В гимназии уже выявилось, что с математикой особой дружбы я не завел. Положенье терпелось до 1913 года, когда ясно стало, что дальше так идти не могло. В то же время определилось, что меня влекло, уже давно, в архитектуру. Но я понимал все трудности, связанные с переменой профессии. Одни только конкурсные экзамены по искусству – рисунку, по акварели, архитектурной отмывке – должны были решить мою судьбу. Конкурсы в Училище Живописи были всегда трудными и безапелляционными. Отец не верил в мои возможности и силы выдержать тяжелые соревнования, но не переубеждал меня. Экзамены должны были начаться ранней осенью.

Случилось так, что при значительной трудности – на одно место пять прошений – экзамены прошли для меня удачно. Я попал в число принятых – и даже не последним номером. Радости не было предела.

Не помню точно, в каком году, но задолго до моих экзаменов в Училище, с Живописного Отделения была исключена группа учеников, наиболее "крайних" или "левых" течений, не желавших выполнять указания преподавателей живописи, даже и В.А.Серова. Эта группа учеников – и та группа

"бунтарей" на Кузнецком Мосту, вкупе с желтой кофтой, очевидно, были если и не одними и теми же лицами, то во всяком случае друг другу очень близкими, связанными одними и теми же взглядами на искусство. И вот, так случилось, что, когда я уже после экзаменов пришел в Училище оформлять мое поступление на архитектурное отделение и стал подниматься по наружной, широкой, парадной лестнице (сейчас ее уже нет, ее разобрали!) – навстречу мне, из двери Училища, вышел – батюшки мои! – да это наш Полифем! Меня он также сразу узнал, обрадовался, и мы тут же, на ступенях, чуть не обнялись!

Встреча с Маяковским была поистине неожиданна и совершенно случайна: приди я несколькими минутами позже – или выйди Маяковский из Училища раньше моего прихода – наши пути не сошлись бы в этой точке, никакой встречи не состоялось бы и, быть может, тайна о желтокофточном Маяковском так и осталась бы для меня не раскрытой.

Как все, в литературе происходящие, случайные встречи кажутся всегда надуманными и "специально" сочиненными для усиления или усложнения ситуаций, так и в данном случае можно думать о встрече присочиненной. Но – чаще всего такие, похожие на вымысел, ситуации оказываются наиболее достоверными, жизненными и обычными происшествиями, почти не замечаемыми в действительности, пока они же не попадут в фокус литературного освещения.

Так случилось и тут: встреча с Маяковским была не моей фантазией; она произошла, как промежуточный эпизод-элемент между гимназическим прошлым и нашим будущим. Но – дружеского и продолжительного разговора на площадке лестницы не получилось. Мы оба удивились месту встречи, какому-то повторению случая: сначала – гимназия; сейчас – Училище! Что же станет местом третьей встречи?

После нескольких фраз рассказа Маяковского я обратил внимание на новую и меня крайне удивившую манеру его – говорить каламбуря и все время даже балагуря, а порой и несколько издеваясь над собеседником. Удивленный такой манерой, которой ранее я никогда не замечал, которая и теперь мне не очень-то понравилась, я не дал Маяковскому возможности применить такую манеру разговора ко мне: я не проявлял "реакции возмущения", чего добивался Маяковский, а наоборот, отвечал в тон, чем парировал лучше всего выпады, ежели они происходили. Маяковский вполне оценил это, весело похохатывал, разговор стал менее натянутым, более простым, хотя характер балагурства при серьезных темах сохранялся и при последующих встречах.

Но впоследствии они становились, волею судеб, все более случайными, редкими, сходящими постепенно, но определенно, на нет! Разъединяющей силы меж нас не возникало, но тем не менее не рождалось и сближение, может быть, нам обоим и желанное. Очень уж велика становилась разъединяющая *дистанция* положения, и она все ширилась, спасая меня, тем самым, от опасной в такой ситуации фамильярности, вполне мыслимой. И все же, хотя и редко, но с Маяковским встречаясь, мы неизменно дружески и с обоюд-

ным удовольствием разговаривали, при все той же, но теперь уже знакомой (хотя всегда непривычной!) манере насмешливого, баском, балагурства Маяковского.

Однако, несмотря на обычную его ко мне доброжелательность, у него проявлялись какие-то, мне совершенно непонятные срывы – попытки, ничем не объяснимые, уколоть, осмеять, даже вызвать на ссору. Правда, эти срывы были мимолетно-мгновенны, тут же и проходящи, но эти срывы, все же, были мне мало приятны.

Я не все из них запомнил. Но некоторые запомнились именно тем, что ясно были направлены только на то, чтобы сделать неприятность минутного укола. Вот один такой пример. Я столкнулся с Маяковским на каком-то вернисаже выставки, кажется "Бубнового Валета", точно не помню. Все было приподнято: много народу, ярко-солнечный день, красочные полотна. Мы с Маяковским, прогуливаясь по залам, о чем-то болтали. Вдруг, очутившись в большом скоплении толпы, Маяковский, громче нужного смеясь, узнанный всеми, своим глубоким басом – чем он несколько позировал – обратился ко мне, сделав внезапный, резкий выпад, быстрый, как при фехтовании рапирой, и, насмешливо глядя мне прямо в глаза, значит – не случайно, значит, с рассчетом на что-то – с недоброй усмешкой, нарочито громко – чтобы слышали кругом, сказал: "Пастернак! Ваш отец талантливый художник! Но лучше было бы ему играть на виолончели!" – он явно ожидал вспышки ответа. Но удовольствия ему я не доставил; приняв вид озабоченности, я серьезно, в тон ему, ответил – "Вы думаете? Спасибо, я посоветую ему попробовать", – на что Маяковский, этого не ожидав, запросто засмеялся, и, как ни в чем не бывало, мы продолжали разговаривать, осматривать и оценивать выставку.

Примерно в таком же дурашном роде я получил однажды от него записку; поздним вечером на Волхонку, где мы тогда жили, из Училища Живописи прибыл наш служитель, всем знакомый и всех знающий Петр, передавший мне приглашение на какой-то вечер в Училище. Записка была написана рукой Маяковского. Она долго сохранялась у меня, как некая дорогая реликвия, но при переездах она потерялась. Я знал наизусть ее содержание. В записке стояло: "В супе нашего веселья не хватает только вас, о Пастернак!" – и все. Запиской же, с тем же Петром, я ответил: "Маяковский, вы правы – без пастернака суп пресен! Еду!"

В тот вечер Маяковский был в ударе и очень весел. За столиком было несколько человек, хорошо мне знакомых. Не было – Чекрыгина, почему-то. Все были уже далеко не трезвы, как всегда Маяковский сам меньше пил, чем подпаивал других; мы много смеялись, ехидничали, злословили, каламбурили, как всегда; Маяковский читал кое-что из своих стихотворений, но больше имитировал, импровизируя, Северянина...

Мы разошлись уже под самое утро.

* * *

Владимир Маяковский!

Сейчас это имя неотделимо уже никак от образа и представления поэта, нам раскрытого и преподанного критикой и литературоведением.

Он, этот образ, возникает тотчас же, почти механически, как только прозвучит его имя. Я не хочу тут ни оправдывать – или поддерживать, ни, тем более, оспаривать – то есть опровергать – определения, уже твердо установившиеся, как незыблемые и исчерпывающие вопрос эпитеты ясные и достоверные, прилагаемые к имени поэта Владимира Маяковского, – трубадур, или глашатай, или солдат и т. п. – революции. Эти эпитеты прочны и тверды, как бронзовые медали, выбитые и отчеканенные на долгие годы. Конечно, не мне решать такие профессиональные вопросы, это дело всезнающих критиков и знатоков. Время, которое, кстати сказать, кое-что уже сделало – сделает еще больше в свой черед и – окончательно подведет черту, как всегда, – гораздо позже.

В моих же силах только вспомянуть прошлое, что проходило при мне и на моих глазах. О прошлом этого исключительного человека, когда он не был еще поэтом, а всего только гимназистом пятого класса, я высказал все, что сохранила моя память. Я рассказал также кое-что, конечно очень малое, о Маяковском следующих моих с ним встреч, когда оба мы из гимназистов вышли на широкую дорогу жизни.

Пусть меня не упрекают в том, что я недостаточно внимателен был к Маяковскому и многое упустил, не дав себе труда запомнить.

Мои воспоминания о нем и размышления я завершу последним с ним прощанием, когда он лежал уже в гробу, в зале дома на Поварской. Молча и тихо пришли мы туда, я с женой, и в слезах обошли гроб, в последний раз взглянув на него, и вышли в сад.

Там, сидя на скамье, мы прослушали надгробное прочувствованное слово Луначарского, очень взволнованного.

Сейчас, вспоминая и это, я думаю, что слышавшие тогда Луначарского, на трибуне, согласятся со мною, что очень немногого, может быть, не доставало, чтобы сказанное Луначарским о Маяковском, о глубоком лиризме его, как человека и поэта, который так ясен в его творчестве, – совпало бы или оказалось бы очень близко стоящим к тем, лично моим, уже тогда, в гимназии, составленным о нем представлениям, какие я выше высказал. Его лиризм, отмеченный Луначарским, как основа его творчества, фактически не отделим – и не отделён от образа Маяковского. Мне же ясно, по памяти о гимназисте, что этот его лиризм, как следствие, не отделим, то есть не отдéлен от нежности души, что было основой Маяковского, пусть даже и бреттера, и желтой кофты, и солдата и глашатая революции и так далее. Как же так? Бреттер – эпатант буржуя – и нежная душа? Нежность души – и его, пусть даже только внешняя, грубоватость, при случае, однако, переходящая в жесткость и даже – жестокость! – в насмешке, в издевательстве?

Вероятно, не приспело еще время решать такие серьезные вопросы расхождений; оставим их, пока что, открытыми, не тронутыми. В таком смысле –

только в таком – надо принять и допустить и мои предположения, для меня, однако, вполне достоверные и устоявшиеся, мною проверенные, мною выше высказанные.

Я счастлив и судьбе благодарен, что такие предположения однажды – самим Маяковским – были показаны в мимолетности случая; что мгновенно, молнией блеснув, они осветили мне на долю секунды то, что волею самого Маяковского обычно пребывало в сокрытости, в темноте глубины.

Но ведь такие, хотя бы и внезапно, на мгновение, на миг раскрывающиеся черты характера – никогда более не исчезают бесследно, составляя основу, золотой фонд человека.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

МЕТАМОРФОЗЫ АЙСЕДОРЫ ДУНКАН

М.А.Добровейн

Первая гастроль Айседоры Дункан – артистки, Москве мало еще известной, быть может даже совсем не знакомой, состоялась в Московском Художественном театре в 1908 году. На первый утренник этой гастроли я попал совершенно случайно и неожиданно. Мне было тогда пятнадцать лет; я учился в пятом классе классической гимназии.

Во времена, когда она гастролировала в Москве, процветал еще в мире артистов добрый обычай приглашать на свои выступления по бесплатным контрамаркам друзей и лиц, мнением и судом которых исполнитель интересовался и дорожил. Потому неудивительно, что однажды Педагогический Совет Училища получил несколько контрамарок, адресованных педагогам-художникам, "буде кто, – значилось в записке устроителя спектакля, – пожелает почтить своим присутствием утро античного танца артистки Айседоры Дункан... и т. д.". Всеобъясняющее слово "балерина" в записке отсутствовало, и это всех, естественно, заинтриговало.

Мой отец, чуждый балету, в число "буде кто", конечно, не входил. Но уговоры Серова, особенно же Коровина, привели неожиданно к тому, что как раз только эти трое и оказались "пожелавшими". Так как присланных контрамарок было больше, отец взял еще одну – для жены. Случилось так, что ни мать, ни брат мой не смогли в этот день быть в театре. Так, неожиданно, я оказался счастливым обладателем "кота в мешке" – мы ведь не могли знать, что ожидает нас на "утре античного танца". Меня радовало уже одно то, что я буду сидеть не в семейном составе, а рядом с такими именитыми, как Серов и Коровин, художниками.

Серов нередко и совершенно запросто бывал у нас в семье; с серовскими детьми мы часто встречались и совместно играли. Все было привычно и знакомо, а все же с самим Серовым приходилось быть всегда очень "на чеку": человек, в сущности, большой доброты, Серов мог быть – и бывал – достаточно опасным. Мы, как и все, знали, как его "грустный" (а сам Серов называл его "скучным") юмор, с едким, подчас и саркастическим, но "тихим" ехидством, мог внезапным ударом жала поразить собеседника. Этого-то все и боялись. В театре выяснилось, что Серов сидел по другую сторону от отца, а Коровин и вовсе куда-то исчез, вероятно, за кулисы: так само собою были мне обеспечены в театре мир и тишина.

* * *

Обычная трудность решения, с каких позиций восстанавливать прошлое, в данном случае осложняется столкновением двух наплывающих друг на друга планов и невозможностью оторвать один от другого.

На утреннике – тот гимназист, а с ним, может быть, и многие другие в зале, совсем не знали – или очень мало – об Айседоре Дункан, как о человеке и как об артистке, о ее новаторстве, о новых задачах ее.

Теперь же все и всем известно: карты на столе – открыты. Все знают, каковы были ее идеи, какие устремления и мечты ее волновали. Новый ее жанр быстро породил множество последовательниц, больше мнимых. Сама Дункан впоследствии как-будто от многого отошла. Многое, устарев и поблекши, забыто, возможно, теперь осмеяно. Шарм эксперимента испарился, мало кто помнит его. Трагичная судьба, трагична и смерть, случайная и незаслуженная!

Ах, мне хотелось бы забыть все это, об этом не знать совсем, вернуть себе шестьдесят с лишним лет – и передать, вневременно, все так, как это увидел и перечувствовал *тогда* тот гимназист, пятнадцати лет, да и не он один в зале! Я был бы безмерно счастлив, если бы мне удалось воссоздать здесь, сейчас, ту ауру восторга, какая сразу, как только разошелся занавес, возникла в зале и держалась, не опадая, во весь замечательный этот утренник.

* * *

В нашей семье царил всегда, как с детства я еще помню его, культ античного искусства; шло это естественно от отца.

Из библиотеки Училища сторож Кузьма приносил довольно часто отцу на квартиру, кряхтя под пудовой тяжестью, большущие книжища, которые носили обобщающее название, вызванное, верно, именно их тяжестью – "фолианты" или "увражи" – что звучало само по себе – громадно.

Тогда Кузьма, милейший человек, был еще молодым. С ним и с его появлениями у нас – связаны многие мои воспоминания детства. Я вновь с ним встретился, уже став студентом того же училища, в той же библиотеке; но Кузьма был уже седым стариком. Я обращался к нему, знавшему великолепно библиотечные сокровища, за советом, как к своего рода каталогу.

В приносимых отцу фолиантах и встречались те картинки, по которым мать рассказывала нам разные приключения каких-то богов, хотя изображены были только люди и почему-то все голые.

В прогулках по божественному саду античной мифологии, мамой произносилось обычно слово, мне непонятное: "небожитель". Я толковал его на свой, детский, лад и довольно странно: я понимал дело так – нам строго запрещалось божиться; мать же рассказывала о людях совершенно примерных, к тому же бывших еще и богами, значит им-то божиться и не приходилось. Вот потому они и звались "не божителями". Такое истолкование своей ясностью меня удовлетворяло, все становилось по местам! Жителями же неба, чем они на деле и были, стали они для меня значительно позже, когда

до меня дошло, что страна их обитания, "Олимп", была именно небом. С того момента они стали жителями неба, то есть "неба жителями". Что касается соединительного "о" – то это пришло гораздо позже.

По рассказам о них я постиг истину, что некогда, бог знает когда, были не только боги и люди-герои, но еще какие-то "полубоги", что совсем не укладывалось в моем представлении! Но я свыкался с этим, как и с тем, что в отличие от нас они – в изображениях – всегда ходили голыми. Поначалу это удивляло; я их, бедных, жалел: зимой-то им приходилось сильно мерзнуть! Но узнав, что на их Олимпе постоянно было жарко, как под Одессой, куда нас вывозили на лето греться на Черном море, я перестал жалеть их в их бедственной жизни, в голом виде.

Перенимая от взрослых, главным образом от родителей, восхищение от изображений этих голых богов и богинь, я стал привыкать видеть в них только изумляющую красоту обнаженного идеального тела. Переставая тревожиться и смущаться вида наготы, я стал понимать то, что так восторгало моих родителей и их друзей.

Вероятно, в силу того же культа античного искусства – первым – брат мой, а я вслед за ним – оба мы попали в классическую гимназию; древние языки – латынь и греческий – были предметами обязательными и ведущими.

Классическая гимназия упорядочила и расширила привитую уже с детства приверженность к античности. Образцы античной скульптуры и вазовой росписи, знакомые мне с детства по тем "фолиантам", дополнялись еще и сведениями по архитектуре, в виде картинок – в учебниках – развалин акрополей и храмов, театров и стадионов и даже их реставраций, не всегда правдоподобно их восстанавливающих. Сюда же привходило и знакомство с текстами тех времен. Все это, объединяемое общим словом "искусство", входило в сознание гимназиста – само собою, не спрашиваясь. Заслуги мальчика тут не было никакой. Искусство само находит благодарную почву и расцветает на ней, как хорошо ухоженный сад.

Еще не знание – до него было еще очень далеко, и не понимание даже – но хотя бы только *ощущение* высот этого искусства, в передаче целомудрия человеческого нагого тела, мужского или женского, безразлично, мальчик впитывал в себя уже в этот "опасный" гимназический возраст и – благодарный богам – сохранил это чувство и посейчас.

Так, с детства уже подготовленный, входил пятиклассник в театр на обещанное афишами "утро античного танца", совершенно не подозревая, чему свидетелем и зрителем ему предстояло оказаться!

* * *

Когда, протрепетав обычными волнами, знаменитый серый занавес с чайкой разошелся по своим углам, привычной сцены не оказалось: задник, затянутый серой холстиной, был придвинут к самой почти рампе. Утратив свою осмысленную глубину и перспективу площади, сцена превратилась в подобие

улицы, вытянувшейся *вдоль* рампы. Слева от зрителей оставалась незначительная дверь, ведущая, должно быть, в артистическую.

Внезапно, на только что еще пустом месте, у двери, оказалась неподвижно стоящая фигура женщины в легкой белой тунике с полураспущенными короткими волосами, несколько курносая, чем-то миловидная, скромно улыбающаяся, даже радостная. Она появилась так незаметно, невзначай, что, возможно, ее не сразу и приметили.

С первых минут какой-то еще неясности, неопределенности, а потому – непонятности, но вполне реально, почти что наяву, нахлынули на меня – внезапно и враз – видения репродукций, знакомых с детства по гравюрам, фототипиям и по первым рисункам в фолиантах, приносимых Кузьмой. Потрясающая сила уподобления и большой убедительности охватила меня – да и весь зал – властью искусства, с какой эта женщина, там у двери, перевоплощала себя то в окаменелость мрамора, или – наоборот – античный мрамор оживляла своим телом живой женщины!

Боже мой! – чуть не закричал я в диком восторге – Боже мой! Да ведь это фолианты моего детства!

Так начался утренник, и затем пошла и пошла все нарастающая и непрерывная неожиданность. Все смешалось в атмосфере явной гофмановщины: реальная действительность, чем-то превращенная в ощутимое небытие, уступала, в покорности, свое место самой нереальной фантастике, становящейся, однако, единственной реальностью спектакля. К тому, что происходило на сцене, надо бы сказать – *к нереальной реальности происходящего* – приложимо единственно верное слово "таинство", потому что зрители видели без помощи гипнотизера, и не во сне, а широко открытыми глазами, наяву, подлинное таинство превращения, какого-то действительного подобия овидиевым метаморфозам, и не в книжном чтении, а в *зрительно ощущаемом действии* артистки. Это таинство своих метаморфоз Айседора Дункан совершала легко, просто, без дешевых трюков фокусника, при полном освещении сцены, в полной тишине застывшего зала, казалось – напрочь исчезнувшего. Реальностью же, единственной и неоспоримой действительностью, нами увиденной, стала – *история античности,* запечатленная в скульптурах и в Айседоре Дункан ожившая и носящаяся вихрем перед нами, по театральным подмосткам, в опьянении радостью свободного движения.

* * *

В продолжении всего утра такие двойные метаморфозы сменяли одна другую. Артистка, на восхищение и радость восторга всего зала, возвращала прообразам их жизнь, их свободное действие, отнятое некогда у них античным художником и заточенное этим художником в мрамор их изображения. Невольно на ум сейчас приходит сравнение с *сюжетом* дивной сказки о спящей царевне. Ведь смысл его заключается именно в *возвращении жизни* застывшим в разгаре действия, по манию волшебства, фигурам: кто-то навеки

застыл с раскрытым в зевоте ртом; повар, замахнувшись ложкой на поваренка, так и замер, с поднятой рукой и ложкой; даже котенок, потянувшийся за курятиной, окаменел, распластавшись. Но – вот поцелуй, победивший чары зла, – и все оживает, просыпается и, как ни в чем не бывало, заканчивает свое прерванное на века начало действия: вот повар бьет поваренка, котенок вовремя схвачен, зевающий свое отзевал! Таков смысл сказки – таково было и происходящее, в тот утренник, на сцене: как фея жизни, Айседора Дункан снимала с изваяний их оцепенение; скульптуры оживали и продолжали свое, прерванное окаменением, движение, после двухтысячелетнего глубокого сна... Но, что есть *движение*, как не бесконечная цепь сменяющих себя элементов, фаз или "мигов", теперь легко фиксируемых быстротой фотосъемок киноаппаратом? Скульптор древности как бы отрезал от непрерывной киноленты жизни нужный ему кадрик, выражая его в мраморе. Камень навеки сохранил собою и в себе запечатленный миг – кадр движения, пока Айседора Дункан, на наших глазах, не возвращала ему свободу жизни, свободу движения – дальнейшей сменой "кадров". Поясню примерами.

Вот стоит на сцене изваяние Артемиды-охотницы, всем прекрасно известное по римской, увы, копии; оригинал безвозвратно давно исчез. С изумлением видим мы, как это изваяние там, на сцене, начинает оживать – в движениях самой Айседоры Дункан! Артистка, переняв на себя *тему* изваяния, разворачивает ее в целый *рассказ об охоте*. Вот Артемида гонит крупную дичь – оленя. В погоне за ним Артемида, но это уже не она, а на сцене сама Дункан делает длинные, красивые прыжки, взволнованная азартом бега, крупной рысью, с прискоками, совершенно не заботясь о танцевальных ритмах, которые однако сами собою получают выраженную музыкальность бега и силу жизни; она показывает нам, на ограниченной сцене театра – ничем не ограниченную сущность погони: в жизни – в природе лугов и предлесий.

В диком смятеньи следим мы, зрители театра, за стремительной резкостью ее движений, как если бы сами соучаствовали в этой охоте. Но разве мы не участвуем в ней? Ведь мы слышим и видим все то, что есть *смысл* охоты, но чего вовсе *нет на сцене*! Вот Артемида бросает свое тяжелое копье с нечеловеческой силой – но рукой Дункан; мы *видим*, что никакого копья в ее руке и не было, но по броску руки и торса мы понимаем, что копье все же брошено, и очень сильно – мы даже слышим легкий свист летящего копья, воображаемого нами, – оно летит за убегающим оленем; и все сидящие в зале заражены азартом и восторгом охотницы. Так сила искусства заставляет видеть и слышать отсутствующее реально. И вот! По внезапной и бурной Артемидиной радости, выраженной фигурой Дункан, мы понимаем, почти что видим, что олень загнан, что копье поразило его; она, Артемида, кружится в танце, скачет, топает ногами, машет руками, бегает в необузданном возбуждении – но ведь все это исполняет – Айседора Дункан! Ее движения экстатично резки и быстры; за ее спиной, за ней, в полете, развеваются, как флаги на ветру, концы ее воздушной одежды; такое "реяние" мы не раз видели в изображениях на вазах или барельефах. И не слышим ли мы, наконец,

как снова та же Артемида – в лице Айседоры в диком возбуждении вопит, кричит, поет – и над притихшими полями мы ясно слышим и песнь чудного пэана, и отдаленный лай собак, терзающих добычу!

Однако весь этот действительный шум и гам оказывается не на сцене, а в самом зале, теперь неистовствующем, рукоплещущем, кричащем и бросающем на рампу цветы, розы, массу красных роз, где еще стоит, кланяясь, одинокая фигура в белом хитончике...

Или – другое изображение – вот амазонка, только что сражавшаяся с наседающим греком. Вы его помните. Вот она, жестоко раненная в грудь, от боли закидывает руку за голову, стискивая зубы, и на миг замирает – такой увидел ее когда-то Поликлет; но тот миг проходит, сейчас она приходит в себя, медленно опускает – но это уже сама Дункан – руку, поправляет свой легкий хитон – и снова пускается в бой с этим греком, на сцене не существующим!

А вот знакомые всем барельефы – с фризов храма Бескрылой Победы – самой Нике; по одним только торсам – без рук, без ног и даже без головы, некогда отбитых и исчезнувших, – по удивительно тонко прорисованным и изваянным складкам воздушной ткани, словно льющейся по формам тела, дивно легко читается движение фигуры барельефа. Вдруг – о чудо! – и руки, и ноги, и голова – все оказывается на месте; торс выпрямляется, сандалия уже подвязана, нога опущена, и вся фигура божественно медленно и плавно продвигается к жертвеннику; на эстраде, однако, он не стоит. Точно так же происходит и с показанными нам более поздними барельефами, полными бури борьбы – из Галикарнаса, или Пергама. И мы снова, в их динамичном пафосе, слышим и видим воображенное, но на сцене отсутствующее.

Я вполне понимаю безнадежность и слабость словесного описания красоты живого движения. Тогда еще не существовало переносных киноаппаратов; с концом спектакля все разом исчезло, сохраняя в памяти лишь общее впечатление неописуемо большой силы правды и благородства в этих двух видах искусства. Неописуемо большой – а я пытаюсь их описать!

Кроме тех бурных сцен – охоты, сражений, гимнастических соревнований – были показаны и другие *темы жизни* античного мира, в развитии изображений – на вазах или чашах. Всего не описать, конечно, но отметить важно, что Айседора Дункан и тут столь же правдиво жизненно передавала своими легкими, размеренными и лирическими движениями – то взмах руки, то поворот тела, то свободное, характерное и многовыразительное отклонение кисти рук, которое так бесподобно просто и верно выражал безвестный художник античности, расписывая свою вазу или тарелку. Такие отдельные, уникальные по красоте движения и положенья артистки запоминались, как фрагментарно запоминаются вдруг услышанное слово речи или музыкальный ход прозвучавшей мелодии.

Насколько выигрышность тех драматических эпизодов запоминалась в патетической динамике, настолько в этих, других, столь же из жизни взятых сценах – тонкость замысла, понимание рисунка и глубина мысли выска-

зывали себя в плавных, нежных, женственных движениях артистки; и в них основой была передача нам, зрителям, самой *темы* эпизода. Мы ясно ощущали и медленную, торжественную, серьезную поступь священных процессий – по одной только фигуре – или слышали насвист сиринги в ничем не занятых руках флейтистки; или в легком плеске босых ног Айседоры Дункан – только *ее* ног – мы ощущали беспорядочный топот гурьбы пьяных менад и видели забавную, веселую их потасовку с пьяными же силенами и сатирами: менады, как это и было нарисовано на чаше, бессмысленно тыкали в чаду пьяного угара, но рукою Дункан, несуществующим тирсом в несуществующих – на эстраде – сатиров.

Так, во всем обещанном нам афишей "Утре античных танцев" сутью спектакля оказывался фантастический, чудесный хоровод смены вымысла и действительности, развернувшийся на подмостках театра. В быстром, блестящем калейдоскопе превращений, мы все время видели сплетение двух реальностей – реальности жизни здесь в театре и реальности жизни в давно умершем гениальном искусстве античности. Они сливались обе воедино, сейчас, на наших глазах, настолько друг в друге, что разъять их, не убив тем самым и тотчас же – вторично – единую их жизнь, но в двух ипостасях – было бы немыслимой невозможностью!

Необычайной красотой всего виденного было конечно – *преображение.* Самым важным, что сделало показанное Айседорой Дункан – чудом, неповторимым видением, были сменяющие друг друга именно преображения, проходящие на сцене.

* * *

В тот утренник, в театре я понял смысл искусства, показанного нам не так уж ясно и расчлененно, как думаю я и пишу сейчас; но все же до меня и тогда уже многое дошло, и потому-то оно так четко и запомнилось, посейчас!

К тому времени я побывал уже на некоторых чудесных классических балетах Большого Театра, как "Конек-Горбунок" и "Щелкунчик", "Спящая красавица" и "Лебединое озеро", да и других. Я смог уже тогда понять, что искусство балета – *высокое* его искусство – это совершеннейшая условность танца, *в ней-то* и заключены и смысл балета и действенная его сила.

В балете нас восхищает и очаровывает, в первую очередь, красота и артистизм *движений,* вызванных музыкой и подчиненных только ритмике и мелодии. Пантомима – а балет и есть пантомима – это следствие, а не причина, хотя многие, даже и хореографы, полагают иначе; я смог уже тогда понять, что начиная с Истоминой (а в сущности – гораздо раньше!) в балете все сведено к тому изумляющему нас и покоряющему *совершенству,* с каким подлинный талант балета, создавший и создающий ему его жизнь и славу –

"Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит..."

или – то "...вдруг прыжок и вдруг летит", то "быстрой ножкой ножку бьет..." – то есть, что сущностью и мерилом мастерства классического балета было, есть и, возможно, останется – лишь божественная отработанность (и, конечно, особый дар) в исполнении твердо установленных, условных и канонических приемов и "па", которые являются основой языка балета и имеют даже свои, нам не всегда понятные, замысловатые наименования. В классическом, на этом построенном, балете акробатики еще не водилось, балерин тогда в воздух на одной руке еще не подымали и не подкидывали, или, как волейбольный мяч, – не подхватывали. Все было очень условно, строго и совершенно – по удивительной красоте отработанного движенья.

К тому же я, ученик пятого класса классической гимназии, хорошо знал уже многое, относящееся к жизни и быту античного общества. Оригиналами античных текстов, которыми мы в гимназии занимались, фотографиями античных скульптур и вазовой графики, в книгах отца, рисующих сценки из жизни эллинов, всем этим я был введен в обыденную, будничную жизнь Эллады; я знал их быт, их интересы, их занятия и забавы, их обычаи, игры, праздники – знал повадки и одежды простых эллинов и эллинок. В этом смысле к исполнительству Айседоры Дункан я был подготовлен, возможно, гораздо лучше многих других в зале.

Вот почему, возможно, я был так поражен уже одним только появлением на сцене, у двери, артистки, даже *до* последующих ее исполнений объявленной программы – я был попросту обрадован, увидев там хорошо знакомую мне фигуру эллинки-гимнастки, в обычной и подлинной ее одежде – коротком, выше колен, свободном хитоне из легкой, полупрозрачной, почти вуали; такая одежда гимнасток имела в древнем мире даже особое название – "хитонискос", "хитончик" – в отличие от простого, длинного хитона.

Босые ноги и отсутствие на обнаженном теле трико – а его в те античные времена и быть не могло – вероятно, и шокировало москвичей, привыкших видеть балерин в их профессиональной "форме", то есть в пачках, в туфельках, в трико и туго затянутых корсажах. Показанная же свободная и свободомысленная, сиречь – легкомысленная одежда была прямым и опасным вызовом устойчивой традиции. Ныне, особенно после постановок таких балетов, как "Спартак" – или постановок М.Плисецкой – трудно себе представить, что Дункан пришлось быть артисткой, *впервые* восставшей против традиционного и условного одеяния балерин балета. В ее времена – свободных костюмов в балете еще не знали, да и знать, по-видимому, не хотели.

На некоторых, очень редко появляющихся репродукциях с помпейских фресок я видел изображение эллинок в черных нагрудных повязках, несомненных прообразах будущей бюстгальтерии. Однако это было исключение из правила! Античные дамы такой брони не знали и бюстгальтерами не интересовались. Это, между прочим, приучало народ к большему уважению тела, чем его тщательное теперешнее скрывание! Айседора Дункан знала, на что опираться, и героично и мужественно, со всей серьезностью, переняла сущность античной эллинки.

Недавно мой бывший ученик по архитектурному институту, сменивший затем рейсфедер на перо всепризнанного поэта, в разговоре со мной об Айседоре Дункан, спросил меня, не запомнил ли я, будучи мальчиком еще, на ее выступлении какой-нибудь интересной (для такого возраста) детали, например — не стали ли грязными босые ноги артистки от беготни по пыльной театральной сцене, или чего-либо в таком роде. Каюсь — на такие детали я, даже еще мальчишкой, не обратил внимания, не запомнил! Что Айседора Дункан, несмотря на легкость и продуваемость ее одежды, от необычайной подвижности и неуемной энергии обливалась потом — я заметил по одному ее движению, когда она тыльной стороной ладони провела по лбу, смахивая пот, попадающий в глаза; так обычно делал наш дворник, пиливший дрова, когда — даже в морозы — он здорово потел и рукавицей отирал точно таким же жестом пот с глаз.

Возможно, что были и грязные ноги! Возможно, что и ткань хитона, намокнув от пота, липла к телу, его, как бы, обнажая. Ничего! Ведь и это мы видели на скульптурах разных Нике, на барельефах, изображающих сцены бега или борьбы. Несомненно и там люди потели и ткань облипала и там также формы тела — это было естественным следствием труда и работы! Айседора Дункан — от себя ничего не придумывала, вот что важно здесь отметить.

Если бы я пришел в театр, не столь ознакомленный с античностью и бытом простых античных людей, я и половины выступления не понял бы и не запомнил: они не произвели бы на меня такого впечатления, оставив по себе только неудовлетворенное удивление или недовольство от непонятой задачи.

Вероятно, потому именно, то есть по собственному невежеству и непониманию самой идеи, почти половина зрителей в зале оказалась раздраженной, во гневе свистевшей, шумевшей, шокированной и шикающей — но чему собственно? Не своему ли постыдному незнанью? Для них более существенным было не показанное высокое искусство артиста, а "свободное поведение" и, как тогда кричали в зале, "обнаженное легкомыслие".

Конечно, откровенная нагота античных женщин была сильным выпадом против установленных традиций нового мира. Но, если в искусстве — ваяния или живописи — допускается изображать, то есть *показывать* обнаженную фигуру, то столь же допустимо показывать — в искусстве Айседоры Дункан, основанном на обращении к изваяниям и графическим образцам античных мастеров — их, в их настоящем, не прикрытом из ложной стыдливости, фиговым листком, естественном виде. Только это и было смелостью артистки.

Но ведь главное, что я тогда и понял, было одно единственное: все, что Айседора Дункан нам тогда показывала — было не простым *подражанием,* а полным *восстановлением* утраченного и забытого. Вот в чем была сила ее искусства.

* * *

В зале шикали и свистели – не за оплошность или неудачу в движениях артистки, которые как раз в этот момент были особо красивы и жизненны, а за полное пренебрежение артисткой традиций балетного искусства, за ее явный вызов устаревшим канонам привычного. Но даже и те, кто ее принимали искренне и горячо и ей аплодировали, видели и отмечали в ее искусстве только лишь внешнюю красоту – бесспорную – отдельных движений, то есть подобия танца, "в духе античности". Не исключено, что основа идей искусства Дункан так и не дошла и не раскрылась их сознанию. Все, что происходило на сцене, москвичам было еще внове. Не настало еще время пропаганды художественной гимнастики. Еще не появлялись – в изобилии – мнимые последовательницы Дункан, именовавшие себя "босоножками"; еще не пытались они – вотще! – раскрыть нам своими хореографическими фантазиями тайн музыкальных композиций Шопена, Листа, даже и Скрябина! Еще не шли в концертных сокращениях эпизоды больших балетов.

Характерным же для искусства Дункан была сама идея – по крайней мере тех лет – желание возвратить картинам античного быта утраченную ими, как в "стоп-кадре", свободу движения и жизни; желание не только вернуть им это, но – главное – *их тему*, их сюжет, остановленные художником, запечатлевшим этот стоп-кадр в росписи вазы, в барельефе или скульптуре – *продолжить дальше*, до финального разрешения.

Вспомним! Все изображенное, знакомое нам по вазовой живописи или по изваяниям, рассказывает о разных случаях и эпизодах *обыденной античной жизни* – то у общественного фонтана, то в бане с душем, то в мастерской за работой, то в откровенной любовной забаве или в помощи упившемуся другу, то в пылу атлетики, борьбы и битвы – либо в сценах жизни из мифологии. Все шло от жизни, все изображалось для современников, возможных даже участников подобных сцен; они, конечно, не потерпели бы обмана, преувеличения или выдумки художника. Все это Айседора Дункан знала, изучала, перенимала. Задачей и целью своего искусства поставила она показать зрителям жизнь античного мира в действии, в ожившем движении.

Это обязывало Дункан ко многому и, главным образом, к большой *жизненной правде в передаче античных тем*. Античная формула искусства здесь должна была руководить артисткой, и Дункан это сознавала: "следовать природе"! Правдиво, согласно с природой* раскрывать красоту жизни. Стремиться к наибольшей правде в передаче – стало, как бы, второй жизнью артистки; в этом она преуспела.

Я подошел здесь к главному, что и было основой творчества А.Дункан. Во всем, чему мы тогда в театре стали свидетелями, в том, что артистка так щедро нам передавала и что сделало этот спектакль действительно неповторимым, уникальным, – выказала себя блестящая, чистейшей воды авторская импровизация "на заданную тему". На сцене без труда ощущалась обычно

---

* Античная формула искусства – вспомним – "*κατὰ φύσιν*" – означала, в переводе на русский, именно это: "следовать природе" (жизни), дословно: "по природе".

легко угадываемая и мгновенно улавливаемая *импровизация*, то есть полная свобода выбора, свобода желания и непосредственного выполнения его, что обычно исчезает при заученном, многократно повторяемом и потерявшем свежесть новизны *"приеме"*. Независимость личной воли в интерпретации, в желании артиста направить по своему усмотрению развитие темы или изменить его непосредственно во время самого действия – а это и есть импровизация – вот что, на мой взгляд, отличало и характеризовало творчество Дункан, вот что привело его к *неповторимой* уникальности.

Далее: сутью показанного Дункан было не отдельно взятое движение, положение тела, повороты или другие виды танцевального или балетного искусства, красота и отработанность которых всегда восхищает зрителей и составляет золотой фонд балета; нет, Дункан интересовала больше всего сама *тема* данного изображения – скульптурное же выражение ее или рисунок на вазе – были лишь промежуточным, в этой теме, эпизодом, выделенным этапом, отдельным кадром из общей и цельной ленты.

Развитие темы, то есть *продолжение действия*, обозначенного скульптурой (или рисунком на вазе), скажем – темы процессии, или темы охоты, или темы гигантомахии – вот что было, как я это уже тогда понял, самой сутью творчества Дункан. Можно допустить, что Дункан, перевоплощаясь в знакомые нам скульптуры, могла заранее даже не назначать, какими движениями будет она развивать тему данного (заданного) изваяния. Но импровизация шла так жизненно правдиво, как правдиво-жизненно шло творчество античного художника, и потому – в нужный миг, обязательно, иначе и быть не могло, они должны были совпадать – и действительно – совпадали! В конце концов, ведь *все изобразительное искусство* – от истоков и до наших дней, да и после нас таким останется – есть ни что иное, как эпизодическое, промежуточное, в материале художника мгновенно схваченное и застывшее навсегда движение *мига*, которое в жизни, однако, в натуре, продолжает себя непрерывно, до полного завершения темы изображения.

Триада: причина, т. е. начало действия, оцепенение – в изображенном, и следствие, здесь – завершение движения – вот полное развитие сюжета; оно настолько вошло в сознание артистки, что зная тему по изображенному, она естественно и просто становилась той самой эллинкой, которая, сама ничего не подозревая и ни о чем не думая, в свой час оказывалась в плену наблюдающего за ней глаза античного художника.

Шарм и сила Дункан были не в легкости ее движений, не в красоте ее подвижности и даже не в предельной и изысканной красоте ее грации – эти качества Дункан могли быть достоянием и многих других избранных – а в том, более существенном и редкостном, что можно назвать уделом только единиц – в неоспоримом подобии движений прообразов, факторе важном в поставленной задаче – выразить и воспроизвести, движеньем своего тела – сюжет заданной античной темы.

Правда и подобие – вот задача; правдоподобие – вот смысл творческой работы артистки. Все, что она нам показала, – ее движения, ее одежда, ее

свобода чувств и настроений – все шло правдиво оттуда, из далеких далей античного мира. Все было настолько правдиво-искренним, что переставало быть сработанным подо что-то, скажем, "под греков", "под историю"; этого не было и не могло быть, потому что на всем стояла настоящая "проба" золота.

К этому я могу прибавить только еще одно важное, на мой взгляд, замечание. Я не по забывчивости и не спроста ни разу не обмолвился словом, здесь, может быть, не раз ожидаемым – словом "поза". Увы, это понятие, обычно и часто звучащее в языке художников, прямо противоположно и даже враждебно всему тому, что своей целью и основной задачей ставила себе Айседора Дункан. Ведь – по смыслу и по первоистоку – это слово означает только то абстрактно и произвольно задуманное художником и назначенное им положение натуры, в каком он сам хочет изобразить, в дальнейшем, свой замысел, то есть либо им вымышленную сцену, или чей-либо портрет, в "такой-то" позе.

Такие, надолго и без всякого возможного отклонения "поставленные" самим художником "позы" выражают собою только одно то и, кстати сказать, "мертвое" положение фигуры, какое выбрано и назначено, как нужное только *для данного случая.* "Поза" – это не *внезапно* выхваченное движенье, взятое из жизни, а нарочито *придуманное* художником. Выражение, часто применяемое: *"поставить в позу"* – как нельзя лучше раскрывает смысл и значение этого слова.

Сказанное противоположно передаче движения жизни, как оно протекает в природе. Античность изображала *жизнь*; вспомним хотя бы Мирона, его дискобол никак не выражает собою "позы", так как в такой позе человек и минуты не может выстоять, а тотчас же выйдет из нее в другую – это только один из кадров, множество которых составляет ленту фильма, изображающего дискобола, мечущего свой диск. Весь утренник – Айседора Дункан только и делала, что восстанавливала по скульптурным или графическим – на вазах – изображениям – живую и уже ничем не прерываемую *цепь движений одной темы.* В этом-то и была уникальная сила ее искусства.

* * *

Я без оговорок принимаю удивление и даже упреки внимательного читателя: действительно, странно, что многого я не запомнил из того, что следовало бы – по существу – сохранить в памяти, хотя бы для потомства, о столь редком искусстве и его проводнике – Айседоре Дункан. Честно, однако, говорю: не запомнил и, вероятно, не обратил должного внимания на такие важные для театра, для постановок, элементы, как, скажем, бутафория, как костюмерия, как, наконец, – даже музыкальное сопровождение; в тот утренник меня, видимо, так захватила сама суть происходящего на сцене, что на все остальное я и не смотрел – или пропускал мимо глаз и ушей. А между тем, пропущенное мною теперь уже не восстановить никак. К примеру –

многие задают вопрос, в чем она была одета? То немногое, что я заметил, я уже описал. Очевидно были, со своей точки зрения, правы и те, кто освистывали смелость артистки, почти что не одетой. Но, увидев у двери стоящую фигуру в знакомом мне – и привычном для меня – виде нормально одетой эллинки-гимнастки, я так обрадовался верности чутья этой женщины, что не стал разбирать аксессуары присутствия или отсутствия на артистке одежды. Не будучи подлинно-театральной костюмерией – всегда в чем-то не соответствующей истине – одежда Дункан была, как бы, взята на время спектакля из гардероба любой эллинки.

Поэтому, принимая все как должное и достоверное, я не обратил внимания на такой более важный постановочный факт – переодевалась ли Дункан при исполнении *разных ролей* в разных сюжетах? Несомненно, она должна была, пользуясь гардеробом той эллинки, брать те виды ее одежды, в какой эта эллинка сама появлялась в разных случаях античной жизни – а я прозевал это!

Вероятно, так было и с музыкой. Безусловно, она звучала в зале, но я, в моем отлете от действительности, – ничего не слыхал – возможно, именно потому, что ничто, не отвечающее моменту действия, – не резало мне своим диссонансом ухо: вот я и это пропускал, как естественное созвучие действию. Парадоксально! Музыка была, конечно, а я ее – не слыхал! Но она раздавалась, видимо, из-за кулис, где музыканты скрывались от публики. По характеру и по смыслу происходящего на сцене должны были исполняться мелкие пьесы Глюка, или Рамо, или Гретри, может быть даже и Скарлатти, хотя последний был уже слишком, для такого случая, индивидуален, а музыка должна была оставаться нейтральной, лиричной, не громкой и простой по ритму. Музыка тут мыслилась не как аккомпанимент солисту, а скорее как фон, общий, тихий – как журчанье текущей воды, как шелест ветерка в тихой роще; скорее всего, музыка в данном случае исполняла роль звукового заполнения пустой *молчащей сцены* и *молчащего зала.* Если бы это не звучало глупо – я сказал бы, что эта музыка аккомпанировала не солисту, как обычно бывает, а всему спектаклю в целом, то есть и зрительному залу, и публике, и сцене, и Айседоре Дункан, создавая утреннику объединяющее всех и все – чудесное музыкальное настроение.

Но, видно, смысл и характер *фона* этой музыки не вызывал какой-либо особой реакции во мне, и без того унесенного бог знает как далеко и от зрительного зала, и от театральной сцены, и ото всего, что не было для меня Элладой, которую я только и видел в моем напряженном воображении.

Вот почему я не помню совершенно всего того, что тогда не имело никакого для меня значения. Сейчас я предполагаю, что все было так, как я сказал – не по запомнившимся деталям, а по разумному соображению, что таким – и музыка и все остальное "театральное" – должно было, в действительности, быть в спектакле и, несомненно, – было.

* * *

Чтобы проверить себя и свои чувства, я несколько раз всматривался в выражение лиц Серова и отца. Они оба были, без всякого сомнения, увлечены выступлением артистки.

Отец обыкновенно, всегда и при любых случаях, где бы то ни было – в театре, на концерте, даже просто в трамвае – зарисовывал в свой очередной карманный альбомчик, вечно торчащий из кармана, все, что привлекало и захватывало его глаз художника.

Волнение же и желание ничего не пропустить из происходящего на сцене овладело им, очевидно, настолько полно, что он ни разу – чего обычно не бывало! – не схватился за карандаш и книжечку! Так ни одной зарисовки с Айседоры Дункан во время действия им не было сделано... Ну – а Серов?

Серов был столь строгим судьей в вопросах искусства, что обращенье к нему, как к арбитру, было естественным, а его суждение – непреложной истиной. Во всей его фигуре, как он сидел, как держался, как смотрел на сцену – я чувствовал его серьезное напряжение и, одновременно, увлеченность. Всегда мрачноватый, нелюдимый, на все и всех глядевший исподлобья – волком, *этот* Серов был неузнаваем: мягкая, добрая, несколько даже растерянная и милая улыбка играла в углах его всегда сжатого рта. По лицу ясно было, что он искренне и душевно доволен, даже радостен, более того – был как бы внутренне успокоен происходящим на сцене, как если бы освободился от постоянного и тяжкого груза, стал бы, наконец, свободно только самим собою.

Я изредка перехватывал, как он говорил что-то, кратко, по-серовски, моему отцу, как отец в ответ кивал, не открывая рта... Их обоих всецело захватило и не отпускало что-то, что они, по-видимому, одинаково и восторженно, как художники, понимали...

Одухотворенность красоты идеального тела, основа и цель античного искусства, казалось, сходила на живую фигуру и озаряла ее своей неповторимостью. Оба, Серов и отец, только так и понимали происходящее на сцене. Оба художника были побеждены превращеньем давно уже умершего идеала в живое естество – тут, рядом, на сцене.

Наблюдать их восхищенное состояние гимназисту было, конечно, большой радостью!..

А ведь такое превращение и было, собственно, тем чудом, которое сразу захватило – и во весь утренник уже более не отпускало переполненный, и притихший, в молчании восторга, театральный зал, зачарованный неодолимой силой высокого искусства.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

БРАВО, УТОЧКИН!

"Неуклюжая, длинная коробка с оглушительным треском поднялась над забором и низко полетела, качаясь, вдоль спортивного поля. Извозчичьи лошади задрали головы и начали пятиться..."

Это – не мои слова. Так начинается отрывок главы "Браво, Уточкин!", который я только что прочел в сегодняшнем номере газеты "Литературная газета" (№ 33 от 14 августа сего, 1968 года). Отрывок главы повести К.Паустовского, опубликован впервые и посмертно.

Я очень люблю прозу Паустовского и зачитываюсь его воспоминаниями. Но, прочитав этот краткий, увы, отрывок, я – каюсь – на автора даже осерчал: очень уж не верна передача образа явления; да и само явление – для тех дней огромной, потрясающей новизны – в описании Паустовского звучит как-то равнодушно, обыденно-обидно и даже оскорбительно и для события – первого полета тяжелой машины в воздухе – и для первого смельчака-авиатора, да и для нас – первых зрителей этого небывалого и поистине бесспорного чуда.

"Полеты показались нам простым и безопасным делом, – пишет далее Паустовский. – Уточкин летел над самой землей, почти задевая за головы зрителей"...

Чуда, ощущения чуда, то есть неправдоподобия летящего в воздухе и тотчас же не падающего на землю тяжелого аппарата – что его поддерживало? – в описании события у Паустовского не прозвучало!

Его обычный, немного насмешливый, с тонким юмором, тон рассказа – здесь, в этом исключительном случае, был, в сущности – не у места.

Мне посчастливилось и выпало на долю видеть и пережить в то же, почти, время, но немного позже, и не в Киеве, а в Москве, на Ходынском Поле, полет Уточкина, и мне захотелось, исправляя грех Паустовского, восстановить и почтить память Уточкина, описав более точно ощущение полета первой летящей над землей воздухоплавательной – как тогда говорили – тяжелой машины.

Как ни странно, с именем Уточкина я был знаком уже с детства. Мой двоюродный брат, лет на десять старше меня, петербуржец, был, еще гимназистом даже младших классов, "изобретателем", механиком, мастером-ломастером высокой марки.

Исправляя и улучшая многое, в хозяйстве весьма нужное, он, попутно, многое и ломал, извлекая для себя полезные детали – разные зубчатые колесики, пружинки, винтики и прочую "дребедень".

В гимназии его еле терпели, так плохо он шел по всем гуманитарным предметам. Преуспевал он только в физике и математике: все, что обычно складывалось в "багаж знаний", для него оказывалось только лишь досадной и тяжкой поклажей, излишним грузом в жизни. Кое-как осилив гимназию, он блестяще держал труднейшие экзамены в Технический Институт в Петербурге, где и развернулся, сразу же, его изобретательский талант.

Детское еще увлечение велосипедом, который он до предела усовершенствовал, в старших классах гимназии перешло в новое, более серьезное – от простого велосипеда к тому его типу, который потом стал называться "мотосакошем", а в наши дни – "мопедом". Кузен приспособил к своему велосипеду какой-то, откуда-то взятый, моторчик – и тут равных ему совсем уж не оказалось! Так, постепенно улучшая свой "бицикл", он дошел до первой в России "мотоциклетки". В клубах вонючего, черносизого дыма, в наводящем на всех встречных ужас астматическом кашле и хрипе мотора, в стрельбе и перебоях его и в какой-то внезапно возникавшей аритмии барабанной дроби – носился он по городу, как лишенный ума и, естественно, как опасный враг людей, вызывал он себе вдогонку страшные пожелания и проклятия прохожих. Наконец, закончив гимназию, он развязал себе руки, став почти профессиональным гонщиком-мотоциклистом, под вымышленной фамилией "Михайлов". Он выступал на гонках, часто брал призы, стал известен в этом мире и знаменитым.

На летнее время его семья (он был в семье старшим; за ним шла сестра Ольга и второй сын, очень одаренный, Евгений, рано, от перитонита, скончавшийся), как и наша, перебиралась на Черное море, под Одессу. С ними всеми мы проводили блаженные дни на берегу, среди скал и прибоя. Ему тогда было лет пятнадцать, если не больше. Он не расставался и тут со своим чихающим, кашляющим, но все же действующим механическим конем.

Возможно, именно в Одессе, перезнакомившись со всеми владельцами и рабочими крохотных мастерских по починке керосинок, мясорубок, ламп (керосиновых, конечно) и заклейке проколотых велосипедных камер, он сошелся с таким же, как он сам, юношей – энтузиастом и изобретателем, покорителем пространств и скоростей, по фамилии – Уточкин.

Возможно, именно с тех пор и стал я слышать эту фамилию – и так часто, что она мне запомнилась на очень долгое время. Вначале страстью Уточкина, как и нашего "Михайлова" и многих таких же энтузиастов, было земное колесное завоевание пространств и времени; вскоре, однако, Уточкин ото всех отделился, сменив эту страсть на более невероятную – от твердой земли он оторвался в эфемерность прозрачной непонятности воздуха – он ударился в воздухоплавание, как тогда называли подобную нелепость. Он стал первым русским авиатором, сиречь "бездорожником" – "воздухоплавателем" (сейчас говорят – "летчиком", хотя машина скорее плывет по воздуху, чем, как птица – летает!).. В те времена я не следил за успехами нашей аэронавтики (в переводе на русский – это слово – означает все то же "воздухоплавание"!). Тем не менее, когда я, уже восьмиклассником, услыхал, что "скоро

в Москве будет показано последнее чудо изобретательства — свободный полет человека на воздухоплавательной машине" — я был вполне подготовлен к тому, что этот полет на машине, гораздо более тяжелой, чем воздух, это "чудо века" — покажет именно этот одесский знакомый, авиатор Уточкин.

В скором времени были объявлены день и место его полета на Ходынском Поле — или на ипподроме — точно не помню. К этому времени приехал из Питера и мой двоюродный брат Михайлов. Уже раньше он многое рассказывал мне про Уточкина и его новую страсть, и говорил о существе воздухоплавания. Зная характер кузена и его любовь ко всякому преувеличению, почти что к фантазии, я к его россказням относился немного скептически. От него я уже слышал, что никакого "махания крылами" птичьего полета здесь не будет, что все основано было — как я понял — на теории паруса, как на корабле, и токах встречного воздуха страшной силы и быстроты. Я не знал, что́ было в его словах интуитивным вымыслом изобретателя, а что — наукой, и что — вполне возможным "розыгрышем" меня, тогда еще только шестиклассника, но уже знакомого с основами физики.

Так или иначе, я был крайне заинтригован всеми рассказами и его и газетных репортеров, ожидая с нетерпением назначенного дня, чтобы лично, своими глазами, по возможности поближе, все разглядеть и понять. У меня был фотоаппарат какой-то допотопной системы, которым я ухитрялся кое-что фиксировать; им-то я и надеялся запечатлеть полет, чтобы потом не быть бездоказательным и только голословным вральманом в передаче увиденного чуда, в которое я как-то сразу поверил. Снимки, действительно, получились; но стеклянные негативы, при капитальных уборках или переездах с квартиры на квартиру или потерялись, или разбились. Тогда я об этом не жалел, но ныне я часто оплакиваю исчезновение сих "документов времени", устанавливающих истину действительности. Но, тем не менее, зрительно я многое запомнил довольно точно и, закрывая глаза, я снова вижу картину совершенно, немыслимо невероятную для тех времен, в которую, однако, никак нельзя было *не* поверить, настолько исключались любые фокусы мистификации.

Я уговорился пойти с двумя моими товарищами по классу; из них один был заядлым спортсменом, главным образом по "французской борьбе", знал все приемы истых борцов, чем и досаждал нам всем, а своими жестами и повадками — подражал всем знаменитостям этого вида спорта. Его сын, не без отцовского влияния, стал профессионалом, известным сейчас стране теннисистом: его фамилия — Белиц-Гейман — часто попадалась мне в газетах. Второй, о ком я выше сказал, к спорту никакого отношения не имел. Он был обуян интересом к естественной истории; окончив гимназию, он поступил на естественно-историческое отделение физ.-мат. факультета университета. Его фамилия, Бажутин, в классе звучала — в нашей переделке — как "Утюжкин". Став студентом, он остался для нас все тем же Утюжкиным. Потом наши пути так разошлись, что я совершенно не знаю, не ведаю, что с ним стало после университета. Почему он захотел пойти с нами смотреть на первый полет че-

ловека в воздухе – я не могу сказать, но тогда этот вопрос не возникал, я попросту не задавал его себе.

Утро назначенного для полета дня было замечательно: легкое, солнечное, с небольшим ветерком. Была уже ранняя весна; по чистому, точно промытому синему небу тянулись редкие, белые, пухлые облака.

Прибыв вовремя на место, мы поняли, что попасть на трибуны, как мы надеялись, без билетов, фуксом, – на сей раз просто немыслимо: все входы охранялись, вопреки обычному, усиленными нарядами городовых и даже околоточных, в серых шинелях. Много народу стояло и толпилось около входов, стремясь обогнать других и таким путем занять лучшие места.

Тогда, не сговариваясь и долго не думая, не зная даже, что из этого получится, мы помчались втроем вдоль глухого деревянного забора, надеясь найти где-нибудь если не лазейку на поле ипподрома, то хотя бы пробитую в заборе дыру, в которую можно было бы "подсмотреть". Так, не находя ничего, мы промахнули почти всю длину прямой линии забора, до места его циркульного поворота.

Но, еще не добежав до начала закругления, мы наскочили на громадную кучу, почти что холм, насыпанного и выброшенного не то шлака, не то неиспользованного еще мелкого антрацита. Мы попали, по-видимому, на задворки депо железной дороги или фабрики. Не задумываясь, чем эта черная гора может, в случае еще не остывшего шлака, нам угрожать, мы с ходу полезли на самый горб кучи. Там – о радость, о счастье! – мы оказались на прохладе, на легком ветерке; под ногами был холодный, блестящий антрацит, ничем не грозящий, забор же проходил под нашей горкой, ниже нашего нового горизонта! Все поле лежало перед нами, как на ладони. Мы расположились на пригорке очень свободно, нас было всего трое, и только потом присоединился четвертый, какой-то фабричный, места было много, выбирай любое!

Вдали, почти против нас темнела вздымавшаяся трибуна. Вблизи нее поле было усеяно массой черных точек, то рассеянных, то более сплоченных в густые пятна. Перед трибунами, в окружении этих черных скоплений, стояло нечто, что было бы мне, как всем другим, абсолютно непонятным, если бы оно не было многократно и достаточно вразумительно, с чертежиками-набросками описано моим кузеном. Вглядываясь, как можно зорче, в копошившуюся кучу муравьев, я стал среди них различать какой-то неподвижный остов, стержни, холщевые тенты, напоминающие обычные дачные навесы – "маркизы", но без обязательных фестонов; черная масса, обступающая сооружение со всех сторон, не давала разглядеть самое главное, то есть "место" Уточкина и то, где и как – и на чем это "место" было утверждено. До нас донесся слабый звон колокола, как перед отходом поезда со станции, затем мы увидели какие-то белые клубочки, взлетевшие на воздух. Хлопнул, как удар пастушьего бича, выстрел револьвера; тут весь муравейник рассыпался в разные стороны и с неимоверной быстротой высвободил и открыл нам конструкцию, всего более напоминавшую, по очертаньям – недостроенную пагоду;

бамбуковые стояки, жерди и перекладины стройно и ажурно, подобно не обшитому еще тесом остову сарайчика или навеса на гумне, смутно белели на фоне дальнего поля; они, съедаемые расстоянием, рисовались еще более тонкими линиями китайских или японских гравюр.

Вообще, по всему своему виду и характеру сооруженья, то, что я увидел около трибун, – а это и была *"воздухоплавательная машина"* Уточкина – напомнило мне, по правде сказать, более всего те "воздушные змеи" из японского магазина игрушек на Кузнецком Мосту, которые мы покупали, выезжая на дачи, и запускали, наряду с самодельными, какие делались, делаются и, возможно, будут делаться всеми русскими мальчишками. Эти, "японские", тянули так сильно, что нередко рвали навощенную бечевку. Высоко в небе их яркая – желтая, красная материя и белые деревянные ребра и распялки – очень походили на то, что сейчас я еле-еле различал стоящим перед трибунами. Чтобы рассеять возможное сходство, мотор стал приводить стоявшую перед трибунами на земле "конструкцию" в движение. Белые на солнце одуванчики дымков стали отрываться от конструкции и неритмично взлетать в воздух. С той же аритмией, через положенное физикой время стали до нас доноситься хлопки заводимого мотора. Совершенно так, как когда-то фыркал, хрипел, кашлял и задыхался в приступах астмы "мотосакош" моего кузена, точно так вело себя и сооружение Уточкина. Вероятно, что-то не ладилось в моторе, потому что шары белого дымка то выскакивали, расплываясь в воздухе, то пропадали, и тогда наступала не только зримая, но и слуховая тишина поля. Терялась, постепенно, вера в возможность удачного результата. Появилась обида за Уточкина, за его близящуюся неудачу. Напряжение, пригвождавшее нас к неровностям и неустойчивости нашей зыбкой почвы под ногами, постепенно исчезало, обнаруживая острые и осыпающиеся устои антрацитовых осколков. Мы явно уставали от ожидания, от волнения и от надвигавшегося разочарования. Ранее не ощутимый, сейчас просыпался легкий голод, а солнце, подымаясь все выше, стало уже злорадно припекать.

Но вот, там, вдали – что-то произошло новое: до нас донеслись какие-то крики, возгласы, что-то нестройное и хлюпающее, принятое нами за отдаленные, но дружные аплодисменты. Мы заметили какое-то перемещение уточкиного сооружения относительно твердо рисующегося на чистой синеве неба контура трибун.

Раскаты теперь уже явных аплодисментов росли и широко разливались по пустому полю. К ним присоединялись другие, теперь равномерные, хлопки мотора. Черные скопления, там и сям размещавшиеся вдоль забора, также двинулись к нам, напоминая собою эскорты, сопровождавшие коронованную особу. Волнению не было границ: мы еще ничего не видели и не понимали, но ощущали нечто, говорящее об успехе, хотя все, о чем можно было бы думать и говорить, происходило пока что на земле поля.

В диком состоянии духа мы топтались на нашем антрацитовом холме; наши сердца – по крайней мере мое – бились в общей жажде успеха, чтобы Уточкин, наконец, взлетел! Его сооружение, между тем, медленно приближа-

лось по прямой дорожке, к нам, но – пока все еще катясь по твердой земле! Вот оно снова остановилось, ненадолго, потом, уже на виду у нас, с легкостью и грацией старой курицы, попыталось взлететь, но, подпрыгнув раз, другой, снова как-то привычно осело и побежало по родной и благословенной земле нашей.

В мой первый полет, а это было в пятидесятом году, уже после войны, – я летел в разрушенный Севастополь, по делам его восстановления; наш Дуглас так же не сразу взмыл в воздух, но несколько раз подпрыгнул, как громадный гриф; это не вызвало ни в ком из пассажиров ни страха, что мы так и не оторвемся от земли, ни презрения к летательному аппарату. Очевидно, так бывает и теперь, значит, тем более это было естественно и понятно во времена "восхода" нашего воздухоплавания, что Уточкин не голубем или воробышком, сразу, чирикая, взлетел к голубым небесам!

Подправив что-то, Уточкин снова, сначала медленно, потом явно убыстряя бег, начал движение прямо на нас. Да и дальше все шло – "прямо на нас"! Наконец, Уточкину повезло: в какой-то миг свершилось что-то непонятное нам и незамеченное, что сломило земное притяжение: подпрыгнув в какой-то раз, сооружение больше не опустилось на землю, а явно от нее отделилось! Оно поплыло по воздуху, как лодка, приближаясь к нам, и это не было ни миражем, ни гипнозом: мы ясно видели тяжелое, громоздкое сооружение, не падающее на землю, а держащееся в воздухе – и это не было воздушным шаром! Мы, задохнувшись от волнения, от радости за Уточкина, от невероятности зрелища и от боязни, что вдруг он все же упадет, – глядели в полнейшем молчании. Сооружение как-то трудно, напряженно, будто преодолевая чудовищную тяжесть передвижения, медленно приближалось, тихо и мерно подрагивая в такт мотору и колыхаясь в воздухе, как колышатся на береговой зыби морские выбросы и, в особенности, эти обязательные арбузные корки! Хотя прошло уже столько времени, и столько воды уже утекло, - вид проплывающего сооружения сохранился в моей памяти, точно это произошло только на днях, – крайне удивительно, что такой крупный писатель и художник, как Паустовский, так странно ощутил – и еще более странно сообщил нам свое первое впечатление от полета Уточкина в Киеве. "Неуклюжая коробка" – так начинается описание! Образ "коробки" его не покидает и дальше, и он несколько раз к такому сравнению возвращается. Но, как странно видеть коробку там, где не было ничего, что могло бы создать образ чего-то ограниченного боковыми стенками, какими бы низкими они ни были; сооружение Уточкина никаких бортовых стенок не имело, а его недостроенный плот, на котором поднялся впервые в воздух наш первый авиатор, можно было бы как угодно назвать и с чем угодно сравнивать, только уж никак не с коробкой! Да, Паустовский прав, что Уточкин летел на небольшой высоте; однако – не ниже, чем на высоте двух саженей с лишком! Но не все ли равно, на каких высотах плыл по воздуху этот смельчак, который, остановись хоть на секунду вращение лопастей винта, неминуемо упал бы на землю, и человек и все его сооруженье вдребезги разбились бы! Важна

ведь не высота полета – в данном случае – а сам факт полета, факт отрыва от земли – и этот факт сам по себе был столь восхитительно нов и неожидан, столь ломал все сложившиеся и, казалось, незыблемые устои, что говорить о том, что "полеты показались нам простым и безопасным делом – Уточкин летел над самой землей..." – недостойно большого художника. Как мог Паустовский так обеднить это, бесподобное тогда, чудо?

Но возвратимся в тот еще год и на Ходынское Поле: Уточкин уверенно вел свою машину по беговой дорожке и должен был долететь до нашего наблюдательного поста, затем сделать здесь некрутой поворот – и начать от нас удаляться на другую сторону поля. Пролетал он от нас, по-видимому, ближе, чем мимо трибун. Видимость была прекрасная, и при небольшой скорости пролета я смог все, во всех подробностях, о которых говорил мне двоюродный брат, рассмотреть и его, грешным делом – проверить.

Если искать и находить какие-либо и с чем-либо сравнения, то ближе всего машина Уточкина стояла к остову недостроенного плота, как основания, на который были поставлены сиденье авиатора и мотор с подобием корабельного винта с лопастями. Холщевые тенты были двухъярусными. Все было ажурно прозрачным, для большей легкости и меньшей сопротивляемости встречным токам воздуха. Авиаторское сиденье было простым – по-моему, даже обычным – "венским" стулом (не креслом), на котором сидел Уточкин, открытый на все стороны, нам превосходно видный. Он был в сером, в мелкую черную клетку, модном тогда костюме, с соломенной плоской шляпой "канотье" на голове, с ярко-желтыми тупоносыми "американскими" ботинками – на каких-то педалях; вся посадка напоминала пианиста с ногами на педалях рояля; с обеих сторон стула виднелись рычаги, на которых покоились руки Уточкина.

Но не этот венский стул и не свободно на нем сидящий человек в обиходном одеянии были так немыслимо поражающими, как само сооружение, ни снизу, ни сверху ничем не поддержанное, плывущее по воздуху – скорее телега без колес, чем воздушный шар; ажурное хитросплетение жердей и веревок! Двигающей силой был мотор и быстро вращающийся винт с лопастями, установленные позади, на корме плота. Поражало и само движенье, и взвешенность в воздухе, а также и то, что такое *совершенное несовершенство* плота не рассыпалось, не разваливалось на кусочки, а кряхтя, скрипя и подрагивая всеми своими частями, плыло все вперед и вперед, на одной и той же высоте, все приближаясь к нам; мы могли теперь спокойно предчувствовать, что пройдут какие-то минуты, и сооружение с Уточкиным доплывет до нашей кучи, проплывет мимо нас, на очень недалеком расстоянии, значит, мы сможем увидеть его и спереди, и сбоку, и даже сзади. Хотя полет – но, почему полет? Я тогда никак не ощущал этого полетом, но, скорее – чем-то "плывущим", но не по морской воде, а по воздуху – так вот, хотя полет продолжался уже долго, однако прямое ощущение чуда, увиденного средь белого дня, меня не покидало. Ну, как же не чудо? Все было до крайности примитивно сделано. Никаких особых, явно скрытых фокусов я не видел,

их попросту не было. Прозрачность всей конструкции не давала повода заподозрить фокус, который негде было бы укрыть от глаза зрителя. Мотор? Винт корабля? Но ведь мотоциклетка моего кузена, носясь по городу с невероятной скоростью — не отрывалась же от земли, не уносилась же в поднебесье? Какое-то слово заклинанья? Я был уже не столь наивен, что мог бы поверить в волшебное кольцо или другое волшебное заклинанье. Нет. А чудо — оно продолжалось, на широко раскрытых глазах, неукоснительно влача, с трудом, с ограниченной скоростью, все вперед и вперед, сооруженье, на котором восседал человек, с ногами на педалях и руками на рычагах! Полет — солнечным днем, все продолжался. Уточкин пролетел уже мимо нас, уже стал удаляться, хотя того "виража", о котором мы потом читали в газетном сообщении, конечно, не было: поворот был так широк, что машина не испытала никакого крена, да и движенье было медленным. Он запросто поплыл, по кривой забора, на прощанье обдав нас сизой вонью отработанного бензина, и стал удаляться на ту сторону поля.

"Увидев его, извозчичьи лошади сорвались и понесли. Они исчезли в тучах пыли под грохот колес и вопли извозчиков. А коробка — грузно пролетела над нами". Так было, возможно, в Киеве. В Москве, судя по описаньям падких до сенсаций репортеров, подобного не было. Мы были далеко от трибун и входов на поле, и что там делалось — я не знаю. На нашей антрацитовой обсерватории мы — трое гимназистов и двое рабочих, — последний присоединился к нам незаметно, втихаря, — мы были наедине с первым человеком, победившим — у нас — земное притяжение не тем, что стал (как на воздушном шаре) легче воздуха, а чем-то иным, что позволило ему на телеге, куда более тяжелой, чем воздух, оторваться от родной земли, по крайней мере — на целый час!

Мы, оказавшись с этим человеком в такой близости расстояния и духа — ощутили, вероятно, одинаково и преклонение и радость и гордость времени! Да, мы были зрителями факта, равного которому в те времена не было, и выразить весь смысл значенья его — тогда мы конечно были не в силах!

Не потому ли, когда мы, потрясенные виденным, спускались с антрацитовой кручи, молча и даже не глядя друг на друга, рабочий мастеровой, который последним забрался к нам, все про себя повторял — "не к добру это, ох — не к добру!" — предчувствуя, возможно, роль авиации над Хиросимой?

Усталые, потрясенные и расслабленные после долгого напряжения, голодные и вспотевшие, спустились мы вниз. Забыв про все и про всех, мы возвращались домой, в привычный нам мир, из путешествия в потусторонний. А ведь оно, пожалуй, так по существу и было, и мы на какой-то час — выскочили из нашего года куда-то вперед. Так что не "браво, Уточкин!" надо было бы сказать, а пасть ниц перед глубиной творческой мысли, невероятной твердостью воли к победе и горящей верой человека в истину своей идеи.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ПОЧТИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

1. "Признаки нового несовершеннолетия"

Е.В. и Е.Б. Пастернакам

Весной 1911 года я держал выпускные, на аттестат зрелости, экзамены. Уже с неделю в городе стояла немыслимо душная, тяжкая жара. Во время одного из устных экзаменов, внезапно и очень уж театроподобно все потемнело, сгустилось, в открытые окна ворвался вихрь, слизнувший со стола бумаги, спиралью, голубями, весело вспорхнувшие; сразу вся чопорная недоступность торжественно омундиренных экзаменаторов, сидящих, как судьи в "Воскресении" Толстого, напрочь исчезла. Кто – вскочив, бросился руками прикрывать и прихлопывать к столу еще не взлетевшие; кто – поднимать разлетевшиеся по полу; гимназисты же, в суматохе, ее усиляя, шумно стали закрывать окна.

Внезапная весенняя чудесная, весело-сумасшедшая гроза разразилась над самой гимназией. На считанные минуты, при грохоте непрерывного следования громов, слившихся в сплошной единый рев, в котором молнии, казалось, падали в совершеннейшем беспорядке, в потоке ливня слиняла только что нас так пугавшая бездушность, истуканами восседающая по ту сторону зеленого стола. На миг они оказались – людьми, такими же смертными, как и мы сами, возможно даже испуганными грозой. Озон очистил воздух – и души.

Такое моментальное нарушение нужной чинности, священнодействия, запомнилось мне потому, что в миг преображения я стоял перед столом, с билетом, на который уже и отвечал, и грозой был вовлечен в общее смятение. Щит Зевса – или Афины – никому не явленный, принявший – для всех – обличие грозы, укрыл меня от напасти, благословив на весь остаток мундирного мучительства.

И вот – свершилось!

В последний раз я выхожу из дверей гимназии, уже не гимназистом более. И я не знаю, радоваться ли мне, или в горести прощаться с детством, с домом, где я оставляю, может быть, лучшие восемь лет моей жизни, кто знает? Силу печали я не преувеличиваю. Действительно, в эти дни сошлось очень многое, что знаменовало, для меня, начало новой жизни, полной неожиданных неизвестностей. Что ожидало меня – впереди? Позади – детство и гимназия, они – законченная страница.

Уже давно, с полгода, наметившийся, из-за нужд расширяющегося Училища, переезд наш на новую квартиру, такую же, от Училища, казенную, но где-то, на какой-то Волхонке, в совершенно чужом нам и чуждом околотке Москвы, все откладывался до окончания моих экзаменов, чтобы их не сорвать. Теперь настало время очистить квартиру, заняться вплотную переездом – и срочно! Мать взяла на себя всю работу – трудную и хлопотную, оставив себе на подмогу Бориса. Заранее было решено, что остальная часть семьи отправится на лето на юг, чтобы полностью избавить отца от нервотрепки переселения. Была загодя снята хорошо известная нам дача под Одессой, на море. Мне, теперь уже на правах "взрослого", назначалось состоять при отце и быть за "старшего" у сестер.

Кроме того было еще несколько не менее важных и весомых моментов, определявших собою перелом в моей жизни, но о них ниже – сейчас я не о том хочу рассказать...

Отъезд наш на лето осуществлялся сразу же после сдачи экзаменов и подачи бумаг в университет. Все было уже подготовлено к поездке, уложено, билеты лежали в кармане; я покидал Москву уже новоявленным студентом, хотя не ощущал в себе никаких серьезных перемен...

* * *

Наше пребывание на Черном море не внесло – по крайней мере для меня – ничего неизвестного нового. Все – и море и дача, и высокий обрыв над береговой кромкой, и все окружающее – дача художника Бодаревского слева и овраг к морю (по тамошнему – балка) справа – все было уже давно нами – мною и Борисом – еще в детстве обследовано, обыграно, до конца использовано. Сестрам Черное море было внове, они знали Балтийское, северное, холодное, плоское и серое. Скал и обрывов там не было, не было этих из века постоянных, но всегда внезапно новых залпов волн, с наскока налетающих, с размаху ударяющихся о нашлифованные стены утесов и взлетающих каскадом воды и пены, тут же падающим и растекающимся по замшелой спине утеса. В Прибалтике такого не было. Даже в хорошие штормы (по-моряцки – штормá) волны, издалека бегущие в атаку на берег, уже белогривые, уже стенкой встающие – расползаются по песку, ползком, как провинившиеся псы на брюхе, и, образовав на песке узорчатую кайму пены, водорослей и пахнущих морским гниением выбросов, виновато уползают, с легким сипением, обратно, в море...

Все это было мне давно знакомо. Новым для меня – в этот приезд – был, пожалуй, мой собственный попугайный вид: меня смущали еще непривычные ярко-синие студенческие брюки из "диагональки", со штрипками, "по-офицерски", и косоворотка, такая же театрально-гражданственная, вместо привычной, простой и скромной парусиновой казенной гимнастерки с черным ремнем и бляхой.

Месяц нашей жизни в полсемьи пролетел незаметно быстро. Затем приехали мама и Боря, и все сразу вошло в свое обычное московское русло. Почти с приезда их лето пошло особо штормовым, с частыми грозами, смерчами и морским буйством. Так же часты бывали и стеновые туманы, из которых ритмично возникал вой сирены с невидимого уже маяка на береговом мысу. Повторяясь многократно, почти каждодневно, картины бушующей стихии стали раздражать своим однообразием. Естественные помехи срывали прелесть купанья, теперь немыслимого, лежанья на берегу под солнцем, того "dolce far niente", сиречь лентяйства, за что нас упрекал – в "барстве" – отец. И бычки, которых мы любили ловить – а попадались ведь и очень крупные, "кнуты", как их называли рыбаки – с этих же скал, "самоловом", то есть простой бечевкой на пальце, с крючком и кусочком мяса – бычки эти в такую штормовую погоду не ловились, они уходили в море. В бурные и мокрые дни мы отсиживались по комнатам.

Уже потягивало в Москву, хотя все об этом молчали, на новизну новой квартиры, нового района – каков-то он будет? И храм Христа Спасителя – говорят, из окон будет виден – интриговал громадностью и необычайностью названия.

Брат все чаще замыкался в отведенной ему комнате, во втором этаже дачи. Там он – по его словам – "что-то сочинял". Была ли это музыка? На даче пианино стояло внизу; голосом оно выдавало бы его занятия музыкой, теперь редкие. Увы, оно теперь больше молчало, мама тоже редко к нему подходила.

Тайна затворничества брата раскрылась сама собой, после его внезапного и никем не жданного отъезда в Москву. Уехал он как-то равнодушно и бесшумно, точно вышел погулять в сад и сейчас вот – вернется. Но он уехал, и мать попросила меня подняться наверх и прибрать его комнату. Я застал там странную картину: так бывает при смятенном бегстве от настигающей беды; тут уж не до уборки! Или так человек на секунду покидает комнату, чтобы вернуться и сесть за прерванную работу. О чем же писал он в последнюю минуту, так и прервав и не закончив страницы? Никто, конечно, и я в том числе, не знал и не любопытствовал даже... Но тут мне придется отвлечься от продолжения рассказа и обратиться к временам гораздо более ранним, они-то и разъяснят многое непонятное в дальнейшем моем рассказе о брошенной комнате...

* * *

С некоторых пор, примерно со времени перехода брата с юридического факультета на филологический, мы стали примечать, что брат, будто бы, как-то от семьи отрывается, еще не напрочь, но достаточно явно. Казалось, он скрывал от нас что-то, служившее, быть может, причиной расхождения; что-то, что нам знать не положено. Такое его поведение нас настораживало, вернее даже – обижало. Потом оно стало нас и огорчать, и сердить – что вы-

зывало подчас ненужные вспышки. Стало ясно, что измениться положение уже не может. Вместе с тем – что́ было наиболее непонятным, усложняющим общее положение – его горячая любовь ко всей семье, а к матери – особливо, не только не спадала, но, при его отходе, еще более возрастала. Отпадение от семьи причиняло ему самому – в этом он признавался мне не раз, в свое оправдание – большое страдание.

Нынче совершенно просто и легко все сказанное понять и толком объяснить, зная многое, тогда от нас скрытое. Сегодня вполне естественное – тогда казалось противоестественным и оборачивалось в некий бездушный и жестокосердый эгоизм его, по-русски сказать – в его жалкое себялюбие. Холодное и жестокое – относительно матери – оно более всего возмущало отца. Как часто судьбы людей распознаются слишком поздно! Как часто люди сами осложняют свои судьбы, вторя, своими неверными шагами и поступками, античной неумолимой мойре!

Если бы мы могли хотя бы подозревать о драматизме перелома в его творческой жизни! Но кто знал *тогда* об этом? Как странно, что память моя не всегда сохраняет следы обстоятельств, которые впоследствии надо бы восстановить. Их мучительно припоминаешь, заставляешь себя – тщетно – что-то вспомнить, стараешься через хронологию за что-то ухватиться – да не тут-то было! Да, мой брат кончил гимназию в 1908 году. В это время мы жили еще на Мясницкой, я был пятиклассником. Перебрались же мы на Волхонку в 1911 году, через три года. Что заполнило собою эти три последних года на Мясницкой? Не может же быть, чтобы так-таки ничего не произошло, что не привлекало бы к себе моего внимания, да еще настороженного, к брату? Мы продолжали жить с ним в одной комнате, занятой нами еще в 1901 году, как в одной же комнате, рядом, жили сестры. Наш общий стол – под висячей, на роликах с противовесом (грузилом – кучка дроби), электрической лампой под зеленым, жестяным абажуром – разделяет сферу наших жизней и деятельности. Впрочем, брат уже давно стал чаще пропадать в гостиной, где стоял рояль; оттуда доносились звуки его упражнений. Они еще долго продолжали звучать. Что изменилось в брате? Что меня могло поразить? Он так тщательно все скрывал – что я мог заметить? Ничего! А ведь об этом-то брат впоследствии, в "Охранной Грамоте" и записал, что "тщательно скрывал от друзей", я же добавлю – и от семьи – свои *"признаки нового несовершеннолетия"*! Как хорошо сказано! Да, да, он так тщательно скрывал их, что даже я, сидящий за одним с ним столом, живший с ним бок-о-бок – ни о чем подобном и не подозревал!

* * *

Я сказал, что в комнате наверху застал беспорядок. Я не прав. Порядок был – заведенный братом, а мною не понятый. Спешкой уборки я привел его в сущий хаос.

Кучки отдельных листков лежали где попало – на столе, на полках и подоконниках, даже на полу. Многие из листков были голубыми бланками

”требований” на книги фундаментальной библиотеки университета, на обратной, пустой стороне, мелко исписанными. Увидев знакомые бланки, я первоначальное намерение предать все огню или мусорной яме – оставил. Я решил все сохранить, предположив в листках университетские записи брата, быть может ему еще нужные. Несколько озадачил меня странный, столбцовый характер текста, похожий на форму стихотворений. Но, как в спехе читать все было немыслимым, я стал собирать листки, скорее по их размерам, чем по содержанию, разрознивая и путая этим их естественную последовательность. В Москве я показал брату привезенные пакеты, но вместо благодарности он сказал, что они-де ему совершенно не нужны и что я волен ими распорядиться, как мне заблагорассудится. Так они у меня и застряли и пролежали в чулане в тиши забвения свыше пятидесяти лет. Разбирая старый хлам, я их недавно нашел и передал моему племяннику на разборку, что он и сделал. Записи были сделаны хорошо мне знакомым почерком брата, выработанным им еще в последние гимназические годы. Все его тетрадки и университетские записи и конспекты сделаны были именно этим характернейшим для времени, четким, ровным, бисерным почерком, без нажимов, такой сухой резкостью линий, точно брат резал стальной иглой по медной доске гравера.

Возможно, тут сказалась его характерная нотопись, быстрая, и столь же сухая и острая. Он писал тогда обычно черными (когда выгорали, становились светло-коричневыми) ализариновыми чернилами, изредка – и зелеными, но никогда не лиловыми, типографскими, их он терпеть не мог! Пользовался он только одной маркой стальных перьев – ”Эврикой”, светлой, никелированной, самой жесткой разновидностью. Этими качествами отличались и найденные мною листки.

Меня часто спрашивают, глядя выжидательно в глаза, – когда же Борис стал, действительно, писать стихи? – надеясь от меня-то получить точный и исчерпывающий ответ. Увы, увы! Как на вопрос ответить, когда сам автор так тщательно ото всех скрывал эту пору? Ведь даже в ”Охранной Грамоте” он не уточняет этой даты, ни разу ее не называя.

Отрывок, относящийся к встрече со Скрябиным, где решалась его судьба композитора и музыканта, кончается тем, что ”на другой день” брат ”и исполнил” совет Скрябина перевестись с юридического на филологический, на философское отделение. Перевод был осуществлен в 1909 году. Никаких намеков на возможность начала стихописания мы пока еще не находили. В отрывке, относящемся по смыслу текста уже к переходу на 1910 год, мы читаем признание, что ”музыка, прощание с которой я только еще откладывал, переплеталась у меня с литературой...”. Здесь важны слова ”я только еще откладывал”. Изменил же мой брат музыке – только ради философии, а не литературы. Ведь потому-то он и оказался летом 1912 года в Марбурге. ”Музыка... переплеталась у меня с литературой”. С литературой, но не с поэзией, это существенно! Литературой, упомянутой здесь братом, было его увлечение прозой – А.Белым, затем Стендалем (через К.Локса) или Конрадом и Джойсом (через С.П.Боброва). О стихах или о стихотворчестве брата мы

ничего еще не слышим даже по "Охранной Грамоте" тех времен. Даже упоминая о кружке "Сердарды" (то есть о 1910–1911 гг.), он вспоминает, что принят был туда "на старых правах музыканта"...

Записав эти слова – я неожиданно задумался. Я вдруг ясно ощутил, что начала стихотворной деятельности брата следует искать в том периоде его жизни, когда он окончательно от нас оторвался, начав жить на отлете. Когда мы перебрались на Волхонку, где ему была обеспечена жизнь в семье, он предпочел одиночество, снимая комнату в близлежащих переулках – то в Гагаринском, с бульвара, то в Лебяжьем, с Ленивки, то в Савеловском, что с Остоженки. Его обособленная жизнь была нам огорчительна и приписывалась нами, по своей *непонятности,* совсем иным потребностям – ему же такая свободная жизнь была наинадежнейшей гарантией – прячась от всех, особенно же от нас – наилучшим образом заниматься тем, что "тщательно скрывал от друзей", то есть стихотворчеством. Прибавлю к этому и то, что все новые лица и имена, до того времени не появлявшиеся еще на его горизонте, со времени Волхонки стали все чаще звучать, а их носители – появляться и у нас, вместе с ним. Ни С.Н.Дурылин, ни Костя Локс, ни С.П.Бобров – не существовали еще на Мясницкой. Мне сейчас стало ясно представляться, что, действительно, в этом смысле год 1911-й был для него годом перелома и перестройки всей его жизни. То, что ранее было лишь случайным, или спорадической "первой пробой" (в "Охранной Грамоте" – "стихотворные опыты") – началом *деятельности* считать никак нельзя. Вспомним: в годы гимназии брат неплохо рисовал, от случая к случаю, не испытав тяги внутренней потребности; так – возможно было и с музыкой, может быть и с философией, что было в его жизни только преходящими периодами. Со стихотворчеством было совсем иначе. Говоря в "Охранной Грамоте" о 1912 годе, брат пишет: "Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью, и когда придется, я писал...". Тут слова "и когда придется" вставлены, чтобы указать, что основательное занятие стихами все же еще не было *постоянной* его потребностью. Этим словом брат обозначит свое стихописание позже, рассказывая о лете 1913 года, в "Молодях": "Здесь я обосновал свой рабочий угол. Я... писал стихи (уже) не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как пишут... музыку...", то есть как проводят рабочую дисциплину, как "Studio"; так профессионалы-музыканты играют ежедневно и по многу часов.

Так вот: именно *эти* "признаки нового несовершеннолетия" я и сгребал в кучу при уборке комнаты, в августе 1911 года, о них ничего еще не зная и не понимая. Результат уборки был разобран и раскрыты содержание и значение находки, племянником, лишь недавно. Так он смог дать этим "признакам" их новое и истинно второе рождение.

2. Музыка чашек

Возвращаясь к случаям давно прошедшего, имеющим значение не для меня только, но и для членов семьи, ныне еще здравствующих, я поражаюсь, как часто в стихотворениях брата обнаруживают себя прямые отклики, указатели жизни прошлого.

Не имея склонности к комментаторству, на что у меня и данных нет, я все же хочу вспомянуть ниже один такой кадр жизни нашей, который получил свое преображенное второе рождение в поэме брата ”Высокая болезнь”.

В ”Автобиографическом очерке” Борис сам комментирует суть и смысл своей работы над двумя своими стихотворениями – выбор их случаен, могли бы быть названы любые другие примеры – ”Венеция” и ”Вокзал”. Брат говорит о том, ”как” и ”что” его волновало в изображении объектов, то есть оригиналов, в том и другом случае: ”мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался бы Брестский вокзал”. В первом его поразило видение, что ”круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю”. Этот ”налет бездушия, потрясающий налет наглядности” становится силой самой темы, смыслом ее, искомым образом города, плавающего в густой воде каналов. Или, в другом – ”прощальный горизонт, за которым скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и после них”.

По сути же – тут говорится о практическом претворении в деле – мысли, записанной братом в ”Охранной Грамоте”, в отрывке, посвященном предмету искусства, как его понимал автор, что в нем автора волновало. Мне важно здесь повторить слова брата, чтобы к этому более не возвращаться. Он пишет, что ”искусство не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело...”. Брата постоянно волновал и трогал ”смысл явления” искусства, ”место его в жизни”.

Мне хотелось бы добавить одно – мое, правда, – замечание. Все, о чем думал или писал брат – в прозе ли, или в стихах, он никогда не придумывал, не ”сочинял” и не брал от себя; он воспроизводил только то, что его внезапно поразило в природе, что привлекло его глаз, как ”смысл явления”, и что он ”свято”, метафорой, сжато и остро преображал в образ виденного, пережитого в природе, в жизни. Я не побоялся бы сказать, что в своей деятельности брат ”портретировал” природу вещей и жизнь, то есть темы своих преображений, портретировал в том самом смысле, в каком Ван-Гог говорил, что написал удачно портрет табуретки, или Делакруа (кажется, он), что портретировал своего коня.

Но в портретировании братом жизни возможна опасность, что будущие, отдаленные от его времени поколения, до которых не доживут, конечно, оригиналы портретирования, не смогут понять ни верности глаза, ни точности слова – в метафорах Пастернака, в которых и заключена сила и свежесть нового ощущения жизни и окружения, то есть именно того, что искал автор, сказав, что самым главным для него было, чтобы произведение ”само нечто

содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину".

Но ведь даже и сейчас уже многое, что ушло, исчезло из жизни, современной брату, для подрастающего еще только читателя не будет понятным, без особых разъяснений или описаний прошлого. Взять, к примеру, хотя бы такие, разного времени, стихотворения, как "Февраль" и "Волны". Такие образные строки, как – "пока грохочущая слякоть" или "чрез благовест, чрез клик колес" – в которых изображен, чудеснейшим образом, пейзаж весеннего города и времени года, далеко не фотографичными изображениями его; или – из "Волн" – "прибой, как вафли их печет" или "гуртом, сворачиваясь в трубки" – тоже пейзажно, но метафора "свято воспроизвела" вовсе не пейзаж и портрет не моря, а московской жизни, нам знакомой! Какие сравнения! Как многое они говорят и какие моменты жизни вызывают в памяти! Но, если не знать истоков, то – как понять, как – зрительно – вообразить их, когда исчезли с лица земли *причины*, следствием которых возникают метафоры брата? В городе давно нет булыжных мостовых и той жидкой грязи, в которой тонули по веснам наши улицы и засасывались подчас галоши; уже нет и телег и пролеток на железном ходу (тогда резиновых обтяжек – шин – еще не знали), которые, после тихих саней, грохотали колесами по булыжникам! Или: вечерами, в весеннем влажном воздухе, плыл над городом густой и плотный перезвон колоколов московских церквей – какой изумительной красоты – благовест!

А у брата – вместо всего написанного мною к разъяснению – как сжато, всего двумя строками дан прекрасно выраженный пейзаж города! Вот так и "вафли"! В нашем детстве на всех бульварах и площадях всем знакомые продавцы – они же и производители – за гроши продавали нам, тут же, на наших глазах испеченные в их жаровнях на колесах, дивно пахнущие, тонкие, свежие вафли; еще горячие – они листами свертывали их в трубки, наполняя кремом. Вот и готовая метафора для морской волны, когда она, достигая берега, горбом с белой гривой вздымается – теперь уже отвесной стенкой и обрушивается на берег сворачивающейся – как на гравюрях Хокусаи, разъяренной кривизной!

* * *

Наша квартира на Волхонке была в какой-то мере не обычной, не похожей на любую, такой же емкости, квартиру интеллигенции среднего достатка – странной своей планировкой. Ни на что, конечно, не претендуя, она в миниатюре следовала торжественному принципу дворцовых анфилад залов. Тут не залы, а небольшие, по существу, комнаты были расположены по одной, вдоль уличного фасада, линии; все они были соединены между собою двупольными дверями, одна против другой, также по одной нитке, неподалеку от оконной стены. Стоя в первой комнате, в гостиной, при открытых дверях, можно было, пронизав все шесть комнат – видеть в амбразуре седьмой, последней, перспективное сокращение кого-нибудь, там ставшего. Было

красиво, импозантно, но никому не нужно, как любая запоздалая, излишняя, роскошь. Семья была велика, в каждой комнате жило по двое. Между жилыми комнатами и гостиной разместилась большая зала, ставшая отцовской мастерской. Хотя, как мастерская, она была не достаточно велика, отец работал в ней семь лет своей творческой жизни художника.

Прожили мы в этой квартире долго. Многое можно помянуть добром, но бывали и тяжкие времена. Здесь я провел первые студенческие годы в университете, здесь я начал и закончил свое образование, как архитектор, в Училище Живописи, Ваяния и Зодчества. Когда грянула германская война четырнадцатого года, я перешел на третий курс. Война шла, как тогда утешались, с "переменным успехом", а в общем – довольно бездарно; чем дальше, тем больше начало все бродить, расползаться по швам, все более раскрывалась бессмысленная и неустойчивая политика режима. Жизнь всей страны становилась более и более трудной материально, да и морально, что было серьезнее первого. Когда время перевалило через лето 16-го года, перемены строя, которых все ждали, как необходимое облегчение, как новое рождение страны, как единственно верный ход истории – а этим все устойчивее пахло в воздухе – эти перемены оказались тут, рядом, под рукой! Февральская революция, названная "бескровной", быстро и ко всеобщему удовлетворению рьяно, как будто, взялась за работу; но, хотя бескровной она, по существу, и была, однако изменить – она ничего не смогла. Она оказалась на деле только внешней оболочкой, которая оформила почти готовое начало совсем иной, новой жизни. И видимость оболочки просуществовала очень недолго. Но затем, заодно с подъемом и радостью победы краснобантных матросов, солдат, студентов и граждан новой республики – еще крадучись, еще ползком, как бы стесняясь, тем не менее бесстыже и грубо входили в жизнь начатки будущих разрух – мешочничества, саботажа, белобандитизма.

Поэтому жить становилось все труднее: не хватало то одного, то другого – постепенно мы начинали холодать и голодать. Вообще представления о нормах жизни стали, с невероятной быстротой, падать, с последовательностью, обусловленной самим ходом этой жизни, одинаково в мелочах и в самом серьезном и важном. Очень многое из былого обихода куда-то исчезало, многое за бесценок продавалось, за ненадобностью вещей и надобностью денег, впрочем тут же обесценивающихся. Жизнь упрощалась – кому стал нужен этикет, приемы, прислуга, чудеса быта, еда с трех тарелок – при разном назначении ножей и вилок – когда оказалось, что великолепно можно обойтись и одной только! Голландки, которые раньше топили, в морозы, даже дважды в день, для какой надобности приходил молодой, симпатичный и веселый Галлиулин, дворник, теперь стояли холодными и осуждающими. Совсем недавно я с женой проходил мимо места нашего дома по Волхонке, нас окликнул знакомый, татарский голос. Мы остановились, и к нам подошел какой-то постаревший татарин, которого мы сразу и не признали, – но он той же речью, мимикой и незаконченными фразами – вызвал в памяти молодого Галлиулина. Действительно, это был он, постаревший. Смерть брата бы-

ла ему известна. Он очень тепло говорил о нем, о сестрах, о жизни Волхонки, после нашего переезда на Гоголевский бульвар. Он говорил и о себе, и о своей семье. Его дочь – в учителях ходит, а сын – "большой человек"! Встреча многое напомнила: Вот Борис, как живой, стоит перед глазами: он в валенках, очень больших, разбитых, взятых с чьих-то других ног, в чьей-то теплой не то кофте, не то пиджаке, подбитом ватой. А, впрочем, не так: он в старом, теплом, верблюжьей шерсти свитере, им самим называемом "фуфайкой" – стоит на коленях перед голландкой – он закладывает березовые дрова в хайло, аккуратно и экономно, чтобы они все сразу и ровно сгорали, оставляя золотистый, живой жар, с перебегающими по нему, еще не исчезнувшими синими языками угара. Головешек у него действительно не бывало; мы все любили топить и иметь дело с печами; в них была жизнь и энергия! Но артистичности брата никто из нас не достигал! Если у него, случалось, все же оставалась одна головешка, он ее щипцами выхватывал и бежал с дымящим факелом на кухню, под кран, или совал головешку в ведро с водой, шипящую белым паром.

Но дрова кончались. Приходилось отбирать и экономить топливо. Борис это делал, как истый истопник. Как все другое, что он исполнял, он любил и печь топить умно, красиво и быстро. Дрова кончались – и становилось все холоднее в комнатах. Время было сумасшедшее, а вместе с тем более насыщенное, полное, чем когда жили припеваючи; чувства были обострены – холодом и голодом – и в напряжении.

В это время Борис писал "Кремль в буран", "Фуфайка больного", "Может статься так..." – собственно весь цикл "Болезни". Как в них передано ощущение и тон того времени! Того, именно, года! Дрова кончались. Морозы крепчали. По ночам мы с Борисом поднимались на чердак и отпиливали концы стропильных стульев. Это ничему не угрожало, а уходили мы с хорошей, сухой добычей. Крыша нашего дома всех пережила и исчезла, только когда снесли весь дом; но мы помним многие дома с проваленными, тяжестью снега, крышами: там стропила пилили без разбора, целиком – жить ведь надо, тепло так нужно!

Но и при таком стропильном отоплении становилось все холоднее. Несколько комнат оказались нежилыми. Былая красота парада анфилады комнат постепенно оборачивалась в быту обузой, теряла смысл и торжество своей перспективы. Жизнь сужалась: незаметно, под шумок, отказом то от одного, то от другого, Москва, оказалось, уже давно зажила по заветам пещерных людей, в одной комнате, еще кое-как отапливаемой, превращавшейся в конуру, в логово... Так жили и мы, на Волхонке, в большой многокомнатной квартире, теперь жутко холодной, ставшей нам даже враждебной. В мастерской, чтобы отец мог еще кое-как работать, поставили, первой у нас, печку старого еще образца – чугунную, обложенную кафелем, с колосниками и поддувалом; железную трубу от нее – вмазали в давно уж замолкшую голландку; но, несмотря на такое "усовершенствование" – в комнате было еще очень холодно: пальцы, даже в теплых вязаных перчатках, мерзли и распуха-

ли. Отец еле держал палитру; краски, с трудом выдавливаемые из тюбиков, сразу от холода густели и превращались тут же в жирных и толстых гусениц невероятных окрасок, крайне неохотно переползали с палитры на холст, в нужные для отца места. А комната рядом — гостиная — теперь заброшенная, аккумулировала холод, как погреба в деревнях; там, по совету настройщика, был оставлен на зиму, на ровную температуру, мамин рояль. Он постепенно вмерзал в отрицательную температуру комнаты. Как мамонт, когда-то вмерзший в лед, оттаяв, сохранил нам свое мясо и кожу, так и Бехштейн, стоически постепенно застывая, с весенним теплом комнаты приходя в себя, сохранял свое превосходное качество бехштейновского голоса, без хрипоты и кашля простуженного. Анабиоз рояля — никого не пугал. Зимой его — в погребе — никто не посещал и клавишей не трогал. Все мы, и он с нами, ждали как манны небесной, как избавителя от бед — дня солнца и тепла, возврата к жизни, к деятельному труду. Когда казалось, что все тщетно, что нет уже сил, что всему конец, — наступал все же этот долгожданный поворот к истинному пробуждению, — всегда неожиданно. Как радостно было тогда вновь, и безнаказанно, раскрывать все плотно на зиму задраенные двери анфилады! Их, открывали, как открывают на свежий и прохладный воздух улицы — окна!

Я помню, как в один из первых, поистине теплых дней весны, в такой вот день всеквартирного раскрытия дверей, мы — я с Борисом — решились зайти в гостиную, поглядеть, что там за зиму произошло, каков-то наш старик — Бехштейн! Дверь открылась с трудом и недовольством, на застылых петлях. В нос шибанул обычный, погребной, немного затхлый, немного сыроватый, с запахом плесени, воздух. На запыленной, серой, черно-лаковой крышке рояля, на таком же пыльном блюдце, стояла кем-то с осени забытая чайная чашка. В ней, наполовину недопитой, оказалась прозрачная, желтая — еще ледышка, гладкой поверхности. Картина, правда, ничем не замечательная; но вид желтого льда чая в чашке, вид смерти в чашке, стоящей на источнике жизни, на рояле, сейчас еще молчащем, — поразила меня признаком какой-то неодолимости рока!

Через время, достаточное, чтобы образ чашки льда на крышке рояля был заслонен другими, живыми образами нашей дальнейшей жизни, другой действительностью, я как-то стал читать, почти заново поэму брата "Высокая болезнь", которую люблю с момента ее рождения.

По-новому столкнувшись со свидетельствами тех далеких уже времен, я споткнулся на строке — "мы были музыкой во льду" и другой — "мы были музыкою чашек". Как! Как не узнать тут Волхонки, погреба в гостиной, заслякоченный черный ход и эту чашку, на Бехштейне! Меня, как током, пронзили далекие воспоминания, почти видения прошлого. Но Бориса — живым — уже с нами не было. Спросить было некого — не эта ли чашка со льдом? И я стал читать по-новому и зрительно все восстанавливать.

Да, да, конечно! Ведь поэма — запортретированная жизнь нашего дома, Волхонки, в тот жуткий, тифозный год! И лед, и музыка, и черный ход — и

ветры – за что ни возьмись! Как на экране, как на свитке, лентой развивающим себя – выплывали из далеких далей яркие, ясные картины-свидетельства.

"Заслякоченный черный ход"! Сколько страшных, сколько грустных, но даже и смешных картин связано с нашим черным ходом! По крутой лестнице, с трудными забежными, на поворотах, ступенями, мы таскали и дрова, и бревна, и воду – водопровод не работал, где-то лопнули трубы. Ведра качались на ходу, вода расплескивалась, она замерзала на ступенях, еще более затрудняя подъем. Однажды – и смех и грех – Боря (или сестра?) поднимался по этим заслякоченным ступеням, держа в руках только что с огня снятую кастрюлю с горячей бурдой, тогда именовавшей себя гордо – "супом", но поскользнулся, и суп струями и водопадом пролился до самого низа! В голодный год – это было трагично, и не до смеха! У нас в тот год печь на кухне молчала, а все горячее приготовлялось в первом этаже, у Моти – уборщицы двух смежных квартир, издавна превращенных в филиальный, Тимирязевки, музей. Мотя и наш швейцар на парадной лестнице, человек милейший, Василий, называли этот музей – совершенно серьезно и важно, но странно: "анатомические звери".

Но я повторяю сказанное – я не литературовед, и не комментирую поэзию Бориса Пастернака. Я вспомянул здесь один из эпизодов – чашку на рояле, который, как и другие эпизоды нашей тогдашней жизни, вошел преображенным в поэму. Откуда появился образ – я предполагаю из случайного сочетания – мороза в комнате, Бехштейна, там застывшего за зиму, и чашки недопитого чая. Я тут ничего не устанавливаю и не предрешаю: я только указал на случайный факт – будущему исследователю.

3. Последняя встреча

Музыка матери, на Волхонке, звучала уже не постоянно. Все учащающиеся сердечные припадки выводили мать из строя – и, подчас, надолго. Особенно это стало заметным в первые годы войны 14-го года – зимами. Музыка раздавалась по квартире все реже и реже. В 1916 году она почти и совсем замолкла. Тут сказались не только сердечные припадки и общая болезнь: сама жизнь в стране – и в нашем быту – осложнялась все более и острее. Мы вошли в революцию при пониженном уже тонусе. Так начались для нас годы совсем нового существования, полного перестройки, в трудах, схватках и при тяжелых болезнях. Как она сама ни страдала, но для отца мама прилагала все оставшиеся силы, чтобы достойно скрашивать уныние и упадок и явные уже трудности существования. В эти дни музыку матери слышали мы только изредка, и не подолгу. Я уже говорил, что наш старик Бехштейн с осени уже впадал в зимнюю спячку и только с весенним теплом, просыпаясь, возвращался к полногласной силе.

В 1921 году родители выехали за границу, в Германию, чему способствовал А.В.Луначарский. Там надо было провести курс лечения матери, да и от-

цу – возможно – следовало бы оперировать глаз, чего в те времена, в Москве, делать не брались. Они уехали в уверенности, что, как не раз и раньше бывало, они поживут какое-то время за границей, отдохнут, подлечатся и вернутся, набравшись новых сил.

Вот так мы и зажили, вдвоем с братом, впервые в нашей жизни. В квартире еще до отъезда родителей обосновались наши знакомые, ставшие друзьями. Так наша квартира постепенно превращалась в коммунальную – с общей уборной и кухней, где каждый (или каждое семейство) пользовался жилой комнатой или комнатами, в зависимости от количества человек в семье. Бывали "квартиры", где жило потом до тридцати человек или пять-шесть семейств. Постепенно на одного человека в составе семьи приходилось всего пять, даже четыре, кв. метра площади пола. У нас в конце концов стало жить четырнадцать человек (или четыре совершенно не связанных друг с другом семьи). Это называлось вполне официально "уплотнением квартиры". На основании этого уплотнения я поселился в бывшей нашей гостиной. Когда я женился и у нас родился сын, мы стали жить с няней сына, уже вчетвером, в этой же комнате – в двенадцать с половиной квадратных метров. Брату же досталась отцовская мастерская – он был уже женат, и его жена, как профессионал-художник, имела право на большую комнату.

Два года разлуки с родителями и сестрами, сопровождавшими родителей, пролетели незаметно, быстро. В 1923 году брат, уже признанным писателем, получил разрешение на поездку в Берлин, вместе со своей женой. Вернувшись, в том же году, брат много рассказывал о своем пребывании там, о разных встречах, поездках в Марбург, Гарц, Веймар. Он передавал многое о родителях, о сестрах, о работах отца, об улучшении маминого здоровья, о ее музыке – и каждый его рассказ заканчивался одной и той же фразой: "да ты сам съезди к ним – сейчас это так просто, все сам увидишь!" – так что я, действительно, стал над этим серьезно задумываться. А фактически – поездке помог результат моей архитектурной работы; я заканчивал мою первую, после школьной скамьи, служебную архитектурную работу – постройку химического Института В.С.Н.Х., имени Л.Я.Карпова. Вся интересная часть строительства была поручена мне: я должен был проектировать буквально все, вплоть до дверных ручек и оконных приборов, потому что все это в продаже отсутствовало; или мне приходилось получать подходящее со складов Международного общества спальных вагонов. Склады были богаты любой арматурой высокого качества. Постройка Института, для тех дней, была делом исключительным – тогда ничего, собственно, не строилось, а больше разрушалось, и потому это строительство оказалось в центре забот и внимания в среде главарей В.С.Н.Х. и даже некоторых членов Совнаркома. На открытии Института, чрезвычайно торжественном и пышном, было много именитых ученых, гостей, были даже члены Правительства.

Для меня – в архитектуре еще новичка – это был естественно "большой день". Меня поздравляли; отмечали, в речах, мою работу, хвалили здание...

Я не стал бы поминать всего, если бы постройка Института – вернее, ре-

зультат ее – не сыграли бы большой роли в деле моей поездки за границу. Вот как это было.

В январе этого года скончался В.И.Ленин. Совнарком и ВЦИК постановили увековечить имя и прах Ленина постройкой мемориального Мавзолея, и срочно начались подготовительные работы: на Красной Площади, ночами, при жесточайших морозах, начали взрывать землю под будущий склеп. На площади были разложены и все время горели громадные костры, у которых все время, меняясь, обогревались саперы-взрывники. В то же время в Большом Зале здания бывшего Благородного Собрания, ныне Дома Союзов, был установлен гроб с телом Ленина, для всенародного с ним прощания. Зал был торжественно и драматично оформлен. За укрытием непрерывно звучала похоронная музыка разных классиков – Бетховена, Берлиоза, Шопена, Вагнера, Чайковского. Люди проходили в глубокой тишине траура.

Перед зданием, на Охотнорядской площади, уже с вечера, накануне, стали собираться толпы народа, становящегося в длинный "черед", в черные ленты "хвостов", которые вились по всей площади. И здесь, как на Красной Площади, горели разложенные костры, у них обогревались конники милиции и наряды солдат, для поддержания этой ночью порядка и тишины.

Но люди, стоявшие в очередях, сами блюли тишину и покой, соответствующие общей драматичности морозной и траурной ночи, не нуждавшейся в помощи пешей и конной милиции. Треск горевших бревен был единственным и фоновым звучанием ночи, изредка нарушаемым ржанием какой-нибудь лошади или кашлем в толпе, более слышным, чем обычно. Люди мерзли стоически, притаптывая ногами или размахивая руками. Я, как и все тут, простоял эту ночь, одетый, как в экспедицию на северный полюс. Только на рассвете попал я, наконец, в зал.

А в это время трудная ночь была в мастерской архитектора А.В.Щусева, которому, среди нескольких других архитекторов, было предложено представить эскиз Мавзолея, на закрытый конкурс. Щусев всю ночь напролет рисовал и рисовал, и бросал в корзинку бракованное, и снова лихорадочно набрасывал одно видение будущего своего Мавзолея за другим. В это же время – в другой квартире, на такой же закрытый конкурс на проект саркофага для праха Ленина, трудился молодой архитектор – К.С.Мельников. Он почти что погибал, явно не успевая... Ему требовалась срочная помощь. Бывшие на открытии здания Карповского Института, знавшие о критическом состоянии Мельникова, вспомнили обо мне и срочно направили меня ему на подмогу. В дальнейшем, уже при постройке Мавзолея, так получилось, что К.С.Мельников, несмотря на все мои отказы и отговорки, что я не справлюсь, все же взвалил на меня всю тяжесть и ответственность за проектную и чертежную часть интерьера зала саркофага. На это у него самого, действительно, никакого времени, ни сил, уже не оставалось. Так, того не желая, я оказался как бы соавтором. Я не буду тут упоминать обо всех перипетиях, о минутах и страшных и приятных, об эпизодах опасных и сложных – всего было много, во что бывал вовлечен и я – во время строительства и во время от-

делки зала, да и самого саркофага; до последней минуты можно было ожидать любых сюрпризов, что и случалось! Бывали самые непредвиденные и неожиданные провалы, когда мы вполне были спокойны и казалось, что все, как следует, проверено; но бывали, и не редко, и такие случаи, когда – в полной растерянности уныния и ожидания большой беды – результат оказывался как бы подтвержденьем нашей блестящей инвенции и предвиденья!

В конце концов все успелось к сроку, все оказалось уже позади и, к счастью для нас, было сделано, осмотрено и принято комиссией, давшей хороший отзыв и даже представившей нас к награде. Я не помню, чем был награжден К.С.Мельников*. Мне же, в качестве награды было возбуждено, поддержано и разрешено ходатайство о командировке за границу. что по тем временам было также трудным и редкостным делом. Мне было выдано разрешение на поездку, и я был обеспечен заграничным паспортом. Так настал момент, в возможность которого я почти и не верил – я стал владельцем всех документов и билета на поезд! Я еду – и час отбытия назначен!

Я расстался с родителями и сестрами в Москве осенью 1921 года, а встретился с ними – в нормальной бюргерской квартире в Берлине, в июле 1924 года, всего через три года! И все же – ощущение не своего, привычного окружения, а чужого и чуждого и – несмотря на их собственную драму инфляции, дауэс-плана и тяжести репараций – еще сохраняющего запах благоустроенных, хотя бы и внешне, и благополучных квартир, таких, в каких мы жили в 1906 или 1912 гг., – такое ощущение было столь разительно и велико, что истинное время превращалось в мнимое, и три года вырастало в тридцать раз по три и более того.

* * *

Я имел советскую визу и разрешение на пребывание за границей сроком на один год. Я решил полностью исчерпать это время с максимальной пользой для меня. Но обо всем, что шло навстречу моим намерениям, или, наоборот, их тормозило или разрушало, например, как я искал, казалось, без надежды, архитектурную работу, а случайно, через отца, получил ее, когда энергия поисков иссякла, у нового знакомого отца, некоего архитектора "баурата" Бервальда, которого отец портретировал; или как мне удалось побывать во многих старых городах южной Германии; или как с сестрой Лидией, большой спортсменкой, попали мы и лазили по горам южной Баварии, куда позже, вторично, я попал уже на знакомые места с моей невестой, будущей моей женой, приехавшей навестить меня; как мы с ней возвращались из Мюнхена в Берлин каким-то немыслимо дешевым, студенческим поездом, с массой лишних остановок, пересадок и попутных осмотров про-

---

* Орденами тогда награждались только военные за крупные военные успехи, а люди гражданских служб – только за особо выдающиеся достижения – и очень редко.

межуточных городов – обо всем этом, хотя оно и интересно, я рассказывать сейчас не буду. У меня – другая забота: мне надо, теперь уже немногое, дорассказать о моей встрече с музыкой, с музыкой матери.

Когда я попал, приехав в Берлин, к нашим, меня сразу же охватило ощущение чего-то нового в их существовании, но чего – я сразу определить не мог. Скорее всего, ощущение это было вызвано их, ранее не замечавшейся, какой-то самостоятельностью каждого. Тем самым мать была высвобождена из пут семейной обстановки и забот, какие были опознавательными знаками ее жизни в Москве.

Здоровье матери заметно улучшилось. Она могла теперь вновь, хотя и понемногу, возвращать себя музыке. Этому, однако, кроме укрепления сил, значительно помогало и то, что вся обычная работа домохозяйки, в Москве поглощавшая массу сил и хлопот, а главное – времени, – тут была облегчена новыми для нас бытовыми условиями: покупкой, скажем, пищи, наполовину, если не больше, приготовленной, уже в магазине, к варке или жаренью. В полном ходу тут были пылесосы и механизмы для натирки полов; упрощена была также и топка печей. В кухне была газовая плита, о чем в Москве тогда и мечтать не приходилось – тогда у нас и газа, как осветительного и отопительного средства общего пользования еще не было. В доме, где поселились наши, еще сохранялось голландское отопление, но опять же не наше, допотопное, березовыми дровами – и если дров не оказывалось, то молчало и отопление! Нет, тут все было иначе. При мне топили три печки брикетиками черного, чистого, прессованного до твердости антрацита, торфа, рук не пачкавшими. Фирма, торгующая ими, раз в неделю их доставляла, и мы складывали их стопкой в чуланчике. Утром в печку, еще держащую вчерашний жар, – закладывали новую порцию брикетов, дверцу винтом задраивали наглухо, и о печке никто уже не думал, до следующего утра! Эту обязанность моей сестры теперь я взял на себя, перед уходом "на службу". Также раз в неделю прибывали двое здоровых ребят в кожаных фартуках и перчатках с крагами, они выгребали светло-желтую, странно называть это "золой", но все же торфяной золой это было – светло-охристой, почти золотистого цвета. Маленьким пылесосом они убирали все, что насорили этой процедурой, но должен сказать, что сорили они действительно очень мало!

Я работал у архитектора Бервальда на правах "добровольца" (als Volontaire), то есть бесплатно, и потому мне разрешено было приходить не к девяти, а к десяти утра – а возвращался я домой к четырем – место работы было загородом, в вилле Бервальда, ездил я туда поездом метрополитена – по нашим тогда понятиям чертовски быстро. Каждый следующий поезд шел через минуту, ни больше ни меньше, абсолютно точно, после отбытия предыдущего, а быстрота хода – была поистине завидной!

От работы у архитектора я, от непривычки так работать – очень уставал, и за все время так и не привык к ней. Тут из рабочего часа выжимали все шестьдесят минут полностью: не болтая, не куря, не отрываясь на мечтанья или передых. Ровно в час, минута в минуту, все разом прекращали работу,

вытаскивались из портфелей термосы с горячим кофеем или какао, из целлулоидных коробок вынимались бутерброды, успевали поесть, попить, поговорить и даже выкурить трубки – и так же точно, минута в минуту, через 30 минут, все сидели за своими столами, точно работа и не прерывалась. Сама техническая работа не походила на нашу: тут работали одной рейсшиной, без треугольников. Как я ни старался так чертить – мне этого не удавалось, и меня утешали тем, что этому обучиться нелегко – на первых двух курсах они еле осиливали такую технику работы. Но надо отдать честь такой методе: она допускала работать куда быстрее нашей, с использованием треугольников. Смеха ради, после работы, с моим "обучающим" меня всем тонкостям такой техники я устраивал своеобразные гонки по черчению; он, чертя по-своему, и очень красиво – здорово обгонял меня и, главное, без особого труда! Еще новостью для меня было то, что в Германии (а может быть и везде, кроме России) тушью не обводили чертежей, и вообще не чертили сначала на бумаге, а потом калькировали. Эту двойную работу они с успехом заменяли одной, то есть сразу чертили оригиналы чертежей на кальке, карандашом, достаточно четко и ясно. Вообще – верили больше цифрам, чем масштабу чертежа. Кальки, исполненные карандашом, тут же отправлялись в копировку и возвращались уже отпечатанными в десятикратном тираже, но не белой линией и цифрами на синем фоне, как у нас (откуда и наше техническое наименование, сохранившееся даже и сейчас: "синька"!), а на белом же фоне (как в оригинале), но темно-коричневыми цифрами и линиями чертежа. Общая быстрота и четкость труда и отдачи вначале были мне совсем не под силу. Потом я как-то к такой системе приноровился, хотя, к смеху коллег, чертить без помощи треугольника так и не научился!

Я проработал у "баурата" до осени, когда он, по приглашению, надолго покинул Берлин. Он звал меня с собою, уже на оплачиваемую работу, но я отказался: мне не хотелось раньше времени расставаться с нашими, да и о возвращении в Москву следовало бы подумать.

В это время, как выше я упомянул, ко мне в Берлин прибыла моя невеста, закончившая свой, также архитектурный, институт. Она, как и все наши, была против поездки в неизвестность – и надолго.

Но я случайно забежал вперед: до осени было еще далеко. Возвратимся к началу моего рассказа о Берлине и о моей жизни там.

Итак – обычно я возвращался от работ у моего шефа усталым и проголодавшимся, к четырем часам. Тут я сам приготовлял себе, на кухне, мою несложную еду: кухня блистала немыслимой чистотой, глянцевой светлостью белого кафеля и ощущеньем полного уюта. Без труда я превращал принесенные из магазина какие-то кубики в сказочные омаровые или черепашьи супы; жарил приготовленные уже в лавке и там же в муке обвалянные розовые ломти какой-то рыбы с экзотическим названием и остаточным ароматом дальних океанических просторов.

Из этой-то кухни, наслаждаясь бесшумливостью и послушностью газовой плиты (не нашими тогдашними примусами, которые в Москве, повсюду и

постоянно чем-то возмущаясь, ревели угрожающе-свирепо или, всем на зло, неистово коптили, вот-вот готовые взорваться) – вот из этой тихой обители кулинарии слушал я, иной раз, игру моей матери. Кухня была на отлете, но, когда обе двери соединительного коридорчика были открыты, музыка доносилась с тем особым великолепием, какое придает ей воздушный фильтр.

Чаще всего это были произведения, связанные памятью с Москвой и игрой матери в Москве: шопеновские этюды или, щемящие до боли, его же прелюдии или баллады. Они проигрывались, как и в Москве, подряд, как неразрывно следующие, одна за другой, главы одного романа. Если это был не Шопен, то Шуман, или кто-нибудь другой; но тогда уже не было ни романа, ни глав последовательности, а начиналось что-то, обрывалось на полуфразе, и, после небольшой заминки, точно кто-то что-то говорил пианистке, звучал другой отрывок, уже из другой вещи, из другого мира – безразлично, более ли позднего, или наоборот, совсем уж раннего. Бывало и так: среди такой биографической разрозненности, и после более длительной передышки, вдруг Скрябинская музыка – этюды скорее всего, но может быть и поэма или иное что – заполняла собою небольшую нашу кухню.

Все это было мне знакомо – и эта манера, и эти перескоки из эпохи в эпоху, все это бывало и на Волхонке, и раньше. Но вот, в какой-то день, который однако ничем не выделял себя из чреды других, таких же, я вернулся от "баурата" и, как всегда, приготовил к жаренью купленное мясо. Среди обычных у мамы музыкальных поисков – что играть – я услышал какую-то совершенно незнакомую мне музыку в мамином репертуаре, никогда ею ранее не игранную. Это была почти что импровизация. Она звучала так, как будто мама не играла нотопись *пальцами по клавиатуре,* а сидя перед клавиатурой, *размышляла музыкой.* Тихие звуки, точно про себя сказанные, в полголоса, слова и фразы, как будто мама вела с самой собой диалог, в глубоком раздумьи... Эти несколько фраз вступления поразили меня таким большим внутренним чувством, таким изумляющим духом глубокой тоски и горечи – что я обо всем забыл – и зачарованно, в тиши кухни, слушал, пока распространившийся по кухне сизый чад и горький запах сгоревшего мяса на сковороде не вернул мне способность жить и думать. Я бросился, погасив плиту, в комнату к играющей и, еще на бегу спросив – что это? – узнал, что это шубертовская фантазия, fa minor, op. 103. Она, собственно, написана Шубертом для двух роялей, но переложена для игры в четыре руки на одном инструменте. В исполнении же матери (в две руки) поражало особенно выраженное импровизационное, драматически-грустное и проникновенное звучание. Особенно – тема начала. Вся вещь была необычной, сочетанием прозрачности, ясности и какой-то душевной чистоты, почти народного напева, и вот этого грустного, как бы, взгляда на все происходящее, какой-то думы, когда все надо понять и как-то разъяснить – себе и другим. Конечно, матери эта вещь говорила многое; она ее очень глубоко поняла и полюбила. Как ни странно – ее она играла редко. Бывало – я ее очень упрашивал, но она отказывалась играть, с тем, чтобы через какое-то время, без всяких

просьб и уговоров, проиграть ее несколько раз, стремясь сыграть эту музыку вопросов и размышлений самопознания – как можно глубже и тоньше, как можно яснее и естественней, а, главное, что самое трудное – как можно более просто.

Очевидно, степень взросления меняла во мне очень многое! Ну, например, привычное мне еще с детства, тогда еще услышанное и ставшее понятным, воспринималось как незыблемость. Музыка, прослушиваемая теперь из очарования белокафельной чистоты, все во мне опрокидывала, все мои устои, и меняла мою душу.

Многое – и в музыке также – стало мною понятым по-новому в моей теперь совсем новой для меня жизни: с Германии начиная. Почти осязательно всплывают в памяти события и звуки той жизни – в Берлине, в Мюнхене, в разных городах, в горах, даже в железнодорожных вагонах. Но это вполне естественно и иначе не может и быть! Но, как электрический разряд, как удар – действует какое-нибудь случайно услышанное сочетание, или даже картина чего-то, что одно только вызывает – по сходству, должно быть – в памяти другую музыку – первые такты этой фантазии! Или иначе: среди разговора, внезапно, непонятно почему и как, что-то заставляет зазвучать в моих ушах музыку, никому, однако, не слышимую, и это – опять все та же фантазия Шуберта! Та же фантазия! Та же!

* * *

Я, конечно, знал, что пребывание мое в Берлине не бесконечно. Оно явно приближалось к своему концу. Уже предчувствовался все более надвигавшийся срок расставания. И он наступил, даже ранее, чем мы предполагали. Полицейское управление города Берлина предложило – в 24 часа либо покинуть страну, либо подать в высшие инстанции просьбу о продлении прежнего, двухкратно продленного, и снова просроченного, разрешения. Зная, с каким трудом протекают такие ходатайства, почти всегда с отказом, мы с Ириной решили за лучшее – ускорить наш отъезд. Странно распоряжается судьба человеком! Когда, ни на что более не надеясь, мы уже собрались уезжать, выписались из ревира, купили билеты и назавтра должны были выезжать, раздался вечером звонок по телефону, с предложением явиться в Polizeipräsidium за получением нового разрешения на три месяца. Но – было уже слишком поздно!

Когда мы оба стояли у подножки вагона и отец говорил нам свои последние слова напутствия, пошел – как это только в театре бывает, и не удивляет – мелкий, неприятный холодный осенний дождик. В это же время поездная бригада, заволновавшись, стала приглашать отъезжающих занять свои места.

Необычайно ясно я понял, что я вижу отца в последний раз – хотя мы уговорились через год снова их навестить. В глубоком молчании мы заняли наши места в купе вагона. Неужели я более никогда-никогда не услышу

маминой игры? Случайно никто не вошел в наше купе, и мы до границы ехали одни. Молча.

Москва встретила нас необычайно приветливо, осенним солнечным утром. Жизнь началась сразу, как бы и не прерывалась ничем – дни устройства, дни работ, дни свиданий с друзьями. Жизнь брала свое. Только через много времени стала возвращаться ко мне эта удивительная, раздумчивая, глубокотоскливая музыка вступления шубертовской фантазии, все более, казалось, углублявшаяся в вопрос красоты и шири бытия.

В одну из встреч моих, у Бориса, с профессором Г. Г. Нейгаузом я как-то заговорил с ним об этой вещи. То ли он ее не играл, то ли был к ней равнодушен, не могу сказать – но, во всяком случае, мы оба удивились: он – моему возбуждению в рассказе, я – его весьма холодному тону разговора об этой вещи.

Я писал в Берлин, прося выслать мне ноты фантазии, и вскоре я получил просимое в четырехручном переложении (на одном рояле). При ближайшей встрече с Генрихом Густавовичем я показал ему ноты; он сел за рояль и, проигрывая вещь, признал, что такое мое толкование, о каком я говорил выше, вполне возможно и, может быть, даже и интересно. Но дальше признанья "интересно" – дело не пошло: на мои просьбы дать мне еще раз услышать эту музыку – он целиком ее ни разу не сыграл.

Эта фантазия, очевидно, ни ему, ни его сыну, Станиславу Нейгаузу, не была по душе; или, слушая эту музыку, они воспринимали ее иначе. Они ее никогда не играли. Я же не заикался о ней больше ни с кем.

Через очень много лет, много спустя после смерти родителей, в конце пятидесятых уже годов, я с женой были в гостях у одного знакомого искусствоведа, любителя музыки. Он угощал нас своими новыми, только недавно полученными из-за границы, замечательными пластинками. – "А вот я поставлю вам вещь, такую красивую, мне не знакомую. Интересно, знаете ли вы, что это?"

Пластинка поставлена. В этот момент его самого вызвали из комнаты. Какая забота провидения, какое счастье! При первых же оборотах пластинки, ни о чем не помышляя, мы оба вдруг вздрогнули и непрошенные слезы выкатились из наших глаз: это была фантазия Шуберта! Она звучала в хорошем исполнении на двух роялях. Когда хозяин вернулся в комнату и повторил вопрос, знаем ли мы эту вещь, наше молчание сказало за нас больше, чем требовалось.

И еще много лет спустя, совсем уж недавно, я сам получил из Франции эту вещь в подарок, записанную берлинским дуэтом Вронской и Бабиным. Эта пластинка, однако, не вызывает в нас обоих чувств той глубины и действенности музыки, какие звучали в игре моей матери; в ней мать передала нам истинные авторские мысли и импровизационное раздумье, а вместе и трагизм ее горечи!

Странно! Однажды мне пришлось слышать эту фантазию еще в одной интерпретации, построенной на ноте чуть ли не народного танца! Удивитель-

но, как одна и та же композиция может быть так по-разному интерпретирована! Как страдает, верно, композитор, когда он слышит свое детище в неверном толковании! И как редко, должно быть, выпадает счастье услышать передачу музыки, близко выражающую *замысел* автора, особенно когда он, автор, давным давно уже скончался.

* * *

Кто мог думать, что, выходя осенью 1925 года из квартиры, где мне выпало счастье вновь, и не раз, слушать музыку – и в блестящей, для меня неожидаемой форме – моей матери, мы прощались и с матерью, и с ее музыкой – в последний раз? Что никогда более я не услышу ее игры? Расставаясь, мы давали обещание вновь приехать не далее, как через год! Но это было все же последним прощанием...

Но след, оставленный игрой матери в моем сознании, был так глубок, что даже и сорок с лишним лет – не в состоянии были его вытравить и сгладить. Особенно же резко врезалось мне в память ее исполнение шубертовской фантазии. Оно и посейчас еще звучит в моих ушах, как эталон силы проникновения в сущность музыкального произведения.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ВЗАМЕН ЭПИЛОГА

Моим сестрам — Жозефине и Лидии

1. Вид из окон

Плавательный бассейн внушительных размеров, на открытом воздухе, под названием "Москва", занимает большой участок между Кропоткинской набережной и улицей Волхонкой; своим краем участок, выходя на Соймоновский проезд, граничит и с Кропоткинской площадью. Бассейн работает круглый год. Летом, в жаркие дни, радость и веселье купающихся, видных с тротуара, вполне понятны и даже завидны прохожим, часто останавливающимся, чтобы поглядеть на заплывы. Но уже с осени, и особливо в морозные дни зимы, этот бассейн и купающиеся в нем не вызывают более таких эмоций, скорее некоторое сожаление несчастных энтузиастов спорта. Только диву даешься их безумной и беспечной смелости! Тем не менее и в трескучие морозы бассейн посещается охотно и в большом числе – энтузиастами.

В самые многолюдные часы летних посещений с бассейна не слышно никогда шума, точно все темные фигурки пловцов тщательно соблюдают тишину труда. Однако – это не так: кажущаяся тишь бассейна объяснима тем, что густой и ровный гул смеси грохота, рева и рокота автомобилей, сплошными потоками мчащихся мимо – по набережной грузовиков, а по Волхонке, в четыре ряда легковых – достигает такой силы генерал-баса, всепоглощающего и над всем стоящего, что собою глушит другие ощутительные шумы большой жизни города. Когда же дневная ярость транспорта стихает, когда редкая ныне тишина все же спускается на округу, тогда-то и оказывается, что жизнь бассейна не так уж тиха! Тогда на общем веселом фоне смеха, рокота общего говора множества людей – вдруг взрываются, усиленные рупорами мегафонов, отдельные слова и фразы упреков, ободрений, указаний или требований тренеров и надзирающих – и это все, сплетаясь в общий шум, всплесками влетает в открытые окна нашей квартиры, не так уж близко находящейся к бассейну, или растекается по аллеям Гоголевского бульвара.

Таким бассейн бывает летом. Зимой же, в стужу, он может стать странным, даже и страшным!

В морозные, хрустящие дни москвичи, кутаясь во все теплое, в шубы, в ушанки, в меха, бегут, не задерживаясь, мимо бассейна, даже не поворачивая к нему головы. В такие дни, когда зимние сумерки рано завладевают городом, и фонари зажигаются чуть ли не середь дня, когда над бассейном, вокруг его водного поля, на высоких мачтах, загораются своим желто-зеле-

ным, зловещим огнем мощные прожекторы, когда под ними все окунуто в феерический, неверный, загадочный отсвет, бассейн обретает жуткий, ни с чем не сравнимый, нереальный свой облик чего-то не от мира сего – почти потустороннего мира.

Над гладью воды вздымаются клубами громадные горы тумана и паров; подобно драконам китайского воображения, горбясь, сворачиваясь в кольца и извиваясь, безостановочно и быстро несутся они ввысь, окрашенные, как все тут – в этот мертвенный, лунный отсвет. Тогда вот и возникает и овладевает нами иллюзия, будто вода в бассейне вскипает белым ключом, клокочет крутым кипятком – и в этом бурлящем вареве плещутся не живые люди, а фантомы, прообразы каких-то призраков и привидений из ненаписанной еще третьей части Фауста, из Капричос Гойи или продолжений ночных оргий Шекспировых ведьм и исчадий ада.

Ветер треплет из стороны в сторону шлейфы желто-зеленого дыма и пара, и кажется, что ощущаешь исходящий от них едкий и отвратительный запах адовой серы.

И все же! В этом дьявольском котле весело плавают – и не гибнут – москвичи и москвички, получая свою долю зарядки и бодрости. И зимой и летом одинаково бассейн этот пользуется успехом и популярностью. Он был открыт в пятидесятых годах.

Ну, а что же здесь было ранее – до сооружения бассейна? Многие ли москвичи, даже и моего возраста, знают и помнят общий состав и обличие того, что, как град Китеж, оказалось сокрытым ныне под голубой гладью бассейна? Что – совершенно естественно – никогда уж не сможет быть возвращенным к жизни?

Осенью 1911 года, когда мы вернулись в Москву после нашего черноморского летнего пребывания, мы очутились в районе, нам совершенно незнакомом, новом и чужом, далеком от Мясницкой, столь нам родной! Отцу предложили переехать в новую казенную квартиру на Волхонке. Некогда большой городской участок – почти барская усадьба! – принадлежал князьям Голицыным; теперь же частью его владело Художественное Общество, для нужд Училища Живописи и Ваяния.

Одной своей стороной, четырехэтажным корпусом гостиницы "Княжий двор", большой этот участок выходил в Малый Знаменский переулок; сюда же, насупротив, выходила боковая стена Музея Изящных Искусств, ныне – музея им. А.С.Пушкина, тогда еще не открытого для публики. К гостинице, по переулку, примыкал двухэтажный квартирный корпус; он, своим длинным хвостом, загибал на улицу Волхонку. В этом крыле, по второму этажу, была расположена наша новая квартира о семи комнатах.

Я прожил в ней двадцать с лишком лет. В моем описании того, что я здесь пережил и видел, я все глаголы ставлю в своего рода Plusquamperfectum'е не столько потому, что въехали мы в эту квартиру шестьдесят пять лет тому назад, а, главным образом, потому, что ни этого двухэтажного дома, ни всего того, что мы застали, въехав в новую квартиру, и с чем прожили

там – сейчас более не существует и о возврате к этому, как и к юности, – не может уже быть и речи.

* * *

Прежде чем описывать, чтó в облике этого района за двадцать лет нашего пребывания на Волхонке изменялось, я хочу дать хотя бы общее представление о том неизменном, что встретило нас с первого же дня нашего переезда сюда, когда мы любопытствующими глазами новопришельцев выглянули из окон квартиры – что в своей неизменности нас потом каждодневно сопровождало и на что мы затем смотрели уже скучающими глазами старожила.

Девятью окнами жилых комнат, вытянувшихся анфиладой вдоль Волхонки, наша квартира глядела – через улицу – на широкую по фронту, и большой глубины, панораму; она, от нас уже вдалеке, за рекой, замыкалась стоящими на набережной Замоскворечья одно- и двухэтажными домами. Конечно, нам просто повезло! В этой части, от угла Малого Знаменского переулка и до Пречистенских (ныне Кропоткинских) ворот, Волхонка была застроена односторонне. Причиной тому было решение строить собор, в честь победы над французами, не на Воробьевых горах, как ранее проектировал архитектор Витберг, а на высоком холме Чертолья, рядом с Пречистенскими воротами. Громадный по тем временам объем собора, который строился свыше сорока лет, потребовал вокруг себя большой свободной площади. Все здания, тут стоявшие и ставшие теперь помехой постройке, были снесены, и тут ничего более не возводилось.

Так, сам собою, еще в прошлом столетии открылся чудесный вид на далекое Замоскворечье.

Новоявленная площадь, названная "Площадью Храма Христа Спасителя", поистине была велика. Она занимала большой прямоугольник – между рекой и улицей Волхонкой, и между проездами, связывавшими улицу с набережной – Всехсвятским (его уже нет на свете!) и Лесным – теперь Соймоновским.

Собор стоял в центре площади; нам, из наших окон, была видна только малая часть ее, а именно та, которая простиралась от бывшего Всехсвятского проезда до восточной стены храма. Бóльшую часть дня мы наблюдали эту стену, как теневую, так как весь собор рисовался нам против солнца, то есть, как говорили, "контржуром".

Обращенная к нам часть площади странным образом воспринималась нами, как *сцена* какого-то огромного театра под открытым небом. Это впечатление было столь сильным и постоянным, что сохранялось в нашем сознании во все годы нашей жизни на Волхонке, и – я не избавился от него и посейчас! В дальнейшем, вспоминая жизнь этой площади и различные происшедшие на ней события, я буду возвращаться к такому сравнению без особых разъяснений, как к уже установленному и ясному определению. Основой такого восприятия служило то обстоятельство, что свободное простран-

ство, видное из наших окон, совершенно явственно обрело свою ось, прямо противоположную той, которая, как и полагалось храму и площади при нем, по законам церковного строительства, должна была идти строго с востока на запад. Так она градостроительно и шла.

Для нас же, глядящих на открывающуюся из наших окон панораму, такая мистическая, глазом не определяемая, абстрактная ось не существовала; ведь, фактически, собор, весь в своем целом, то есть полным своим объемом, в наше видимое пространство – не входил. В восприятии этого открытого пространства собор особого значения – как не участвующий в панораме – не имел и иметь не мог. В ее жизнь, да и нашу, он мог входить только своим очень торжественным, то мощным, когда надо было, то – радующим и веселым – но всегда музыкальным и полным красоты перезвоном своих замечательно подобранных колоколов. Звонарем собора был невзрачный, малого роста, хромой горбун с черной кудлатой бородой и с очень, видно, музыкальной душой. Кроме такого звучащего проявления, собор напоминал о себе еще крестным ходом, раз в году, пасхальной ночью. Поэтому естественные силы природы панорамы, то есть сила перспективы, сила ощущения дали, чувство глубины панорамы оказывались куда более могучими, действенными, даже и принуждающими.

Узкая улица – Волхонка – бежала своей дорогой, мимо нас, под нами, нас не волнуя; мы мало о ней думали, даже сверху на нее глядя. *Эта* ось – совершенно не ощущалась. Та, другая, направленная на Замоскворечье, – более властно и постоянно, по-разному в течение дня, притягивала глаз и нас завораживала воображаемыми и происходящими событиями.

Вот основа, на которой без труда возникла идея – будто и странная – обычной театральной сцены. Она появилась, подтвердилась и прижилась накрепко: она живет во мне и по сей день!

* * *

Подобно обычным сценам театра, наша площадь, как подмостки проходящих перед глазами событий и эпизодов жизни города – обладала всеми составляющими настоящую сцену частями. Не было здесь только занавеса, да поворотного круга – но их ведь не бывает в театрах под открытым небом. Имелась авансцена – Волхонка, которая нас не очень волновала. Была и арьерсцена, на которой разыгрывались либо концовки, либо постановки общегородских событий. Роль кулис, частной задачей которых было усиливать, перспективой удаления, ощущение глубины сцены, в нашем случае – выполняли здания, стоящие вдоль Всехсвятского проезда.

На углу с Волхонки стоял невзрачный, одноэтажный дом цветочного магазина Эдмонда Бауэра. Не цветы магазина привлекали нас, а странное имя его владельца – будто взятое из ”Пира во время чумы”. Дверь магазина чрезвычайно редко открывалась и закрывалась, впуская или выпуская, случайно зашедших сюда покупателей.

Следующим – был (всегда) белый четырехэтажный, не блещущий архитектурой, доходный дом Головтеевых; за ним, через небольшой просвет – последним звеном ряда, закрепляла угол проезда и набережной великолепная, легкая и стройная, чудесной архитектуры петровского времени, розовая с белым колокольня церкви Похвалы Богородицы. Сама церковь находилась вне поля нашего зрения, по набережной; ее мы ощущали лишь по главе и кресту, видневшимся в упомянутом просвете. Колокольня и церковь – по набережной – стояли на остатке некогда бывшего тут, высокого, Всехсвятского вала, но об этом – дальше, ниже. Такова была левая от нас боковая стена сцены. Правую боковину составляла громада восточной стены собора; она ощущалась сама по себе – по характеру архитектуры, по полной безжизненной отрешенности, по ее ложной торжественности – театральной бутафорной установкой.

И – наконец – сам задник сцены.

Боже, какой задник!

Он был написан несомненно художником высшей, божественной гениальности. Все Замоскворечье, в своем полном разнообразии, красочно рисовалось на фоне неописуемой красоты изменчивого, живого небосвода!

Сложный задник, весь вид Замоскворечья, вся развернувшаяся перед нами панорама – были счастливым сочетанием объемности первого плана с незаметным переходом к плоскостному восприятию бездонной бесконечности дали, постепенно меняющих себя рисунков и красок фона.

На набережной, по которой редко когда проезжала телега или не спеша шел пешеход, первый ряд домов ощущался вполне объемно.

Среди них сразу запомнился приметный дом хорошей архитектуры – палаты дьяка Аверкия Кириллова, и церковь с колокольней при нем. Эта группа приходилась как раз в центре видного нам пространства. Был и другой дом, мы прозвали его почему-то домом Малюты Скуратова, хотя основания к тому, или каких-либо подтверждений у нас не было. Характерным для этого двухэтажного, вытянутого вдоль набережной, невзрачного дома была запомнившаяся в середине фасада приземистая арка проезда во двор. Часть двора, в бинокль хорошо видная, в ярко солнечный день рисовалась отчетливо-светлым пятном в темной оправе боковых стен арки. Конечно, не архитектурная ценность – кстати сказать, весьма разная – этих двух домов привлекала наше особое к себе внимание! Вероятно, запомнились они только тем, что составляли в этом "заднике" существенную часть, играя какую-то определенную в нем роль.

По тем же причинам несомненно запомнились и четыре высокие, обычные, красно-кирпичные трубы фабричного типа – трамвайной подстанции – особенно, когда в сильно морозные дни из них картинно, очень гордо и медленно тянулись по ветру, как из стародавних пароходных труб, четыре плотных, темных, клубастых шлейфа дыма разной – смотря по освещению дня – расцветки.

Вот эти четыре обычнейшие, но, как знак места и времени запомнившие-

ся, трубы и четырежды повторный, одинаковый дымовой рисунок, медленно, то столбом кверху, то клубами тянувшийся по ветру в сторону, являли собою границу объемного содержания. Дальше шло, совсем уж плоско-писанным виденьем фрески или мозаики – само Замоскворечье, пестрой инкрустацией отдельных своих разноокрашенных домов и возникающих то тут то там – вертикалей колоколен, церковных главок и просто каких-то башен. А надо всем этим сверкающим, блещущим в лучах предвечернего солнца – то золотом куполов и крестов, то яркостью цвета зданий или приглушенным флером серого дня – надо всем этим плыл по небу, то чистому, глубокому и яркому, как хорошо промытая эмаль, то изрытому облаками разных плотностей, цвета и контуров – плыл, растворенный воздухом, благовест. Далекий, ровный и далью успокоенный перезвон колоколов оживлял беззвучную архитектурную фантазию и мечту прошлого.

* * *

Итак, сценическая коробка была образована упомянутыми боковинами и дивным задником. Ну, а сама сцена-то? В отличие, в прямую противоположность обычным – наша сцена была расчленена на несколько участков; каждый из них, по своему характеру, играл свою определенную роль.

Тут следует напомнить, если кто и забыл, что издревле Волхонка – раньше известная под другими разными названиями – шла по холму, который местами возвышался над уровнем набережной почти что на три метра! Мыс холма – когда-то он назывался Чертольем – обращенный в сторону Лесного проезда – с древних времен Москвы служил ей сторожевым заслоном с запада.

Но времена менялись, а с ними и сама Москва!

Когда настала пора строить большой храм-памятник (храм Христа Спасителя), запроектированный как раз на Чертольском холме, пришлось очистить все Чертолье от ютившихся здесь разных построек и даже от Алексеевского монастыря, выровнять освободившуюся горбатую площадь – по горизонтали и заново спланировать теперь уже парадную городскую площадь больших измерений – в честь будущего памятника названную "площадью храма Христа Спасителя". Естественные склоны холма, обращенные к реке и к Лесному проезду, неказистые, бугристые, где вытоптанные, где покрытые пыльным бурьяном и сорняком, а где и просто превращенные в свалку – теперь были забраны отвесными подпорными стенами, облицованными, как и берег реки – крупными блоками серого гранита.

При решении холма грандиозным подножием храму-памятнику, то есть единой, нерасчлененной площадью – нужная связь Волхонки с набережной должна была, в любом случае, сохранить в неприкосновенности эту цельность решенья – следовательно пройти в обход площади, сбоку – *мимо нее.* Так, в действительности, и появился Всехсвятский проезд. Из-за значительного падения отметок уровня Волхонки и набережной проезд, их связавший, стал,

собственно, спуском, прорытым в толще холма – между кварталами домов слева – и площадью Храма справа. Спуск этот, начавшись от Волхонки, шел сначала достаточно полого, что было заметно по небольшому только возрастанию высоты цоколей домов. Но, минуя дом Головтеева, уже приближаясь к реке, проезд круто менял уклон; в этом отрезке он вгрызался в тело холма и ущельем выходил на набережную.

Образовавшиеся при этом боковые откосы были одеты в гранитные подпорные стенки. Бока эти были, однако, не симметрично одинаковыми. По левой, восточной стороне – тротуар, миновав дом Головтеева, шел дальше по горизонтали; огибая, на углу, колокольню, он оказывался на большой высоте над мостовой проезда. Здесь тротуар был огражден красивой, массивной решеткой кованого железа. Так было с левой стороны проезда; с правой – со стороны площади, от Волхонки и до выхода на набережную, тротуар следовал уклону мостовой; таким образом, он стал подошвой для высокой подпорной стены. Сюда, от тротуара, была врезана широкая, парадная, пологая лестница, сложенная из больших блоков ступеней серого гранита; по этой лестнице легко поднимались с проезда на высоко расположенный сквер, для будущего тут скульптурного памятника царю Александру III. Этот сквер соединялся открытыми местами в гранитном ограждении непосредственно с общей площадью Храма Спасителя.

Лестница эта имела сильно выраженное свое лицо: у подошвы она была скошена уклоном тротуара, с которого подымалась. Нижние ступени, не помню сколько – оказались поэтому укороченными и притом различной переменной длины. Случайная такая особливость придала холоду отчуждения, присущему всякой парадности, – налет веселой простоты природы и даже какого-то добродушия.

Из окон нашего дома весь проезд был виден, как на ладони; ось его шла перпендикуляром, прямиком от нашего дома к набережной вдали. Все его особенности, усиленные раккурсом, нами легко читались – особливо же упомянутый перелом уклона. Нам было отчетливо видно, как мостовая проезда внезапно ныряла в ущелье, выроставшее к набережной; как справа и слева силуэтно темнеющие подпорные стены четко рисовались в воздушной освещенности набережной, проходящей за холмом. Это световое, как бы, окно было чрезвычайно выразительным, по ощущению пространства дали, входящей в прорез картины ближнего плана.

Чтобы закончить описание места, надо сказать и о характере видной нам части площади храма. Вся площадь храма была решена достаточно трафаретно – в ее центре стоял громадный куб здания собора; в углах площади были выделены четыре сквера, опоясанные зеленью кустарников и невысокими парапетами из вертикальных толстых плит гранита. Вполне вероятно, что эти четыре сквера, по углам площади, и в центре – сам собор – соответствовали религиозной идее пятиглавия нашего церковного зодчества.

Из наших окон были видны, естественно, только два сквера. Один из них, ближний к нам, примыкал непосредственно к тротуару Волхонки. Он

лежал почти что под нашими окнами, по крайней мере мы так его ощущали. Другой, дальний, был как раз той частью площади, на которую вела лестница с Всехсвятского проезда. Скверы были большими и почти правильной циркульной формы. Все свободное от них пространство площади храма было вымощено кубиками брусчатки. Оно было мертвым, бездеятельным местом; тут постоянно сновали и гонялись друг за дружкой никем не сгоняемые голуби, и изредка чинно ходили скучающие няни со своими подопечными — гулять здесь было безопасно и спокойно. Только на нашей восточной части площади, между двумя восточными скверами, это "мертвое пространство" было всегда живым — оно стало безымянным трактом, ответвлением Всехсвятского проезда; эта гужевая дорога шла, огибая ближайший нам сквер, и соединялась с Волхонкой, уже пройдя мимо Храма Спасителя. Она выходила на Волхонку как раз против Большого Знаменского Переулка.

Почти все обозы, особенно зимами, идущие по набережной с востока, заворачивали на Всехсвятский проезд и, поднявшись до его середины, между нашими скверами, обязательно сворачивали на площадь — очевидно сокращая этим свой путь, да еще при езде в гору. Легковые извозчики пользовались этой дорогой редко. Но тяжело груженые возы и розвальни, везомые слоноподобными битюгами и першеронами, были постоянным явлением по утрам и в течение дня. Караваны, появлявшиеся в амбразуре косогора у набережной и дальше извивавшиеся змеями на взгорье проезда, а затем по площади, мимо Храма, и на его фоне выходившие на Волхонку, стали неотделимой частью общей картины — ее колорита и жанра площади, видной из наших окон. Эта картина, при разном освещении дня, в особенности зимой, привлекала часто глаз художника. У отца сохранялось множество пейзажных набросков в цвете: пастелью и акварелью, быстрых, чтобы запечатлеть цветовой эффект; и эти наброски, бывавшие и на выставках, попадавшие в печать и висящие еще и посейчас на стенах, восстанавливают исчезнувшее навеки. В течение всей нашей жизни в квартире по Волхонке эта повторная картина была живым пульсом живой еще площади.

Как для любых гобеленов и для любой ткани основа остается неизменной при всяких добавках или исчезновениях деталей тканья, так при происходящих переменах жизни — в городе или на нашей площади - панорама оставалась неизменной их основой.

2. Мизансцены и актеры

После въезда в новую нашу квартиру, в следующее же солнечное, веселое, свежее утро ранней осени, мы первым делом кинулись глядеть в окна — с чем предстоит в дальнейшем нам жить? И сразу нас поразила непривычная ширь и вместимость панорамы, обращенной к нам. В этой панораме мы зрительно были задержаны видом чего-то непонятного, почти выпадающего из общего, какой-то занозы: это было диковинное, по общему характеру и силуэту, сооружение, какой-то большущий по размерам, но маленький в общей

панораме местности куб, нерасчлененный ничем, как громадный дощатый ящик, вознесенный на большую высоту строительных лесов. Сооружение это стояло на дальнем сквере. Вскоре мы узнали, что дощатый куб был просто-напросто строительным тепляком; внутри шли работы по монтажу и сварке отдельных готовых отливок бронзового памятника царю Александру III. Работы велись и днем и ночью, их спешили закончить к открытию и освящению памятника.

В течение двух зим тепляк не покидал сквера; не раз появлялся он, за это время, в зарисовках отца в альбомчиках и отдельных законченных работах. При различных эффектах освещения – утреннего или вечернего, зимнего или летнего, солнечного или пасмурного, в снег, в дождь или в туман, когда все уплощается, упрощается, обобщается, когда значенье и сила деталей почти исчезает, – тепляк магически притягивал к себе ненасытный глаз художника. Все виденное тут же, сейчас же, быстро его рукой заносилось на небольшие листки шероховатой цветной бумаги, цветными же палочками пастели.

Плотность тепляка и ажурность лесов запомнились мне более четко и ясно в снежно-метельную или серую, туманную погоду, когда это сооружение вдруг оказывалось выделенным из обобщенного рисунка Замоскворечья.

Но – всему всегда бывает конец! Так, после многих дней и месяцев двухлетья, этот тепляк перестал существовать плотным кубом, но не исчез, а превратился в какую-то нечеткость пирамидального характера с неровными, волнующимися даже, плоскостями и гранями. Как и когда произошла такая перемена вида, я не припоминаю: может быть ночью? – но – куба утром уже не было! Интереснее же, а вернее – неприятнее всего было то, что неясная пирамида, обычно кончающаяся естественным острием, здесь заканчивалась бесформенным каким-то шишом – вялых очертаний.

Так, в какую-то ночь – днем мы это заметили бы – монумент, почти уже законченный, выйдя из своего заточения в дощатой коробке, незаметно для всех – был облачен в парусину. В ней он пребывал еще долго; в снег и в дождь – мокрая парусина темнела, высыхая – светлела, покрывалась пылью и грязью и, все более лишаясь первоначальной крахмальности, выявляла обобщенные формы скрываемого ею монумента.

Постепенно мы привыкли и к тому, что вначале нас и смешило и возмущало сходством с теми громадными пятипудовыми мешками с картошкой или овсом или зерном, какие обычно увязывались собранной в пучок кромкой мешка, перевязанной крепко-накрепко бечевкой. Таким же пучком, как воронкой, была связана на голове монарха темная парусина: на шее, под подбородком, она была еще раз перехвачена и для прочности затянута – так и образовался упомянутый шиш, завершивший собою верх пирамиды.

Весна этого года выдалась необычайно жаркой, не только по показаниям Реомюра, но и по накалу спешки, тревог и волнений, связанных с подготовкой к празднованию открытия и освящения монумента.

В какой-то жаркий день, теперь уж не стесняясь, в открытую (это подтверждается зарисовкой отца) старый, почерневший и потрепанный, многое

испытавший брезент был развязан и сброшен на землю, а оголенный царь должен был – взамен брезенту – прикрыть себя белой ризой самого обычного, простого, но чистого, как новый парус – прочного холста. Оговорюсь: я не помню, *когда* и как именно произошло событие; я помню сам эффект его, как мы его наблюдали.

Факт же был, конечно, неимоверным, никем не предвиденным, с точки зрения церемониала, конфузом; на деле ж – трагичным несчастьем, стоившим жизни одному, а может быть даже и не одному, как мы увидели, матросу. Когда памятник был уже почти накрыт новой попоной, и матрос, стоя на приставной лестнице, на большой высоте должен был по всем правилам парусного флота закрепить парусину канатом, внезапно пробежала волна свежего ветра, вихрем сдунувшая еще не закрепленный парус. Вздувшись пузырем и хлопая концом по воздуху, парус скинул и матроса с плеч царя и лестницу. Все отскочили в стороны, кто куда успел; лестница, описывая в воздухе широкую кривую падения, рассыпалась на куски еще до приземления. Стоявшая рядом, "на всякий случай", карета скорой медицинской помощи приняла носилки с пострадавшими. Потом говорили, что один матрос был убит насмерть еще в воздухе, самой лестницей.

Нашему царю явно не везло с памятниками отцу своему Александру III – в СПБ, у кн. Трубецкого, бронза стала вытекать из формы, чуть не загубив монумент и самого автора, спасшего себя от огня мокрым тряпьем; здесь, в Москве, описанный случай, стоивший жизни участникам – также был не из приятных воспоминаний!

Но все же, как было предписано, в назначенный час, в убийственную полдневную жару – говорили потом, будто бы несколько случаев солнечных ударов было зарегистрировано – памятник был торжественно открыт и освящен, и весь церемониал, по всем статьям, был до конца проведен – в лето 1913 года. Мимо нашего дома, по Волхонке, с утра уже проходили разных родов оружия войска, одетые в не подходящую к жаре дня парадную форму, одна другой краше и интересней. Конница, на лошадях разных мастей, по полка́м, была несказанно нарядна! Когда где-то случался естественный затор и все на какое-то время застывало на месте, тогда можно было фотографировать, что я и делал, через два стекла окон, закрытых по распоряжению полиции. Красивее всех были, конечно, кавалергарды! Кто-то, увидя их, закричал: "Глядите! Какие "Лоэнгрины" идут!". Их я снял в движении, потому вышли они не очень четко, но все же – запечатлены! Они шли в пешем строю; их тяжелое оформление – медные латы, лосины, тяжкие ботфорты и медные каски с литыми орлами, все горящее на солнце, ослепляющее стрелами "зайчиков", их палаши, которые приходилось держать в руках, тоже отражающие солнце и, вероятно, здорово раскаленные, – все это, рассчитанное на сидение верхом на лошадях, а тут грузно топающее по булыжнику – вызывало у нас, наравне с чувством восторга ("Лоэнгрины идут"), также и жалость к ним, обливавшимся ведрами пота!

Самое же торжество открытия – происходило вдалеке от нас. Трибуны

с высокими гостями оказались на самом солнцепеке, под прямыми и яростными лучами разящего Феба. Что происходило на сквере – было от нас скрыто густой шпалерой придворной знати, допущенной до присутствия на торжестве. Но – не видное нам появление царя и его августейшей семьи мы ощутили по внезапно вставшим "во фронт", в положение "смирно", солдатам оцепления вокруг сквера и Волхонки и по вдруг взметнувшимся к фуражкам, или треуголкам, рукам находившихся то тут, то там, но не в строю, офицеров разных рангов и форм одежды. Отдание чести, в такие моменты, было важным признаком происходящего на церемониале, чего мы, однако, не видели.

Гораздо интереснее было нам глядеть, опять же стоя за плотно закрытыми окнами, в квартире наших соседей, на торжество открытия Музея Изящных Искусств. Тут все было видно, как на ладони: и въездные ворота с Волхонки, и весь открытый сад – "курдонер" и широкая лестница на галлерею входа в музей, и противолежащий нам дом Верстовского, по ту сторону музея. Я смог сделать несколько неплохих фотографий с моментов, когда в сад въезжал царский кортеж, когда царь с царицей всходили по лестнице, когда, в отсутствие уже царя, оставшиеся в саду придворные – разодетые в парадные мундиры, камергеры, генералитет – стали вести себя с большей свободой, "без надзора".

У Марины Цветаевой есть замечательное, хотя и немного гротескное описание того, что происходило в этот момент внутри, в залах Музея, где она присутствовала при объяснениях ее отца царю и его семье о значении и назначении всех собранных им слепков. Она передала свое ощущение происходящего на ее глазах как столкновение молодой жизнерадостности греческих скульптур с одряхлевшей старостью придворной знати; как полный контраст, где статуи казались более живыми, чем люди, их обступившие. Казались – или, действительно – были?

А в дополнение ее записям о происходящем в залах Музея, вот что наблюдали мы в это же время в саду Музея, на солнцепеке, в пекле полудня: поначалу все сохраняли свое достоинство и эманацию величия, великолепия и богоподобия; но вскоре солнцепек заставил понемногу эту расшитую золотом толпу искать убежища в тени, где уже раньше пристроились группами дворники, кучера и чернели черкески личной охраны царя. Постепенно расшитая красным и золотом мундирная торжественность придворных (тут невольно вспоминались замечательные эскизы Репина к портретам членов Государственного Совета – и "недосягаемость" этой элиты) стала смешиваться с простым людом и находить большое облегченье и утешение, в своей скуке, в болтовне с кучерами и дворниками в тенях сада. Такие немыслимые кучки смешавшихся черной и белой кости я запечатлел на кодакских пленках, как документы потрясающей фантастики!

Но – возвратимся к уже открытому и освященному памятнику. Когда церемониал был закончен, была снята охрана, и линейные были разведены, черная толпа простого люда ринулась к скверу – поглазеть на новый москов-

ский памятник – каков-то он будет?

Петербургский собрат – был создан Трубецким как истинно художественное произведение. И, как таковое, он имел свою мысль, идею, кроме прямого назначения – изображения царя. Памятник был символом неколебимости и твердой устойчивости самодержавия. (Фальконет вздыбил коня – это была другая мысль. Пушкин дал самую тонкую ее характеристику.) Здесь – тяжкий битюг, подстать тяжело сидящему царю-батюшке, стоял крепко на всех четырех ногах; уверенность в устойчивости видна была во всем. Но, подспудно, во всей композиции ощущалась и полускрытая сатира, издевка над косностью и тяжестью самодержавия. Мысль художника, хотя им и скрытая, все же народом ощутилась полностью, создав известное четверостишие. В Москве же – никакой особой идеи или художественной *мысли* – не было: до мелочей натуралистически изображенный царь плотно и бездвижно сидел на своем троне, как подобает царю, который ни о чем не думает, кроме как о выражении не ограничиваемой ничем власти. Так сидели все фараоны; но в них была стилизация. Здесь же – фотография, обретшая три измерения. Царь сидел в кресле выпрямившись, положив руки, занятые скипетром и державой, на колени; царь был одет в полупарадную офицерскую форму своего полка. Так был изображен царь и на серовском портрете, где, однако, мы видим живого человека. В московском памятнике был – манекен! Даже корона и мантия – не смогли разбудить мысль художника-скульптора. Скульптор остался – без мысли художника. Манекен сидел, уставившись на Кремль, маячивший вдалеке: таково было задание свыше! Но художник все же себя показал там, где не было цензора. Четыре великолепных орла, по углам плиты гранитного цоколя, спасали положение: на их мощную красоту и хищность разбойника, на их символичность смотрели и ими восхищались, подчас и вслух, не поднимая глаз на вознесенного властелина. Где кончалась цензура, дышало свободно искусство художника. Весь памятник служил, как ранее деревянный куб или брезентовая пирамида – центром вращения гуляющей по скверу публики или вокруг него бегающих детишек.

Здесь уместно вспомнить Горация, признавшего медь (любого) памятника не столь уж вечным материалом: царский монумент, воздвигавшийся, хотя и при явной спешке, все же очень долго, был открыт в лето 1913-ое; забегая вперед, или наоборот, сейчас отбегая вспять, в прошлое, вспомним, что скинули монумент чрезвычайно быстро, а просуществовал он на месте – всего-навсего, смешно сказать, всего только – четыре года! Многие, может быть, помнят еще газетную фотографию царской головы с венчающей короной, на мостовой какого-то дворика в Кремле. Вот так вечность!

Такова была история первого изменения мизансцены. Вот ее даты: в 1911 году мы застали еще дощатый куб в лесах; в 1913 мы были зрителями торжества освящения памятника; четыре всего лишь года сидел бронзовый царь на бронзовом троне перед нашими окнами, как новый член панорамы; в 1917 году он навеки – теперь уж действительно навеки – исчез, и все его забыли начисто – каков он был, где стоял, и что собою выражал.

* * *

Уже с 1912 года стали распространяться вначале туманные и еще редкие слухи о возможной, в Европе, войне. Вскоре, но уже после торжеств, подтвердивших прочную незыблемость устоев самодержавного строя, эти невинные слушки и сплетни стали обретать более твердую почву, переходя чуть ли не в признанные прогнозы, в предчувствия, а подчас — в выражение уверенности, в утверждения, "из верных источников" идущие, о близящейся войне, даже катастрофе. Правда, пока что — в воздухе пахло не пороховой еще гарью, но словесная муть отравляла воздух города предостаточно.

Мы перекочевали на летнее пребывание в деревню поздней весной 14-го года, почти уже летом, после экзаменов у сестер. Мы проводили каникулы в оставленной за нами, еще с прошлого лета, части "барского дома" в имении Молоди, по Курской дороге. Имение нам понравилось еще в прошлом году своей тишиной, заброшенностью и полным покоем, как будто не шестьдесят верст отделяло его от Москвы, а шестьсот раз шестьдесят. Барский же дом, о котором говорили, что он служил еще Екатерине II путевым дворцом во время ее поездок на юг, в Крым, — вполне мог заслужить такую славу большим размахом изначальной планировки дома и усадьбы. Значительная высота второго, парадного по смыслу, этажа, большое число комнат — почти залов, и их выдержанные пропорции — все значительно превышало простую необходимость даже и барских затей. Также и решение парка и его основных аллей, сейчас очень запущенных и заросших, подтверждало его высокое назначение. Вообще о Молодях следовало бы поподробнее рассказать, не в данном месте, а особым очерком. Здесь речь пойдет о другом: имение играет только случайную и привходящую, не основную роль.

Первые дни — чуть ли не месяц — нашей каникулярной жизни в имении прошли в должном блаженстве отдыха и покоя. Но дальше — слухи и городские сплетни стали просачиваться и сюда; вскоре — волнами — и почтой и газетами, при посещении станционного здания или хлебопекарни рядом — слухи стали нас заливать, мутя собою чистоту паркового воздуха и медового аромата столетних лип главной аллеи.

Однажды все прорвалось, будто встало на дыбы, и в кучу смело в один миг всю блаженную тишину векового сна парка.

В деревне, видной из наших окон, с утра некоего дня началось светопреставление, хотя солнце встало, как ему отродясь положено, со своего места, проложив повсюду нужные и определенные лучи света и тени; облака шли по чистой синеве неба, как бывает каждодневно; деревья не упали разом в обмороке — а все же день начался странной и непонятной в деревенской безмятежности суматохой — взад и вперед по тракту мчались пустые телеги, бабы в них возбужденно орали и без нужды наотмашь стегали лошадей, пыль стояла столбом; шума и беготни было много — но никакого толку не было видно; так началась конная мобилизация, слово зловещее и страшное не только для крестьянства, которое оно под корень рубило. Война? А кто

её знает! Как бы и не объявлялась! Но – мобилизация шла полным ходом – и явно же не зря!

Так начался для нашей деревни, и любой другой на земле русской, первый день войны – фактически еще – будущей. Август 14-го запомнился навсегда именно этой непонятной и страшной в своей непонятности суетой; к вечеру стало еще шумней, но – понятней: мужики – кто пьяный в стельку, кто еще тверезый – кучками толпились по тракту; явно преждевременно – шеренгой шла молодежь, под гармошку, с завыванием пьяных голосов, изображающая рекрутов – конечно, по картинкам: опыта в этой области никто еще не имел.

Так – все же! – началась война 14-го года. Японская – была где-то "там", далеко! Эта же – "немецкая" – шла тут, почти рядом. Эту – мы чувствовали, как боль, от которой и спасения-то нет! Под боком, ведь!

Когда мы возвратились в город, в ощущении войны ничто не изменилось. И для горожан начались будни войны, прерывавшиеся искусственным возбуждением от крестных ходов, молебнов и портретов царя, несомых среди трехцветных ярких и веселых – на солнце – флагов.

Бронзовый царь торжественно и прочно сидел на своем кресле, прямо глядя на Кремль. Голуби, как обычно, вились вокруг его головы и, нисколько не смущаясь, обеляли корону и плечи его императорского величества. Няньки и гувернантки чинно и благосклонно катали детишек вокруг памятника и его прекрасных орлов. Они, казалось, готовы были в любую минуту взмахнуть распростертыми крыльями и взлететь с постылого пьедестала.

Но до этого было еще достаточно далеко. Пока что они злобно раскрывали клювы, грозя языками, неизвестно кому.

Шли дни, шли месяцы и годы; война то ослабевала, то усиливалась, на разных фронтах и по-разному; овальные портреты офицеров, геройски павших, как сообщалось, "смертью храбрых на поле брани" – регулярно печатались в воскресных приложениях к "Русскому Слову". Вместе с тем и почти в равной степени росла другая параллельная сила, с которой у тех медных орлов была, видно, одна общая мечта – улететь на свободу! Равновесие между трехцветным и одноцветным материалом нарушалось, но еще не взрывалось в наглядности. Мера видимого добродушия еще как-то крыла возмущение страсти. Но уже всем приедалось сладкое верещанье, когда требовался всенародный плач гнева. Что ж! Воздух становился плотным и должным вот-вот опрокинуть себя и все за собой – в ненужной более стабильности столетий. "Хлеба и зрелищ!" – формула черни когда-то – теперь упростилась до более понятного и еще более грозного клика – "хлеба, хлеба!". А вместо хлеба приходилось стоять в очередях и не гнушаться чем-то, на хлеб совсем не похожим. Генерал Хабалов, конечно, такого хлеба не едал и даже не пробовал. На различии в сортах хлеба и выразился последний день Российских Помпей.

На нашей площади, от ее аван- и- до арьер-сцены включительно, не раз еще разыгрывались всем уже надоевшие высокопатриотические мистерии,

в сочетании золотых риз, блиставших на солнце, не всегда стройно звучавшего гимно-пения, трехцветного трепыханья флагов и медленно плывущих, плавно качаясь среди икон и хоругвий, портретов всемилостивейшего, скучно глядящего вперед незрячими глазами, батюшки-царя.

Так все шло к своему концу, которого одни боялись, другие ждали с нетерпеньем. Газеты все чаще выходили с большими полосами черной "икры", то есть цензурной краски, ничем не вытравляемой; в Думе выступления всех сторон шли с повышенным уже накалом. Ясно становилось, что никакими усилиями не повернуть вспять ход истории. Даже испытанные средства более не оправдывали себя. А в средствах – односторонних, конечно – стеснения не было, и все шло в ход – но – увы! теперь машина все хуже скрипела и заедала. Градусник приближался с невероятной и все нарастающей скоростью к своему суперкритическому пределу.

На самом деле – кто мог предвидеть, что бронзовые орлы, по углам монумента, вдруг все же взмахнут распростертыми, в последний раз, крыльями и с громким клекотом взмоют в воздух, оставив пустыми свои насесты, насиживаемые вот уж четвертый год!

* * *

Когда в состоянии войны начавшееся и имевшее грандиозный успех братание солдат – дотоле еще неведомая формула в ведении войны – стало явлением массовым, почти что нормальным – нормальным стало также считать, что войне – конец, крышка, каюк! что все усилия еще напрячь свои силы, еще немного – разом наддать – что все это уже ни к чему, что слова уже перестали действовать, что все – пустая уже брехня! Да так оно собственно и было!

Да, тут уж Антей, упадая на землю, не вскакивал с обновленными силами – он, кряхтя, еле поднимался, если был еще в состоянии встать. Чаще же и не вставал, а лежал до прихода (если приходили) санитаров, подбиравших еще живых. Вот так и тянулось все, да еще называлось такое – войной до победного конца!

Как, когда, при каких обстоятельствах она все же кончилась – никто не видал и никто не скажет: здесь – она, еще тлея, шла – кто-то стрелял, кто-то отстреливался; там – она уже кончилась, к вящей радости обоих фронтов – кидали ружья и вылезали просто и свободно с обеих сторон из постылых окопов.

И, как ни угрожали нам взбешенные союзники, как ни старались перед ними разношерстные представители разных комитетов и союзов – земских, всероссийских, думских, городских – всяких добровольных и недобровольных организаций, вроде тогда излюбленных и подкупающих чем-то батальонов "особых" или "отрядов смерти" – мужских и женских – возникавших и исчезавших с неимоверной быстротой – ничто уже не могло остановить, тем более изменить и направить ход событий: им никто не управлял; он сам,

этот ход событий, управлял теперь теми, кто воображал себя управителем. Так и Керенский, "земгусаром", вероятно искренне ощущал себя почти Сен-Жюстом, объезжая фронты с "зажигательными речами", которые, однако, отсыревая в мокрых окопах, уже никого не зажигали.

Это время я, зритель, мог бы назвать "временем митингов". Они возникали на многих площадях Москвы – часто внезапно, стихийно, но – бывало – и организованно. Также на нашей сцене, то есть под нашими окнами, в ближайшем сквере, такие митинги, с преобладанием в них серых шинелей, как новый вид еще небывалых ранее мизансцен – бурных, страстных, а подчас даже и страшных – своим еще непредвиденным концом – буйно и разом возникали, разгорались бешенным пламенем, но столь же разом и неожиданно, без чьего-либо вмешательства, сами собой иссякали и таяли. Одну из таких мизансцен я и опишу.

Две толпы, не подозревая друг о друге, организованно направлявшиеся, по-видимому, параллельно из центра на запад, одновременно и неожиданно вышли, одна следуя по Волхонке, другая – по набережной, к Всехсвятскому проезду. По Волхонке шли в строю войска в обычных их верблюжьих шинелях, при портупеях и ружьях; они шли хотя и ровными, строевыми шеренгами, но вольно, не в ногу, с ружьями "на плечо". Другая – черная или, вернее, пестрая, простого народа, какой-то демонстрации. Черная толпа с набережной повернула на косогор проезда и змеей стала подниматься лицом к нам, к Волхонке; а серо-верблюжья, по чьей-то команде, стала выворачивать, сохраняя равнение веером, шеренги рядов с винтовками уже наперевес.

Обе толпы, увидев – неожиданно для себя – друг друга, прямо идущих одна на другую – во фронт! – оторопев – остановились, но идущие сзади, ничего еще не зная, продолжали свое движенье, напирая на остановившихся и сминая и расстраивая еще сохранившиеся ряды, превращали себя теперь уж действительно в две простые толпы – солдат и рабочих, этих вечных антагонистов системы! Мы видим все, как на ладони; но слышать мы ничего не можем, наши окна еще по-зимнему наглухо замазаны. Минута такой выжидающей остановки движения была поистине драматичной. Так замирает в состоянии напряженной пружины кошка, когда перед самым прыжком накапливает силу рывка – боковой дрожью; из стороны в сторону качаясь – она вдруг, как стрела с тетивы – делает свой великолепный и точный бросок.

Напряженное противостояние толпы двух цветов длилось – секунды. Нам же казалось: они – сама вечность. Не дыша, боясь двинуться, точно этим мы вызвали бы взрыв страстей – мы глядели, в волнении – чем же кончится этот миг? Будут ли стрелять в безоружных? Деваться – ни тем, ни другим – было некуда, поворачивать назад – значило бы повторить Ходынку. Мысли мешались, время – остановилось.

Внезапно, как все в подобных случаях действует внезапно, обе толпы бросились друг к другу: *явно – не друг на друга*! Мы видели все, но ничего не слышали, точно так, как бывало в немом кино, когда тапер замолкал, переводя дух.

Уже не солдаты – с одной стороны, и рабочие – с противолежащей, а просто разно одетые люди – столкнувшись – бросились обнимать друг друга; обе, теперь одинаково настроенные, толпы, смешавшись воедино, что-то, по-видимому, кричали, жестикулируя, трясли друг другу руки, хлопали по плечам... откуда-то на всех появились громадные красные банты... Всехсвятский проезд являл сейчас невиданное доселе зрелище – солдат в полном вооружении, с винтовкой в руке, с красным бантом, в полном единодушии с рабочими и интеллигенцией, которых должны были бы по букве закона – "тащить и не пущать!". Проезд был заполнен людьми, никуда не спешащими, не уходящими, а как со знакомыми встретясь, мирно и тихо болтающими, жестикулирующими, курящими. Нам представлялось, что это длилось довольно долго... Постепенно, группами смешанного состава народ покидал место встречи; толпа редела, становилась отдельными кучками, разбредавшимися – какая куда.

Все еще нервозно переживая увиденное, мы, отходя от окон, долго еще делились общими впечатлениями. Нам была наглядно показана, с полным драматизмом действительности, сама суть "братанья" – внезапного чувства, бросающего друг другу в объятия людей, даже вчерашних врагов. Это было так ново для нас, так ярко и грандиозно, что до мелочи запомнилось, до графического рисунка улицы и народа. Через некоторое время проезд опустел; снег обнажился, и мостовая оказалась чистой и не обагренной кровью, не усеянной распростертыми, в неестественных позах и положениях, телами.

Несколько позже, здесь же, на том же проезде, сцена снова оказалась занятой новой постановкой жизни. Вначале – так же, как тогда, весной, а теперь глубокой осенью, глядели мы в окна зрителями; но очень скоро оказались превращенными из зрителей почти в объекты стрельбы. Мы отступили в глубь комнат, но и отсюда пришлось уйти... Это случилось позже, об этом – дальше...

3. Новые изменения ведут к концу

Уже с весны стало похоже, что из прежнего торгового и мирного города Москва превращается постепенно в бурный город митингов.

Основными вопросами таких самовозникающих, случайных, но – всегда огнедышащих, взрывных митингов, лозунгов (Устинов, наш сосед по лестнице, выговаривал незнакомое слово – "лозгуны"), кроме самого главного – войны и мира – были состязания представителей программ двух серьезно соперничающих партий: "эсдеков" и "эсеров", т. е. партий социал-демократов и социалистов-революционеров. Третья партия – "кадетов", то есть конституционных демократов – не участвовала на таких случайных уличных митингах, потому что считала достаточно сильной своей трибуной свою газету, "Русские Ведомости", очень почтенную, респектабельную и положительную выразительницу своих политических взглядов, программы и деятельности. Эта партия мнила себя наследницей павшего строя. Состязания же программ пар-

тий эсеров и эсдеков проходили крайне бурно, не всегда вразумительно, не всегда искренне. По характеру ораторов и слушателей, привлекаемых самой темой, можно было предвидеть, какая из этих двух политических линий обретет верх и чем закончится очередной спор.

Преимущество эсдеков перед эсерами становилось ото дня ко дню, от митинга к митингу все яснее и народу понятнее, потому что почти все ораторы этой программы говорили и даже требовали от будущих правителей моментального прекращения военных действий, возвращения солдат со всех фронтов домой, к мирной жизни, созидательному труду, к давно уже желанной, нормальной, семейной жизни: а что еще могло бы – для всех солдат вселенной, да и не только солдат – быть более желанным, дорогим сердцу и привлекающим к себе лозунгом, как не вот такие речи, обещания и перспективы завтрашнего – раз уже сегодняшний пропал за зря – дня? Конечно, для солдата, все еще рискующего ежеминутно попасть в список "павших смертию храбрых" – такие зажигательные речи были единственно заманивающими. А в это время эсеры, не говоря уже о кадетах, все твердили о чести, о долге, о народной роли, о революционной войне – в защиту земли и воли – о порыве, о пафосе, о романтике, которыми, однако, хлеба не заработаешь – а что до эмпирей, то народу нужен был скорее – керосин, соль и, конечно, хлеб!

Равновесие, уже почти не существующее, все более расшатывалось. Это касалось всего, всей жизни, в тылах и еще более на фронтах. Так прошли весна, лето и начало осени. Желать продолжать войну – могли только безнадежные маньяки. Ясно было, что надо тут же, не теряя ни минуты, что-то предпринимать, что каждая секунда была дорога и на счету; было как у пороховой бочки, к которой по шнуру бежал уже синеватый огонек. Вопрос – что день грядущий нам готовит – висел в воздухе, а что он должен что-то изготовить – было ясно и ребенку. Так сентябрь, заканчивая свои дни, казалось, не без ехидства передавал все неразрешенные сомнения и вопросы наступающему октябрю, холодному и туманному.

* * *

Последние два каникулярных лета, 1915 и 1916, мы проводили снова в имении, не раз мною упоминаемом, на станции Столбовая, Курской дороги. Мы приезжали теперь туда, как в свою собственную вотчину, да и нас в деревне уже признавали, как "своих". За эти летние месяцы мы сблизились также с семьей, из года в год там снимавших, как и мы, часть дома. Это были две сестры, с двумя мальчиками, примерно семи-восьми лет, очень милыми и хорошо воспитанными. Мужья этих сестер были артиллеристы разных рангов. Они с первых дней войны были призваны, находились на разных фронтах, изредка давали о себе знать. Сестры эти жили очень дружно, одной семьей с детьми – это было проще и удобнее в те трудные дни войны. Я посещал их и в Москве, они жили недалеко от нас, на Знаменке, в Крестовоздвиженском переулке. Окна их квартиры на четвертом этаже выходили на Знамен-

ку. Перед домом находился дворик-сад, открытый на Знаменку и в переулок. Он и раньше привлекал мое внимание, когда приходилось проходить мимо него, тем, что из-за разности уровней он на Знаменку выходил несколькими ступенями выше тротуара. Большими плитами белого камня были облицованы крутые откосы сада, красивая, невысокая решетка кованного железа венчала откосы. Сам дом, хорошей ампирной архитектуры, стоял в глубине, фасад его выходил лицом на Знаменку. Нижние три этажа были заняты не то курсами, не то какой-то школой. Из окон квартиры виднелся верх Храма Спасителя, церковка Ржевской Божией Матери, впоследствии снесенная; по вечерам, в ясную погоду, освещенные закатом, синели на горизонте Воробьевы горы.

В последнее время атмосфера московской квартиры сестер и их настроения сгущались. Тут сказывались и общее неясное положение в связи с делами фронта, и их мрачные предчувствия из-за очень уж долгого молчания мужей; про одного из них ходили какие-то непроверенные слухи – не то погиб, не то попал в плен – или "пропал без вести" – так гласила обычно, при справках, приводимая формула ответа. С другой стороны ухудшались и их настроения, поскольку они не желали скрывать свои убежденья. А так как положение дел в Москве, как и во всей стране, быстро шло к смерчевым ураганам, то совершенно понятно было, какие напряженные вечера переживали сестры в своем тягостном одиночестве.

Любые разговоры на любые высокие темы – об искусстве, о балете, театре, о выставках или концертах, о литературе, культуре и истории – как бывало обычно в те дни, через малое время сворачивались на надоевшие уже и явно никчемные слухи и политические споры по злободневным, всех тревожащим вопросам. Это было почти закономерностью, хотя все и старались избегать такого конца вечера. Так бывало и у сестер, когда к ужину уже садились разгоряченными подобными спорами.

Мне запомнилась одна такая встреча более всего – вероятно потому, что была она последней. Я оказался их единственным гостем. Мы сидели втроем, чаще молча или перекидывались одним-двумя словами. Так сидят на вокзале перед отходом поезда. Кажется, так много еще надо сказать – а вместо того чаще возникает длительное, нудное и утомительное молчание, полное тревоги и жалости разлуки. Так было и тут; становилось все тяжелее и чувствовалось, что впору плакать горчайшими слезами. Мои чувства были напряжены. Сестры это понимали, они и сами были в беспокойстве и растерянности, при полном нашем разногласии. Наконец, меня попросту выставили за дверь – по вечерам становилось небезопасным ходить по пустым и неосвещенным улицам. Мы расстались на ночь, утром должны были вновь встретиться. На лестницу я вышел с тяжелым чувством непонимания всей ситуации. Я не помню, как я спускался с этажа на этаж, как вышел из дома в их внутренний узкий двор, как миновал ворота и очутился в переулке – и направился домой. Была кромешная тьма. Ночь была сырой, туманной. Полнейшая тишина вокруг особо подчеркивала громкость – или так казалось? – моих

каблуков. Изредка им вторили вдалеке какие-то разрозненные стуки, напоминавшие звук заколачивания гвоздя в доску. Эти звуки вызвали в памяти подобные же, когда одной зимней морозной ночью 1905 года я, проснувшись от таких вот ударов – разбудил моего брата. Мы долго вслушивались тогда в эту ночную работу каких-то плотников, ничего не понимая и не подозревая еще, чем они занимались.

Но тогда – в ту ночь пятого года – гвозди вколачивали большие партии умелых плотников; они работали ритмично и ловко. Сейчас же это были удары не очень, видно, умелых кустарей-одиночек; как в деревнях перекликаются петухи, с большими промежутками, точно размышляя, не пора ли кукурекать? – так и эти, как бы выжидали: "бить – или еще не бить?".

* * *

Мой брат с некоторых пор жил не с нами, не в Волхонской квартире; он снимал комнату у наших знакомых, в Гагаринском переулке. В нашей комнате, как и прежде, стояли две кровати, все указывало на жизнь вдвоем. Но одиночество – в тот ночной момент – было даже наруку мне. Ни с кем не надо разговаривать!

Замоскворечье же решило в эту ночь совсем не ложиться спать, а успеть заново себя обстроить! – и стройка эта, и вколачивание гвоздей – продолжались всю ночь напролет до самого утра.

Под этот неустанный – и, видимо, все нарастающий упорный ночной труд я несомненно засыпал и просыпался, проваливаясь в небытие. Когда рассветало настолько, что можно было уже что-либо различать на улице, я встал и машинально подошел к окну, ничего, собственно, не собираясь там увидеть. И – все же! – я увидел что-то очень странное: улица – то есть наша "сцена", оказалась не безлюдной. Но люди вели себя очень странно, точно они изображали игру в прятки: кто лучше спрячется от ищущих их. Тут все пошло в ход – все парапеты скверов, кусты полуосыпавшихся сирени и барбариса, выступы домов вдоль Всехсвятского – или Храма Спасителя – любые заслоны обыгрывались плохо еще различимыми в тумане предрассветного утра актерами этой постановки.

Вся игра шла в быстрейшем темпе. Подождав немного в засаде и высмотрев новое удобное место для укрытия – люди, скрючившись, быстро и неловко перебегали к нему, чтобы через минуту снова повторить соответственную перебежку.

Однако – не в детские прятки играли эти взрослые актеры, равно как и не плотники все дружнее и дружнее заколачивали несуществующие гвозди в несуществующие доски! Эти темные – в раннем еще утре – силуэты были поразному одеты: одни были в длинных, черных шинелях и высоких папахах, уже по-зимнему. Это те, кто выбегали к авансцене с набережной. Те же, кто появлялись откуда-то с задов нашего дома и пытались незамеченными добежать до спуска вниз – были в черных же коротких зипунах и в плоских ба-

рашковых шапках. Среди них появлялись вдруг и светло-серые шинели, с портупеями крест-накрест, в фуражках. Все держали винтовки наизготовку. Все выглядело игрой, но сразу же становилось понятным, сколь страшна и смертельно-серьезна была эта игра. Драгуны и казаки – их было не так уж много – выбегали из-за собора к нашему скверу, прячась за парапет его; из переулка на Волхонку выскакивали, по одному в перебежку – серые юнкера. Целью их всех – было Замоскворечье.

Перебежка рассыпной цепью шла по всей сцене нашего обозрения. Вероятно, и по Ленивке и по Лесному шли такие же перебежки – мы этого видеть не могли. Замоскворечье, казалось, молчало, но вскоре я стал слышать шлепки их пуль о штукатурку нашего дома и дребезг разбиваемых стекол.

Вот один черный казак, на моих глазах, чрезмерно расхрабрившись, решил, очевидно, одним махом доскочить от нашего сквера до дома Головтеева. Он перепрыгнул через парапет на тротуар, сделал несколько прыжков, и залег в лежку. Лежал он что-то слишком долго. Затем он медленно и неловко стал ползти обратно, подтягивая ногу, к спасительному для него парапету; доползши, он прислонился к камню, как очень уставший человек, утративший всякий интерес к дальнейшему. Затем пополз снова, к Волхонке, и наконец загнул за сквер. По тротуару за ним оставался ясно видный след крови. На Волхонке к нему подбежал, под прикрытием парапета, другой казак, который и вынес раненого куда-то. Еще несколько таких случаев ранения я видел; убитых не было, но потом и о них говорили. Быть военным наблюдателем и зрителем мне вскоре пришлось прекратить – пули стали попадать в наши окна – в гостиной и отцовой мастерской мы нашли впоследствии с десяток либо совсем расплющенных, либо целых пулек, прошедших через стекла или дерево оконных рам. В некоторых комнатах потом была обнаружена отбитая штукатурка потолка – видно солдаты, стрелявшие в Замоскворечье, не очень доверяли нам, подозревая скрытую сигнализацию; иначе трудно объяснить траекторию пуль, попавших в наш потолок.

Вот так – этим рассветающим утром – началось московское вооруженное восстание против Временного Правительства, против офицерства и юнкеров, защищавших его. Как на грех, накануне сестры мои отправились к двоюродному брату Феде, жившему тогда на Пречистенке (ныне – Кропоткинской). Теперь, утром, по телефону, который еще кое-как, с перерывами, работал, он сообщил нам, что девочки пока что остаются у него, так как Пречистенка, мол, насквозь простреливается – и просил нас также не выходить на улицу – везде, оказывается, уже стреляли.

Через некоторое время телефон замолчал и более не работал. Мы в течение всей недели были, как при осаде, ввергнуты в полное одиночество.

После первого дня сражения на нашей сцене, когда пули все чаще попадали в окна, мы перекочевали сначала в задние комнаты, окнами выходящие во двор. Но, когда в дело вмешалась белая артиллерия, бившая шрапнелью с Арбата, мы и с этой стороны оказались уязвимыми: один снаряд, так и не разорвавшийся, впился в кирпичную стену "Княжьего Двора". Он там так и

торчал, пока еще существовала эта стена. Другой снаряд, также не разорвавшийся, был извлечен из стены уже значительно позже, кажется, в 1936 году; при этом почему-то пострадала судомойка ресторана-гостиницы, которой не то оторвало, не то сильно разворотило руку. Тут-то нам и пришлось перебраться на первый этаж в квартиру Устинова, до того времени нам не знакомого человека. Там, в совершенно бивачном образе жизни мы и оказались. Как мы потом узнали, кое-кто пострадал, но в другом флигеле нашего участка; был даже зарегистрирован случай ранения со смертельным исходом — жильца, случайно проходившего мимо окна в своей комнате.

И все же, мы — я с отцом — как-то рискнули "высунуть нос" за дверь черной лестницы, во двор, под навес. Мы попали как бы в самую гущу роящихся пчел, чем-то встревоженных: воздух был насыщен свистящими, звенящими, взад и вперед быстро летящими звуками разной силы и скорости. Я обычно считал прочитанное в книгах о звуках летящих пуль и снарядов, как придуманный, для вящего эффекта и интересности описания, метафорический ход и явное преувеличение, как чистую литературщину. Попав в колею стрельбища между Арбатом и Замоскворечьем, то есть в самый узел сражения, я понял впервые, как *мало* выражают все подобные рассказы об этом "свисте"! Да, был и свист, и визг, и скрежет металла, и даже какой-то непрерывный и тонкий звон — все это было! Но — основное — это ощущение нервического и тревожного полета испуганных птиц — этого я нигде не видел отмеченным, а между тем это было, и очень отчетливо и ясно ощущалось в этот вечер во дворе и мною и отцом (он сам об этом потом мне говорил!). Эти воображенные птицы носились в диком смятении в разных направлениях, то в одиночку, то стаями, то снижаясь, то наоборот, взмывая в высь, с тем характерным, сухим треском хлопающих крыл, с каким всегда трещат, разрывая тишину воздуха, разом взлетающие стайки голубей — или же с визгом и скрежетом, режущим ухо, как быстро летящие стрелы стрижей, на резком вираже их обратного полета.

Так когда-то в особо сильные морозы визжал на крутых поворотах быстро несущийся трамвай. Но не птицы и не трамваи неслись над нами в бешеном полете по темному небу. Даже и не моментами воображенные, новые Валькирии, в безумном восторге мчащиеся, с топотом копыт и короткими всплесками выкриков Вагнерова вымысла.

От невообразимого шума и гама, в который вмешивался треск пулемета и густой бас канонады — мы сразу же оглохли: что-то пробкой заткнуло уши. Долго выстоять было трудно, хотя страха я не ощутил никакого: стрельба шла перекидным огнем, через двор; но общая картина звукового пейзажа была такова, что больно было ушам и голове; визг металла, форменным образом режущего воздух, был высок и свистящ — невозможно было находиться в этом аду.

Настоящий ожесточенный бой, как на подлинном фронте, не на живот, а на смерть, шел много дней — обе стороны понимали, что пощады не будет и

сражение надо выиграть любой ценой. Мы ушли со двора в комнаты в удрученном состоянии, убедившись, что тут не шутки шутят!

Так длилось долго, казалось – вечность! Выходить на улицу нельзя было и думать. Телефон молчал, лампочки не горели и не светили, а только изредка, вдруг, самоосвещались красным полусветом, дрожа, и то только на доли минуты. Вода бежала также неустойчиво, часто заменяясь клекотом или легким воем.

Отсутствие в запасе керосина сказалось в том, что свечи, какие в доме были, зажигались лишь в самые необходимые моменты; жизнь шла сама по себе, настолько однообразно, что мы теряли представление – сколько дней уже прошло в такой берложьей отсидке – и сколько еще пройдет.

И вдруг среди такого грозного бедлама вокруг нашего дома и полнейшей тишины внутри дома – где уже и не говорили даже, а разве что шопотом задавался вопрос и шопотом же отвечалось лаконично и безразлично – вдруг все разом прекратилось! Все стало еще более неестественным и даже еще более страшным, хотя улетели валькирии, и птицы пришли в себя и поисчезали, воздух очистился от визга металла – и наступила какая-то неестественная тишина. По контрасту – тишина стала страшнее того шума, которым только что, привычно, отягощен был воздух! Ощущение пустоты было столь пугающим, что хотелось возврата к звукам перестрелки. Но – все кончилось в действительности, не обращая внимания на наше нервное желание нормального шума!

Нереальность тишины и существования в ней так действовала на нервы, что мы попросту стали бояться – и избегать – собственного шума и даже нормального разговора! Когда мы снова перебрались наверх и водворились в нашей квартире, когда брат подошел к пианино и хотел сесть за клавиатуру – я стал чуть ли не со слезами умолять его, да, попросту умолять – не делать этого; ведь каждый звук теперь должен магнитом привлечь на себя чьето недремлющее око и бдительный слух! Поглядев на меня, как на явно сошедшего с ума, криво улыбаясь и нехотя, он захлопнул крышку инструмента. И в этот миг, точно в ответ на наши непроизнесенные слова, совершенно неправдоподобно, с улицы раздался тяжелый лязг цепей, грохот груженой кладью телеги, скрежет металла, трущегося о булыжники мостовой – мимо окон, внизу, под нами – медленно проползала туша танка, последнего танка, очищавшего улицы от возможных еще засад и "мышеловок". Этот танк изредка еще постреливал из пулемета вдоль улицы, более для острастки – улица и без того была уже ото всех "очищена" и совершенно безлюдна...

Так – Бориным порывом к пианино и танком, ползущим медленно и тяжело, – закончилась наша отсидка в чужой квартире. Телефон еще не работал. Что было за это время с сестрами – мы не могли еще знать. Это усугубляло наше подавленное настроенье, в котором мы переходили из комнаты в комнату, подбирая с полу то кусок отбитой штукатурки, то безжизненно лежащую, расплющенную пулю, то осколки стекла...

Вдруг неожиданно и очень уж неправдоподобно – зазвенел телефон. А через какое-то не учтенное время – и сами девочки вернулись домой – их привел Федя, побоявшийся отпустить их без прикрытия. В противоположность нам, они, все трое, были бодры, счастливы найти нас живыми.

Так началась жизнь Москвы в новых и непонятных, по первоначалу, условиях и еще неясных контурах.

* * *

Как только стало возможным, без опаски, выйти на улицу, я бросился узнавать судьбу Крестовоздвиженского переулка. Меня нисколько не удивляло, что шел я абсолютно пустыми, безлюдными переулками. В них и в обычные дни не так-то уж много попадалось встречных прохожих, сейчас же по всему пути мне не встретился ни один человек. Точно за эту ночь – все здесь вымерло.

Нетерпенье возрастало; я ускорял шаг, не спохватываясь, что переходил даже на бег! Я пересек Знаменку, вот открытый сад перед домом, вот я бегу их переулком. Еще бросок – и я войду в их узкий внутренний дворик. Почти как Евгений, я бормочу про себя: "вот ива... были здесь ворота... снесло их, видно!" Стремглав влетев в раскрытые настежь ворота, я бегу двором к двери на лестницу. Одним махом пролетаю все марши; вот я на четвертой их площадке; тут их дверь... Были здесь ворота...

Удар был тяжким, более тяжким, чем простое прощание. Прощание не с человеком, нас покидающим, а со всем, что – только что еще живое, пульсирующее, тут происходило... Прощание, наконец, со всей юностью, внезапно ушедшей.

Дверь квартиры была открыта.

Передняя – обычно полутемная, потому что двери в комнаты были постоянно притворены, сейчас поражала безжизненностью света, лившегося из трех знакомых дверей, сейчас настежь открытых. За ними – в комнатах – не чувствовалось жизни: была – пустота! Все не обычно и – тихо! Тишина, лишенная жизни. На цыпочках, боясь разбудить эту заснувшую безжизненность, я вошел в столовую. Увы – будить здесь было некого! Все было в состоянии такого полного нарушения налаженности, какое бывает только при вынужденном, и притом моментальном, бегстве, когда речь может идти о спасении только тела, не души! Все было раскрыто: шкафы, сундуки, столы... все разбросано, оставлено – видно, бралось минимальное, с большим отбором самого необходимого.

В детской – все оставалось, как обычно; дети как будто еще у себя дома или их одевают на прогулку. Все, во всех комнатах, было в таком состоянии, что никакого ответа на вопрос – что же случилось? – не давало. Когда опустел дом? Вчера? Сегодня? – или много дней назад?

Я походил еще из комнаты в комнату, глядел зачем-то на Храм Спасителя, на улицу; я ожидал найти хоть какой-нибудь намек на происходившее –

может быть, какую-нибудь прощальную записку! Ничего. Ничего! И не было ничего такого, что можно было бы взять, как единственную память об исчезнувшем.

Медленно и все более мрачнея, я уходил из квартиры, теперь уже навсегда всеми покинутой. Я спускался по лестнице медленно, застревая чуть ли не на каждой ступени, мучительно теряясь в догадках и самых черных мыслях.

Я не помню, как я дошел до последней ступени, как вышел в дверь и очутился в узком дворе. Не знаю, как я вышел за ворота, в переулок, как прошел через Знаменку. Куда я повернул – я не знаю; но пробродил я весь день и только в сумерки попал домой; там все были встревожены моим исчезновением.

Все были в сборе: родители, сестры и брат. Все были в сборе, всей обычной семьей. Я ощутил их всех, но... странно! не было той слитной *семьи,* в которой я находил себя постоянно... Все были в сборе – но отдельными клеточками! И хотя все относились и сейчас, как обычно, с нежностью и любовью друг к другу, однако же что-то во мне самом, очевидно, – а может быть, и во всех нас – сломалось! Я ощутил в окружающем меня что-то совсем новое, непонятное, исходящее не от нас. Это могло быть как вступление в новую, нам необычную жизнь. Вполне возможно, что подобные ощущения испытало множество и других семей страны. Сейчас все оказалось внезапно сдвинутым со старых мест. Так, ничего еще не понимая, все разошлись по своим углам – пора было и спать ложиться.

На утро, все еще во власти вчерашних видений, я снова вышел на улицу – какая-то сила гнала меня из дома. Я шел снова, как и вчера утром, пустыми, тихими улицами, которые, казалось, наблюдали за мной темными пятнами окон – это заставляло меня часто оборачиваться, чтобы убедиться, что никто за мной не крадется. Я шел, согнувшись пополам, против ветра. Снег – острой и мелкой крупой, брошенной ветром пригоршнями сухих иголок – резал лицо, стлался сухой россыпью по тротуару, вихрился воронками или сметался ветром длинными хвостами, с мостовой на обочины, где и скапливался кучками. Я был в драповой черной студенческой шинели, но несмотря на толстое теплое сукно, ветер пронизывал до костей, и я отчаянно продрог, следовало бы, конечно, повернуть и идти домой... Я вдруг осознал, что стою на Мясницкой, перед Почтамтом.

Безлюдье улиц, белая поземка по черному асфальту тротуара, ясная белая сетка крупы по пазам между булыгами мостовой – пустота мыслей – все заставляло меня идти дальше, не меняя направления. Так шел я вперед, все вперед, сгибаясь против ветра и снега, все вперед, не имея, однако, впереди никаких целей. Я пересек Чистые пруды, пошел по стороне, защищенной от ветра, и повернул, в блаженстве защиты, в Харитоньевский переулок.

Места были мне знакомы; сколько раз, еще в детстве, когда мы жили на Мясницкой, я тут бывал! Я прошел мимо дома, и окна в нем, где стоял все в одном и том же положении, уже много лет, гипсовый, под живого окрашенный, серый, жирный мопс; он и сейчас остался таковым, как был когда-то;

он беззвучно пролаял мне, как и тогда, в детстве моем, свой привет с искоркой улыбки в глазу. Я же мысленно отвесил ему поклон – и, миновав Юсуповский дом, с детства вселявший и удивление и какую-то робость, вышел на Садовую. Тут сильный порыв ветра обдал меня тучей крупы; я не выдержал натиска и повернул обратно, на Мясницкий проезд, где некогда жил мой гимназический приятель, давно куда-то исчезнувший. Так я пошел дальше, теперь домой. Кто мог бы тогда сказать мне – и не ошибся бы – что этот путь, от Волхонского дома, мимо Почтамта, серого жирного мопса, путь к будущему моему счастью, я буду, как в детстве, проделывать часто, радостно, стремясь теперь к цели, цели всего пути – и – жизни! Проходя мимо окна с давним моим гипсовым знакомцем, я испытывал теперь иные чувства – почти заговорщика; да и сам мопс кивал мне с улыбкой. Я же, чуть краснея, убыстрял и без того быстрый бег свой...

В то утро, однако, ни того дома, ни того человека в нем, что потом стали целью моего пути – в моих мыслях, конечно, еще не было. Улица и переулки – одинаково – были сейчас без жизни; только поземка легкой белой вуалью бесследно проносилась вдоль обочин, по пустым мостовым и таким же тротуарам.

Когда я снова добрел до почтамта, навстречу стали попадаться случайные, как я сам, храбрецы и любопытные. Понемногу Москва, распростившись с опасностями и тревогой военного лагеря, пыталась вернуться к прежней, установленной жизни. Для закрепления этого ощущения, позади меня раздалась легкая трель звонка трамвая, медленно, точно нащупывавшего дорогу, ползущего в неуверенности, к Лубянке. Не долго думая, я, как обычно делал, разогнался и вскочил в полупустой вагон на ходу. Я сел, довольный, что скрылся от пурги и ветра и могу посидеть и отдохнуть. Блаженство длилось, однако, не долго. Когда трамвай стал спускаться к Театральной площади, внезапно с Неглинной, не понятно сразу – откуда – стали стрелять, не понятно также – по какой цели и причине; трамвай сразу же остановился; бывших в нем пассажиров – как рукой смахнуло – быстро, без крика, без обычных пробок в двери и перебранок! Я поглядел на вожатого, обернувшегося к убегавшим пассажирам с недоброй улыбкой. Не успел я спросить его, поедем ли дальше, как бородач, мрачно сняв ключ управления, сошел не спеша, но молча, и исчез в снеговой завесе. Стрельба столь же внезапно и столь же без смысла, как началась, так и прекратилась. Улица, став снова безлюдной, свободно промахивалась ветром, снегом и обрывками сорванных со стен бумажек.

Посидев несколько минут в оставленном – не мне ли на попеченье? – вагоне, я нехотя все же покинул его, сменив скамейку и тепло на колющую, царапающую и забивающуюся, за воротник и в уши, крупу.

Редкие прохожие, попадавшиеся мне навстречу, глядели на меня – впрочем, как и я на них – как на явно ненормального, тронувшегося несчастного. Еще много времени спустя, встречные так и обходили друг друга на расстоянии, с опаской, бочком – а вдруг придет кому-нибудь в голову стрелять?

Такие внезапно возникающие и тут же прекращающиеся перестрелки были тогда явлением почти обычным.

Дома меня снова, и с еще большей тревогой, ждали. С этих дней – тревога ожиданья – стала чуть ли не знаком времени; вселившись в нас, она нас никогда более не покидала.